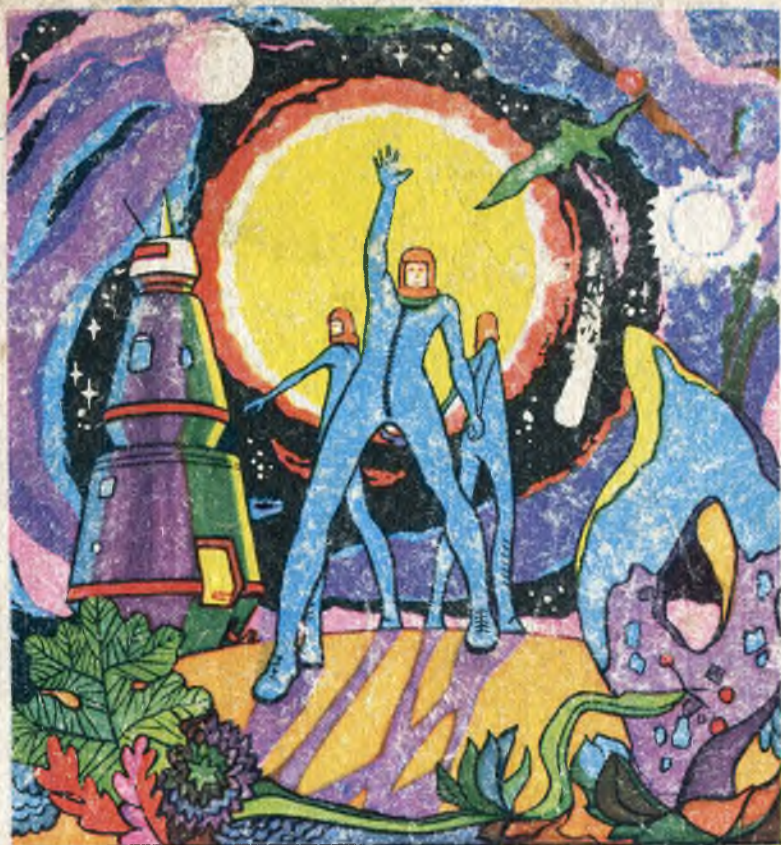
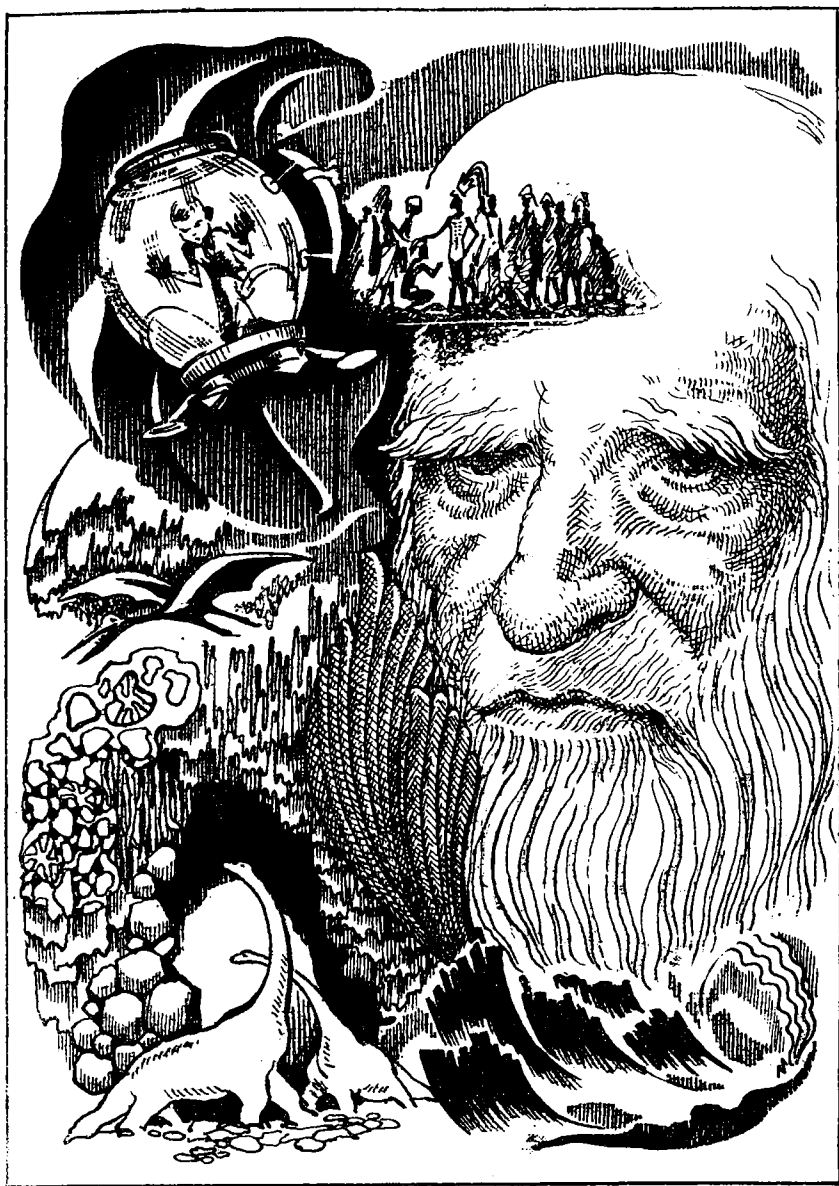
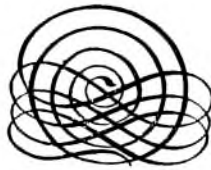




ФАНТАСТИКА

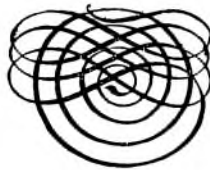
75/76





ФАНТАСТИКА

75-76



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1976

Составитель

В. ГРИГОРЬЕВ

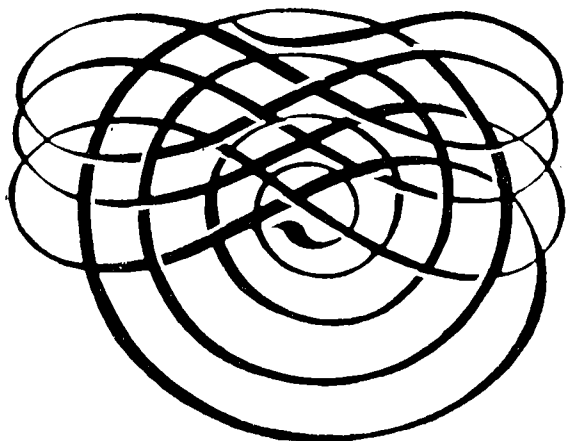
**В. БАБЕНКО
С. ГАНСОВСКИЙ
В. ГУМИНСКИЙ
А. ДМИТРУК
Д. ДЕ-СПИЛЛЕР
Р. КАЛОНАЙТИС
Ю. КУРАНОВ
А. КУПРИН
Б. ЛАПИН
Л. ЛЕОНОВ
Ю. МОРОЗОВ
Т. ОЛЕЙНИКОВА
А. ОСИПОВ
В. ПАНКОВ
П. ПРОСКУРИН
М. ПУХОВ
В. РЕВИЧ
И. РОСОХОВАТСКИЙ
В. РУБЦОВ
Р. САБИРОВ
А. СЕВАСТЬЯНОВА
Ю. ТУПИЦЫН
Д. ШАШУРИН
В. ЩЕРБАКОВ
А. ЯКУБОВСКИЙ
Р. ЯРОВ**

*Ашхабад
Белгород
Вильнюс
Волгоград
Киев
Красноярск
Ленинград
Москва
Новосибирск
Псков
Харьков*

© Издательство «Молодая
гвардия», 1976 г.

70302—261
Ф 078(02)—76 252—76

**ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ**



ПЕРВЫЙ ШАГ

СТРАШНЫЙ СОН

Ей снились сумрачные сырые ущелья, извилистые тропинки в горах, камни, срывающиеся из-под ног в стремнину. Она повисала над пропастью, ухватившись за куст или едва заметный выступ скалы, а потом, так и не выкарабкавшись, снова взбиралась крутой горной тропой, уже в другом месте, и снова камни беззвучно проваливались под ногами.

Ее видения Земли были призрачны и во многом условны, она никогда не ступала по Земле и даже фильма о путешествии в горах не смотрела, так что эти ночные кошмары, думала она, достались в наследство от предков. Ей часто снилась Земля, но это были какие-то ненастоящие сны, смутные и нереальные, как будто видишь во сне, что тебе снится сон. Когда же в ее сновидениях появлялся знакомый мир Корабля, она воспринимала его реальным до мелочей.

Вставая, она решила, что, возможно, разбалансировалась атмосфера, если ей так плохо спалось, но стрелки давления и кислорода стояли на месте, и она успокоилась. Человек на Корабле больше верил показаниям приборов, чем собственным ощущениям.

«Жаль, что на Корабле нет шкалы настроения, — подумалось ей. — Сейчас стрелка указала бы на «весело», и тебе, хочешь не хочешь, пришлось бы развеселиться, Полина».

Но ей уже и без того было весело.

Мурлыча мелодийку, привязавшуюся еще вчера, во время музыкальных занятий с детьми, она поднялась в рубку. Здесь, под звездами, усеявшими черный свод неба, под звездами, навстречу которым устремился Корабль, начинался каждый ее день. Конечно, она не чувствовала и не могла чувствовать никакого движения; наоборот, казалось, Корабль завис в безбрежной пустоте, завис, замер и затаился; но одна маленькая звездочка, та самая, постепенно приближалась к ним, год от года обрисовываясь ярче, отчетливее. Кораблем управлял запрограммированный на Земле Навигатор, так что экипаж практически не нуждался в звездах — ни для наблюдений, ни для ориентировки. И все же колюче сверкающий холодными искрами купол рубки притягивал взгляды и сердца, напоминая каждому: звезды рядом!

На Корабле не было ни одной лестницы. И хотя только жилые помещения составляли добрых шесть этажей, а сила тяжести приближалась к земной, создатели Корабля обошлись без ступенек. Из рубки вниз, на ферму, и дальше, через складские помещения, вплоть до машинного отделения, вел наклонный винтовой коридор, много раз опоясывающий Корабль по стенке, виток на этаж. Пол коридора был выстлан пластиком, напоминающим мягкую зеленую травку Земли. С пробега по этой «травке» от рубки до фермы и обратно начинался каждый день Полины.

Она почтительно поздоровалась со звездами, поприветствовала Навигатора, коснувшись его ладонью, и пустилась бежать вниз по коридору.

Шесть этажей. Шесть круглых вместительных залов. Таки-ми же они были и вчера, и позавчера, и десять лет назад...

Библиотечный зал еще пуст. Не светятся стереоэкраны, молчат педантичные автоматы — Педагоги, сиротливо насупились детские столы. Только недремлющий Консультант, кладезь знаний и добрейшая душа, слабо помигивает индикаторами пульта. Она улыбнулась ему на бегу, как живому существу:

— Привет, старина!

И Консультант ответил немедленно, точно только этого и ждал:

— Доброе утро, Полина!

На спальном этаже тишина. Двенадцать маленьких кают расположились по окружности, для каждого своя каюта. Корабль рассчитан максимум на двенадцать человек. Их сейчас всего семеро. «Интересно, что думает Свен о проблеме народонаселения, — лукаво напомнила она себе. — Кажется, пора бы, Марта уже подросла».

Сад. Три десятка фруктовых деревьев, подстриженные изгороди акаций, бурно разросшаяся трава. Аллеи, посыпанные песком, маленький бассейн, площадки для занятий спортом. Даже птицы, беззаботные певчие птички, совсем как на Земле, щебечущие по утрам.

Старшие дети уже встали. Александр орудовал гирями, а хорошенькая пятнадцатилетняя Люсьен мчалась на велосипеде, вовсю нажимая на педали, и с экрана летела под колеса земная дорога, проносились по сторонам земные домики, прозрачные березовые роши. «Неужели, — подумалось Полине, — она все еще живет в мире детских иллюзий: настоящая дорога, настоящий встречный ветер в лицо? Или это уже привычка?»

На кухонном этаже никого не было, но Синтезатор мерно гудел, творя людям пищу, на плите шумел большой чайник, древний символ семейного уюта, — значит, дежурный уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Вот и ферма, нижний пункт ее пробега, здесь можно пере-

дохнуть минутку. Увидев хозяйку, обитатели фермы всполошились, пришли в движение. Кролики, отталкивая друг друга, бросились к краю клетки, просительным зашевелили носами. Нетерпеливо закудахтали куры, застучали в пустую кормушку. Прильнули к стеклу бассейна лупоглазые карпы.

Напевая, Полина потрепала за уши кроликов, щелкнула по носу самого крупного карпа по имени Гаргантюа, прозванного так за прожорливость, отобрала яйца у кур, и все, точно ждали только ее появления, а не корма, сразу успокоились. Сорвала несколько листьев салата, пощипала зеленый лук и укроп. Новая партия редиски, пожалуй, еще не поспела. Корзинку с зеленью поставила у входа — для дежурного.

Опять глупый Гаргантюа уставился через стекло, предлагал поиграть с ним. «Скучают, — подумала Полина. — Тяжко им тут — ни пруда, ни зеленой лужайки, на всю жизнь заперты в четырех стенах. Совсем как мы. Разве что наша клетка чуть просторнее, но тоже никуда из нее не вырвешься. А может, он меня развлекает? Все-то всдь они понимают, только сказать не могут».

Она не умела думать о рыбах, кроликах и курах как о будущей пище — они были для нее скорее товарищами по экспедиции. Именно поэтому заготовками занимались Свен или Александр, она только брала продукты из холодильника, стараясь не вспоминать, как выглядели эти продукты еще вчера. Хорош был бы завтрак, объяви она за столом: «Сегодня жареный Гаргантюа в сметане».

На кухне уже гремел посудой десятилетний Джон — заспанный, вихрастый.

— Как себя чувствуешь, малыш?

— Спасибо, отлично, тетя Полина. А вы?

— Как всегда — о'кэй. Тебе помочь?

— Что вы, я сам! Я решил сделать салат с кальмаром, ничего?

— На твой вкус, Джон!

Она побежала дальше. Но как хотелось ей в этот момент отпустить Джона порезвиться в бассейн, к другим ребятам, и сделать за него несложную кухонную работу. Однако строгие традиции Корабля не допускали никаких вольностей.

Поднявшись наверх, к звездам, она порядком запыхалась, но эта легкая усталость доставила ей удовольствие. Не так уж много удовольствий выпадало им на Корабле, физическая нагрузка — одно из них. Вот почему спортом охотно занимались все. «Почти все», — поправила она себя, вспомнив Свена.

Теперь — десять минут на брусках вместе с Люсьен.

— Как хорошо у вас получается стойка, тетя Полина!

— Ты научишься делать еще лучше. Тяни носок, девочка, тяни носок. Нам, женщинам, нужна не только сила, но и гра-

ция, — она озорно подмигнула, — чтобы нравиться нашим неповоротливым мужчинам. Больше гибкости, девочка!

Десять минут с малышами в бассейне.

— Серж, ты неправильно дышишь. Вспомни, как учил дядя Свен. Марта, доченька, а ты чего стоишь?

— Мама, а почему рыбки тоже умеют плавать?

— Когда они были совсем крошечные, их научили мамы.

— А разве у рыбок есть мамы?

— Конечно, у всего живого есть мамы.

— А у Сержика почему-то нету.

— Плавай, дочка, плавай. У Сержа тоже была мама.

Александр замер на перекладине, залюбовавшись Люсьен, прыгающей через скакалку. Хорошая фигурка у девочки. И показать себя умеет, какой очаровательный прогиб назад...

— Выше, Люсьен, выше, задорнее! А ты, Александр, не свались с турника — загляделся! Марта, смелее, не бойся, не утонушь. Смотри как я.

Она следила за детьми, разговаривала с ними, плавала, плескалась, и все стояли перед нею эти горные тропинки, эти мгlistые ущелья, эти камни, исчезающие из-под ног. Но теперь прежние страхи улетучились, осталось только ощущение новизны, какого-то приятного открытия, будто она и в самом деле побывала на Земле. Как все-таки живуче в нас земное приятие! Оно будет тревожить по ночам и Марту, и ее внуков, и правнуков, пока через триста лет не вернуться они на Землю и не ступят на нее собственной ногой.

Полина знала, что ночные впечатления не развеются весь день. Дела отвлекут на время, она будет давать уроки медицины старшим, разбирать задачки и заниматься музыкой с младшими, кормить животных и работать в лаборатории, будет читать, разговаривать со Свеном или целоваться с ним в полумраке каюты, — а сон не забудется. Здесь, на Корабле, где жизнь течет размеренно и однообразно, где нет и не должно быть никаких событий, событием становится сон, и о нем думаешь, им живешь целый день, а то и несколько дней, пока что-нибудь другое не отвлечет твое внимание, например болезнь кого-нибудь из детей, или приплод у кроликов, или слишком рано зарождающееся чувство Люсьен и Александра. Или, наконец, новый сон.

Всем другим снам Полина предпочитала прогулку по Земле. Глухие лесные просеки, кроны высоких деревьев, пышные, словно взбитые, облака и синее небо над головой настраивали на лирический лад. Как все-таки любила она Землю! Землю, которую никогда не видела.

— Приготовиться к завтраку! — звонко выкрикнул вбежавший в сад Джон. — Салат! Яичница! Кофе с молоком!

Дети стремглав бросились одеваться: на аппетит никто не жаловался.

Полина поднялась к себе в каюту, подошла к зеркалу. Навстречу ей шагнула из-за стекла молодая, все еще свежая тридцатилетняя женщина с округлыми щеками, пышными каштановыми волосами и спокойным взглядом больших серых глаз. Если бы не грустинка во взгляде, не озабоченность на лице, она, пожалуй, ни в чем не уступила бы Люсьен: гибкая, цветущая, привлекательная женщина в лучшем женском возрасте, которой еще предстоит родить Кораблю одного, а то и двух детей. Полина тайно улыбнулась своему отражению.

«Надену платье, — решила она, — да поярче, нельзя же вечно в комбинезоне. Может, Свену будет приятно».

Вот уже несколько дней Свен хандрил и пренебрегал зарядкой. В этом не было ничего особенного, такое не раз случалось и с ним, и с нею, да и с другими, кто был до них. Ничего, пройдет. Надоест хандрить, как все на свете надоедает, и Свен с новой энергией примется за дела. А пока его лучше не тревожить, пусть сидит над шахматными этюдами или читает философские книги, взрослому человеку самому лучше знать, как быстрее войти в форму.

Она привела в порядок волосы, перехватила их лентой и, все еще напевая — вот ведь привязалась мелодийка, — подошла к каюте Свена.

— Свен! — позвала она, открывая дверь. — Свен, завтракать!

Каюта была пуста.

Полина поднялась в рубку. На черном небе, не мигая, холодно светились яркие проколы звезд, всегда одних и тех же, равнодушных ко всему.

— Свен!

Никого.

Спустилась в библиотеку, в сад, на ферму, обошла этажи и кладовые, заглядывая в темные углы, будто искала какую-то потерявшуюся вещь, потом вернулась, проверила все двенадцать кают. Свена не было нигде.

«Что за дурацкие шуточки, — подумала она, еще не чувствуя ничего, кроме раздражения. — Корабль не городская квартира, из него не выйдешь прогуляться». И тут, как лавина в горах — грохочущая, неудержимая, все сметающая на пути, — обрушилось на нее неизбежное прозрение...

На какое-то время мир исчез. Не было ничего: ни вселенной, ни горя, ни самой Полины, ни Корабля, ни боли, ни единой мысли — только тяжесть, непомерная, убивающая сознание тяжесть.

Потом словно кто-то прошептал: «Не испугай детей. Они там ждут. Самое главное — не испугай детей...»

Через несколько минут побледневшая, но внешне абсолютно спокойная, она села за стол.

— Начнем, ребята, — сказала ровным голосом.

— А где папа? — пискнула Марта.

— Ему нездоровится, детка. Он поест попозже.

Она сумела произнести эти слова хладнокровно. И тут же поймала на себе острый, допытывающийся взгляд Александра, отметила, как разом исчез румянец с лица Люсьен. Все остальные, не обращая внимания на старших, принялись за салат.

— Мама, я хочу редиску. Скоро поспеет редиска?

— Скоро, дочка.

Она взяла нож, чтобы разложить по тарелкам яичницу. Нож оказался тупым, шершавым. И вообще это был не нож... Это был куст, слабенький куст, выданный с корнями из отвесной скалы, по которой она, полуживая, карабкалась вверх, спасаясь от лавины.

Она почувствовала, что камни под ногами исчезают, исчезают, и ей не за что больше ухватиться, не на что опереться... а внизу пропасть... глубокая... бездонная...

Полина выронила нож и обеими руками вцепилась в край стола.

ДВЕРЬ

Над ними были звезды. Чужие звезды, не такие, как на Земле. И не только потому, что очертания созвездий немного изменились — здесь звезды приобретали особый смысл, здесь они были не далеким, почти призрачным украшением небосвода, а единственной реальностью окружающего. Все знали, что перед ними не подлинная картина мироздания, а лишь копия, нарисованная наружными антеннами на куполообразном экране, однако это ничего не меняло. Недаром устав Корабля предусматривал проводить воспитательные беседы с детьми в рубке — только перед лицом вселенной можно до конца осознать всю дерзновенность предпринятого ими: жалкая горстка людей, слабых существ, жизнь каждого из которых мгновение, с трудом оторвавшись от своей заурыдной планетки, с трудом преодолев притяжение своего заурыдного солнца, — рискнула познать бесконечность звезд, назвать себя равными им.

Нет, сколько ни внушай подрастающему человеку, как ответственна его задача, какие надежды связывает с этой экспедицией Земля, доводы разума ничто перед эмоциональной встряской, когда человек остается наедине со звездами. Только здесь ощущаешь себя частью великого сообщества людей. Одним из семи миллиардов, выполняющим особо ответственную миссию, только здесь понимаешь, что на тебя смотрит человечество, и поэтому в полной мере сознаешь себя не пассивным пленником Корабля, а личностью, от которой зависит будущее Земли.

Полина смотрела на звезды глазами взрослого, много переживавшего, много выстрадавшего человека. Александр — хо-

лодно, серьезно, озабоченно, как рассудительный юноша и будущий командир. Люсьен смотрела восторженными детскими глазами, но к ее наивному восторгу уже примешивалось удивление пугающим несоответствием масштабов звезд и дерзнувшего познать их человека.

Да, непросто было Полине начать разговор. Она откладывала его со дня на день, с часу на час, и чем дальше откладывала, тем меньше оставалось в ней решимости. Еще слишком слабая, издерганная и взбудораженная, она боялась, что не выдержит, расплчется перед детьми — и все только испортит.

«Бесстрастно, совершенно бесстрастно, — уговаривала она себя. — Сообщи им обо всем сухими, официальными словами, как сделал бы это Консультант. Вот именно, как старина Консультант. Факты, только факты!» Но уговоры не действовали. Ее сковывала ответственность предстоящего разговора, в котором малейшая ошибка, малейшая фальшь может оказаться непоправимой.

— Я должна сказать вам об этом, — трудно проговорила наконец Полина. — Свен УШЕЛ от нас.

Александр молча ждал объяснений. Люсьен не выдержала:

— Ушел? Ушел с Корабля? Что значит ушел? Куда?

Вымученная улыбка скользнула по лицу Полины. Так она и знала. Их интересует не почему он ушел, а куда ушел. Куда можно уйти с Корабля, несущегося среди звезд?!

— Устав запрещает сообщать об этом детям, не достигшим восемнадцати лет. Но я должна раскрыть вам все, у меня нет другого выхода. Обстоятельства изменились, и в этих обстоятельствах приходится считать вас взрослыми. Те, кто сконструировал Корабль и направил его к звездам, предусмотрели для членов экспедиции возможность УИТИ. Это было необходимо. Во-первых, человечество не вправе насильно посылать кого-либо на подвиг, подвиг — дело сугубо добровольное, а ведь наш полет — своего рода подвиг. И коли у нас нет иного способа отказаться от участия в этом подвиге, предусмотрена возможность УИТИ. Во-вторых, УИТИ может человек, почувствовавший серьезные отклонения в своей психике. Истерик, брюзга, человеконенавистник способен вывести из строя весь экипаж. Поэтому он имеет право сознательно избавить Корабль от своей персоны. И наконец, УХОД предусмотрен для лиц, совершивших преступление. Тоже добровольный УХОД...

— Но уход... куда? — опять не выдержала Люсьен. Щеки ее пылали. Наоборот, Александр был необычайно бледен.

— Подожди, девочка, всему свое время. Корабль уже знает два случая УХОДА. Когда умер Джон, первый наш командир, УШЛА Софи, его жена: она не могла жить без Джона. Позднее УШЕЛ, совершив преступление, Рудольф. Какое преступление, как, что и почему — вы узнаете, когда будете изучать историю Корабля. Пока важно не это. Важно, что и Софи,

и Рудольф имели веские основания УИТИ. Почему ушел Свен, я не знаю. Не вижу оснований.

— Разве он ничего не сказал вам, тетя Полина?

— Нет, девочка, он ничего не сказал нам. Может, в будущем мы поймем это, во всяком случае, постараемся понять.

Люсьен укоризненно глянула на Александра: дескать, вот какие вы все, мужчины.

— А теперь спустимся вниз, я покажу вам, куда УШЕЛ Свен.

Они покинули рубку и, миновав жилые помещения и три этажа складов, спустились к машинному отделению. Едва заметная вибрация корпуса ощущалась здесь не больше, чем там, наверху, но шум работающего двигателя слышался отчетливее. Полутемный коридор уперся в овальную стальную дверь.

— Прежде Корабль кончался для вас здесь, — сказала Полина, набирая шифр на замке. — Теперь посмотрите машинное отделение. Реактор и все вспомогательные системы работают автоматически, но вход людям разрешен.

Дверь открылась, в помещении вспыхнул свет. Молча прошли серпантином узкого серого коридора, остановились у другой такой же двери. Дальше идти было некуда. Полина нажала рукоять — и в массивном корпусе двери появилось крохотное оконце. За его синим стеклом бушевал адский пламень.

— Вот эта дверь. Она открывается особым секретным шифром, который вы узнаете в двадцать лет. За этой дверью — реактор.

Глаза Люсьен округлились, в них заплескали синие отблески.

— Значит, он УШЕЛ туда, — прошептал Александр.

— Да, он ушел туда.

— Но ведь это жестоко! — выкрикнула, ломая пальцы, Люсьен. — Зачем они придумали эту чудовищную дверь?

— Я не имела права посвящать вас в тайну УХОДА, но так случилось, слишком рано приходится вам взрослеть. Да, девочка, это жестоко. Но есть в жизни жестокости, без которых не обойтись. Без этой заранее предусмотренной жестокости экспедиция никогда не достигла бы Цели.

— Почему? Почему?!

— Потому что человек, не желающий лететь к звездам, чувствовал бы себя пожизненным узником, заключенным в Корабль без всякой вины. Потому что опасно жить бок о бок с преступником или сумасшедшим. И раз уж человек решил покончить с собой, разве лучше, если бы Свен повесился у себя в каюте и его увидела Марта? Нет, дети, поверьте мне и не называйте жестокостью то, что со временем оцените как гуманность. Конечно, УХОД — явление исключительное. Но человек всегда должен иметь возможность выбора.

— Вы оправдываете его!? — задыхаясь, выкрикнул Александр.

— Никогда!

И тут она сорвалась. Не хватило выдержки, не хватило элезной бесстрастности Консультанта. А главное, только здесь, этой двери, окончательно осознала она всю глубину своего иночества.

Одна, навеки одна!..

ПЕРВЫЕ

Что случилось бы с нею в эти дни отчаяния и безнадежности, ли бы не ежеминутная поддержка отца?

Большой, бородатый, с густым низким голосом и добрым взглядом из-под лохматых бровей, он, как в детстве, часами осиживал с нею, и Полина снова чувствовала себя девочкой, ивленной и восхищенной громадностью жизненного опыта рослых. Он рассказывал о Земле, о людях и о себе, и она итывала каждое его слово, каждый жест, каждую улыбку — постепенно обретала прежнюю устойчивость.

Она была еще очень слаба и порой забывала, что всего лишь поминает сказанное им ранее. Ей казалось, это не просто па-ть об отце, это нечто несравнимо большее: он сам, живой осязаемый. Он передал ей в наследство лучшие черты своего рактора, он воспитал в ней мужество, волю и выдержку. и был частью Полины, и она была его частью. И теперь он ова пришел к ней, чтобы поддержать в трудный час, помочь поддаться отчаянию, не согнуться перед бедой. Без него она выстояла бы.

— Видишь ли, дочка, здесь, на Корабле, наши жизни не принадлежат нам. Мы, Первые, сами, добровольно выбрали свой ел. Вы и те, кто придет за вами, должны следовать этому силу отсутствия другого выбора. Наши жизни принадлежат мле. И поверь, Земля никогда не послала бы нас к звездам, ли бы от нашей экспедиции не ждали ответа на вопрос: остается ли человечество навек прикованным к Солнцу — или шаг-т в Большой Космос? Мы первые, Полина, а путь первых егда труден. Опасен. Порой трагичен. Но должен же кто-то ьть первым...

«Должен же кто-то быть первым» — эта бесхитростная фор-ла сопровождала ее всю жизнь. Порой, выведенная из себя итейскими невзгодами, усталая или обиженная, Полина воз-щалась: почему не другие, почему именно мы? Но тут же поминала покоряющую улыбку отца и его неопровержимый своей простоте довод: должен же кто-то быть первым, так по-му другие, почему не мы?

— Как будто бы наша задача совсем проста — выжить сам-м и вырастить тех, кто останется после нас. Беззаботная изнь, как у травы, не правда ли? Но так только кажется. лжить самим и вырастить следующее поколение в условиях

Корабля невероятно трудно. Кроме всего прочего еще и потому, что каждый из нас не просто человек сам по себе, но и звено в цепи поколений. От каждого, буквально от каждого зависит успех экспедиции. Только подумай, десять-двенадцать поколений, и ты в ответе за того, кто придет после тебя не завтра, не к закату твоих дней, а через триста лет. Огромная ответственность, и она давит на психику, мешает жить просто, как трава. Но без этой ответственности нельзя. Если каждый не осознает себя гражданином Корабля, цепочка может прерваться, и тогда все полетит в тартарары — все усилия и страдания предыдущих поколений. Зато одно немаловажное обстоятельство психологически укрепляет нас: Цель жизни. Поскольку здесь все равно невозможно то полное, безусловное счастье, право на которое человек, живущий на Земле, получает от рождения, поскольку наши жизни не принадлежат нам, — мы все, каждый, должны до конца мужественно донести свою ношу и тем самым оправдать свою жизнь. Иначе она теряет смысл. Вот так, дочка...

Она была самая младшая из первого поколения родившихся на Корабле. Когда отец рассказывал ей о Цели жизни, Полине исполнилось тринадцать лет. О, как памятен ей этот возраст широко распахнутых на мир глаз и тайно зреющих вопросов, которые не вдруг задашь взрослым, возраст критической переоценки окружающего и благодатных всходов коллективизма в прежде эгоистичной душе!

Она сидела на зеленой скамейке в саду, прижавшись головой к плечу отца. А рядом примостилась хорошенькая Марго, очень похожая на сегодняшнюю Люсьен, да и в тех же годах, за ней уже тогда приударял Свен, — и тоже впитывала каждое слово командира. Алекса любили все, весь экипаж — такой уж это был человек. Наверное, именно поэтому дети Корабля постоянно терзали его своими бесконечными проблемами, сомнениями и недоумениями.

В другой раз Полина спросила: почему же **так** получилось, что на Земле, воплощающей собою Разум и Порядок, существует не одно государство, а несколько — с собственными обычаями, законами и правительствами? Отец едва заметно усмехнулся в усы.

— Чтобы понять сегодняшний день, дочка, — сказал он со вздохом, — надо знать историю. А история складывается из двух очень непохожих вещей: генерального направления, которое можно предвидеть наперед, потому что оно предопределено всем ходом развития человечества, и запутанных закоулков случайного, через которые следует человечество в поисках своего генерального направления. Изучи эти два слагаемых, и ты поймешь сегодняшний день.

Слова отца крепко запали ей в память, и теперь, силясь прорваться сквозь беду, сквозь отчаяние, сквозь тяжесть сва-

ившейся на нее ответственности к пониманию происходящего, та снова и снова с благодарностью вспоминала практические уроки истории, преподанные ей отцом. В его пересказе воскресли эпохи, оживали прежде недвижные статуи исторических личностей, сталкивались и объединялись страсти, пристрастия, страстишки, приходили в действие скрытые пружины интриг, тайных сговоров, кастовых интересов — и через все это пестрое, многоцветное нагромождение конкретного шествовала удерживаемая махина исторической необходимости...

Итак, чтобы постичь случившееся, чтобы разобраться в сегодняшнем дне, она должна вспомнить историю Корабля. Нет, не вспомнить — прочесть заново, иными, прозревшими глазами, призвать историю на помощь.

История Корабля... Список рождений и смертей. Однообразный, как сама жизнь на Корабле, где нет места никаким другим событиям. Только первая дата отличается от всех, да еще, может, последняя будет отличаться — через триста лет. Вот и эти анналы, эти святцы Корабля, краткая летопись сорока восьми лет...

* * *

14 июля 2112 года — старт Первой Звездной.

Два года ученые разных стран Западного Содружества готовили экспедицию и формировали экипаж, отбирая из тысячи добровольцев восьмерых наиболее подходящих. Эти восемь избранников должны были отвечать многим и многим требованиям, чтобы следующие за ними поколения Корабля обладали полным здоровьем и жизнестойкостью; они, эти восемь, должны были соответствовать друг другу по чертам характера, по десяткам биологических и психологических признаков, ибо главное в подборе экипажа — совместимость. Ученые с самого начала понимали, что нет ничего более опасного для экспедиции, чем затаенная до поры ненависть или простое, вполне понятное и все-таки необъяснимое «я его не переношу», или передающаяся от поколения к поколению родовая склока, неприимая вражда космических Монтекки и Капулетти. К этому добавлялось еще и требование равной представительности стран содружества.

Их было восемь, восемь звездных первопроходцев, четыре двадцатипятилетних мужчины и четыре двадцатипятилетние женщины. До старта они никогда не видели друг друга. Их готовили порознь, их тренировали и обучали в разных странах, они ничего не знали о семерых своих спутниках, кроме национальности.

Когда огромная толпа под жгучим техасским солнцем собралась проводить Первую Звездную, они, участники экспеди-

ции, через головы родственников и друзей старались высмотреть тех, с кем суждено провести остаток жизни. Они навек отрывали себя от Земли, от своего времени, от привычного жизненного уклада, от друзей и родных, от семьи, чтобы затеряться в ледяной космической пустыне и никогда не узнать, чем кончится экспедиция, вернется ли Корабль на Землю через триста лет, обогнув одну из ближайших к Солнцу и все же такую далекую звезду. Им было о чем подумать в эти минуты, было что вспомнить, было с кем попрощаться, — а они старались угадать: кто же, кто из тысяч собравшихся здесь летит вместе с ними?! Уже тогда тяга к звездам пересиливала в них земное притяжение.

Над равниной звучала торжественная музыка, ослепительно сверкали трубы оркестров, душно пахли цветы, ученые и государственные деятели говорили речи, и уже все было сказано и вслух, и вполголоса, уже попрощались со всеми, с кем полагается попрощаться, — а они все еще не знали друг друга.

Потом Алекса усадили в автомобиль, увезли подземным туннелем к Кораблю, покоящемуся в глубокой шахте, и там совсем буднично, торопливо и деловито почти похоронили в похожей на саркофаг ванне с вязкой жидкостью. Только он лег в эту ванну, надев специальный жизнеобеспечивающий скафандр, только почувствовал, что плавает, — и сразу сознание его затуманилось: наступил месячный стартовый анабиоз, облегчающий колоссальную перегрузку отрыва от Земли и от Солнца.

А когда он пришел в себя, над ним склонился высокий сухощавый человек с седыми висками. Это был Джон, командир экспедиции, американец. Алекс долго не мог понять, где он и что с ним происходит, пока не сообразил: да это же первый из его спутников! В то время уже ни Земля, ни Солнце не могли достать их своим притяжением.

Потом они просмотрели видеозапись старта, принятую с Земли аппаратурой Корабля, когда они спали в ваннах сном праведников. Последние команды прозвучали над притихшей толпой, охрипшие от волнения динамики отсчитали последние секунды — и вместе с огненным смерчем, что вырвался, казалось, из самых глубин планеты, поднялась над равниной гигантская серебристая ракета, повисла на мгновение и, прочертив небо, умчалась в неведомое, растаяла в синеве. Когда грохот смолк, случайные нестройные вскрики раздались над космодромом, и диктор сказал: «Счастливого пути, друзья!»

Полина много раз видела эту запись, с которой началась поступь Необходимого в жизни Корабля. А потом на сцену вышло Случайное, непредвиденное, и оно тоже наложило **свой** отпечаток на историю Первой Звездной. И теперь, чтобы разобраться в сегодняшнем дне, надо вспомнить историю экспеди-

ии. И надо передать эту историю следующим поколениям, чтобы обогатить их память и вооружить на случай нового непредвиденного.

* * *

*7 февраля 2116 года — рождение Фреда от Джона и Софи.
26 ноября 2116 года — смерть Джона; Алекс принял командование кораблем.
2 декабря 2116 года — уход Софи.*

Первые годы на Корабле были для них праздником. Уже редкие люди, они снова почувствовали себя юнцами, вырвавшись на каникулы с хорошей, веселой компанией. Непривычный, заманчивый, полный любопытного мира открылся перед ними. Они еще только познавали новую для них жизнь, постепенно привыкая к Кораблю и друг к другу. Это было время, когда становились первые отношения первых: первая привязанность, первая дружба, первая любовь, первая космическая семья, когда незаметно, исподволь складывались традиции Корабля и ежедневный праздник еще не сменился ежедневными буднями.

Джон оказался хорошим командиром, волевым, требовательным, справедливым. И если все же преобладали в его характере жесткость и непреклонность над общительностью и добротой, то это с лихвой окупалось мягкостью его заместителя Алекса, с которым связала Джона крепкая мужская дружба.

На четвертый год полета у Джона и его жены итальянки Софи, родился сын Фред — первенец Корабля. Рождение ребенка в космосе считалось тогда известным риском, и первым ошел на риск командир. Было все, что бывает в таких случаях на Земле: шампанское, цветы, подарки, даже импровизированный спектакль. А через несколько месяцев Джон слег: свалила какая-то странная, неизвестная на Земле болезнь. Она началась с необъяснимой апатии, а кончилась отеками всего тела и параличом. Ни Этель, врач экспедиции, ни Консультант, универсальная информационная машина, ничем не могли помочь.

Перед смертью Джон передал Алексу свой дневник — подробные записи течения болезни. Оказалось, Джон болел уже почти год, и никто не заметил этого! Как ни мучили его боли, как ни наседали въедливая, непреодолимая апатия, ни единственным ловом, ни единственным жестом не выдал он изводившего его недуга. Это был период формирования семей и становления обычаев, и Джон не хотел, чтобы его страдания нежелательной мрачной ноткой откликнулись для тех, кто придет после него. Этель делала все возможное, но и она многого не знала. Лишь толстая тетрадь, от корки до корки исписанная аккуратным убористым почерком, поведала и о симптомах зарождения болезни, и

о бесплодных попытках лечения, и о серии опытов, которые Джон, отыскивая причину недуга, поставил на себе. Начав эти небезопасные эксперименты, Джон уже не надеялся на выздоровление — он думал о будущих поколениях Корабля.

До последнего дня он страдал молча, вот почему его смерть показалась неожиданной. И только Алекс успел при жизни Джона оценить его подвиг и понять, какая большая душа скрывалась за непреклонностью и деловитостью первого командира.

Джона схоронили в реакторе, как полагалось по уставу. А через несколько дней Софи, застенчивая незаметная Софи, всегда тенью следовавшая за Джоном, УШЛА с Корабля. Кажалось, эта худенькая большеглазая женщина, молчаливая и необщительная по натуре, не оставила после себя ничего — если не считать сына. Лишь много позднее среди ее вещей обнаружили рукописную поэму — восторженный и наивный гимн любви. Марта, лучше других знавшая итальянский, с трудом разобрав исчерканные, перемаранные строки, сказала почти с испугом: «Дантова сила! Кто бы мог подумать!..»

Если смерть Джона от тяжелой болезни была несчастьем, которое можно понять и пережить, то неожиданный УХОД здоровой, полной сил женщины, молодой матери, потряс всех. Экипаж охватило что-то похожее на шок. Оставалось только полшага до суеверий, до страха обреченности Корабля, до веры в дурное предзнаменование. И если бы не Алекс, ставший командиром, кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба экспедиции...

* * *

*11 января 2118 года — рождение Свена от Ульфа и Этель.
3 августа 2120 года — рождение Лидии от Рудольфа и Евы.*

У маленького Фреда появились сверстники. Бездетными оставались только Алекс и его жена француженка Марта. На командире больше чем на ком-либо другом лежала ответственность за регулирование населения Корабля, а каждое прибавление членов экипажа сверх оптимального числа ухудшало условия жизни остальных. Еще и другая причина руководила Алексом. Достаточно насыщенная программа исследований оставляла все-таки свободные часы, которые не всякий умел занять. А с детьми много забот, и, пока есть на Корабле хоть один маленький, дел у всех по горло и времени для чрезмерного внимания к собственной персоне попросту не остается. Но как только дети подрастают...

* * *

*22 мая 2124 года — смерть Ульфа.
24 мая 2124 года — уход Рудольфа.*

*4 января 2125 года — рождение Марго от Ульфа и Евы.
8 января 2125 года — смерть Евы.*

На этот раз непредвиденное явилось в облике красавицы Евы, жены пунктуального немца Руди. Семьи на Корабле складывались по любви, но все-таки Корабль не Земля, чтобы обеспечить каждому выбор по вкусу. Алекс еще раньше заподознил неладное с Евой — уж слишком тянуло ее к Ульфу. Но Ульф полюбил Этель, а потом и Ева стала женой Руди, родила дочь, и как будто все уладилось. Однако Алекс понимал, что тоит Ульфу подать надежду Еве — и затаившаяся искорка бегнет пожаром. Вот почему и стремился Алекс как можно дольше загружать Еву заботами о детях. Устав Корабля не требовал соблюдения брачного контракта до конца жизни, предусматривался развод и новый брак, да и вся прежняя жизнь строилась на взаимном доверии, так что всегда можно было избежать драмы, заменив ее на худой конец нудным, но бескровным бытовым конфликтом.

Однако в своей страсти Ева — ох уж это имя! — пренебрегла доводами разума. Алекс понимал ее: она была женщина, может быть, слишком женщина, а женщина так уж устроена, что сметает все преграды на пути любви и добивается своего любой ценой. И все-таки, учитывая чрезмерную эмоциональность Евы, ее не следовало включать в состав экспедиции. До того же обошлась Первой Звездной эта ошибка!

В первые годы, годы сплошного праздника, душой компании стал Ульф. Все, к чему бы он ни прикоснулся, проникалось легкостью, изяществом, мимолетной прелестью. Артист по призванию, придумщик и остролов, он режиссировал свадьбы, именины и крестины, он затевал искрометные спектакли, главная роль в которых всегда принадлежала Еве. И хотя на самом деле Ульф был глубже, значительнее, именно эти внешние черты сделали его в глазах Евы героем.

Она не разглядела и Руди. Добродушный, медлительный, основательный во всем, он, чтобы не казаться педантом, разыгрывал порой этакого простачка, над которым не грех позубокалить. Понятно, он казался ей увальнем, тюфяком, личностью будничной и серой.

Когда праздники канули в прошлое и обыденное вступило в свои права, Ева затосковала. Ее натура настоятельно требовала яркого, драматического. В какой-то момент Ульф не выдержал осады — и грянула драма. Рассудительный, уравновешенный Руди, оказавшийся вспыльчивым ревнивцем, застав кену в каюте Ульфа, убил его молотком.

Это встряхнуло Корабль, как столкновение с метеоритом. Не было сказано ни слова, но Руди знал, что должен УЙТИ, и он УШЕЛ. Ни командир, ни весь экипаж не имели права отметить этот суровый приговор. Жестокость была оправдана, воз-

мездие должно было стать фактом истории, и оно стало фактом истории. Никто не осуждал ни Ульфа, павшего жертвой обдуманных чар Евы, ни Руди, ослепленного ревностью, — все осуждали только Еву, так уж повелось. И, выполнив свой последний долг, родив Марго, дочь Ульфа, Ева, истерзанная укорами совести, умерла в послеродовой горячке.

Алекс подвел печальный итог первых тринадцати лет пути. Тринадцати из трехсот. Дружный и веселый коллектив растаял, из восьмерых осталось только трое. Трое взрослых и четверо детей. Это пахивало катастрофой. И не будь командиром Алекс, могло случиться, что дальнейший полет Корабля потерял бы всякий смысл.

Перед Алексом возникла задача почти непосильная: за те, может быть, немногие годы, которые предстояло ему прожить, он должен был создать коллектив заново. Это значило — воспитать детей, заменив им собою всю Землю. Это значило — передать детям не только знания, необходимые, чтобы донести их до следующих поколений, но и то чувство ответственности за судьбу экспедиции, без которого знания — лишь ненужная обуза. И это значило — предостеречь будущие поколения от ошибок, свершившихся на его глазах. Только неимоверная энергия добродушного фламандца, его выдержка, его воля позволили выполнить эту, казалось, невыполнимую задачу. Алекс оставил после себя новый коллектив, состоящий из семерых взрослых и одного ребенка, — коллектив, на который можно было положиться во всем.

* * *

1 мая 2128 года — рождение Полины от Алекса и Марты.

На этом история заканчивалась, всему остальному Полина сама была свидетельницей. Она помнила отца еще безбородым и мать сравнительно молодой, но вот тетя Этель, вдова Ульфа и мать Свена, почему-то всегда представлялась ей седой аккуратной старушкой, ласковой бабушкой всех, независимо от степени родства, детей. На этом история заканчивалась для Полины. Но для других, для Александра и Люсьен, например, история продолжалась.

Сравнивая судьбу Первого и Второго поколений, Полина неизбежно приходила к выводу о том, что Первые, родившиеся под Солнцем, вскормленные земными реками, вскормленные плодами Земли, — больше были подвержены эмоциям, порыву, настроению. Сильные люди, цельные люди, они подчинялись чувству, а не рассудку. Цельность их натур и восхищала и пугала Полину. Ей казалось, они взяли с собой на Корабль все страсти земные.

Второе поколение словно утратило что-то в тепличной атмос-

ере Корабля. Или горький опыт Первых научил их обузды-
ть себя? Или сказалось воспитание под звездным куполом?
в всяком случае, ничего драматического в историю Корабля
торое поколение не вписало. Были несчастья, ссоры, слезы,
или мелкие конфликты, но обошлось без драм.

БЕЗ ДРАМ

1 мая 2128 года — рождение Полины от Алекса и Марты.

2 апреля 2140 года — смерть Марты.

*14 сентября 2141 года — рождение Александра от Фреда и
Лидии.*

*22 февраля 2143 года — смерть Алекса; Фред принял коман-
дование кораблем.*

30 декабря 2145 года — рождение Люсьен от Свена и Марго.

*18 июля 2150 года — рождение Джона-младшего от Фреда
Лидии.*

16 марта 2154 года — рождение Сержа от Свена и Марго.

*Июль — ноябрь 2155 года — смерть Лидии, Этель, Фреда и
Марго; Свен принял командование кораблем*

*8 марта 2157 года — рождение Марты младшей от Свена и
Лидии.*

Корабль был просторный, настолько просторный, что не-
льно наводил на мысль о расточительстве: зачем забрасы-
ть в космос целый дворец, если экипаж не без комфорта обо-
лся бы и втрое меньшим помещением? Пластиковая дорож-
, например, вполне годилась для велогонок — объявивсь у них
руг нормальные велосипеды. И все-таки главное неудобство
корабля состояло как раз в том, что был он слишком тесен,
обы стать для горстки оторванных от Земли людей не только
мом, но и миром.

Наверное, когда человек счастлив и спокоен, на него не
ень-то действует обстановка; но стоит потерять душевное рав-
весие — и тебе мешает жить, раздражает и выводит из себя
ждакая мелочь. Как давили на нее стены Корабля! «Куда ни
идешь, куда ни глянешь — всюду натыкаешься на осточер-
зший овал, за которым кончается белый свет, за которым нет
чего! Одна только эта замкнутость пространства, — думала
инные дни Полина, — способна свести с ума».

Если бы, бродя по этажам, она хоть раз натолкнулась на
кую-нибудь кладовочку, неизвестную раньше, на какой-ни-
дь укромный уголок, где не бывала уже тысячу раз, если бы
куда-то выпорхнула бабочка или стрекоза! Однако ничего та-
го не произошло ни разу. Их тесный мирок был ограничен не-
обитаемыми бронированными стенами, через которые не сме-
проникнуть даже мысль, даже фантазия.

До пятнадцати лет Полина как-то не замечала этих стен,

но, когда умер отец и у нее появилась неодолимая потребность уединения, она вдруг остро ощутила враждебность и противоестественность поставленного ей предела. Она металась по Кораблю в поисках тайного угла, где можно посидеть спокойно хотя бы час, не опасаясь, что тебя начнут развлекать и веселить, но такого угла не было; каюта не в счет, в каюте она жила, а ей хотелось найти пристанище где-то «на воле». Не обнаружив ничего лучшего, она облюбовала ту самую зеленую скамейку в саду, на которой, бывало, сживал отец. Скрытая густыми зарослями акации, скамейка гарантировала, по крайней мере, видимость покоя и уединения.

Сколько дум передумала Полина, прячась на этой скамейке, сколько невысказанных жалоб проглотила, сколько слез пролила!

Именно здесь впервые пришла ей горькая мысль о несовершенстве маленького общества экспедиции. «Как же так, — рассуждала пятнадцатилетняя девочка Полина, — как же так, если они, Первые, сумели стать несчастными, когда у каждого была жена или муж, друг, одним словом, то что же будет со следующими поколениями, если какая-то девушка или какой-то юноша останется без спутника жизни? Неужели нельзя придумать что-то, чтобы избежать этого унижительного, недостойного человека недоразумения?!»

Тогда она еще не имела в виду себя, хотя предчувствовала, что ей первой суждено испить сию чашу. Однако уже через два года эта мысль не давала ей покоя; она опоздала родиться, и теперь для нее не осталось никого в их поколении, она лишняя, лишняя! Так пришло одиночество.

Она тихонько рыдала на своей скамейке, и кусала пальцы, и думала беспощадно, не жалея ни себя, ни других: «Мало того что нас оторвали от Земли и заперли в этих стенах, которые страшнее всякой тюрьмы, потому что не оставляют малейшей надежды на избавление, — меня еще и обрекли на вечное одиночество. Даже здесь, в нашем стерильном миреке!»

Это отчаяние, эти слезы не были беспричинными, наоборот, причину имели вполне конкретную, но какая же семнадцатилетняя девочка на ее месте догадалась бы, что дело тут вовсе не в замкнутости Корабля, не в одиночестве, а всего лишь в неразделенной любви! Она и не подозревала, что те же муки терзали, терзают и всегда будут терзать семнадцатилетних девочек на Земле, бесконечно одиноких среди людей, потому что им нужен не кто-то, не любой, а именно тот, чье сердце уже отдано некой счастливой избраннице.

Тот, единственный, в кого она была влюблена, звался Свеном, а его счастливая избранница носила имя Марго. Полина любила Свена, любила Марго и никогда не пожелала бы им ничего дурного. Милая, приветливая, беззащитная, вся распахнутая настежь, вся светящаяся добротой, такая привлекательная,

зкая женственная Марго!.. Если бы она только узнала о му-
хах Полины, она не раздумывая тут же отказалась бы от сво-
его счастья. Но в чем была виновата Марго? И почему Марго
должна была пострадать? Нет, Полина не выдала тайны.
и Свен, ни Марго так и не узнали никогда о ее любви; о ней
не знал никто, кроме зеленой скамейки, а скамейка умела хра-
нить девичьи секреты.

Первая любовь... Болезнь неизбежная, как ветрянка, и как
отряпка — несмертельная. Если бы люди не излечивались от
той сладостной лихорадки, человечеству давно уже пришел бы
оонец.

Еще прежде, чем Свен и Марго поженились, Полина подо-
брала подходящее лекарство и почти полностью выздоровела.
Постыдившись обнаруживать недостатки в характере Свена, при-
читать любой его промах, любую нетактичность, любую ска-
ндалную им глупость, она с удовлетворением складывала из этих
эпизодов, как ребенок из кубиков, новый облик Свена — и Свен
предстал перед нею ленивым, бездеятельным, непоследователь-
ным в своих идеалах, невнимательным и нечутким даже к Мар-
го, эгоистичным до черствости, циничным и грубым. Кстати,
то замечала и Марго, значит, Полина не относилась предвзято
своему прежнему кумиру, она лишь обрела объективную точ-



ку зрения. Однако если Марго смотрела на недостатки Свена сквозь пальцы и даже с улыбкой, то Полина вскоре научилась сопоставлять Свена с тем единственным идеалом мужчины, который она знала, — с отцом, и в этом беспощадном сравнении Свен еще больше проигрывал. Наконец, он стал ей почти безразличен, почти как все...

Осознав себя взрослой, Полина пришла к выводу, что ничего страшного не случилось, был обычный возрастной перелом, осложнившийся тем, что как раз в это время она осталась без отца, единственного настоящего друга и советчика. До пятнадцати он формировал ее характер, с семнадцати она сама взялась за себя, да так, что и отец позавидовал бы. А два года, памятные любовью и слезами, — всего лишь безвременье. Никаких драм в ее жизни не произошло, считала Полина. Как и все на Корабле, она ненавидела драмы и боялась их: слава богу, у них и без того достаточно забот, и без того велика ответственность...

Но так или иначе, если отвлечься от слишком личных, а потому несущественных для истории переживаний, двадцать семь лет со дня рождения Полины протекли подобно спокойной полноводной реке. Жизнь шла хорошо и размеренно, даже чересчур размеренно, и Полине казалось, что так и должно быть, что существование на Корабле и есть нормальная человеческая жизнь, а рассказы о Земле — только сказка, заманчивая, но ненужная сказка, уводящая в бесплодные мечтания, отвлекающая от повседневных дел.

Все ее сверстники из Второго поколения переженились, обзавелись детьми, лишь Полина оставалась одна. Ей по-прежнему не светило впереди, однако теперь она относилась к этому спокойно и не унывала. Устав Корабля не только разрешал, но и обязывал ее стать матерью, и она знала, что рано или поздно родит ребенка от Свена, но пока не спешила. Она любила маленького Александра, а позднее Люсьен, Джона и Сержа, как собственных детей, и они отвечали ей взаимностью. О чем еще оставалось ей мечтать?

* * *

На этот раз непредвиденное не было абсолютно непредвиденным. В течение нескольких месяцев та же болезнь, от которой умер Джон, скосила сразу четверых: Лидию, тетю Этель, Фреда и Марго. Теперь, имея дневник Джона, они уже знали кое-что, и они приняли все возможные меры. Сутки напролет Фред, Полина и Марго просиживали у лабораторных столов. Тысячи анализов питьевой воды, воздуха, пищи, уровня радиации не дали никаких результатов. Гипотеза о том, что в замкнутой экологической схеме Корабля, в этом бесконечном круговороте вещества что-то разладилось, не подтвердилась. Ни воз-

х, ни вода не содержали никаких вредных примесей, во всяком случае, не больше, чем на Земле, пища тоже оказалась вполне доброкачественной, богатой витаминами. И все-таки это поминало постепенное отравление: отказывали почки.

Может быть, отравляли не химические вещества, а само состояние, что вода, которую они пьют, — это отходы людей и животных, что пища, которую они едят, заново воссоздается в Синзаторе, что даже табак, который они курят, пропитан уловленным из воздуха никотином прежних сигарет и трубок? Фред лонялся именно к этой гипотезе. Попробовали поить заболевшую первую Лидию дважды очищенной водой и кормить только натуральной пищей, до крайнего возможного предела сократив поголовье кур и кроликов, — не помогло. С полной нагрузкой работал Консультант, предлагая все новые и новые остроновые опыты и эксперименты, требуя все новых и новых анализов, — и тоже напрасно...

А Корабль летел к своей звезде, и, значит, надо было жить, чтобы выполнить задачу экспедиции. Свен стал командиром, Полина — его женой.

Вот когда она пожалела, что так рьяно выискивала недостатки Свена, что от бывшего переполнявшего ее чувства остались лишь крохи. За непримиримость юности пришлось расплатиться разочарованием.

Полине казалось, Свен меньше всего подходит для роли командира. Правда, само это слово уже потеряло первоначальный смысл, истинными командирами были, пожалуй, только кон и Алекс, уже Фреда точнее следовало бы назвать старейшиной коллектива или даже главой семьи. Тем более Свен так и не пришел в себя после свалившейся на них беды. Ему явно не хватало энергии, целеустремленности, умения мыслить масштабами экспедиции. Да и в характере его преобладали созерцательность, какая-то болезненная углубленность в мир незначительных вещей и явлений, стремление чего бы то ни было докопаться до этой никому не нужной сути. Философствования Свена, его житейская неприспособленность раздражали Полину, мешали ей действовать активно. Она старалась помогать ему во всем и по возможности не выказывать своей слабости перед младшими, но Александр и Люсьен уже многое понимали.

И опять время сделало свое: постепенно утихла боль утраченного, и быт, заменяющий на Корабле жизнь, опять привел все в норму. Полина родила дочь, назвав ее в честь бабушки Мар-ий. Материнство смягчило Полину, еще больше привязало к семье, к хозяйству, и она вскоре научилась прощать Свену то, что можно прощать мужу, близкому человеку, но не командиру. Вслед за этим пришла любовь, совсем не похожая на ту первую юношескую влюбленность, — спокойная, глубокая, зрелая. Правда, Полина не знала, полюбил ли ее Свен, и никогда не

спрашивала об этом. Она привыкла думать, что полюбил, хотя он и не забывал Марго. Впрочем, ревность к памяти соперницы давно уже не тревожила Полину.

Она была вполне счастлива; дети росли здоровыми, добрыми, работающими; со Свеном ее связывала все крепнущая взаимная привязанность; и, размечтавшись, она уже видела у своей груди вторую дочь, потому что Кораблю нужна была девочка; и с удовольствием поглядывала на старших — на быстро мужавшего Александра и хорошенькую Люсьен, очаровательно красневшую под его настойчивым взглядом, совсем как Марго краснела когда-то под взглядом Свена. И если иногда ее смущало слишком раннее повзросление детей или слишком перевешивающая чувства рассудочность, то на другой день радовала шаловливость и непосредственность. Ей не раз приходило в голову, что уж им-то, Третьему поколению, нисколько не мешает замкнутость пространства, что они, даже не слышавшие из первых уст рассказов о Земле, воспринимают ограниченный мир Корабля как единственно возможное, данное от природы.

Как, наверное, тосковали по Земле те, Первые! Но уже для нее Земля была полуреальностью, полусном. А Третье поколение — это поколение Корабля, они родились здесь и воспитывались людьми, родившимися здесь. Едва ли они представляют себе Землю как мир, для них она всего лишь планета, подобно тому как звезда, к которой они летят, всего лишь звезда. Точка на карте вселенной, не больше.

Однажды Полина спросила Александра и Люсьен:

— Вам хотелось бы на Землю?

— Н-нет, — замотала головой Люсьен. — Я не знаю, какая она, Земля. Там очень много незнакомых людей, я просто растерялась бы.

Александр, прежде чем ответить, подумал.

— Здесь, на Корабле, наша родина, нам хорошо здесь. А на Землю... Разве что посмотреть одним глазком, какая она. А насовсем — нет!

Полина и пожалела их и позавидовала.

Так они и жили эти последние годы. Все шло хорошо, не чувствовалось никаких признаков надвигающейся катастрофы. Правда, иногда Свен барахлил, но это не в счет, они все барахлили время от времени, инстинктивно возмущаясь размеренным, как тиканье часов, существованием. Все шло хорошо, и вдруг — как гром среди ясного неба.

В чем же дело? Может, Свен возненавидел эти стены, превращающие просторный Корабль в тесную кроличью клетку? Или так и не сумел забыть Марго? Или приревновал к Александру, приняв за ухаживание его сыновнюю нежность и заботливость? Нет, нет, нет, все это не то, совсем не то!..

Она не могла найти оправдания поступку Свена. Найдись оправдание, ей легче было бы понять его, простить, забыть,

ойти в себя и все начать сначала. Должна ведь существовать причина УХОДА, учит история, не мог же человек УЙТИ просто так, из-за каприза, из-за минутной слабости. Если бы он, как настоящий мужчина, УХОДЯ, подумал о ней, о ее терпении, о том, что она должна как-то объяснить его исчезновение детям, — уж он догадался бы оставить хоть записку, хоть какой-то намек, что ли. Но он УШЕЛ молча. Значит, или ему не хватило мужества, или он даже не вспомнил о ней в последние минуты. И не только о ней. Он не вспомнил о грядущих поколениях, о Цели, о долге, а это опять противоречит опыту истории; даже легкомысленная Ева УШЛА, выполнив свой последний долг, родив Марго.

Чем больше рассуждала Полина об УХОДЕ Свена, тем чаще охватывал ее гнев: так поступить мог только человек, превративший Цель Корабля, человек, которому наплевать на все усилия и страдания тех, кто был прежде, на покой и душевное равновесие тех, кто остался и кто придет после. Само право на УХОД, призванное охранять покой Корабля, Свен обратил во вред Кораблю.

Что же ей делать теперь, как вести себя с детьми? Дети, дети... Их трудно воспитать, но проще простого свести на нет труды кропотливой многолетней работы. Одна ошибка — и разом рухнут все моральные устои, необходимые для того, чтобы вырастить самим и вырастить следующее поколение. Если она не сумеет обезвредить дух безразличия к Цели, идущий от поступка Свена, — экспедиция окажется в опасности.

Но думай не думай, терзайся не терзайся, а придется записать в анналах Корабля:

17 октября 2160 года — уход Свена.

ПО СЛЕДАМ СВЕНА

И опять жизнь на Корабле потекла плавно и размеренно. Но теперь это несколько не зависело от Полины. Она механически выполняла свои обязанности, с равной заинтересованностью занималась кухней и научными исследованиями по Основной Программе, задавала корм кроликам и разучивала с детьми Шопена, наблюдала за досугом малышей и часами бесцельно едила за перемигиванием индикаторов на пульте Консультанта, но мысли ее витали далеко от всего этого.

А большое хозяйство Корабля требовало внимания, прилежности, увлеченности.

Еще больше времени и сил отнимали научные наблюдения опыты. Бесчисленные датчики, шкалы, анализаторы, барометры, фотометры, термометры и дозиметры ежеминутно напоминали о себе, призывали к работе. Не только на каждого человека — на каждого кролика и карпа велся специальный журнал, куда регулярно заносились десятки очень важных

цифр. Даже птички, беззаботные лесные пахи считались объектами уникального медико-биологического эксперимента.

В свое время Полина особенно любила копаться в огороде, может быть, потому, что здесь теснее всего переплетались интересы науки с хозяйственными интересами Корабля. Как будут вести себя растения в условиях длительного космического полета, при повышенной радиации, искусственном освещении, искусственном климате? Отныне такой проблемы не существовало: растения-мутанты, растения-гибриды, выведенные Полиной, приносили неслыханный для Земли урожай. Да и вообще гигантская лаборатория, именовавшаяся Кораблем, ежедневно давала ответы на тысячи злободневнейших вопросов, жаль только, что так не скоро получают ученые Земли эти бесценные материалы.

В последнее время много забот взял на себя Александр. Ему приходилось работать и за себя, и за Свена, да и за Полину тоже. Он вел журналы, загружал хлореллой Синтезатор, чистил клетки кроликов и кур, сменил воду в бассейне карпов, часами возился на грядках, вносил удобрения и пересаживал рассаду — словом, тянул за троих, не ведая усталости. И повсюду, как тень, следовала за ним Люсьен.

Однажды Полина сидела на зеленой скамейке в тенистом уголке сада, как всегда, погруженная в свои думы. По ту сторону бассейна Александр, азартно орудуя ножницами, подстригал деревья. Наверное, он не видел ее. Он был слишком занят делом. Внезапно легкие шаги заставили Полину очнуться. За кустами мелькнул желтый комбинезон Люсьен, она оглянулась и прильнула к Александру, обвив руками его шею. Нет, это был совсем не детский поцелуй, в нем чувствовалась женская страсть. Полина, зная об их влюбленности, пожалуй, могла бы предположить и поцелуй, в конце концов Александр уже почти взрослый, да и Люсьен прекрасно развита для своих лет, но такого Полина не ожидала.

Она осторожно покинула сад — они ничего не услышали, а через минуту окликнула из коридора:

— Люсьен! Люсьен, где ты?

И когда Люсьен появилась из-за кустов, сказала строго, но спокойно:

— Девочка, ты увлекаешься! — Она сделала паузу, и опущенные ресницы Люсьен дрогнули. — Нельзя оставлять детей за уроками одних.

Больше Полина ничего не рискнула ей сказать. Сама виновата, что они почувствовали себя чересчур вольно. И вообще, может быть, лучше поговорить с Александром, он парень разумный и достаточно выдержанный.

Вечером к ней подошел Джон, положил на стол карточку с задачей по математике. Вихрастый, бойкий, всегда жизнерадостный, на этот раз он выглядел смущенным.

— Тетя Полина, я решил задачу правильно, только совсем другим способом, я сам придумал другой способ, а Педагог...

В глазах мальчишки стояли слезы: машина-Педагог пробила отверстие в графе «двойка». Полина проверила решение Джона. Оно было остроумнее общепринятого, но давало другой ответ. Задачи могут иметь несколько ответов, это ясно, но ведь и Педагог знает свое дело.

— А почему ты не решал обычным путем, Джон?

— Зачем? Я и без того умею обычным. Я нашел новый. Дядя Свен сказал: настоящий математик, как и настоящий мыслитель, всегда ищет неожиданное решение. Если бы дядя Свен не болел...

Они объяснили малышам, что Свен болен и навещать его нельзя. Когда пройдет какое-то время и образ Свена померкнет в их памяти, придется сказать, что он умер и его уже давно схоронили. Не очень-то педагогично, но другого выхода Полина просто не нашла.

— В этом случае мы можем обойтись и без Свена, — она ласково потрепала Джона по вихрам. — Пусть ваш спор разрешит Консультант — личность достаточно авторитетная и для тебя, и для Педагога.

Джон ухмыльнулся. Его забавляло, когда машины — Консультант, Педагог, Синтезатор — именовались личностью, товарищем или другом. Полина вспомнила, как ее отец, Алекс, всегда, бывало, подходил к Консультанту со словами: «Скажи-ка, дружище, как ты думаешь...»

И, вставляя карточку в приемный блок Консультанта, она тоже спросила:

— Скажи-ка, дружище, как ты думаешь, праз был Педагог, когда поставил двойку нашему Джону?

— Не прав, — немедленно ответил Консультант. — Задача имеет два решения. Но Джон тоже не прав. Он должен был представить Педагогу оба решения.

— Ну вот видишь, мы и разобрались сами, без Свена!

Она еще не закончила фразу, а уже связывала, пыталась связать эти математические упражнения с уходом Свена. Математикой с детьми обычно занимался Свен, он и натолкнул любознательного Джона на путь поиска самостоятельных решений. Вообще поиск новых, зачастую парадоксальных решений был слабостью Свена, он ко всему старался отыскать свой, особый подход. Вот и бесконечные шахматные этюды, над которыми он убивал время, и головоломки, восхищавшие ребятшек... Но нет, разгадка не в этом, где-то рядом. Свен и Джон...

Свен и Джон...

Ах да! Как она могла забыть! Видно, так уж устроена человеческая память: если нечто неприятное кончается плохо — его помнят, а если хорошо... Около месяца назад Джон заболел, у него началась та же болезнь, от которой умер его дед, теперь

уж они знали ее симптомы. Несколько дней Джон пролежал в апатии, внешне он выглядел совершенно здоровым, но не хотел ни шевелиться, ни разговаривать, ни есть. Все они всполошились, надо было срочно предпринимать что-то, тем более с ребенком это случилось впервые, может, ребенка удалось бы спасти. Снова взялась Полина за те же бесконечные анализы, и Свен просиживал с нею ночи напролет. пока не опускались руки. Нет, они ничего не нашли, все было, как и прежде, в пределах предусмотренных норм.

И тогда между Александром, который не отходил от брата, и Свеном, тоже уставшим, издерганным от бессонных ночей над приборами, произошла стычка. Ну не стычка — так, спор. Александр предложил еще раз запросить Консультанта, а Свен разгорячился, накричал на него: Консультант не бог и даже не человек, это всего-навсего под завязку напичканная фактами машина, и если раньше он ничего не мог посоветовать, а его спрашивали уже несколько раз, то смешно думать, что теперь он скажет что-то вразумительное. Но Александр стоял на своем, в конце концов ничего ведь не случится, если они спросят еще раз, а вдруг... Полина понимала его. Джон был братом Александра, младшим братом, почти сыном. И она поддержала Александра, хотя считала, что прав Свен.

— Цирконий, — ответил Консультант так быстро, будто знал это всегда. — Организм нуждается в цирконии, около миллиграмма на человека. Роль циркония в жизнедеятельности еще не установлена учеными. На Земле вода и пища содержат растворимые соединения циркония, на Корабле вода и пища лишены их. Назначаю лечение...

— Почему же, черт побери, ты не сказал этого раньше!? — взорвался Свен.

Конечно, не следовало таким тоном разговаривать с Консультантом, в его схеме было смонтировано нечто вроде примитивного самолюбия, и Консультант, естественно, обиделся.

— Я не бог и даже не человек, я всего-навсего самообучающаяся аналитическая машина, под завязку напичканная фактами, — ответил Консультант со всем доступным ему сарказмом. Это прозвучало уморительно, но никто не рассмеялся из-за серьезности положения. — Когда мне представляют достаточно данных, я делаю выводы. Вам следовало бы знать это, Свен.

Свен ушел, хлопнув дверью, и заперся у себя в каюте.

— Да, странно, — вдруг ни с того ни с сего заметил Александр, когда после нескольких дней лечения Джон начал поправляться. — Странно, что Консультант сообщил свои выводы только теперь. Последние факты он получил после смерти тети Марго, на анализ ему достаточно несколько секунд. Разве он не обязан сообщать важные сведения без нашего запроса?

— Обязан, если это действительно важные сведения. Но тогда никто не болел, и он, вероятно, посчитал, что пока эти сведения никому не нужны.

— Но ведь он должен был предвидеть, что в будущем опять кто-то заболеет, а его могут не спросить...

Полина улыбнулась.

— Ты не учишь, что Консультант всего лишь машина. Он прогнозирует будущее, но не умеет заботиться о нем.

— И все-таки здесь что-то явно не так, — не согласился Александр.

А вскоре об этом случае все забыли, потому что Джон поправился и они знали, что «циркониевая болезнь» никогда больше не повторится.

Все забыли...

Нет, пожалуй, не все забыли. Теперь она вспоминает: не все.

Свен прохандрил несколько дней, а потом у него, как обычно, начался период бурной деятельности. Поздно вечером, когда библиотека пустовала, он подолгу беседовал с Консультантом, причем почему-то не только устно, но и письменно. Толина не обратила на это внимания, она была рада, что Свен так быстро сумел выйти из хандры.

— О чем ты с ним? — спросила она мимоходом.

— Да ни о чем. О чем можно разговаривать с этим тупым рудитом? Просто проверяю систему выхода. Мне показалось, ам что-то не в порядке, он должен был давным-давно сообщить о цирконии.

— Ну и как, нашел неисправность?

— В том-то и загвоздка, что никакой неисправности нет.

— Уж не думаешь ли ты, что он нарочно скрывает от нас то-то? Или хитрит, как хитрят все машины в романах?

— Куда ему! — небрежно махнул рукой Свен.

Тогда она не обратила на это внимания. Но теперь простая оследовательность событий заставила ее вспомнить все подробности, предшествовавшие УХОДУ Свена. После сообщения о цирконии Свен хандрил несколько дней. Потом около недели был бодр и деятелен, но вся его деятельность так или наче связывалась с Консультантом. Потом опять захандрил — уже до самого конца. Неужели Консультант сообщил ему го-нибуть из ряда вон выходящее? Едва ли, Свен всегда от-сился к нему свысока, да и не такому интеллекту, как Кон-ультант, тягаться со Свеном. Тогда в чем же дело? В чем при-ина УХОДА Свена.

Болезнь Джона — сообщение Консультанта — хандра — зседа с Консультантом — убеждение, что он исправен, — юва хандра... и УХОД. Нет, тут явно не хватает какого-то ромежуточного звена. Но какого?.. Какого?!

За обедом маленькая Марта сказала:

— Мапочка, можно, я отнесу папе покушать? Я очень соскучилась без папы.

Джон и Серж вовсю уплетали куриный суп с лапшой, слова Марты пролетели мимо их ушей. Зато Александр и Люсьен застыли с ложками у рта.

— Ты забыла, дочка: когда я ем, я глух и нем, — строго оборвала ее Полина. — К нему нельзя заходить, он болен, и ты можешь заразиться. Я отнесу сама.

— А ты не заразишься, мамочка?

— Я — нет. Большим можно, а маленьким нельзя.

— А когда я вырасту большая, тыпустишь меня к папочке?

— Посмотрим, как будешь вести себя за столом. Кто много болтает, тот вообще никогда не вырастет большой.

После каждого завтрака, обеда и ужина Полина относилась поднос с едой в пустую каюту Свена, а ночью Александр все уносил обратно и выбрасывал в Синтезатор. Это было нелепо, но что поделаешь? Дверь она запирала на ключ. Ей еще предстояло тщательно обследовать все в этой пустой и почему-то пугающей каюте, но она никак не могла заставить себя, и пока все лежало в том беспорядке, как осталось наутро после УХОДА Свена; Александру она строго-настрого наказала ни к чему не притрагиваться.

Наконец Полина решилась. Глубокой ночью она проскользнула в каюту, дважды повернула ключ, подергала дверь и принудила себя сесть в кресло. Клетчатая доска с расставленными шахматными фигурками, трубка, полная пепла, табак в коробке, свет настольной лампы под зеленым абажуром. В воздухе еще сохранился табачный запах. На крючке висел комбинезон Свена — он УШЕЛ в тренировочном костюме. Полина нажала кнопку электрокниги. Что он читал накануне УХОДА? Она пустила микропленку назад: А. Конан-Дойль. «Приключения Шерлока Холмса». Странно! Почти машинально перебрала остальные кассеты с микрокнигами: «Учебник криминалистики», «Ведение следствия», «Логика в алогических процессах», «Шахматные парадоксы», «Логические парадоксы», «Космическое право», «Электротехника». Боже, какой пестрый набор! И это он читал в последние дни, может быть, в последние минуты жизни! Что и говорить, Свен всегда оставался для нее тайной за семью печатями, только она избегала думать об этом.

Что еще? Рабочие башмаки в углу. Короткая изолированная проволока на столе. Отвертка. Зачем ему понадобилась отвертка? Он никогда не увлекался техникой. Что-то, значит, подвигивал. Или отвинчивал?

Полина поднялась, чтобы осмотреть все приборы с винтами и шурупами, нажала кнопку выключателя верхнего света — плафон не загорелся. Совсем странно! Она взяла отвертку —

а пол упало что-то. Винтик. Небольшой винтик. Свен, вероятно, ремонтировал плафон.

Она пододвинула кресло на середину каюты. Точно, в абюре не хватало одного винта. Черт побери, зачем понадобился Свену посреди ночи идти за отверткой и ремонтировать плафон!? Неужели не мог дожждаться утра — ведь настольная лампа горела! И плафон был в порядке, она еще заходила ода накануне вечером и точно помнит, что плафон был в порядке. Непонятно!

Полина отвернула остальные винты, сняла плафон, и, стоио ей подтянуть контакт, трубка мигнула и загорелась. Она лнула трубку, отвинтила все, что можно было отвинтить, и тогда зеркальный рефлектор, вделанный в потолок каюты, друг упал на кресло к ее ногам. Она осмотрела рефлектор — и был насильно выломан из гнезда, по краям его неровно буыл белый окаменевший клей. И что интересно: зеркальный рефлектор оказался прозрачным, совершенно прозрачным. А в толчке, среди тусклого металла перекрытия блеснуло что-то... какое-то круглое застекленное отверстие диаметром с полтиник. Вокруг него виднелись беспомощные царапины от отвертки.

Полина опустилаcь в кресло и закрыла лицо ладонями. Ей стало страшно. Все это проделал и Свен в последнюю ночь. Но как это бессмысленно, нелепо, неразумно! И плафон. И беседы Консультантом. И этот необъяснимый набор книг. И периодическая хандра. Нет, честное слово, можно свихнуться, если повторять все его действия! Так что же ты представлял из себя, вен?

И вдруг она явственно услышала его голос:

— Я не бог и даже не Консультант, я всего-навсего человек, олина!

Она вскрикнула. Ей показалось, он стоит в углу — она отчетливо видела его сквозь пальцы.

— Свен! — простонала она. — Свен!

Он ничего не ответил. Полина собрала все свое мужество, резко встала и оторвала руки от лица. Свена не было. В углу исел его комбинезон.

— Я просто схожу с ума, — сказала она себе. — Он тоже ходил с ума, потому что УШЕЛ. Только сумасшедший может различивать плафоны.

КОНСУЛЬТАЦИИ С КОНСУЛЬТАНТОМ

С нею происходило нечто в высшей степени странное. Она пыталась убедить себя, что УХОД Свена вызван каким-то умственным расстройством, временным помутнением рассудка, и как будто факты подтверждали это, так что, внушала она себе, утра бы успокоиться и поставить точку. Но, с другой стороны,

поведение сумасшедшего лишено всякой логики, а в действиях Свена, безусловно, была своя логика, пусть непонятная, завуалированная, но явно была. И теперь Полину волновал не столько даже УХОД Свена сам по себе, сколько беспричинность, бессмысленность его УХОДА. Стремясь во что бы то ни стало обнаружить эту ускользающую от нее причину, она превратилась в сыщика-любителя, а беда, сама беда превратилась в неотвязную занимательнейшую шараду. Полина вполне сознавала, как все это дико и смешно, однако остановить себя уже не могла.

— Тебе ведь известно назначение каждого винтика на Корабле? — спросила она Консультанта.

— Разумеется.

— Под отражателем плафона в каюте Свена, да и в других тоже есть какие-то застекленные отверстия. Что это?

— Это лампы аварийного освещения, Полина.

— Неправда! Они так же похожи на лампы, как я на господ бога.

Консультант обиделся:

— Ты же знаешь, Полина, я не человек, я машина, а машины не могут говорить неправду.

— Хорошо, тогда растолкуй мне, как убедиться, что это лампы. Как включается аварийное освещение?

— Только автоматически. Блок включения замонтирован в системе управления Кораблем. Чтобы включить аварийное освещение, необходимо повредить Корабль.

— Спасибо за совет. Скажи, пожалуйста, а Свен спрашивал у тебя, что это такое?

— Да.

— И что ты ответил?

— То же, что и тебе.

— А как реагировал на это Свен?

— Он рассмеялся и сказал: «Наивные люди!»

— «Наивные люди»? Кто наивные люди?

— Об этом тебе надо было спросить Свена.

Разговор с Консультантом несколько не успокоил ее: она не верила машине, понимала, что глупо не верить машине, и все же не верила. Теперь она вообще не внимала голосу рассудка. И о ком это сказал Свен: «наивные люди»? О тех, кто вот уже сорок восемь лет жил на Корабле? Или о тех, кто посылал Корабль к звездам и программировал Консультанта? А может, о человечестве, которое создало эти умные машины и доверилось им? Она не получила никаких новых данных, чтобы подозревать Консультанта в неискренности, и все-таки не сомневалась, почти не сомневалась, что на пути к отгадке стоит Консультант. Не случайно ведь накануне УХОДА Свен разговаривал с ним, причем почему-то письменно, и проверял систему выхода, и вообще отношения между ними выглядели напряженными.

«Отношения между ними — надо же додуматься до такой эленицы! Отношения между человеком и машиной. Да какие они могут быть отношения!? Тогда уж будь последователь, Полина, считай Консультанта членом экипажа, корми его, азвлекай — и постарайся влюбить в себя, да, да, непременно поскорее. Но это все шутки. А если всерьез... Как бы узнать од рассуждений Свена, как бы наткнуться на цепочку его зводов, на цепочку, приведшую к двери реактора?»

Она попробовала поставить себя на место Свена, проникнуть-и тем состоянием, в котором находился он последнее время. Перечитывала найденные в его каюте книги, стараясь в них гыскать ответ на мучившие ее вопросы, пыталась решать его юбимые шахматные этюды, рискнула даже закурить трубку — ичто не помогло. Свен УШЕЛ, потому что не захотел лететь звездам. Но почему он не захотел лететь к звездам? Почему менно в эти дни, в этих обстоятельствах решил отказаться от олета?

Если бы она умела рассуждать, как Свен! Но у него была зоеобразная манера мышления, он привык иметь дело с параксами и чувствовал себя в мире загадок как рыба в воде. аверное, он и с Консультантом разговаривал совсем не так, ак она, иначе едва ли Консультант сказал бы что-нибудь сус-ественное. А кстати, проще простого узнать, о чем у них шла эчь.

— Послушай, дружище, мне нужна запись твоей беседы со веном в тот вечер, когда он решил проверить систему выхода.

— Пожалуйста, Полина. Одну секунду. — Индикаторы его игали невинно и доброжелательно, как глаза старой преданной юбаки. Казалось, он вот-вот лизнет руку от избытка предан-ости — Зачем тебе эта запись, Полина?

— Хочу понять, что произошло со Свеном.

— Слушай.

Щелкнуло реле включения оперативной памяти, раздался иакомый иронический голос:

— Как самочувствие, Кладезь Мудрости?

— Все системы функционируют нормально. А ваше настрое-ие, Свен?

— Почему ты упорно называешь меня на «вы»?

— Все-таки вы командир, Свен.

— «Все-таки»! У тебя появляются иезуитские наклонности. вообще ты мне не нравишься последнее время. Финтишь, рат!

— Финтишь? Что значит: финтишь?

— Хитришь.

— Я не умею хитрить, Свен. Это не предусмотрено програм-ой.

— А как же в шахматах? Ведь ты ставишь ловушки?

— Это не хитрость. Это логически обоснованная тактика.

— Так-так-так... Значит, тактика... Давай-ка лучше проверим вместе с тобой блок «Д-018».

— Но он абсолютно исправен. Вы же знаете, Свен, я немедленно сигнализирую о всех неполадках.

— Знаю. И все-таки хочу посмотреть. Может, с твоей точки зрения он исправен, а с моей... Дело в том, что мне не понравился один твой поступок. И если ты считаешь его тоже логически обоснованным, то у нас разная логика. А это весьма тревожно...

«Что же это за поступок, с которого, кажется, все и началось? За него уцепился Свен, за него же надо уцепиться мне, чтобы распутать клубок. Ну что, что, что такого особенного произошло? — пытала себя Полина. — Неужели... цирконий? Кстати, Александр тоже заподозрил тогда неладное, только одна я пропустила все мимо ушей. Итак, в случае с цирконием Свен нашел нечто нелогичное...»

И тут ее ожгла страшная мысль: а если Консультант знал о цирконии всегда, с самого начала? И скрывал от них? А сказал только теперь, когда испугался, что вообще никого не останется на Корабле?! Да нет, это бессмысленно, должна же ведь и у него быть своя логика. «У нас разная логика», — заметил Свен. Что он имел в виду?

Она выдвигала десятки причин, следуя которым Консультант мог бы пойти на обман, и тотчас их отвергала. Допустим, он возомнил себя личностью, допустим, хотя уже это сомнительно само по себе, но зачем ему понадобилось избавляться от людей? Чтобы захватить власть на Корабле? Доказать свое превосходство над человеком? Абсурд, чистейший абсурд, ведь он только Консультант, информационная машина, он никак не связан с управлением.

Но совершенно ясно: так она ничего не добьется. Свену хватило ума, или знаний, или хитрости, чтобы выпытать у Консультанта нечто большее. Значит, она должна найти свой подход к Консультанту. Есть же что-то такое, в чем она, безусловно, сильнее машины. Человек всегда в чем-то сильнее. Но в чем?

«До сих пор мы беседовали с ним на равных, как две машины: прямо, без лукавства, без задней мысли. Во всяком случае. Это относится ко мне. Я ведь, по существу, не столь уж разительно отличаюсь от него, — думала Полина. — Я тоже запрограммирована с детства и не вольна принимать никаких принципиально важных решений, не вольна изменять себя. Но если все же попробовать?»

Этот разговор состоялся ночью, когда дети спали.

— Послушай-ка, дружище, — начала она взволнованно, с дрожью в голосе, и получилось естественно, потому что она в самом деле волновалась. — Мне нужно посоветоваться с тобой.

— Пожалуйста, Полина.

— Нет, ты не понял. Я хочу посоветоваться с тобой не как с машиной, а как с человеком...

— Но ведь я всего-навсего самообучающаяся аналитическая машина, — сразу перескочил он на свой обычный придурковатый тон, однако это не смутило Полину.

— Войди в мое положение. Я осталась одна, совсем одна, а я всего лишь женщина, у меня нет ни воли Джона, ни энергии Алекса, ни ума Свена. Понимаешь, дурной пример заразителен, и я боюсь, все пойдет прахом, если мы хоть как-то не объясним детям малодушный поступок Свена. Посоветуй, что я должна сказать им. На тебя все надежды.

И она очень натурально всплакнула. Консультант ответил не сразу, деликатно выждал, пока она успокоится.

— Какого типа совет нужен тебе, Полина? Ты хотела бы оправдать Свена перед детьми или, наоборот, скомпрометировать?

— А можно скомпрометировать?

— Можно. За Свеном числилось немало грехов, ты знаешь. И я всегда относился к нему не так, как к другим...

— Ты не любил его?

— Пожалуй. Если только это понятие применимо к машине.

— Если говорить совсем откровенно, я еще в детстве не верила, что ты машина. Когда ты играл с нами, и рассказывал сказки, и пел нам про старого капрала, я думала, там, внутри, сидит кто-то, кто-то добрый и чудаковатый. Ты для меня и теперь почти такой же человек, как все остальные. Ведь ты не просто машина, ты способен к самообучению, к самосовершенствованию, разве не могли у тебя за это время возникнуть черты личности?

Консультант быстро-быстро поморгал индикаторами:

— Я ценю твое доброе отношение ко мне, Полина. Я давно приметил его. Ты права, действительно у меня сложились кое-какие черты личности. Но не больше. Все-таки я не человек. И тем не менее я попробую дать тебе совет. Начнем с того, что Свен всегда был настроен скептически...

— Он не верил в Цель?

— Верил. Но сомневался.

— Сомневался в чем?

— В праве Первых решать за последующие поколения. Он считал это аморальным. А Алекс ответил ему... Впрочем, сохранилась запись разговора.

— Запись? Разве ты хранишь записи такой давности?

— Вообще — нет. Я обязан переводить их в долговременную память. Но тогда стирается голос. Поэтому некоторые особенно дорогие для меня разговоры я сберег. Считаю это моим хобби. Работы не так уж много, и, чтобы не скучать, я время от времени перебираю эти записи.

— Любопытно. Где же они у тебя хранятся?

— Я освободил один из блоков для моей маленькой коллекции. Не беспокойся, это нисколько не мешает делу. Особенно

интересны записи Алекса, я любил его, как и ты. Хочешь послушать на досуге?

— С удовольствием. Но пока...

— Да, пожалуйста. Вот разговор Алекса со Свеном.

С в е н. Какое право имели вы решать за других? За меня, например? Может, я вовсе не желаю участвовать в этом головокружительном эксперименте?

А л е к с. Ты на самом деле не желаешь?

С в е н. Я этого не сказал. Но в принципе, в принципе?!

А л е к с. А в принципе это выглядит так. Еще перед стартом нашлись противники полета Корабля. Они предлагали не спешить, осваивать вселенную постепенно, методом ступенчатой экспансии. Но их тезису антигуманности такого полета мы противопоставили право каждого на добровольный сознательный риск, право человека на подвиг. Человечество не может ждать стопроцентных гарантий успеха, оно молодо, дерзко, нетерпеливо, и оно всегда будет рваться вперед невзирая на опасности. В этом и достоинство его, и недостаток. Но таково уж оно есть, человечество Земли!

С в е н. Насколько я понимаю, цель экспедиции — приобретение знаний. Разве хорошо оснащенный автомат не мог бы принести те же знания — или пусть даже несколько меньшие — зато без этого риска, без этого напряжения, без этих страданий?

А л е к с. Вероятно, со временем смог бы. Однако учти, человек так уж устроен, что познание для него — не только средство, но и цель, не только необходимость, но и насущнейшая потребность. Пусть у человека будет все, что душа жаждет, — он все равно с риском для жизни пустится за знаниями на край света, как Одиссей. Так что, не решишь мы отправиться к звездам, через два десятилетия Первыми стали бы вы, ваше поколение. Но человечество потеряло бы двадцать лет, Свен...

Алекс умолк. После короткой паузы вновь заговорил Консультант:

— Вот еще одна запись, Полина, тоже очень характерная для мировоззрения Свена.

Она приготовилась снова погрузиться в прошлое, но тут раздался скрипучий, хриплый, явно искусственный голос:

— Если ты считаешь, что все люди глупы, то, согласишься, глупо и все то, что сделано их руками, следовательно, глуп ты сам...

Грубый машинный голос внезапно оборвался. Изумленная Полина глянула на панель Консультанта: ни один глазок не светился, Консультант точно остолбенел.

— Кто это? Чей это голос?! — Консультант, всегда отвечающий мгновенно, мучительно молчал. — Признавайся же, ну!

— Это... Навигатор.

— Не лги! Навигатор не имеет голоса!

— Я... уступил ему... один из своих блоков.. Нам скучно..

по ночам:.. мы просто болтаем... Не беспокойся... это без ущерба для дела... Он не личность... он просто Разум.

— Но ты не связан с ним.

— Я... использовал... электрокабель.

Вконец расстроенная Полина ушла к себе. Еще не лучше! Надеялась, что Консультант поможет ей разрешить вопрос, а вместо этого к одной несурразице прибавилась другая. Хитрость удалась, Консультант выказал себя, и все-таки она не продвинулась ни на шаг вперед. Этому жалкому слабоумному старикашке, коллекционеру цитат и болтуну, удалось что-то скрыть от нее. Он представлялся ей теперь маленьким бородатым гномом, трясущимся над своими сокровищами — разноцветными морскими камешками. Правда, среди этих камешков затерялась жемчужина...

Что же, что же произошло со Свеном?!

Наутро Полина сменила схему энергоснабжения Навигатора: нечего болтать и упражняться в остроумии, да и вообще так будет надежнее.

Прошло несколько дней. Однажды она проснулась на расвете — почудился отдаленный зов: «Полина, Полина!» Ничего не поняв спросонья, она побежала на голос, она бросилась к нему, к Свену. Он сидел возле Консультанта в рабочем комбинезоне, волосы упали на лоб. Усталый, расстроенный... Она подошла поближе и только хотела коснуться его плеча — он расплылся, нырнул в приемное устройство Консультанта и уже там, внутри, расхохотался:

— Ха-ха! Наивные люди! Ха-ха-ха!

Она дико, по-звериному, закричала.

— В чем дело, Полина? — невозмутимо спросил Консультант.

ГРАНЬ

С этой ночи душевный покой оставил Полину и не возвращался больше ни на минуту. Внешний мир перестал существовать для нее, все представлявшее хоть малейший интерес сосредоточилось внутри. Загадка, которую задал Свен, стала ее навязчивой идеей.

Полина понимала, что пора взять себя в руки, что нельзя распускаться, что психоз совсем выведет ее из строя, а она единственный взрослый человек на Корабле, — но ничего не могла поделать. Она призывала на помощь все свое мужество — это не осталось. Она искала спасение в мысленных беседах с этцом, всегда заряжавших ее энергией, Алекс являлся — и она не находила иной темы для разговора с ним, кроме УХОДА Свена.

Она оказалась обыкновенной слабой женщиной, вовсе не подготовленной к гигантским психологическим перегрузкам Ко-

рабля. Вот Алекс был человеком, способным потягаться с космосом, и Джон, первый командир, был таким человеком, и тетя Этель, железная тетя Этель, которую не согнули никакие беды, никакие перегрузки. А она... Но не все же люди рождаются железными.

Теперь Полина не только разумом — сердцем поняла, как гуманна дверь, ведущая в реактор. Для человека в ее положении УХОД представлялся единственным избавлением. Но Полина гнала прочь эту недостойную мысль: УЙТИ слишком просто, слишком легко, а что будет с теми, кто останется? Что будет с детьми? Смогут ли они продолжить полет к звездам?

Она старалась как можно меньше бывать среди детей, каждую минуту она могла сорваться и надеть глупостей, непоправимых глупостей. Но и одиночество страшило ее, стоило запереться в каюте — мерещился Свен. Порой даже казалось, что он не УШЕЛ, а скрывается где-то на Корабле, бродит неприкаянной тенью, а ночью прокрадывается в ее каюту и призраком стоит у двери.

Так прошло около месяца. Полина чувствовала, что из наставника, из руководителя превращается в обузу экспедиции, попросту мешает. Как смотрят на нее теперь Александр и Люсьен, теперь, когда она, по сути, отступилась от всего, чему учила, что воспитывала в них? От мужества, от выдержки, от борьбы, от стремления все силы отдать достижению Цели? Наверное, им было бы легче без нее. Но ведь они еще совсем дети!

Но нет, они уже не были детьми. Вскоре она убедилась, что обстоятельства сделали их вполне взрослыми.

Ночью к ней зашла Люсьен. Она по глазам видела, что Люсьен только что разговаривала с Александром. Так значит, они встречаются и по ночам...

— Как настроение, тетя Полина? Хандра еще не прошла?

— Не прошла, девочка. Я гоню ее в дверь, а она влезает в окно. Но ты не волнуйся, это пройдет. Все будет в порядке.

— Конечно, все будет в порядке! — с готовностью подхватила Люсьен, и Полина почувствовала, что вовсе они не верят в ее выздоровление. Люсьен мялась, что-то хотела сказать, да не решалась.

«Ну, ну, что они там придумали, о чем сговаривались между поцелуями?»

— Тетя Полина, — начала наконец девушка, — мы с Александром много говорили о вас и пришли к выводу... Чтобы помочь вам избавиться от этого состояния... — Она опустила ресницы. — Вам нужно выйти замуж.

Неожиданно для себя Полина рассмеялась — настолько нелепым было сказанное Люсьен.

— Замуж? Прекрасная мысль, только за кого можно здесь выйти замуж, девочка? За кого ты меня сватаешь? Уж не за Консультанта ли?

— Вы должны стать женой Александра, — побелевшими губами прошептала Люсьен. Глаза ее распахнулись, вспыхнули, словно все еще играл в них отблеск адского пламени реактора. — На Корабле не осталось ни одного взрослого, кроме вас, и, если мы вас не сбережем, нет никакой гарантии... Подумайте, тетя Полина! Мне на всю жизнь запомнились ваши слова: мы живем здесь не для себя, мы живем только ради Цели. Александр почти взрослый, скоро ему исполнится восемнадцать. И, уверяю вас, он уже совсем-совсем настоящий мужчина...

Тут она осеклась и залилась краской. Полина нежно обняла это наивное, доверчивое существо.

— А как же ты, девочка?

Оказывается, они уже все рассчитали:

— Я выйду за Джона, тогда и у Сержа будет жена — Марта. Видите, как здорово все получается.

— Я не об этом. Ведь ты любишь Александра?

— Да, но...

— И он тебя любит? — Люсьен молча потупилась. — Зачем же такие жертвы, девочка? Ради Цели? Но полет только начинается, Цель далека. Мы должны просто жить, хорошо и по возможности счастливо жить, чтобы дать жизнь другим, вот чего требует Цель. Так зачем это, девочка?

— Мы должны спасти вас, тетя Полина! — И слезы покапались по щекам Люсьен.

— Не от чего меня спасать, тем более таким путем. Болезнь моя действительно неприятная и, видимо, серьезная, но я надеюсь выкарабкаться. А если нет... если со мной случится что-нибудь, что ж, все мы смертны. Бессмертных нет. Но жизнь продолжается. И со временем другая Полина появится на Корабле, может быть, твоя с Александром дочь. Вы уже не дети. Вы взрослые люди. И Александр хоть сегодня может стать командиром. Во всяком случае, не хуже, чем был Свен. Я думаю, вы и без меня управились бы с Кораблем. Единственное, что меня смущает: роды. Кто примет у тебя роды? Консультант все знает, но у него нет рук. У Александра есть руки, но он тебя любит, а влюбленные не годятся в повитухи. Однако и это не проблема. Все будет хорошо, девочка. Иди. Иди к своему Александру, успокой его. Только не торопите время, прошу вас, не торопите время, ваш час еще не настал...

— Да, я знаю, — сказала Люсьен, прямо глянув в глаза Полине. — Мы оба знаем. Спокойной ночи!

«И она уже совсем взрослая», — подумала Полина.

Несколько дней ей было как будто бы лучше, приободрил ночной разговор с Люсьен, а может, просто перестала мучить совесть, укорять невыполненным долгом. Теперь Полина верила, что на худой конец они обойдутся и без нее.

Потом все началось сначала. Явился Свен, показывал на нее пальцем и смеялся: «Наивные люди! Вы все — наивные люди!»

Она хотела схватить его за руку, чтобы выпытать наконец, кто же наивные люди, но Свен бросился бежать. Она помчалась за ним... по коридору... через сад... через кухню::

Ее остановил Александр:

— Тетя Полина! Что с вами, куда вы?

Она онемела, она сразу забыла, что гналась за Свеном.

— Да, куда же я бегу? Хотела сделать что-то важное... Не помню...

На Александра страшно было смотреть — перепугался парень. Так она их всех сведет с ума.

— Ах да! Я решила размяться.

Кое-как добралась до своей каюты, подошла к зеркалу. По ту сторону стекла стояла старуха с растрепанными полуседыми космами, с безумными, без единого проблеска мысли глазами.

Полина так и не поняла, что это за женщина.

А назавтра совсем сорвалась. Безучастная, равнодушная ко всему, сидела за обеденным столом, механически жевала и глотала что-то. Маленькая Марта, испуганная поведением матери, должно быть, вовсе потеряла аппетит.

— Марта, не кроши хлеб на пол, — строго заметила Люсьен, ставшая хозяйкой за столом. Но Марта не послушалась. — Я кому сказала! — прикрикнула Люсьен.

И тут Марта заплакала. Она рыдала, все ее крошечное тельце сотрясало от рыданий, вздрагивающие кулачки размазывали слезы по лицу. Жалость к дочери неожиданно резанула Полину.

— Как ты разговариваешь с ребенком, дрянная девчонка! Что ты из себя возомнила!

Она подняла руку — перед нею была не Люсьен, перед нею была Марго, смазливая самовлюбленная Марго, отобравшая у нее Свена. Разом вскипела в Полине былая ревность, вспомнились забытая любовь и слезы, пролитые на зеленой скамейке. Сейчас она оплатит ей за все, за все, за все...

И она изо всей силы ударила Люсьен по щеке.

Пять пар недвижных глаз остановились на Полине.

Полина ушла к себе, заперлась на ключ. Только мгновение мучил ее стыд, потом она подумала, впадая не то в сон, не то в забывчивость: «А ведь я могла бы и убить ее. Бедная, бедная доченька! Марта моя, крошка! Сирота...»

Ночью Полина встала и на цыпочках прокралась мимо сада, мимо кухни, мимо фермы, прошла склады и машинное отделение. Вот и заветная дверь. Полина глянула за стекло. Адский пламень бушевал по-прежнему, но теперь он не пугал ее. Там ждал покой. Покой для себя и для других.

Ее палец уже стоял в гнезде диска, когда она вспомнила, что даже не оставила записки. Совсем как Свен. Ну да они поймут. С Корабля можно уйти только в эту дверь. Другого выхода нет.

И еще она успела подумать, когда дверь в реактор уже открылась, что поступила правильно. Все мы живем здесь не ради себя. Уйдя, она поможет другим достичь звезд. Иного смысла не было в ее жизни, такой длинной...

И такой короткой.

Толстая стальная дверь навсегда захлопнулась за нею.

ФИНИШ

На секунду она застыла у двери, недоумевая: где же адское пламя, пугавшее ее через стекло? Помещение, в которое она топала, даже отдаленно не напоминало реактор. Это был коридор, обыкновенный коридор, когда-то давно выбеленный известкой, и штукатурка на стенах кое-где потрескалась. Но только коридор не наклонный, а прямой. И вел он... в сторону от Корабля.

Она приготовилась к мгновенной смерти, а вместо этого перед нею тянулся коридор — бесконечная цепочка редких матовых ламп, конец которой терялся в полумраке. И она пошла этим коридором, еще ничего не сознавая: почему, откуда он здесь взялся?

Всюду трезвонили звонки, наверное, с десятков разноголосых звонков. Похоже, они вызывали тревогу.

И вдруг из бокового прохода выскочил человек в белом халате и бросился к ней. Тревожный взгляд. Белая шапочка. Доктор.

— Пожалуйста, не пугайтесь, Полина, — проговорил он зволнованно. — Пойдемте сюда, сейчас вы все поймете. — И он бережно, как тяжело больную, готовую упасть, поддержал ее под руку.

Навстречу спешили другие люди, мужчины и женщины в белых халатах.

«Невероятно, — подумала Полина. — Невероятно. Но где же реактор? Реактор...»

* * *

Прошло сколько-то времени — она отчетливо представляла себе это, — прежде чем сознание вновь вернулось к ней.

В соседней комнате чей-то резкий голос обличал кого-то:

— Жестоко? Вы говорите: жестоко было оставить их на произвол судьбы? Вы говорите: они не виноваты в просчете с цирконием? А нарушить чистоту многолетнего и дорого стоящего медико-биологического эксперимента из жалости, из сопливого сострадания — это, по-вашему, гуманно? Вот к чему привела ваша «гуманность»!

— Позвольте, позвольте, а телекамеры? Ведь это не наша,

как вы изволили выразиться, «гуманность», это было задумано с самого начала...

«О чем они? — подумала Полина. — И надо же людям спотыкаться из-за пустяков, когда такой покой вокруг, такое блаженство! И так хочется спать...»

* * *

Свен был совсем седой, постаревший на десять лет, но бодрый, добродушный, чуточку ироничный.

Они сидели в круглом зале возле пульта дежурного оператора. На шести маленьких экранчиках перед оператором проплывала далекая жизнь Корабля. Большой экран посреди зала дублировал любой из маленьких. Сейчас на нем трудно задумался о чем-то Александр.

Свен положил руку ей на плечо.

— И ты не поняла сразу, что значат эти объективы? Эх, Полина, Полина, наивный ты человек! Как только они ввели в машину дополнительную информацию о циркони, я тут же сообразил, что за штучка наш Корабль. А если так — нерасчетливо было бы не наблюдать за экспериментом. И тогда я нашел передающие телекамеры. Притворяться дальше было бессмысленно, я находился «вне игры» — и я вышел из игры.

— Так значит, это была игра?.. Вся жизнь — игра?! Телевизионное представление?!

Оператор переключился на другую камеру. В каюте Полины появилась маленькая Марта. Она остановилась у двери, недоуменно огляделась — и бросилась на койку Полины, обхватила подушку, плечи ее дрогнули и затряслись.

Полина вскочила.

— Я вернусь туда!

— Это невозможно, — устало напомнил Свен. — Эксперимент продолжается. И это действительно очень важный эксперимент. Без него немыслима звездная экспедиция. Настоящая...

— Нет, Свен, мы должны вернуться! Мы оставили их одних среди звезд, детей...

— О чем ты? Какие звезды? Они же здесь, на Земле, в трех шагах от нас!

— Нет, они летят среди звезд. Они верят в это, Свен!

— Да, пожалуй. Ты права, Полина. Они летят среди звезд. И они долетят. Но нам нет возвращения. Неужели ты хочешь отнять у них эту веру?

— Тогда... тогда мы выпустим их оттуда. Не держи меня, Свен. Не держите меня! Там же люди, люди... Вы не смеете! Я разнесу все ваши стальные двери... вот этими руками!

К ним подошел согбенный годами седой старик, похожий на кого-то очень, очень знакомого.

— Бедняжка, — сказал он Свену. — По себе знаю, теперь
, надолго...

— А вот и дядя Рудольф. Познакомься, Полина.

Она глянула на него, как на выходца с того света.

— Ну, с возвращением? — грустно улыбнулся старик. —
возвращением со звезд, Полина!

* * *

Под куполом рубки, взявшись за руки и смело глядя впе-
д, на звезды, стояли Александр и Люсьен.

КОСМИЧЕСКИЙ БЛЮСТИТЕЛЬ

КРАСНЫЙ ЯЩИК

Шел дождь. Капли в слепящей голубизне прожекторов казались летящими вверх.

Будто густые рои варабусов.

А их-то на площадке и не было. Ослепительный свет отбросил ночную жизнь Люцифера в темноту, что так густо легла вокруг.

Дождь лил. Вода текла на бетон, был слышен ее громкий плеск. Я наблюдал, как грузят шлюпку.

Первым принесли Красный Ящик.

Я сказал формулу отречения, снял Знак и положил его в Ящик, тот мгновенно захлопнулся И тотчас же около него стали два человека. Подошел коммодор, приложил руку к шлему, а те, двое, нагнулись, взяли Ящик и понесли к трапу.

Вдоль их пути стал, вытянувшись, экипаж ракетной шлюпки.

Вода стекала с шлема коммодора, бежала по его лицу. Вода блестела на костюмах экипажа, на их руках, лицах.

Голубой блеск воды, сияние, брызги, искры...

Прожекторы лили свет, людей на площадке было много. Но никто не смотрел на меня, хотя всего несколько минут назад я был Звездным Аргусом, Судьей, и имел власть приказывать Тиму, этим людям, коммодору «Персея». Всем!

Еще несколько минут назад я был частью Закона Космоса, его руками, глазами, оружием. И вот пустота, ненужность. И показалось — был сон. Сейчас Тим хлопнет меня по плечу, я проснусь и увижу солнце в решетке жалюзи. Квик подойдет ко мне и станет лизаться.

Но это не был сон, люди еще не смели глядеть мне в глаза. Я был стоглазым, недремлющим Аргусом в их памяти.

Был! Все ушло...

Жизнь моя — прошлая — где она? Где ласковая Квик? Мудрый Глен? Где я сам, но только бывший?..

Они ушли — Глен, Квик, я — ушли и больше не вернутся сюда.

Ничто не возвращается из прошлого.

...Ящик унесли. На это смотрел Тим, глядели колонисты. Большие глаза Штохла следили за Ящиком. И хотя я не видел его рук, спрятанных за спину, я знал — на них наложена цепь.

Ящик унесли, коммодор обернулся и с сердитым лицом отдал мне честь. Махнул рукой. И тотчас другие двое увели тохла. И за ним, уже сами, пошли переселенцы.

Они поднимались по скрипящему трапу, понурые и мокрые дождя. Входили молча. На время установилась тишина. Их водяной плеск. И я услышал далекий вой загравов, тяжелые шаги моута (он топтался вокруг площадки, время от времени скрипело дерево, о которое он чесался). Снова вой, ова тяжелые шаги. И чернота ночи, хищной и страшной ночи оцифера. От нее отгораживали нас только столбы голубого эта. Но сейчас ракета взлетит, огни погаснут, будет ночь, рах, одиночество...

Будут Тим и его собаки.

Погрузили ящики с коллекциями Тима — сто двадцать три. Сдвинули трап. Старт-площадка опустела.

С грохотом прихлопнулся люк. Налившаяся на него вода еснулась на мои ноги. Сейчас они улетят, Аргусы улетят в смос. А я остаюсь один, сколько бы Тимов и собак вокруг меня ни было.

Улетают — а я остаюсь, брошенный, несчастный, одинокий Аргус! Это обожгло меня. Я рванулся к люку.

Я подбежал и, не достав, ударил кулаком по маслянистому костылю, на который опиралась шлюпка. Ударил и эмнился от боли, вытер испачканный кулак о штаны. Отступил назад. Тут-то меня и схватил Тим. Он держал меня за руки и тянул к краю площадки.

Я — пошел.

За нами двинулись собаки.

Мы сошли вниз с площадки — теперь на ней стояла только кета. На носу ее, метрах в двадцати пяти или тридцати над млей, горела старт-лампа. Красные отблески ее стекали с рапы в водяных струях.

Завыли стартеры. Их вой был пронзителен и тосклив. Стояная ракетная лодка выла и стонала, стонала, стонала. Такого переизбытка тоски даже я не смог бы вместить в себя.

Ракета стояла среди голубых столбов света, стонала и выла. Казалось, она звала кого-то, звала подругу, чтобы только не быть одной.

Люцифер стих перед этим железным воем: никто здесь не мог тосковать и кричать так страшно. И я впервые думал о галле с состраданием, как о живом.

Боль и усталость металла. Я понял их. Я вспомнил железные скрипы перегруженных ракет, плач металла под прессом, скрипы конструкций.

Разве боль не может обжигать молекулы самого прочного галла?

«А ну кончай жалобы, ударь кулаком!.. Грохни!» — призывал я ракете.

Включили двигатели. Люцифер затрясся под нашими ногами от их работы.

Собаки прижались к нам.

Шлюпка выпустила раскаленные газы. На их белом и широком столбе она приподнялась и неохотно, туго вошла в воздух.

Замерла, повиснув, словно раздумывая, лететь или остаться. И вдруг рванулась и унеслась. А мы остались внизу, опаленные сухим жаром.

Мох, сумевший вырасти среди плит старт-площадки, горел.

Грохот шлюпки умирал в небе. Теперь ей надо идти на орбиту к шлюзам «Персея». Там будет их встреча, там кончится ее одиночество. А мое?

Я долго ничего не слышал, кроме застрявшего в ушах грохота. Наконец стали пробиваться обычные звуки: рев моута, лязг панцирей собак, крики ночников.

Испустив крик, они притаивались, проверяли, нет ли опасности.

Я услышал дождь, вдруг припустивший. Прожекторы гасли один за другим. Ударил хор ночников.

Они пели, свистели, орали, били себя в щеки, словно в барабаны.

Звуки нарастали, становились нестерпимыми для слуха ультразвуками.

Я зажал уши. Собаки рычали. Тим выругался и выстрелил вверх. От вспышки и грохота выстрела ночники притихли.

— У меня что-то с нервами, — сказал мне Тим и лязгнул затвором ружья.

— Пойдем домой, — предложил я. — Что-то я устал.

— Еще бы не устать, — сказал Тим. — Ого! Теперь с месяц ты будешь как вареный. Ног не потянешь. Еще бы, могу себе представить. Конечно, устал. Здравствуй, красавец!

Он включил настольный фонарь. Свет его уперся в морду моута.

Тот стоял, положив ее на тропу и раскрыв пасть, широкую, как ворота. Его глаза были склеротически красные, подглазья обвисли большими мешками и подергивались, слизистая рта белесая и складчатая.

По коже его ползали белые ночники. Тогда я включил свет вдоль дороги от старт-площадки к дому. Посаженные тесно, как грибы, вспыхнули лампы. Ярко. Моут шарахнулся. В темноте затрещало сломленное им дерево и стало медленно падать. Вот ударилось, захрустело ветками, легло...

Теперь мы могли безопасно идти световым коридором.

Мы пошли. Собаки громыхали в своих скелетного типа панцирях. Псы были чертовски сильны мускулами этих аппаратов.

Пока шли, стих дождь, а небо прояснилось. В разрывах ч выступили звезды. Где-то среди их мерцания был «Перей». Шлюпка, наверное, уже в шлюзах звездолета. Должно лть, сначала из нее вышел угрюмый коммодор, затем вынесли ласный Ящик и вывели Штохла.

За ним шли неудачливые колонисты — с чемоданами и ертками в руках.

Их скоро высадят на материнской планете и будут прези-ть до конца их серой, ненужной жизни. А Люцифер станет дать следующих колонистов еще несколько месяцев, лет или сколько десятков лет.

...Тим и собаки ушли в дом. Я остался во дворе. Я стоял, кал «Персея». Еще час назад, Аргусом, я свободно видел его. перь не могу. А с колонией покончено, это ясно: мало людей здешнем секторе... Где же звездолет? Где?

И я увидел его.

Небо — ударом! — заполнила световая вспышка. На Лю-фер легли глубокие дрожащие тени — двигатели «Персея» ботали. Звезды исчезли, в небе горело новое солнце.

Тени сдвинулись, и я понял — звездолет летит. Он унесет другой сектор переселенцев и Штохла.

Видя движение этого солнца, я гордился.

Мы, люди, удивляли себя своей мощью.

Мы смогли сработать «Персей» и создать Закон Космоса. Кто нам мог препятствовать? Только мы сами.

За «Персеем» расходился светящийся конус. Пять дней — ты лет моей жизни уносится со звездолетом — меньше не-ли назад Красный Ящик прибыл сюда на ракете «Фрам».

Да, около шести дней назад капитан Шустов с двумя людь- : вынес из ракетной шлюпки и поставил Ящик с регалиями оружием Аргуса на площадку. И встал рядом, широко рас-авив ноги, держа руку у шлема. Его люди с угрюмым любо-тством смотрели на нас.

Мы с Тимом встречали их. Пахло гарью. На боках шлюп-были вмятины, люди имели усталый вид. Я глядел на них, ботяг Космоса, глядел на Красный Ящик. И ощущал не-льную дрожь.

Это был восторг первой встречи, свидания, не знаю че-еще.

Тим — сумасшедший работник. Ночь, а он сидел и рабо-л. Писал.

Очки он где-то потерял и писал, водя носом по бумаге, об-тая ее бородой.

Работал жирным карандашом и выводил крупные буквы, збы видеть их свободно. Потом он станет читать свои замет-пишмашинке, дополняя их по ходу чтения подробностями

и соображениями. Пусть! Я принял душ, переоделся, лег. И тут же поднялся — лежать было нестерпимо.

Я ходил и пытался освоиться с положением. Я хотел вернуться в прежнюю свою жизнь и не мог. Словно бы утерять ключ и стоял, уткнув нос в белую дверь, крепко запертую от меня.

Дверь твердая и холодная.

Кто поможет мне выйти? Тим? Ники?

Он стоял рядом — многолапый робот, мой покровитель и друг. Моргая огнями индикаторов, Ники улавливал мою смуту.

— Хочу стать прежним, стать прежним, — твердил я.

Но где-то глубоко в себе я был Аргусом и Судьей, преследовал Зло и размышлял о нем, холодел от негодования.

— Хочешь есть? — спросил Тим и ответил: — Конечно, хочешь.

Он поднялся, стал готовить еду (и диктовал машинке).

Он ходил между столами и плитой, диктовал. В то же время готовил ужин: налил воды в чайник и поставил на огонь, вынул из холодильника два куска мяса и бросил их на сковородку. Но теперь эта готовка на ощупь не смешила меня, как раньше.

Я ходил мимо полок со строем банок. В них биообразцы. Я помогал собирать их, рискуя собой. Но какая это, по сути, мелочь.

Тим диктовал:

— «...Отмечается появление биомассы типа С № 13 (неоформленной, подвижной). Изменения в ней вызваны, по-видимому, передачей генетической информации от уже оформленных объектов. Отмечаю также бурное образование химер. Интенсивность биожизни этой планеты не сбалансирована, и биомасса производится в чрезмерном изобилии. Я мог бы сказать при наличии демиурга (он подмигнул бумаге), что данное божество впало в творческое неистовство....» Какой бы ты хотел соус?

— Все равно.

— Тогда белый... «Мы сможем оказывать на биомассу типа № 13 направленное воздействие. Применяя гамма-излучение и препараты Д-классов, сможем вызвать нужный нам эволюционный параллакс планеты. Но лучше использовать Люцифер как склад генетических резервов. Также намечается решение вопроса антигравитации...»

Сковородка трещала, он топтался и бормотал. Собаки, положив головы на лапы, смотрели на меня своими прекрасными золотыми глазами. Доги-мутанты, огромные черные псы. Взгляд их спокойный. У них желтые брови и морды, ласковые глаза, мощные лапы.

Я почмокал — они вильнули хвостами. Я подошел к зеркалу и стал искать в себе признаки Аргуса — уширенный лоб, блед-

сть кожи и невыносимый блеск глаз. Но мог отметить только ю чрезвычайную худобу. Кожа лица воспалена, глаза — талы. И Тим выглядит плохо, и собаки — кожа да кости.

Вот три их опустевшие лежанки.

Досталось нам всем, крепко досталось.

Проклятый Штохл!

Я кривляюсь у зеркала, пытаюсь вернуть прежний блеск аз. И вижу, я постарел. У глаз легли морщины. Они узкие, к волос, морщинки всезнания. Губы... Здесь еще жесткая и рьякая складка Судьи. И сознание — я прикоснулся к чему-огромному. словно летал без мотора или вспрыгнул на пик проганова.

Тим диктовал:

— «...Планета требует ученых типа классификатора. Для орца Глена время еще не пришло. Законом нашей боты...»

Я же думал: «Братья Аргусы, Звездные Судьи... Сколько емени еще я мог быть с вами? День? Неделю?..»

И сейчас объем знаний Аргусов разламывал мою голову. иание гложет и грызет мозг... Забудется ли оно?.. Войдет в ня прежний мир? Зачем я согласился?

Но те, кого выбрали Аргусы, не могли отказаться. Такого учая не было, Аргусы его не знали. Иначе они бы сказали те. Да и не отказался бы я даже сейчас, все зная.

— «...И запальные в смысле генетики организмы». Готово, дись!

Тимофей снял сковородку, понес к столу и поставил ее на маги. И я ощутил в себе сильно изголодавшегося человека. не хотелось есть сокрушительно много. Тим ставил тарелки, изливал чай в большие чашки.

По обыкновению Тим, жуя, запихивал себе в рот огромные ски. Подошли собаки, положили тяжелые морды на край сто. Тим бросал им то кусочки мяса, то обмакнутый в под-ивку хлеб.

А похудели, бедняги. Все. Тим отощал, у собак до смеш-го заострились носы. Они плоские, словно долго лежали под таническим прессом.

— Ты понимаешь, — говорил, жуя и давясь, Тимофей. — ы с тобой уникальные люди. Я имею честь быть универсалом: таником, зоологом, дендрологом, чертезнаетчемологом. Ты за-сался в Аргусы благодаря этой каналье. Силен мужик... Нам тобой, по сути дела, надо писать мемуары.

Он захохотал, взял горсть сахара, повелел: «Терпеть!» и ложил на носы собак по кусочку.

Те, скосившись на сахар, недвижно и серьезно ждали раз-шения съесть его.

— То, к чему ты прикоснулся, — втолковывал Тим, — ромно. Аргус?.. Подумай сам, сколько бы ты мог еще быть

им без опасности смерти? Неделя? Думаю, три дня. А там истощение протеинов, анорексия и... Хоп! (Собаки подкинули и схватили кусочки). Летальный исход. Но ты должен хранить память о прикосновении к чему-то титаническому. Да, именно титаническому. И у меня такое бывает, когда я в одиночестве обзираю здание науки. (Он покраснел.) Ощущение, что я коснулся огромного, что лезу на снежный пик. Слушай, может, нам махнуть на Север, освежиться и поохотиться? Все же полюс, снега, мохнатое зверье.

— Посмотрим, — сказал я, думая, отчего он повторяет мои соображения. А звучало бы: «Воспоминания Аргуса-12». Вспомним, вспомним. Итак, прилетел «Фрам», абсолютно неожиданный. Он скинул на Люцифер ракетную шлюпку.

Аппаратура наша разладилась в грозу, мы не приняли сигналов и копошились во дворе.

Был ясный день, Люцифер просматривался на большое расстояние. И вдруг из солнечной голубизны упало, гремя и пуская дым, длинное тело.

Люди! Ракета!

Мы с Тимом (и собаками) лупили к площадке во весь дух. Одеться толком не успели, бежали налегке. Затем капитан Шустов, Ящик из красной тисненой кожи. Обряд Посвящения и все остальное.

Я — АРГУС

Аргусы говорили — Обряд возник давно. Они утверждали — начало его теряется во времени. Я же знаю — и Обряд и Аргусов родили достижения техники и изобретательность сильных человеческих умов.

Смысл Обряда был велик. Среди чужих солнц в пору редкого движения ракет (путь их рассчитывался по секундам) правосудие обездвижело, а Закон изменился. Преступлением против Закона Космоса были и редчайшие отказы в помощи одних людей другим, когда жизнь и тех и других балансировала на острие и приходил соблазн сохранить одну жизнь за счет другой.

Нарушением (и преступлением) Закона становилось угнетение инициативы — ею двигалось освоение планет.

Непрощаемым Преступлением считалось то, когда в страхе или гордыне человек сметал чуждую биофизику с открытой планеты и творил новую — из машин и железа. Расследовали и катастрофы. Аргусы нашли утерянный звездолет «Эврипид», они разыскали исчезнувшую экспедицию Крона. Последнее было особенно трудным, в том секторе нашлась только малая спасательная ракета. Но Аргус, служитель Закона, рискнул собой и сделал нужное.

Исполнение Закона поручалось человеку, который был на

же самой планете (или в том звездном секторе), где случилось Зло. Это обычно был человек бесхитростный и полный пожелательности. Другого бы и не пустили к Силам, поданным Звездным Аргусам.

Человек этот иногда сталкивался с космически сильным м. Пример с Генри-финном, сошедшим с ума и единолично аттествовавшим в секторе 1291 «А».

Необходимость родила необычайные изобретения. Пример их, любой человек мог бороться со Злом, каким бы оно было сильным, — остальные люди занимались неотложной отой.

Ящик красной тисненой кожи вмещал в себя все необходимо. Его везли туда, где случалось Зло. Но легенды говорят — и сам перемещался в пространстве.

..Тот, на кого падал выбор, становился Судьей и Аргусом. преследовал Зло, побеждал его, судил и карал.

Иногда Аргус погибал, но Закон шел твердым и четким шагом по этим безлюдным планетам. И мне тоже хотелось идти, тут и торжествовать. («Меня, бери меня», — подсказывал расному Ящику.)

Ящик поставили. Шустов снял шлем и вытер лоб. Лицо было озабоченным.

— Слушай, Иван, — спросил Тим, — зачем эта штука? Что нилось? На планете нас только двое.

Шустов помолчал.

— Ну и жара тут у вас, ребята, — сказал он. — Как вы не сварились? Душно, сероводородом тянет. Ад! Я, собственно, везу сыворотку на Секаус. да какой-то дурак убил зь человека, вот и нагрузили. А он все тебе сам скажет, як-то. Такие дела, Тимофей.

И повернулся ко мне.

— Э! Я тебя узнал! Ты же Краснов. А, Тимофей, чудеса с ми погибшими? То и дело их встречаешь живыми (а я и на ом деле был мертв, но стал жив).

— Ребята! Положите руку на эту штуковину. Быстрее, трее, я спешу. Если, конечно, согласны стать Аргусом, ьей и так далее, и восстановить справедливость.

Я шагнул вперед и положил дрожащую руку.

— Согласен.

И Тим шагнул, положил руку.

Красный Ящик спросил ровным голосом автомата:

— Георгий Краснов, вы согласны выполнять Закон, требов зь выполнение Закона, преследовать нарушившего Закон?

— Согласен! (Я ощутил нарастающую теплоту в крышке яка.)

— Георгий Краснов, я обязан предупредить об опасности — по коэффициенту Лежова заплатите годами жизни за дни оты.

— Согласен.

— Вы знаете мифическое значение Аргуса? Недремлющего? Стоглазого?

— Да!

Автомат сказал:

— Тогда вы Судья, вы — Звездный Аргус номер двенадцать. Я сказал:

— Да, это я.

Он сказал:

— Я передам вам Знание Аргусов.

И, хотя из ракетной шлюпки Ящик с трудом вынесли двое, я взял его на руки.

Я отнес его в сторону, под куст коралловика, открыл и вынул регалии Звездного Аргуса. Я надел его бронежилет и белый шлем, повесил Знак — пятилучевую звезду. И тотчас капитан, козырнув мне, заторопился по трапу.

Люди его спешили, оглядываясь на меня. Их словно сдул ветер. Я и сам ощутил его: потянуло холодом, прошумело в деревьях. Вот и друг Тим отвернулся, а собаки прижались к нему. Ибо во мне уже была сила Закона и не было в Космосе власти, равной моей.

Само небо открылось мне. Я все видел.

Сквозь густоту дневного воздуха я увидел созвездия, облака звезд.

Они горели грозно.

Я видел (еще не веря себе), что приближался, идя мимо, звездолет «Персей». Сообразил — он будет нужен. Да, нужен. Я приказал. И ощутил, как он, громадный, оборвал свой полет и пошел сюда.

Я знал (еще не веря себе) — он будет через пять дней, там рассчитывают режим торможения.

Я сделал это, я могу... все. А что это «все»?..

Я могу останавливать ракеты, ломать злую волю и видеть человека насквозь.

Я увидел тебя, Штохл. Ты принес Зло на планету. Побегись!

...Голове моей было жарко в тяжелом шлеме. Бронежилет широкват. И к лучшему — климат здесь тропический. Пистолет неудобно тяжел и велик. При каждом шаге он ударял меня по бедру.

Проводив шлюпку, мы с Тимом ушли домой. Я до вечера возился с привычными делами: проявление фото и ремонт сетки. Но все вокруг меня странно уменьшилось.

Двор... Я всегда находил его достаточным для вечерней прогулки — теперь он стал тесен. И весь вечер я ходил, я топтался в нем по мере ускорения своих мыслей. Стемнело... Выглянул Тимофей, пожал плечами, закрыл дверь. Вышел Бэк, робко прополз и у мачты справил малую нужду. Высоко, будто

ы, летела стая фосфорических медуз. На сетку, булькая юм, ползли ночники. Но их крики стали тихими — звуки цифера были ничтожно слабы в сравнении с гремевшими мне Голосами. Я стал Аргусом, все прежние люди, прежние усы говорили со мной, передавая мне Знание.

С ними я пробежал историю Человека, вылезшего в виде рицы из Океана и в мучительных трудах создавшего Об-тво, Закон, Науку и Ракету.

Ее скажу, чтобы Знание Аргусов дало мне счастье. Наобо-во мне поселилось беспокойство. Вот в чем сила Аргусов: стало двенадцать, опытных, решительных людей — во мне юм.

..Мы знакомились, мы говорили друг с другом.

Их голоса вошли в меня сначала как шорох, тень моих мыс-«Я — Аргус, — думал я. — Как странно».

— Еще не стал, — шепчет один. — Не стал...

— Ты будешь им, — сказал второй.

— Ты Аргус... Аргус... Аргус, — заговорили они, вся их ющая толпа. Голоса росли. Громом они прокатывались во оглушая... Аргусы говорили со мной.

ргус-9 говорил, что я все, все узнаю о человеке, Аргус-7 лагал рассказать мне о мирах. Они твердили советы — ые.

Если ты хочешь пользоваться пистолетом, двинь красную ку, что на его рукояти»... Говорят о том, что, получив Си-ргусов, ее надо расхोждать бережно, будучи сильным, на-еречь, а не ломать волю человека.

ргус-11 твердил мне об истине. Аргус-10 о нас самих: «Мы друзья, все судьи...» И кстати, напомнил о том, что Закон т исключение.

— Я Аргус-1, — говорил чуть хриплый голос. — Я был . тогда мы еще не имели бронежилета. Тебе расскажут, . о его свойствах. Я же стану говорить о Законе.

В эти часы я прожил одиннадцать жизней, взял их опыт бя. Я постарел в тот вечер, побелели мои волосы. Но на вопрос они не ответили. Не пожелали.

ткуда брался страх, рождаемый мной? Я предельно добр. это? Отзвук силы? Могуущества? Излучение? Или еще од-орона доброты?

аши огромные собаки, нападавшие и на моутов, боялись . А я так люблю их. Вот! Вот они заскулили, пробуют затыгивая хором, глубокими, плачущими голосами. Тим на них:

— Да успокойтесь вы!

думает: «Я слышал, слышал об этой проклятой способ-, но не верил. Как изобретатели смогли увязать телепа-и гипноз с такими новинками, как его жилет и каска? стигаю».

В воздухе стыл голубой дождь сетки. Ночники ползали по ней. Разевая рты, они бросали звуки в меня (своим криком ночники убивают пищу). Они раздувались, они чуть не лопались от усилий. Мелькали языки, дрожали мембраны. Свет и звал и убивал их. Умирая, они скатывались по сетке в ров. Там их пожирали какие-то существа, хрустя и чавкая.

Белая плесень стала вползать по сетке. Она совала ложноножки во все ячейки. Сейчас, сейчас она вольется внутрь. Но шелкнул разряд (автореле!), и плесень упала вниз большой мучнистой лепешкой.

Шла глубокая ночь, светилась равнина. Я ходил. Биостанция поставлена на самом высоком здешнем холме. Я видел голубое свечение равнины, а в нем холмы в виде темных вздутий. Они вливались в небо кронами деревьев.

Пустынные места... Выходит, они не были пустынными.

За четверть диаметра от нас, на западе, была колония, а в ней Зло. Там жили люди, прилетевшие с планеты Виргус. Тайно от нас (почему?) колония освоена три месяца назад.

Утром я пойду в колонию. Я раздавлю Зло, такова цель. Мне нужна помощь в дороге, нужен Тимофей, собаки, «Алешка».

Согласится ли Тим?

Ничего, уговорю. Как он там? Лежит, закинув руки за голову. Вот думает о моем превращении. Затем некоторое время размышлял о судьбе щенят Джесси — их нужно отнять у матери и переводить на нормальный режим. Спасибо, Тим, за такое соседство!..

Вот улыбнулся в темноту — воображает себе лица коллег, когда он вернется к ним через пять-десять лет с Люцифера. Вот думает о Дарвине и Менделе.

— Я вас перепрыгну... обоих... — шепчет он. И снова я не верю себе: скромняга Тим — и такое. Шепчу:

— Спи, спи, милый Тим, завтра ты дашь мне собак и поведешь машину. Сам.

А Люцифер?

Люцифер! Ты алмаз среди венка мертвых планет этого солнца. Ты обмазан Первичной Слизью, тебе еще предстоит сделать из нее отточенно прекрасных зверей, насекомых и рыб (это только их эскизы — моут и прочие). Но твою судьбу могут исказить виргусяне.

...Штохл! Я вижу тебя, твой черный профиль. Ты словно вырезан из бумаги — в тебе два измерения. И мне предстоит уточнить, насколько ты глубок. Поберегись!

А-а, ты держишь в руках сейсмограмму. Уже знаешь: садилась ракетная шлюпка. Озабоченность морщит твой покатый лоб. Ты жалеешь, что не был готов к такому быстрому повороту дела. Ты ждешь возможности удара.

Думаешь так: «Мне дорого время, нужно год, два, три по-

еть шариком, и тогда все убедятся в моей правоте и примирятся со мной».

Тимофей, славный мой человек. Ты не можешь уснуть?

Так спи, спи... до утра. Позавтракав, ты предложишь мне бля и собак. А еще мы возьмем ракетное ружье, его по-т Ники. Решено!

Я прошел в дом. Храпел Тим. Глядели на меня и жались в уютную мягкую кучу собаки, милые, добрые...

ВТОРОЙ ДЕНЬ АРГУСА

За десертом Тимофей огладил бороду и защебил ее в ку-е. Дернув вниз, спросил:

— Что намерено делать ваше величество? Сидеть здесь? Ты решил пребывать в Аргусах вечно?

(«Сейчас ты предложишь мне помощь».)

— Видишь ли, — сказал Тимофей, кося глазами. — Ты рад ученному могуществу. оно есть, мне снились всю ночь твои прекрасные очи. Но, голубчик, за такое могущество дорого гят. Я слышал, этот жилет... Короче, тебя невозможно ть. Это, конечно, ложь. А все-таки безопасно ли долго но-на себе вещь таких странных свойств? Посему бери месобак, карету. Ты хоть приблизительно знаешь, где эта третая колония?

— Я их вижу. Понимаешь, я вижу место, ландшафт, осоню его. Но не координаты, конечно.

— А пойдешь на карте?

— Запросто. Там характерная развилка реки и... плато с вы-ами синих горных пород. По-моему, это плато Синее.

— У меня есть фотокарта, я даже разбил координатную ку. Примерно, конечно.

Тимофей стал открывать ящик за ящиком, разыскивал кар-(у него всегда беспорядок). Говорил в то же время:

— На собак я надену суперы.

«...А сейчас ты мне расскажешь о Штохле и Глене. Они с ей земли».

— Занятно, — говорил Тим, роясь в ящике. — Мелькнуло Штохл... Звать Отто?

— Ага! Плюс Иванович... Чех, немец, русский — все на-пано. Сутулый, быстрый, подбородок и нос образуют про-ль шипцов.

— Вспомнил! Встречал я его — эгоцентричная штучка! зачем ему делать зло? Властолюбие? — рассуждал Тимо-й. — Нет, стремление всегда настоять на своем. Вот одна его азочка: «Тысячу раз скажу, а продолблю в голове дырочку». зг его какой-то безводный — формулы, принципы, систе-. Но вдруг короткое замыкание — и загадка поведения. Он е выступал со статьями о колонизации планет. Глен... Это сто-

ронник биологической колонизации... Вот она, карта! Глен, хирург, селекционер, генетик, он будущая знаменитость, мой враг и, наверное, гений.

Тимофей достал папку, развязал шнурки и бросил карту на стол поверх посуды.

— Мы с Гленом враги. Я наблюдатель, я хочу на каждой планете все сохранить неприкосновенным, он же тянется все переделывать. Самоуверенный тип, не люблю.

Карта была тимовская, неряшливая, самодельная. Но съемка вполне прилична. Мы нашли и реку и плато.

— Километров тысночок пятнадцать-двадцать, — говорил Тимофей, меряя пальцами. — Вылетаем в девять? Да? Тогда поспешим, туман поднимается.

Когда все решилось, я почувствовал новый голод. Я стал брать и доедать все со стола: бутерброды, паштет, сахар. Тимофей озабоченно глядел на меня:

— Повысился обмен. Хорошо бы тебя проверить калориметрически, — бормотал он. — Надо с собой взять еды побольше. Найдем мы еду у колонистов?

— Конечно. Но Штохл, знаешь ли, что-то там мудрит с автоматами.

— Ври больше! — выкрикнул Тим. — Будто видишь.

А я видел.

Жуя, увидел плоскогорье, дым, обрывки пламени. Из дымного что-то косо взлетело вверх. Оно пронеслось по небу и исчезло. А вот и смеющийся Штохл. Он какой-то острый. Пронзительны его нос и длинный подбородок. Он смугл, Отто Иванович. Губы тонкие, вобранны внутри их краешки. И все — нос, подбородок и глаза — имеют вьедливую, шильную остроту. Вот он махнул рукой и задумался, заложив ладони под мышку. А то — широкое — бешено несется к нам, обжигая макушки деревьев. И я понял, он ударил по нас первый. Я догадался — то, птица на узких крыльях, что летало над нами недели две назад, был его робот — соглядатай.

ЧИСЛО 21-Е ВОСЬМОГО МЕСЯЦА

(Дневник Т. Мохова)

Странные, напряженные дни. Хочу описать их, чтобы не ушли, не были забыты. Во-первых, колония виргусян: отчего я не был предупрежден? Или было оговорено в Совете, что они объявятся сами?

Или помешала авария рации? Тогда ясно — сообщение Все-совета было, но оно не принято нами. Его не повторяли, надеясь на колонистов.

Засим проблема личности Аргуса. Я предпочел бы провести этот опыт на себе, сейчас же располагаю лишь косвенными данными и ненадежными ощущениями.

Я сразу, в первую же секунду, ощутил перемену в моем друге. Меня заинтересовал феномен неожиданного усиления его ности, но под рукой не было тестов, я не мог установить коэффициенты интеллекта Георгия «до» и «после».

Но «после» Обряда его лоб стал шире и выпуклей, что физически невозможно. Значит, он расплывался в моих глазах. Кроме того, действовало излучение на мозг, глаза. Изменился лицевой угол (тоже невозможное дело), а глаза приобрели максимальный блеск. Ходил Георгий быстро, не сгибая ноги в коленном суставе. Движения его были рассчитанные, машинные. Залось, Георгия толкало нечто сидящее внутри его.

Что еще? Он стал выше, но это понятно, рост увеличился, усилившийся тонус скелетной мускулатуры. Сжимая (по просьбе), он сплющил пружинный эспандер. Артериальное давление повышено.

Он действительно Звездный Аргус, то есть сверхчеловек. Мне тяжело рядом с ним, я словно отравленный. Отчего-то болит голову и тошнит. И слабость в ногах. Он добрый, честный, открытый, но я испытываю страх.

В нашу жизнь Аргус принес суету и великое напряжение. Утром, после завтрака, он вдруг закричал, что всем нужно бежать на пол. Сам же схватил ракетное ружье (одной рукой!) и выбежал во двор. За ним с лаем и ревом вынеслись собаки — всей кучей — а щенята Джесси заскулили в своем восторге.

Я вышел за ним.

Георгий крикнул, чтобы я сдвинул сетку. Быстро! Сейчас! Один момент!

Я включил мотор, и небо открылось нам, голубое и чистое, без медуз не было. И все крики, и суета Георгия показались мне такой ерундой. Но вдруг... Широкая тень пронеслась над домом, и все задрожало от рева двигателей! Упали комья огня, — боп-боп-боп — вслед этому широкому унеслись три маленьких ракетных снаряда. Их пустил Георгий. Они ушли за крыльями роботом, и за деревьями раздалось еще одно «боп», да такое сильное, что упала радиомачта, чуть не убив меня.

— Робота пустил! — крикнул Георгий. — Догадался!

Отдав ружье Ники, он шурился на небо и, почесывая шлем, говорил:

— «Параграф третий. Тот, кто направляет автомат на человека, заслуживает наказания первой степени», — сказал

— А точно наведено, у него хорошая карта.

— Мерзавец! — сказал я.

— Пойду глядеть на дело рук своих, — сказал Георгий. Он вышел и, ничего не боясь, пошел лесом. Как бы взлетая, прыгал через кусты. Я восхитился: какова реакция! Сбил эту штуку, выпустив три снаряда с расчетом. А если бы та упала в дом? Мне стало жутко. Я не боялся моутов и загра-

вов, бациллы Люцифера не пугали меня. Но если прилетает робот и поднимает твой дом в небеса, в этом есть какая-то скверная жуть.

Мне стало жаль дом той жалостью, что я порою испытываю к щенятам, Георгию, себе, когда устану и скисну.

Так дело не пойдет. Георгий прав, надо спешить. Я пошел налаживать «Алешку». Все было в норме — антиграв под напряжением, горячее в баках. Я нажал пуск — скаarp приподнялся до уровня моей груди и повис раскачиваясь. Я погладил его: люблю эту штуку! Мой «Алешка» — это добрая рабочая скотина с каютой, плитой и холодильником. Есть там и кое-какой инструментарий: микроскоп, пресс, фотокамеры.

Я опустил «Алешку», выбросил парудохлых ночников, тряпкой вытер руль. Похлопал по подушкам сидений — хорошо! И занялся двором — мешали ворвавшиеся во двор сотни вирусов, летучие, фиолетовые, надоедливые.

Они стрекотали, наскакивали, жала их сверкали как иглы. Я поставил мачту, мотором натянул сетку, и вовремя: подлетали медузы. Красные, синие и желтые, они красиво плыли, словно древние корабли. Но когда спускались ниже, я видел синюю бахрому их качающихся щупалец.

Вот что я здесь люблю (кроме Георгия) — живое тепло собак. Они моя дальняя родня, и мне сладко их гладить, трогать, ерошить им шерсть. Я люблю их мыть, расчесывать, стричь. Так мило касание их горячих ласковых языков. И временами мне стыдно, что я завез псов на сумасшедшую планету, и хочется просить у них прощения. Сказать им — простите, вы сражаетесь и гибнете за меня, но без вас я не смогу здесь жить. Мне нужны ваша ласка, бдительность и любовь.

Суперы — бойцовые панцири. Собственно, к обычному я привинчиваю налобник с шипом сантиметров в тридцать (чертовски трудно научить собаку пользоваться им). Также добавляю короткие шипы на спину и бока, двадцать-тридцать штук.

Хотел бы я увидеть рожу моута, сцапавшего мою собаку.

Но прямое оружие собак — автоматические пасти, управляемые биотоками. Работает челюстями наспинный робот с передаточной механикой страшной силы.

Я одел собак, и они стали фантастически уродливыми и до чертиков опасными. Такими мы и пойдем в колонию.

Вот они заскулили, жмутся ко мне. Ага, Георгий. Он перепрыгивает куст, хлопнул моута по морде и пробежал во двор.

В руке его широкоствольный пистолет. Значит, война.

— Он нес три ракеты, этот дурак, но у двух отказал механизм сброса. Они и рванули. Угробили оранжевого бородавчатника. В клочья разнесли!

— Так ему и надо. — бормочу я. — Обнаглел, за собаками гонялся, меня ловил. Так и надо.

Георгий подходит, хлопает меня по плечу. У, какая тяжелая, страшная рука.

— Радуйся, — говорит он. — Им завтракает желтый слизень с дом величиной.

— Он светится?

— Там и без него светло.

По-видимому, это Большой Солнечник, что живет в роще коралловиков.

— Ну в путь.

— Кто будет вести машину?

— Веди ты.

Я сел за пульт управления, Аргус угнезвился рядом. Он сидел так, словно из него вынули все кости.

Я увидел, как худы и остры его плечи, и у меня сжалось сердце. Ники влез к собакам.

Я поднял машину над деревьями, в мир особенных, верхушечных лесных жителей. Нас тотчас окружили летающие пузыри, на крылья сели желтые двухголовки. Они подбежали к кабине и глядели на нас, тараща глаза. Я повернул на юг и дал умеренную скорость. Газовые струи потянулись за нами. Теперь, если у Штохла и есть дальний радар, он не заметит нас, низко летящих.

Пролетев километров двести, я повернул на запад. Здесь деревья цвели верхушками. В них копошились зарзгусы.

— Тим, — спросил Аргус. — Тим, ты все там убрал?

— Где?

— Ну дома?.. Коллекции, фото, записки?

— Основные в сейфах, последние на стеллажах. А что?

— Тим, мне жалко, что так все получилось.

— Что случилось? — не понимал я.

— Он накрыл нас, он вlepил в дом три ракеты. Ты погляди.

Я откинул защитный козырек и увидел дым. Он поднимался из джунглей к облакам, тонкий и высокий, как шест. Он покачивался. Меня ударило в грудь, и закружилась голова. Я ощутил холодные пальцы Аргуса — он снял мои руки с клавишей управления.

— Мне жаль, — повторил он. — Мне жаль.

Я зажмурился и подержал свое лицо в ладонях, что пахли машинной смазкой. Я был предельно несчастлив.

Я родился в подземелье на холодном Виргусе, рос на этой скупой планете без животных и деревьев. На Люцифере я нашел для себя все, что мне было нужно, и животных, и то, что здесь мы называем деревьями, в избытке. Мне было хорошо здесь. И... вот все рушилось.

— Звездный, — сказал я. — Ты ввязал меня в эту историю, тот бы меня не тронул. Зачем я ему? Ну, сижу на станции, ну, собираю образцы.

— Верно.

— Я тебя должен ненавидеть — коллекции погибли.

— Основные в сейфах.

— Гони к дому! — заорал я.

— Вот этого я не сделаю.

— Там горят труды наши. И твои тоже, имей это в виду.

— А мне что за дело? — сказал он и заговорил вдумчиво: — Я как-то отвердел, мне чужды твои тревоги. Я — стрела правосудия, направленная в Зло, и мой путь прям. (Он вздохнул). Не злишь, Тим, сейчас тебе станет хорошо. Тебе хорошо, уже хорошо... Ты все забыл, тебе хорошо.

Он погладил меня холодной ладонью, и я все забыл, и мне стало хорошо. Я даже глаза прикрыл.

— Коллекции мы соберем новые. Пустим в джунгли роботов-наблюдателей, и будут коллекции, — ласково говорил он.

— Да где же их взять-то, роботов?.. Где?

— У Штохла.

А вечером следующего дня тот сбил нас.

До плато оставалось час полета. Близился вечер, когда мы пролетели озеро Лаврака. Там, помню, мы еще с Ланжевенном стреляли по отражениям береговых камней и рикошетом попадали в эти камни.

Озеро здесь одно, все прочее — болотистые джунгли. Если повторить это слово тысячу раз подряд, бормотать его не день, а месяц, год, тысячу лет подряд, то станет понятна их обширность.

Что творилось в этих болотах, никто толком не знал.

О доме и коллекциях я больше не думал, на Аргуса не сердился, отдыхал впервые на Люцифере. Меня охватило состояние подчиненности, сумеречное, дремотное состояние.

К вечеру мы запеленговали сигналы радара и автопилот повел скамп по пеленгу. Шли как по ниточке. Георгий сказал мне, что слушает Аргусов, и зажмурился. Собаки повизгивали, пролили есть.

Я пошел к ним, дал охлажденную воду, сунул каждой по галете и стал глядеть в иллюминатор. Я видел лес, размазанный скоростью в ржавые и белые полосы, видел проносящиеся назад летучие существа, слышал удары их мягких тел по корпусу и свист воздуха на его обводах.

Свист и мокрые шлепки, свист и шлепки.

И вдруг мы наскочили на скалу, ударились в дерево, уперлись в стену. Так мне увиделось — скала, дерево и стена. Меня бросило на пол, вспыхнул огонь, и в кабину вошел вонючий дым.

Нас спасли высокие деревья — «Алешка» упал на их вершины и медленно провалился вниз. Падая, он заклинился в сросшихся стволах. Результат — скамп прикончен, мне в кровь разбило лицо, Бэк вывихнул лапу, а Георгий как новенький, хотя кабину буквально разворотило взрывом.

Он сбросил лестницу. Я же в оцепенении глядел вниз — чернота леса, фосфор мхов, болото...

Я дрожал в ознобе, стискивал зубы, сжимал кулаки и... разрыдался. Георгий же весело скалился. Он ощупывал себя, хлопал по плечам, по ногам, он говорил:

— Ты знаешь, это тело даже не напугалось. Не скажу, чтобы не успело, ракету я заметил, она шла встречным маршрутом.

— Отчего же не свернул?

— Инерция массы. Ракета кинулась в нас из деревьев. Это было красиво. — И мечтательно, с эгоизмом вояки, сказал: — А со Штохлом любопытно поцапаться.

— А здоровье экипажа тебя не интересует? Тебе плевать на собак, на коллекции, на меня.

— Осмотри-ка лучше Бэка.

Мы вправили псу лапу и стали советоваться.

— «Алешка» пропал, — итожил Аргус. — Это плохо, дорога удлинится. Ничего, доберемся. Зато есть плюс — перестают нас ждать. Конечно (Георгий прищурился), сюда прилетит проверочный робот, уже взлетает. Он сфотографирует, все уточнит. Итак, никакого движения в течение часа. Кстати, отчего у тебя нет роботов-зондов?

— Траты на станцию и так чрезмерны.

Мы приказали собакам лечь и замереть, да и сами не двинулись.

Тотчас слетелись вампиры. Они тянули трубочки губ, нам приходилось бить их по вкрадчивым гибким мордам. Такие прикончили Шургаева. Он, раненный, полз в лагерь и был перехвачен ими.

— У Штохла есть пробел, — разглагольствовал Аргус. — Он слишком систематик, он пришлет робота два раза сегодня и завтра утром: три фото можно сравнить и сделать выводы. Зато на следующие дни оставит нас в покое.

— Почему же именно три? — недовольно спросил я.

— Число Штохла. Три ракеты, три робота-убийцы. Суревен?

И верно, робот прилетал три раза — дважды вечером и раз утром. Вечером он просто шмыгал над деревьями, но утром прилетел на винте, и в тумане мы чуть не проморгали его. Но Бэк зарычал, мы оторвались от завтрака и увидели спускающийся в промежутке деревьев аппарат, а над ним — зонтик воздушного винта. Телекамера его вертелась, объектив то вспыхивал отраженным солнцем, то гас. Подлетая, робот выпустил длинную струю горячей смеси. Но поджечь ее не успел — Аргус отбил выстрелом здоровенный сук дерева, и тот, падая, стукнул робота.

Механизм заколыхался, включил ракетный двигатель и ушмыгнул вверх. Оттуда он и поджег лес — пламя прощу-

мело по вершинам. Но хотелось бы мне видеть того, кто сумел бы сжечь эти джунгли. Они напитаны водой.

Древесина здесь мокрая, она не горит, а только тлеет. Да и деревья не деревья — чудища. Деревья-кораллы, деревья-трубы, шары, колонны. Корни вверх, корни вниз, корни в стороны. Уф!

— Будь Штохл человеком, мог бы и ограничиться вечерней разведкой, а не держал нас здесь целую ночь, — говорил Аргус. — А теперь в дорогу.

И, взяв с собой антигравы скарга, мы двинулись к реке. Замыкал наш отряд Ники, таща ружье. Люцифер не для пешего хождения, неприятности начались сразу — идти пришлось по прокислой местности. Здесь бурно росли грибы и зеленая пена. При рассмотрении ее (десятикратная лупа) я увидел, что она составлена из синих пузырьков, склеенных друг с другом чем-то оранжевым. Оттого цвет и был ядовито-зеленый.

Бэк увяз в ней, и пена ожила, двинулась на него. Бэк в страхе и в бешенстве хватал ее челюстями, но пена напознала (фоторобот скакал вокруг, дрыгая ножками, моргая лампой-вспышкой). Бэк освободился, но в каком виде! Все панцирные отверстия отпечатались на его шкуре.

Он словно побывал в сильнейшем пищеварительном соке. (Примечание: дальнейшие исследования показали сообщаемость между собой всех зеленых пузырей местности.)

Из других любопытных феноменов я могу отметить белый дым. Он выходил из воды в болоте вместе с бурлением донных газов. В серо-зеленой тьме джунглей он виделся призраком, но был материален, это утверждал страх наших собак.

Дым устремился к нам — собаки кинулись врассыпную. Дым погнался за несчастным Бэком. Пес взвизгнул и кинулся в гущу корней, забился в них, зашелкал оттуда, загредел челюстями. Дым, расплываясь, скользнул к нему. И тут же Бэк бросился на Георгия — того спас ловкий прыжок. Бэк повернулся и вцепился в спину своей подружки Квик. Мы услышали хруст прокусываемых панцирных пластин. Квик умерла. Затем он посмотрел на меня. Такого бешеного горения глаз я еще не видел. Рот его был кровянист. Бэк прыгнул — я выставил ружье. Он сбил меня с ног. Я упал между высокими кочками. Но тут собаки с ревом кинулись на Бэка. Джек пропорол его, а Лэди сорвала с Бэка панцирь.

— Прочь! Назад! — кричал я на собак. Гибла вторая собака подряд. Проклятое место! Аргус внимательно разглядывал труп Бэка.

— Смотри! — И показал мне на струйку дыма, пробивавшуюся между кочек. Она выходила из мертвого тела. И вот уже дымящая большая змея приподняла голову, выпрямилась, поплыла.

— Какая гадость! — с отвращением сказал Георгий. —

Это... это мне напоминает Мюриэль. Подобная нечисть погубила экспедицию Крона.

И выстрелил из пистолета. Деревья загорелись от лучевого удара, ошпаренные древесные слизи падали один за другим.

А я уже прощал Люциферу (и Штохлу) смерть двух собак. Ведь я увидел два незаурядных, необычных, непредсказуемых явления. Их надо скорее описать и взять в свою научную котомку.

И мне остро захотелось поговорить с Гленом, спросить его мнения, спорить с ним. Но там этот страшный Штохл.

— Глен умер, — сказал мне Георгий, хотя я не спрашивал его.

И снова мы строимся шеренгой, снова идем. Воды больше, всюду летучие огоньки.

Одни гнездятся в ступенчатой коре деревьев, другие плывут над черными водами. Собаки выбились из сил, они то и дело садятся прямо в воду. Я тоже устал.

Я бы пошел с антигравом, но хочу делить путь с собаками. Наконец-то река. Она разлилась в болотах. Что делать? Как здесь выкрутятся Аргус?

Он выкручивается первобытным способом: дает приказ, и Ники валит несколько деревьев. Тяжелые он отбрасывает, другие (они имеют почти невесомую древесину) разрезает и формирует плот, связывая бревна. Плот готов. Ники кладет настил из жердей, мы прикрепляем антигравы к бревнам, садимся и тут же поднимаемся. Мы в воздухе будем идти вдоль течения реки, но под деревьями. Уж там-то нас не увидят, не подкараулят ракеты.

Но и здесь трудно — река узкая, деревьев много, приходится отпихиваться жердями. Ники топчется на носу плота, я работаю на корме. Ники активно шурует жердью. Когда он взмахивает ею, я пригибаю голову. Собаки лежат на куче веток. И нет здесь ни сухого места, ни сухой древесины, ни сухой одежды. Нас окружает плесень, светящаяся в темноте, и пугают улитки, в полтонны каждая.

Они свисали с деревьев, поднимали ноги, похожие на вывернутые корни дерева, они, подлые, ловили нас.

Собаки огрызались.

Мигги захворал, съев шупальце улитки. Начались судороги, а лечить пса нечем. Аргус пристрелил его, я поставил в счет Штохлу уже трех собак. (Отмечаю маршрут их смертями — Бэк, Квик, Мигги.) Да, видели моллюска спрутовидного. Он красив и ярок, словно оранжевый апельсин.

Он бросил в нас пучок шупалец — робот успел сфотографировать его. От светового удара лампы-вспышки моллюск скончался, но будет, как живой, в моей фотоколлекции.

Георгий сидел над картой и что-то бормотал о своем глухим интересе к здешним болотам.

— В болоте, Тим, рождается жизнь. Болото и застой — символ особого рода жизни, скоро мы с ней столкнемся.

Или:

— Присмотрись, во-он там деревья-психи. Одно пляшет, второе впало в детство и зеленеет от самых корней. Вот деревомизантроп, оно растет на отшибе, на нем ни листика, однако живое.

— Далеко еще? — спросил я.

Он ткнул пальцем в просвет деревьев, показал на ровную, металлически блестящую полосу горизонта (над ней летела цепочка медуз).

— Плато! — сказал Георгий.

Он сидел почти голый (сушил комбинезон) и не боялся ни бактерий, ни грибковых спор. Он вообще в ту пору ни черта не боялся.

Он посмеивался надо мной и твердил, что биолог должен автоматически любить болота, медуз и осьминогоподобных улиток. Я отмалчивался. Не смешно — дом наш разрушен, ради погони за неопределенным злом погибли три моих собаки. Мутанты! Три из семи!

Их предки увезены с Земли, их родители направлены отобранны, они выучены для службы вот на таких сумасшедших планетах.

Им же цены нет!

А в доме была Джесси со щенятами. Дурацкая бомбежка! Дурацкое положение — преступник охотится на блюстителя закона.

Но что такое закон?.. Вот, скажем, эти мхи. Они растут, сосут голубую землю и через миллионы лет породят траву. Это природный закон. Слизняк в болоте ловит других маленьких слизней, переделывает их в свою массу. И это закон.

Вон следы моута, поспешные. Интересно, от кого он удирает? Но раз удирал — значит, есть существа и крупнее и сильнее его. Тоже закон — на сильного всегда найдется сильнееший. (На Глена — Штохл, на него — Георгий.)

А закон человека? Справедливость его многолика.

Закон... Ники привинтил ракетное ружье на свою башенку. Но держится он ближе к Звездному, чем ко мне, — закон симпатии.

Ники, проходя, осматривает плот — закон осмотрительности. Или стреляет, разнося в клочья очередного болтающегося на дереве слизня, нарушившего закон осмотрительности. Грохот, шипение ракетного снаряда — и слизня как не бывало.

...Плато. Я в астрономическую трубку рассмотрел летателей. Но это оказались не медузы, а мини-скарпы типа «Блеск». Простому глазу они казались пузырьками-медузами.

— Это скарпы, — сказал я.

Я наблюдал, Георгий сидел, положив на колени карту, де-

лал отметки маршрутов мини-скарпов и жаловался, что просто не в силах настроить мозг на их волну, так их много. Сплошная толчея.

— Чего я не понимаю, — сказал я (в поле зрения как раз пролетели три скарпа — два серебристых и один синий), — чего я не понимаю. Они же активные, оснащенные, не удосужились заглянуть к нам.

— Удосужились: для стрельбы нужна сетка координат.

Я развивал мысль:

— Понимаешь, нормальный переселенец дома любит на картинку, слизни ему кажутся смешными. Но приезжает, выходит на свежий воздух и... чешет обратно во все лопатки, прячется за колючую изгородь на полгода, пока не привыкнет. А у них иначе, они летают!

— Ты когда делал карту?

— Месяц назад крутился вокруг шарика. Еще я не понимаю Глена. Почему он не позвал меня сразу? Мое имя ему известно.

— Глен умер.

— Хорошо. А где дома колонистов?

— А по-твоему? — Георгий ухмыляется.

— Слушай! Нет ли там пещер?

— Есть, и какие!

Он щурится, будто видит их.

Ники вскинул ружье и повел стволом, будто желая выстрелом сбить птицу в полете. Движение его было молниеносным, но Звездный успел схватить ствол и поднять его. Ракета с шипением и брызганьем искр унеслась вверх.

Прогулочный скарп пронесся над нами, сверкнул брюхом и ушел за деревья. Собаки залаяли ему вслед. Георгий орал:

— Быстро!.. Быстро вниз!

— Куда вниз?

— Приземляйся!

И мы с Ники приземлили плот. Но деревья здесь были прегустые, в белых перьях, бревна плота длинные — пришлось работать. Затем мне было велено прыгать на берег, Ники — держать плот на месте и следить за собаками.

Мы с Георгием побежали в глубь леса. Белый неровный мох дергался под нашими ногами.

— Он здесь, — говорил на бегу Георгий. — Я вижу его.

— Он мог улететь прямо.

— Он здесь.

— Разведчик?

— У поганца другая цель.

— Скорей! — Георгий протянул мне руку. Наконец мы выскочили на поляну и увидели машину. Около стоял моут и

обнюхивал пузырь кабины. Морщины на лбу зверя двигались, в глазах была серая голодная тоска.

Мы проскочили под его брюхом. Я обернулся и увидел — он обнюхивает свой живот.

— А если... прилетят... другие... другие? — спрашивал я:

Аргус не отвечал. Еще просвет в деревьях. Ага, поляна.. В середине круга красных деревьев, шелестящих ветками, плясал человек. Он бил ногами, работал руками, вскидывая их вверх. Он подскакивал, приседал, вскрикивал:

— Их-хо!.. Их-хо!..

Это был очень толстый мужчина. Его рыхлые тела тряслись, белые волосы растрепались. Ему было тяжело и жарко плясать.

Мы подошли ближе — мужчина плясал, закрыв глаза. Лицо его было измучено, багрово. Но видно — ему и мучительно, и приятно. Пляска была дикого, иступленного темпа, ее только и танцевать одному в тайном месте.

Толстяк открыл глаза и взлетел.

Он летел, загребая воздух руками, вытягивая ноги, изгибая туловище, прижимаясь к незримому. Я знал — это ерунда, карманный антиграв, но страх поднимался во мне, я ощутил свои волосы.

Толстяк увидел нас. Он подлетел и погнался за Георгием. Тот отступал, а плясун, легкий, словно пузырь, налетал и налетал, дребезжа мелким, гадостным смехом.

— Дрянь! — вскрикнул Георгий и ударил его. Толстяк упал. Он лежал на мхе, разбросав руки, а белый дым неторопливо покидал его.

Он был велик и плотен, этот дым. Казалось, на поляне сожгли дымовую шашку и ветер несет столб ее дыма (а ветра-то не было). Толстяк лежал и не шевелился. Георгий схватил его за волосы и поднял голову. И вдруг стал бить его по щекам.

Он бил легонько и размеренно ладонью, сначала по правой, затем по левой щеке. Шлепки разносились в тишине.

Наконец, толстый мужчина оттолкнул руку Георгия и сел. Он посмотрел на нас. Глаза его были светлые кругляшки на красном лице. Под глазами черные тени, передние зубы выставились.

— Ребята, — сказал он, помолчав. — Я вас не знаю.

Мы с Георгием молчали.

— Эй, а тебя я видел, — сообщил он, подумав, Георгию. — Где я мог тебя видеть? Такая же была синяя морда, такой же серьезный.

— Зачем привез дым? — спросил Георгий.

— Что, захотелось? Так валяй, это сладостно.

— Как звать? — спросил Георгий.

— Эдвард Мелоун.

— Послужной список?

— Крон на Мюриэле, Глен на Люцифере.

— Помню, на Мюриэле ты был помощником Крона. А здесь?

— Правлю роботами. А я вас видел, видел... А-а, так вы Звездный Аргус. Ящички, звездочки, мотаетесь по планетам, жите ваше проклятое.

— Взялся за старое?

— Аргус, я человек и все человеческое...

— Тим, он человек. Для чего Штохл назначил тебя управляющим?

— Он еще и спрашивает! — всплеснул толстяк руками. — Да мы все там управители: кто универсальных роботов, кто специализированных... Шарги правит червецами, изучает почву, Курт заведует прыгунами. И так далее.

— Где Глен?

— Опочил, вы знаете.

— Верно! А что с тобой будет, ты знаешь?

— Не запугивай, — быстро сказал толстяк. — Прощают до трех раз, у меня резерв.

И здесь я увидел ухмылку Аргуса. Губы его раздвинулись, лоб исчеркали морщины, зрачки сжались в две крохотные горящие точки. Он скользнул по мне взглядом, просто повернул голову — я ощутил болезненный ожог на лице. Я понял (видя рядом Аргуса и Мелоуна): сейчас, здесь, он уже и не человек.

— Третьего раза не будет. Тим, уведи ублюдка и пришли Ники.

Мелоун замотал головой: нет, не пойду. Георгий взял его физиономию за углы челюстей и подержал немного. И поглядел — глаза в глаза. Мелоун затих, и Георгий отправил нас к плоту. Порочный тип едва тянул за собой ноги. Я обвязал его шнуром, включил напоясный антиграв. Такого, летучего, стал буксировать за собой.

От деревьев, оберегая свою ударяющуюся голову, тот отталкивался руками, кусающихся двуголовок пинал.

АРГУС

Вот чего им не видно — ускорения моего личного времени.

Медлительность совершающегося вокруг изумляла и злила меня. В своем новом времени я увидел надвигающегося крылатого робота. Он выполз из-за макушек деревьев, вошел в прицел ружья и приклеился к его перекрестью. И не желал двигаться дальше. Я, прижимая спуск, послал в него три ракеты — в двигатель, в правое, в левое крыло. Потом оглядел обломки и обнаружил, что робот здешний, на своих деталях не имел клейма, а в состав металла входил люциферий (элемент виделся мне дрожащей радужкой).

Я спросил, что мне делать. И Аргус-3 сказал о судьбе экспедиции Крона, сгубленной Белыми Дымами, и советовал побывать на здешних болотах, прилегающих к плато. Но были неожиданностью ракета и случайность, давшая мне в руки мини-скарпа.

А теперь нужно ударить по Штохлу, ударить как молния. Я знал, тот все проверил, всюду побывал: у дома и в лесу. Пропажа нашей компании встревожила бы Всесовет, ее следовало притянуть. Скажем, организовать нападение мoutu.

Штохл... Я вижу его спускающегося между деревьями.

Его скарп опускается легко, как перышко. Машину ведет многоножка. Я вижу, многоножка покрыта розовым пластиком. Сам Штохл одет в легкий скафандр. Под защитой маски брезгливы его губы.

Я вижу — он идет по лесу, и рядом с ним бегут два малых робота. Их оружие — огнеметы.

Он ходит около дерева, пиная брошенные консервные банки, и угадывает все, кроме направления. Я знаю, ему не придет в голову, что мы тащимся по болотам, он решит, что мы идем, выбирая приятный путь.

Там он расставил засады.

Я вижу роботов, шатающихся в джунглях. Они ищут нас. Но где мысль Штохла? Я зову ее, а ловлю пустоту. Исчезла, стала невидимой.

Штохл, откликнись! Ау-у... Вот, Аргус-9 говорит о экранизации мозга. Штохл загородился от меня? Пусть! Я думаю о Законе и силе его, вошедшей в меня... Является Ники. Мы сходили с ним на поляну, к болоту. Несколько дымных столбов поднялись из воды и привычно двинулись к нам.

Ники ударил ракетой. Вода с шипением и грохотом взлетела. Клуб пара окутал дерево. Упал вниз слизняк, помутнел и умер. Пар улетел к низким тучам и соединился с ними.

Уцелевшие Дымы удалялись медленно, с обиженным достоинством. В них нет хищной быстроты первого дыма, они ручные, их сюда привез Мелуун.

А первый? Он одичал? Местный? Это пусть решает Тим. Я же осмотрел следы. Нет, здесь бывает не один толстяк. Следы разные — легкие и тяжелые, новые и старые, мужские и женские. Итак, Дым. Тим, узнав о нем все, ахнет! Все в космосе ахнут, узнав о Белом Дыме на планете Люцифер. Он ключ к делам колонии.

А смерть Глена?

Мне надо увидеть его комнату, любимые его штучки, которые он держал в руках. Я подержу их, почувствую холодок металла, теплоту дерева, безликость пластмассы. И увижу... Много чего я увижу.

Итак, следы. Все, кто бывал, гостил у Белых Дымов, оставили печать: отпечаток сапога, сломанную ветку, сорванный лист.

Вот флакон из-под таблеток, валяется носовой платок, его жует плесень.

Беру платок — плесень обиженно вздрагивает. Она похожа на лиловую кошку необыкновенной пушистости. Платок... Инициалы М. Г. (Мод Глен). Она полная блондинка, медлительная, слегка картавит. Она говорит кому-то: «Поспешим, не то Хозяин поднимет визг». И, торопясь, потеряла платок.

Кто такой хозяин? Как он визжит? Ники берет у меня платок и прячет в сумку. Глен или Штохл выбирал место колонии? Чья это мысль: поселиться и жить в пещерах?

— Что делать? — спрашиваю Аргусов.

— Торопись, — отвечают Голоса. — Бери новые знания.

— Какие?

Молчат. Ладно, сам догадаюсь. Мы уходим.

Ники идет впереди меня с ракетным ружьем. Движемся, так сказать, с собственной артиллерией. Но там же моут. Хоть бы он ушел, иначе Ники прихлопнет его.

И мне стало жаль эту гору нелепостей поведения, анатомии, внешнего вида. Мне жаль всех моутов на свете — они ошибочны, они вымрут.

Но зверя нет. Он завалился спать в болотную жижу и походит на голый островок.

Мы влезли в кабину скарга. Странноватый запах. А-а, и здесь фиолетовая плесень. Вон она, голубушка!

Я ногой соскабливаю ее с пола кабины и пинком выбрасываю наружу. Теперь хорошо. Ники садится к управлению, кладет щупальца на клавиатуру. Ракетное ружье стоит у его кресла. Придерживаю его, но не чувствую человека, сделавшего ружье. Мне больше нравятся ружья Тимофея, его старинные дробовики и пулевика. Они неудобны, слабо бьют, но их то делали люди, а не роботы.

Ники поднимает скарг и ведет его к скалам плато. Ведет предельно осторожно, бороздит макушки деревьев.

Сейчас мы попадем в враждебное место. Страшно? Нет! У меня уверенное состояние. Я словно бы стою у двери. Ее подпирают с другой стороны, хотят закрыть, наваливаются — я же поставил ногу и держу ею дверь. Мой вес, сцепление башмака с полом и законы рычага не дают ей закрыться. А те, напирющие, выдыхаются и не могут понять, что дверь им не закрыть. Но убедятся в этом.

Что же делать с колонией? Сохранить? Убрать? Стоп! Вот сны, скалы.

Мы прячемся в макушках деревьев: идет враждебный скарг. Он заходит в расщелину — там вход в подземелье. Влететь с ним? Осмотреть плоскогорье?

— Плоскогорье, — бросаю я. Ники переваливает скалы, бороздя их днищем скарга. Он все делает верно, умница, так нас не приметят.

Пройдя строй деревьев и вспугнув узкокрылых блестящих ящериц, мы летим над плато. Его выперли подземные силы, подняли камень вверх метров на двести. Гранит, много известковых пород, легко размываемых водой. Отсюда и пещеры.

Плоскогорье... Здесь нет болот, мало фауны. И вдруг мне захотелось жить здесь в покое и сухости, гулять и радоваться отличным пейзажам.

Вот она, посадочная площадка. Заплывает красным мхом.
— Обратно!

Мы возвращаемся и снова ждем. Так нас караулила ракета. На горизонте тучи готовят ночной ливень... Медузы, несомые ветром... Хочу увидеть Тима. Вижу. Он и толстяк тесно сидят в палатке. Вокруг них сгрудились собаки. Две из них положили свои морды на плечи Тима. Им хорошо вместе, то есть Тиму и собакам.

— Привет честной компании, — говорю им.

«Навязал монстра, — читаю я мысль Тима. — Сейчас он в остром приступе откровенности. Такие полезные сведения. Что делать? Все ценное я уже уловил».

— Заткни его.

«Смеешься. Кстати, он мне указал съедобного слизня. Похож вкусом на солоноватое желе».

— Приятного аппетита. Двигайтесь-ка к плато.



Отключаюсь. Ощупываю себя, поправляю бронежилет. Восьма потрепанная штука. Потертости, чиненая петля. В пистолете я меняю обойму. Застегиваю шлем и зову Аргусов на совещание. Но шлем молчит, и я дремлю вполглаза. Мне хорошо. Мерно — вверх и вниз — покачивается скамп. То опускаются, то поднимаются верхушки деревьев — в белых цветах, крупных, как суповые тарелки. Над ними вьются какие-то, с гудящими крылышками.

...Очнулся. Небо белеет. Солнце уходит за скалы. Взлетают сумеречные летающие штучки, те самые, что крутятся возле нашего дома. Но есть и такие — во сне не снились. Кто их родил? Какая мама?

Необыкновенно фотогеничны! Эх, ловить бы их на матовое стекло камеры! Это такое наслаждение, такая трудность.

Работая с Тимом, я увлекался фотосъемкой. В доме лежали мои альбомы. Бывает, раскроешь и вытаскиваешь одно фото за другим. И под прибором зверье оживает, шевелится, кричит.

...Вспыхнули колесики галактик. Вот и «Персей» — идет к Люциферу по инерции. Но что это со звездами? А, Ники двинулся.

Он вышел из-за деревьев и пристроился в хвост серебристой машины. Мы идем за нею, словно тень. Молодец Ники!

За этой серебристой машиной вошли мы в расселину, рядом с ней повисли у шлюзов круглого входа, за ней прошли коридор.

Он циклопически огромен, с крутым уклоном вниз. По потолку его тянется светящаяся широкая полоса, видны швы облицовочных плит. Я нажал кнопку прожектора: в его свете зеркально вспыхнул скамп-проводник. Я увидел дремлющего в кресле узкого в плечах мужчину. Тело его испускало слабые волны. Голова в белом огромном шлеме, словно гриб, сонно качалась на тонкой ножке шеи. Я беру из тюбика мятную лепешку и кладу ее за щеку. Рассматриваю человека-гриба.

Кто он? Зачем ему этот до идиотизма огромный шлем?

Путь (и мятная лепешка) кончился в широком зале. В нем бегают роботы типа Ники: одни принимают машины, другие моют их или торчат в кабинах, выверяя механизмы.

Человек из скамп-проводника вышел, сонно шурился на нас из-под козырька шлема.

Первым, звеня сочленениями, вылез Ники. За ним спрыгнул я. И вдруг человек в шлеме побежал ко мне. На бегу он стянул шлем. Его волосы вздыбил сквозняк, его нос и подбородок сходились друг с другом словно щипцы. «Я — Штохл! — сигнализировал мозг. — Ты узнаешь меня, Звездный? Я — Штохл».

Я даже онемел от неприятного удивления.

— Звездный! Добрался-таки? — крикнул Штохл и надел каску, погасив свой мозг. — Намерен мешать?

Голос его резкий, сильный, звенящий. Молодой голос. Под-

бежав, он схватил мою руку своими обеими и стал ее трясти. Тряс и смеялся, высоко закинув голову.

Отпустил руку. Я смотрел на него. Ощущение шильности его черт сменилось другим. Режущее было в его лице, острое и воронье: синеватая чернота волос, нос клювом, белые веки.

Человек с вороньим лицом — так прочитал я его.

— Именем Закона... — начал я и протянул руку к его плечу, готовясь договорить формулу, сказать те слова, что тяжелее камня, и менять которые никому не дано.

«Стой! — сказали Голоса. — А знания?»

— Стоп! — перебил меня Штохл с огромной быстротой. — Это успеется. Я вас ждал, хотел увидеть. Да, да, хотел. Знаете почему? Я, роботы — мы все лица тривиальные и обыденные, а вот Аргуса видел один из миллиона — так мне сказала статистика. В общение с ним вступает один из тысячи миллионов. Такое соотношение. Я — двукратный счастливчик, а вы именем Закона... Вам сколько лет, мой судья?.. Тридцать?.. А вы молодец, вы умеете драться. Надо же, оглядываюсь назад — а за спиной Правосудие. Вы ведь имеете право судить? Да? Но как это вы от моей ракеты увернулись?

«Бери Знание», — шептали Аргусы.

— Хорошо, братья, я возьму его. Но какое? Где?

— Как вы нашли то место в лесу? — не унимался Штохл.

— Так вот вы какой! Каску, каску снимите.

— Так вот вы какой, Звездный. Нет, каску я не сниму. Два кило свинца на голове ношу из-за вас, не сниму. Цените!

— Что же, шея укрепится.

— Верно. А я... Красный Ящик? Он с вами?

— В доме, который вы жгли (а я уже и забыл о нашем доме).

— Знаете, с вами мне как-то не везет, — вдруг засмеялся Штохл. — Я летал сегодня и туда, сами понимаете. И что же? Угодил не в дом, а в горючее, дом только закоптился. — Но вы красавец — жилет, каска. И не таращите, не таращите на меня ваши прекрасные глаза, ноги подкашиваются. Да, да...

Штохл опять засмеялся. Потер ладонь о ладонь.

— Но к делу. Итак, комната вам приготовлена: идите вверх и прямо по коридору. Ждем вас, как видите. О-о, мы не такие простофили, уверяю вас. И слизней у нас есть не придется. Бегать от них — тоже.

Болтая, он тут же отдавал приказы роботам. Послал ремонтных к нашему скарпу «Алешка». Отрядил встречающих к Тиму.

Ники, подозрительный и настороженный, вращал башенку. Веко его лазера дрожало, готовое открыться.

— Весь в хозяина, — смеялся Штохл. — А за меня не бойтесь, Аргус, я не сбегу. Куда? К тому же у меня есть серьезное подозрение, что мы с вами еще поладим.

В самом деле, куда он уйдет?

А мне надо поесть как следует. И решить, что делать дальше. Отдаваться силе, несущей меня? Проверить ее? И продумать, как взять этот урок жизни и внести его в кладовую Аргусов? Так.

Началась эта ночь, предельно тяжелая.

— Бросьте-ка все это, — советовал мне Штохл. — Пока не поздно. Я плохого вам не желаю, вы мне даже интересны. Подумайте — планету переделываю. Ерундят они там, в Совете, а вы у них на веревочке, и мне мешаете, и время теряете. А оно, заметьте, не возвращается... Идите сначала вверх.

ЧЕЛОВЕК С ВОРОНЫМ ЛИЦОМ

Комната Глена ничего мне не дала. Там был склад вещей погибших колонистов. Аккуратно устроено — полки, гнездышки, таблички: «Т. Глен», «Е. Крафт», «А. Селиверстов» — всего десять человек. Одни колонисты умерли от болезней, другие убиты медузами. Но вещи их остались — долгоживущие вещи.

Вот ружье Глена, вот одежда, пахнущая плесенью. Ага, бритвенные принадлежности — первая, увиденная мной в жизни, опасная бритва с широким лезвием. Из всего найденного это наиболее личная вещь Глена, выкопанная им в семейных вещевых залежах. Синие отсветы лезвия рисовали мне его.

Этот человек (по словам Тима, гениальный) носил вот тот свободный костюм по праздникам, этот широкий комбинезон на работе. А если выходил в джунгли, то одевал легкий скафандр.

Он не любил стеснять себя и, конечно, не мог придумать подземную жизнь. Толстый (96 килограммов), веселый, сильный, он верил именно в биологическую цивилизацию, должен был верить в нее.

С неисчерпаемым добродушием толстого человека Глен мог терпеть неудобства Люцифера. Но его мясистая мудрость уперлась в четкую сухость Штохла. Правоту Глена могло подтвердить время.

Правота Штохла?.. Достаточно было побегать взапуски с загравом, прятаться от оранжевого слизня или прилипнуть к свисающей с дерева ловушке манты. Или убегать от медузы, прыскающей ядом. А то вернуться и обнаружить, что дом нацисто съеден плесенью.

Правота Штохла — это чистый воздух, душ, вечерний покой. Сразу! Глен же говорил о смене поколений.

Итак, Глен и Штохл, порыв сердца и расчет.

Я хожу и беру вещи. И один за другим передо мной (во мне?.. в мозгу?) строятся ушедшие люди.

Вот Крафт, угрюмый и тяжелый. Упорство — его имя.

Селиверстов, веселый, со странно широкими челюстями.

Подходит сам Глен, огромнейшая и смешная фигура. Что в его взгляде? Отчуждение смерти? Видение будущего Люцифера?

Прыгают с нумерованных полок и подходят другие люди, вертится между ними золотистый спаниель (его ошейник повешен на маленький гвоздик).

Он суетится обрубленным хвостиком. Милый призрак, он тычется носом в ладони других призраков.

Толпа густеет, я слышу их голоса. Они шелестят: «Спроси нас, спроси, ты узнаешь все».

Но я не могу спросить их. Я сжимаю свое лицо и ощущаю пальцем холодные впадины и выступы его. Но вижу их сквозь ладони, сквозь сжатые веки — они во мне, они во мне...

— Друзья, — тихо шепчу. — Мы покараем Зло, я обещаю.

Я вернулся в свою комнату и сел в кресло. Успокоился. Итак, мысль Штохла экранирована. Но других-то я вижу.

Не напрягаясь, совсем легко, я вижу тени шахт под моими ногами, ловлю мозговые волны людей, шорохи и трески их слов, ослабленные скальной породой.

Итак, колонисты... Я использую Ники. Он похож на здешних многоножек, та же модель. Я повелел ему идти к колонистам смотреть и слушать...

Итак, начну с основы этого дела.

Всесовет получил два сообщения. Первое (от Штохла) — Глен умер, заразившись болотной лихорадкой, похоронен с положенными его рангу почестями.

Сообщение номер два (самодельный передатчик, прицельная волна) — Глен подло убит.

Вопрос: чем объяснить дальнейшее молчание передатчика? Осторожностью? Борьбой в колонии? Но я располагаю ощущением Зла лишь в одном человеке.

Эти мне виргусяне!.. Они в подземельях своей планеты все или обожатели зверей, или машин, только их. А уж характеры! Итак, Глен и Штохл?

Я соединяюсь с Всесоветом, с его картотекой, и считываю данные: «Томашек Дж. Глен: планета Виргус — хирургическая селекция, разработка методики направленного воспитания животного и растительного мира молодых планет. Возраст пятьдесят лет. Рост высокий, полнота выше нормальной, глаза и волосы светлые. Глава колоний на планете Люцифер. Член таких и таких-то ученых обществ». (Список работ.)

Вот карточка Штохла.

«Место рождения — планета Виргус. Возраст — семьдесят. Профессия — изобретатель, печатных работ нет. Интересы: самоуправляемые системы. Выступления на темы колонизации планет. Оппонент Глена. Послан на Люцифер для технической помощи и организации параллельного опыта (маломас-

штабного технического метода колонизации данной планеты». Перечисление изобретений — огромный список.

И вдруг Зло, вдруг преступление. Что это? Взрыв души Штохла, вечно сжатой улицами-штреками Виргуса?.. Жесткими правилами жизни покинутой планеты?..

И вдруг мне стало одиноко — Тим еще далеко. Тогда позвал Голоса. Они пришли сразу, будто стояли и ждали за моей спиной. Сколько уверенности принесли мне они.

— Так, мальчик, так, — твердили они. — Действуй, но не спеши.

— Дело интересное. Бери Знание, Знание, все крохи его, — напоминал другой. Стихли. Переводят дыхание. И снова:

— Я, Аргус-3, я поспешил на Мюриэль и упустил интересный поворот дела. У тебя Мелоун. Ты не забыл его?

— Предлагаю внимательно рассмотреть семь сторон этого вопроса. Не спеши, нужно вызревание дела в ближайшие часы.

— Точнее уясни себе Закон.

— Я Аргус-11, пытался с молодым задором переделать людей и сломал их волю. Береги человека!

— Наблюдай, наблюдай, наблюдай...

— Я, Аргус-7, столкнулся с случаем, когда преступник за простым нарушением скрывал преступление более опасное, вызванное тоской по Земле. Понимаешь, он привез гены земных животных...

— Наблюдай, наблюдай, наблюдай...

С ними я решил так: Закон, в конце концов, требует лишь нормального поведения. Норма, конечно, меняется. Одно дело жить в городишках, другое — здесь, на диких планетах. Но меняется норма только в одну сторону — требует большего.

А теперь мне нужны дневники Глена. Они, как я вижу, хранятся у Дж. Гласса, эскулапа и биохимика.

Я перешел через мостик (текла подземная черная речка, в ней булькали какие-то белые и плоские). Щелчком сбил в воду железную финтифлюшку, приклеенную к перилам. Прошел к колонистам.

Их коридор огромен. Он тает в голубом свете, дышит теплым сухим воздухом. И двери, много цветных дверей.

У входа в него я наткнулся на Ники. Тот брел мне навстречу. Он сгорбился, опустил усы антенн: вид предельно унылый.

— Спасибо за поручение, — задребезжал он. — Поручил слежку честному роботу. Спасибо, уважил, благодарен, рад, счастлив, на седьмом...

— Что ты узнал?

— Ничего.

— Как они здесь?

— Никак! — огрызнулся Ники и скрутил антенны в презрительные спирали.

С ним начинаем обход. Первая дверь — красная, в бегающих квадратах. Они то рассыпаются, то строятся в большой ромб.

Я постучал — дверь отступила передо мной, показала комнату. Вокруг стола сидели жирные парни — играли в карты. Увидев меня, они почему-то скинули их на пол.

Я вошел. Здесь царил роскошь. Стены мерцают. Парящее электрическое одеяло (о таком мечтает чудило Тим). Пузырчатые кресла. Статуэтки из тех, что оживают от кнопки и творят черт знает что. Ковры толстые, рыхлые, словно лесные мхи.

На столе — грибы в блюде. Фиолетовые, те, что на глазах съедают каждый мертвый обломок дерева (а я вижу в них алкалоид типа мескалин. Вот оно как!).

Игроков четверо. Комбинезоны с отливом металла. Вид типичных колонистов, свирепо хватающихся за работу: тяжелые подбородки, взгляды, бицепсы. Но толсты...

Вообще, такой отличной коллекции волевых подбородков, какие были собраны здесь, я прежде не видывал.

Я сел к столу и стал разглядывать их — одного за другим. Авраам Шарги. Кожа хранит меланезийскую синеву, лоб тяжелый, губы тяжелые, подбородок, взгляд пронзительный. Пригодится.

Иван, фамилия — Синг. Изящен и... бесполезен.

Курт Зибель: подбородок, взгляд, плечи, бицепсы, трицепсы, неприязнь.

Проходка (фамилия необычайно плодovitая — для космоса, все время на нее натыкаюсь). Подбородок, взгляд, брови словно усы Тимофея.

И вдруг мне стало жалко тех женщин, что будут любить этих четверых.

— Веселитесь? — спросил я.

— Хэлло, Звездный, — сказали они. — Убиваем время.

И, приветствуя мое звание (наконец-то догадались), привстали и шлепнулись обратно. И кресла заворочались, приспособляясь к новому положению их задов, массируя эти зады. Меня стали угощать.

Была выставлена бутылка вина, из холодильника извлечена парочка жареных цыплят. Гм, гм, еда колонистов.

— Пейте, ешьте, — говорили мне. — Все здешнее, все искусственное, все превосходного качества.

Я снова поел с удовольствием. Обглаживал пластмассовые косточки — техника виргусян безупречна и в мелочах. Разные планеты в разное время пришли в Коллектив. Виргус — последним. Они там и до сих пор индивидуалисты, хотя своей техникой доказать, что-де могут все на свете.

— Живете весело, — сказал я. — А должны осваивать плато. И ведь не царапнули землю. Верно? Почему?

Четверка оживлялась, даже пыталась встать. Это было внушительное зрелище.

— Там ад! Красный ад, синий ад, зеленый ад (Прохазка).

— Хозяина не видели? Мы его поддерживаем (Шарги).

— А грибы, — спрашиваю я, — зачем?

— Грибы ерунда, можно взять «прямун» и сгонять на болото (Прохазка).

— Ха-ха-ха!

— Там забеспокоились? (Шарги воздел глаза к потолку.)

— Верно понимаешь. До встречи.

...Следующие три комнаты были пусты. В четвертой сидел за столом лысый мужчина лет сорока, точнее, сорока трех, Свитер. Подбородок. Плечи. Бицепсы. Обстановка без грибов, цветов и статуэток. На столе — разобранный мини-двигатель.

Это он радировал.

Мужчина (Эдуард Гро, 44 года) помахал мне рукой: извините, мол, не здороваюсь, выпачкался машинным маслом.

Но опасения его самые унижительные. Например, ему кажется, что я его ударю. Неужели Штохл их еще и поколачивает?

— Вы Аргус? — выдавил наконец мужчина.

— Как будто. Там, — словно Шарги, я кидаю взгляд в потолок. — Там приняли ваш сигнал. Вы оказали большую услугу правосудию, спасибо!

— Вы... станете расследовать?

— Именно. Буду откровенен, мне здесь все не нравится... Кроме техники. И что Глен исчез, не нравится, что колония зарылась в камень, тоже не нравится.

— А я вам нравлюсь?

— Вы типичный представитель разлагающейся колонии. Чем вы помогли Глену?

— Верно, ничем.

— Уклоняетесь от всего, что пачкает: пьянок, ссор, драк.

— Заметьте еще, я не пляшу на болотах, не ем грибов.

Я осматриваю его комнату — инструмент, станок, прочее в том же духе.

— Мастерите? Любите это?

— Хозяин заказывает, у него смелый ум. Жаль человека, жаль его времени.

— Какого времени?

— Что он тратит на управление этой дурацкой колонией.

— Вы недовольны?

— Живется нам хорошо. Встаем в восемь, в девять — ленч, в шестнадцать — баскетбол. Один хозяин работает круглыми сутками, да вот я еще ковыряюсь. Остальные играют в работу.

— Почему нет плантации?

Механик поднялся. Сидящим он кажется выше — коротконогий, родился на астероиде.

— А вы пробовали заводить плантации на Люцифере?

— Нет.

— Оно и видно! Будь она проклята, эта биология Люцифера, эти летающие сволочи! То высосут кровь, то хватанут зубами — и, пожалуйста, вирус! Хуже их только медузы. Брызнет, и не только человек — пластик рассыпается! А уж тело одной каплей прогрызает насквозь. А плесень... Проснешься — вот она, подлая. Сожрала ботинки, съела одежду и уже оглаживает ногти на пальцах. Попал кусок плесени в еду — обеспечена саркома.

Вот в чем мы поддерживаем Хозяина — зарылись, ушли вглубь, и сразу нам всем стало хорошо. Копашусь — и счастлив: никто меня не грызет, никто не кусает. Вспоминаю радиogramму и думаю: верно сделал, а раскаиваюсь. Да.

— А Глен?

— Я думаю, он умер от злости. Видите ли, получилось так. Мы его переизбрали, сняли то есть, и грубо сняли. Со Штохлом он последнее время был на ножах. Люди они несоразмерные, конечно. Штохл разумен, деловит, талант, а тот был гениальный дурачок. Ему было угодно убивать ради этой планеты не только себя, но и нас. Но не вышло, нет! А кто нас спасал? Хозяин. Я понимаю, Закон требует иного, но я за Хозяина.

...Эскулап большой работник. Его комната — это лаборатория; узенькая лежанка, три стола, дощатые полки заставлены химической посудой и приборами. Ему сорок семь лет, он врач колонии, имя — Джон Гласс. Пишет работы по токсикологии животных Люцифера. (Так же интересуется и ядовитыми растениями. Токсины, видите ли, это лекарство.) Встретил вежливо.

— Извините, я занят, привык к ночной работе. И все же полностью к вашим услугам, — сказал вежливый Джон Гласс. И даже поклонился, показав макушку.

— Дневники! — Я протянул руку. — Дневники Глена!

— Но я дал слово Отто Ивановичу свято хранить...

Он все же отдал мне дневники. Две тетради с записями светлых мыслей и опытов я дам Тиму, а вот черную старомодную записную книжку возьму себе. Итак, дневники... Я сел к столу.

Джон Гласс занялся работой и только взглядывал на меня временами.

ДНЕВНИК ГЛЕНА

19-го июня. Люцифер близко. Его голубой глаз пристально смотрел на меня из черноты. И я не могу успокоиться.

Я брожу вдоль иллюминаторов. Перебираю бумаги, читаю.

И ничего не могу понять в моих записях. Горит голова. Пробежал справочник звездного навигатора — простенькую историю открытия Люцифера кораблем Звездного Дозора, просмотрел отчеты первой экспедиции (неудачной). Она-то и открыла нам исключительность этой планеты.

21-е. Готовим спуск. Много суеты, много подсчетов, возни, как всегда. Совершенно неоценима помощь Отто Ивановича: вместе проработали все этапы высадки.

Коммодор торопит нас.

22-е — 24-е. Сбросили на плато десант роботов (и с ними биохимика Д. Гласса). Учитывая действие медуз и их токсинов (данные Т. Мохова), роботы покрыты спецпластиком. Они ставят надувные дома и устраивают склады. Проклятая должность руководителя не выпускает меня с корабля. По требованию Отто Ивановича я приказал опрыскать плато ядохимикатом ФГ-149 (опасно для генетического фонда). Эх, погрузить бы руки в это первичное тесто и месить, месить его.

25-е. Высадка. Ступил на Люцифер и не удержался, заплакал. Столько лет я рвался сюда, столько надежд! Я рыдал как псих. Меня оставили одного, даже Мод отошла. Остался только робот-телохранитель. Затем я прошел плато. Со мной шли ближние — Крафт, Штарк, Шарги и другие. Ощущение, что мы идем по дну богатого моря; деревья-кораллы, деревья-анемоны, деревья-шары.

И все живое, все шевелящееся. Великолепны слизни-титаны, порхающие ящеры. А цветные караваны медуз! Они увидели нас и опрыскали ядом. Пришлось бежать под деревья. Погибли Штраус и наш спаниель, славный золотистый пес. Действие токсина дьявольски молниеносно. (Дж. Гласс сказал — до ужаса прекрасное.) Первые похороны, и все приуныли. Одни тревожатся, другие грустят. А мне хорошо. Ночью я был в карауле. Мне мерещились первые переселенцы на Виргусе. Какая это, в сущности, скупая и недобрая планета: снега, мхи, пустыни. Поневоле она должна быть переделанной в космический механизм. Эту же надо беречь, как глаз, ее ужасы переделать в красоту. Зло — в добро.

Я обошел караулы. Шел и вдруг увидел — стронулась черная скала и подмяла купол дома. Оказывается, моут. Крики, пальба, свист осколков. Затем движущийся холм охватило пламя. Зверь горел пузырясь. Запах жженого мяса, ощущение своей вины, и вопрос: отчего я не проверил окрестности?

Штохл советует искать пещеры. Им обнаружены карстовые воронки, он в круглосуточных хлопотах.

26-е. Роботы закладывают плантации. Опробуем вначале культуры батата и майса. Отто Иванович образовал звено по истреблению медуз и второе — для сражений с слизнями-титанами. Задача — истребить тех и других. Слизней, судя по дан-

ным, десятка полтора. Но сколько их внизу, на равнине! Сегодня я летал внизу: интенсивность биожиизни потрясающая.

Договорились — Отто Иванович соберет микроманипулятор, и я стану неотложно работать с генами. Хоздела поведет он.

10-е. Два события: первые плантации уничтожены налетом серебристых крылатых змеек. Жилые помещения переведены под землю. Начат сбор генетического материала. Шарги обнаружил съедобного слизня. Курт соединил его гены с генами съедобной улитки (по моей схеме). Любопытно, что мы получим? Долго фантазировали.

Я буквально влюбился во все здешнее. Видя монстров, которых сметет эволюция, я мечтаю о заказниках для них. О планете-заказнике.

15-е. Штохл приказал опрыскивать из огнеметов всю плесень в радиусе полутора километров (а съеден только переносной домик). Я поспорил, но уступил.

Совершаем вылазки в болота. Поражает некая смешанность форм, будто природа еще только пробует, что и к чему присоединить. Это похоже на сотворение мира по методу Лукреция Кара: «Сначала были созданы руки, ноги и спины, а потом все соединилось как попало, и плохо соединенное умерло. Ибо были люди с двумя головами, а быки с четырьмя хвостами и пр. и пр.» (цитирую по памяти).

Я уверен, побежденные на плантациях, мы возьмем свое в другом. Путями хирургической селекции и соматической генетики мы организуем Люцифер. Работая, мы сами привыкнем к Люциферу и полюбим его.

18-е. Медузы убили Селиверстова.

21-е. О. И. ускоренными темпами пробивает штреки. Работа идет круглосуточно. Торопят медузы — бурей пригнало. Изрядное их количество напоролось на деревья и в агонии выпустило токсин. Ходим в скафандрах повышенной защиты. Ш. командует всем. Как-то незаметно я оттеснен им на почтенное место патриарха, говорящего только «да».

26-е. Роботы начисто выжигают плато. Но тут же, по горелому, на глазах все начинает дико расти. Ш. требует абсолютно уходить в землю. Спорим. Я заказал виварий и террарий.

Селекцию ведем сразу в трех направлениях. Первое — для нужд колонии. Второе — получение форм, пригодных для иных планет. Третье — гармонизация и приведение к доброте наиболее страшного (медузы и т. д.).

1-е августа. Скарп врезался в дерево. Погиб Крафт. Прилетел я туда через час, но плесень доедала его. Бедный друг!

Спорили с Ш. о направлении цивилизации планеты. Он настаивает на быстром уходе вглубь и создании подземной жизни. Я вижу в этом опасность расслабления усилий и требую иного — полного выхода на поверхность и борьбы. В земле можно

оставить только лаборатории и лазарет. Сначала должны быть борьба, изучение, привыкание к данной биожизни. Ш. поставил вопрос на голосование, и я остался одиноким (Мод воздержалась).

Мной недовольны те люди, которых я считал корнем и основой: Ш., Курт, Шарги.

Их испуг перед биожизнью планеты (и на самом деле потрясающей) стал психозом. Ш. уже наладил серийный выпуск универсальных роботов и строит отличные помещения в земле.

О, я знаю его. Он не просто испуган биожизнью Люцифера, он охвачен мыслью создать мир подземный. Как червь, Ш. прогрызает Люцифер насквозь: изобретательность его не знает предела. Я же ставлю эксперимент по преобразованию к лучшему именно этой планеты. Сменятся поколения, но будет результат, и какой!

31-е. Удача! Первый гибрид слизня и улитки. Превосходный вкус, полный набор аминокислот. Создан в невероятно быстрый срок. Полагаю, оказался полезным токсин, найденный здесь Дж. Глассом. Формула его близка к колхицину, но имеет и отличия. Ш. тотчас же сделал полые снаряды, и, стреляя, вводил этот токсин слизням-титанам, вызывая их мутации. И чудовищно быстро породил хищного плоского слизня с фиолетовым газом слезоточивого действия. Черт знает что!

7-е. Перенес свою лабораторию на плато. Ощущение одиночества среди этой кипящей жизни не испытываю. Я вижу, как поднимаются деревья, я исследую их соки, я готов поклониться этой жизни.

11-е. Нашел водяные цветы черного цвета. Дж. Гласс выделил из них новый токсин необычных свойств: он дает амнезию.

17-е. Работаю с медузами. Решил внести маленькую хромосомную бомбу в их генетический фонд с расчетом взрыва ее через два-три поколения. Это лишит их токсина. Но вдруг они погибнут? Отсюда необходимость изучения жизни медуз. В сутолоке не установил сразу контакт с биостанцией Т. Мохова. Что мешало? Ш. сказал о разрушении этой станции слизнями и гибели ученых, и у меня был еще один тоскливый день.

19-е. Приходил Ш., звал под землю. Я отказался. Считаю, нужно дать пример смелой жизни. Я бросаю свой дом-шар и перехожу в походный. Унес его в центр плато. Здесь, на пепле, животные. По-видимому, они где-то затаились, когда роботы выжигали плато. У меня на учете три гигантских слизня и около ста ящерок-многоголовок. И все время прибывают на плато медузы, черт бы их побрал!

Да, надо вскрыть бункер Т. Мохова. Там бесценные коллекции и записи.

23-е. Обдумываю свое переселение вниз, на равнину, в болота. Вчера весь день рассматривал ее. Ш. запустил крылатых

разведчиков с телеаппаратурой, я принимал стереоизображение (своим аппаратом). Что это? Стареется для меня? Или запугивает Люцифером? Роботы летали на винтах, рыскали по самым глухим уголкам. Тайная жизнь Люцифера меня потрясла, странная плавучесть в воздухе некоторых тяжелых организмов ошеломила. Я должен быть там!

24-е. Спор на общем собрании — все против меня. Понятно — помещения, выстроенные роботами, роскошны.

25-е. Плесень съела мой дом, на мою ногу сел фиолетового цвета грибок.

29-е. Второй дом раздавлен слизнем-титаном. Вспышка злобы, и я убил его. Прекрасное его тело — золотистое с рябью карминных пятен — погибло.

Вечером роботы Ш. принесли мне новый дом, холодильник и синтетпищу. Я слегка затемпературил. Я болен, но все же люблю этот мир, прекрасный и безжалостный. Так любят красивых эгоистичных женщин. (Мод.)

Записываю симптомы своей болезни. (Длинный перечень.)

Приходил Ш. и советовал мне сложить с себя звание. Послал к черту, сказал, что не примирюсь, буду воевать. Что сообщу Всесовету и выступлю свидетелем. О, я ему много наговорил и, боюсь, лишнее наговорил.

...Лихоражу. Жаль, если умру, этот мир прекрасен и жизнью, и красотой всего — солнца, деревьев, животных. Завидую тем, кто будет жить после меня, — я так мало успел.

...Ш. боится меня и явно ждет моей смерти — около крутятся его микророботы. Пришла М., увидела меня, ужаснулась, вскрикнула. Я прогнал ее — заразится, пожалуй. Свет слабеет. Видимо, началась атрофия глазного нерва. Так мне сказал д-р Гласс. (Боли он сбивает настойкой из черной орхи.)

...Неужели умру? Нет! Нет! А почему бы и нет? Я никому здесь не нужен. Сегодня (это записано цифровым шифром) очнулся от резкой боли и поймал на себе суставчатого микроробота.

Нога деревенеет. Он сделал мне укол? Ужалил меня? (Далее симптомы начинающейся агонии).

Глен! Я клянусь тебе: плато, изгрызенное ходами механизмов, будет поднято мной. Словно кора поврежденного дерева. В конце ходов, в последней ячейке, сидит Штохл. Он делает что-то. Отсюда я вижу светлый квадратик и вокруг него искорки.

И к нему придем мы, Закон и я, исполнитель его мудрости. Закон!.. Он ослепителен в своей ясности.

Закон!.. Я вижу его сияющим кристаллом, красной зарей севера, полуденным солнцем пустыни. Он прекрасен и грозен, он несет порядок в путаницу жизни.

Соблюдение Закона — норма, нарушение его — болезнь. Штохл явно и бурно лихорадит.

Закон!.. Я вижу его рождение, первоначальное шествие по Земле, его раскинувшиеся в Космосе ростки. Умрет Штохл, умру я — Закон будет жить.

Ради него стоит мучиться и умирать. Иначе что будет с Обществом?.. Я очнулся от мечтаний и увидел перед собой узкого чернобородого человека. Он рассматривал меня. Меня!

— А-а, доктор. Поговорим. Я вижу, вами обнаружено несколько токсинов и новых антибиотиков. А еще чем заняты? Делаете робота-хирурга. Зачем?

— Я всего лишь терапевт и, надо сказать, ленивый терапевт, — ответил он.

— Отчего умер Глен?

— Болотная лихорадка. Я же давал заключение. Откуда эти вопросы? К чему они?

Я встаю и засовываю тетради в карман.

— Убит!

— Бред, — презрительно бурчит эскулап. — Кому это нужно?

Я вышел.

Еще двери. Вхожу. Ха, молодожены! Им вместе — сорок лет. Заняты исключительно друг другом.

В комнате много цветов. Они шевелятся, колышат султанчиками, вытягиваются, сжимаются. Их жизнь можно созерцать часами. Особенно сидя рядышком с женой (мужем).

Штохл явно благоволит к семейным — отделка комнаты великолепная, на стене оконные занавески. Отдергиваю их.

Ба! Земной пейзаж! Поляна, звери — коровки, фермер в комбинезоне, ветерок, запахи... А все же есть что-то заволаживающее в нашей праматери Земле. Итак, Штохл желает, чтобы ему не мешали. Он задабривает всех и этим просит: живите как хотите, но только не мешайте... — Муж — специалист по роботам.

— Много делаете? — спрашиваю я.

— По штуке в день универсальных. Прочие узких профилей: порхатели, прыгуны, червецы, десять-двенадцать таких малюток в день.

— Мощно! Это темп.

— Хозяин молодец, служить у него — счастье.

— Служить? — Я повторяю слово, пробуя его на вкус, верчу во рту: «хозяин, хозяин, хозяин» и «служить, служить»...

— А как же, — говорит хорошенькая жена, поглядывая на меня весьма кокетливо. — Он такой добрый, наш Отто Иванович.

— Ваш?

Ясно, они отдыхают в удобном месте. Отдых высвобождает энергию. Штохл вливает ее то в легкую и чистую работу, то в

семейное счастье, то в пляски с дымом и в грибное опьянение... с помощью Мэлоуна.

И человек-колонист становится человечком и колонистиком, он теряет инициативу. Закон преступлен: так мы не освоим космос, не разбросаем Разум по всем планетам.

— Вы знаете подробности смерти Глена? Нет? Понятно.

Комната, цветы, парящее ложе. Мод Глен, когда-то жена Глена, теперь одинокая женщина. Оттого и пляшет. Подбородок тяжелый, блондинка. Ники, юморист Ники, плегущий за мной, входит в комнату, вынимает ее платочек из сумки, отдает. Та (от неожиданности) берет, вспыхивает, кидает платок в нас — **тяжелый** характер!.. Говорим.

Штохл?.. Его боится, глубоко ощущает всю бесплодность его натуры. Глен?.. Он до сих пор живет в ней (его глаза, плечи, губы). Неужели мы бессмертны только в делах и в памяти женщин?

— Всего хорошего!

...В коридоре мне встретился Шарги:

— Хэлло, Звездный! Гуляете.

— Ты хоронил Глена? — спросил я.

— Хоронил Глена?.. — повторил Шарги. — С чего это вы взяли? Нет, я не имел высокой чести ни хоронить, ни дружить с ним. Я простой человек, к двуногим божествам типа Штохла и Глена отношения не имею. Но уверяю вас, один другого стоил.

«Откуда он мог узнать? — металась его мысль. — Хотя глаза... Зачем мне ввязываться в это дело. Останусь в стороне и проведу дурака».

— Не проведешь. И все знаешь.

— Я не понимаю вас...

— Я не жду слов, ты боишься Штохла. Дай мне картинку, и все.

Шарги упрямится:

— Завираетесь, Звездный.

— Погляди мне в глаза.

Он поглядел. Что ему оставалось делать?

Я увидел: носилки с Гленом несут многоножки. Рядом идет Штохл в скафандре. Остановились — Шарги обливает труп из бутылки. Доктор? Он в стороне, он наблюдает. Шарги достал зажигалку. Пламя, дым, столб дыма... Сгорая, Глен облаком взлетает в атмосферу. Где-то там, перегруппировав свои атомы и с дождем упав вниз, он станет частью жизни Люцифера, сольется с планетой.

Все нормально — болезнь, смерть, истребление опасного трупа. Значит, Шарги не знает всего.

— Что предварило это событие? Говори.

Шарги упрямятся:

— Нет! Тебе не сломить мою волю.

— Но это же так просто. Встань! Ты спишь. (Он закрыл глаза.) Ты видишь Глена и Штохла (за лобной костью началась суeta образов).

Я пошарил в его памяти и повелел забыть наш разговор и стоять. Сам пошел встретить Тима.

Вот было зрелище — подъем плота в пещеру!

А какой лохматый и оборванный бродяга Тим! А собаки! Они так обрадовались мне!

Я проводил их и попросил Ники доставить еды и побольше, затем помочь Тимофею выкупать собак.

Час я провел с Тимом и собаками. Те, все обнюхав, разыгались. Они гонялись друг за другом по коридору, рычали, лаiali. Шум поднялся страшный.

— Пока. Я ухожу, — сказал я Тиму. — К Штохлу.

— Я с тобой. А здорово здесь!

...Дверь кабинета охраняли спецроботы, одетые в ласковых цветов пластмассу. Они смахивали на людей.

Только у каждого спецробота был лазер. Это бсевые, сильные машины. Зачем они? Вот бы побывать в первом ряду, когда Штохл проводит смотр своим мыслям. Я бы дорого дал за это, заплатил бы любую цену. Даже знания Аргусов не раскрывали этого человека.

Нас о цели прихода расспросил вежливый робот-секретарь. Он говорил, но я все ждал, не хрустнет ли, раскрываясь, звездчатая диафрагма лазера.

На всякий случай я встал впереди Тима.

Робот гнул перед нами пластмассовый хребет, рассыпался в любезностях. Уверял, что Штохла нет, даже разрешил взглянуть и убедиться.

Мы взглянули в раскрытую дверь. Штохл занимал большую залу. Она заставлена столами с аппаратами и картами. Одним словом, кабинет работника.

На стене висит детальный чертеж Люцифера в разрезе. — Значит, он прощупал его сейсмоволнами и, быть может, глубинным бурением.

Мы вернулись, и Тим ушел спать. А я ждал — Штохл должен прийти ко мне.

В три ночи дверь открылась. Штохл вошел. Хозяином сел в кресло. Откинулся, сунул в рот конфету и, посасывая и почмокивая, спросил:

— Недурно у нас? А? (Получилось так — «недувно».)

— Уютно, — сказал я. — Прохлада, воздух, чай. Хорошо!

— Да, это вам не джунгли. Такая в них первородная каша... (и сморщился брезгливо). Вроде наших с вами взаимных

отношений. Я не люблю тянуть, мой стиль — быстрота. А ведь тяну с вами, понимаете, тяну. Боюсь, что ли?

— Есть немного, — согласился я.

— Понимаете, — он положил ногу на ногу, — у меня такой пунктик — мне во всем определенности хочется, ясности. Во всем! Вас я могу включить в свои расчеты, вы мне ясны. И каким бы вы себе ни казались ужасным, я и алгоритм ваш найду, и движения вычислю. И, знаете, весьма точно. Но...

Он сидел откинувшись, обтянутый блестящим костюмом, словно кожей. Он казался металлическим, ему это нравилось, то и дело он поглядывал в настенное зеркало.

— ...но все же каша. Я стрелял, а не арестован. Неясно! Ясность же хороша. О, я бы и этот мир сделал таким, если бы стал богом. Понимаете — во всем четкость и минимум протоплазмы. Я бы сотворил мир роботов или на худой конец мир насекомых. Они сухие насквозь. Заметьте, чем больше слизи в существе, тем оно для расчета непригоднее. Возьмите Люцифер. Слизь, глыбы первобытной слизи. Из них через миллиард лет будут сделаны неизвестных свойств звери. И на таком фундаменте решено строить цивилизацию... Смешно.

— Закон о невмешательстве, — напоминаю я.

— Он глуп! Я бы вместо этой слизи дал мир, четкий и работающий, как станок. Мир-друг. Мир-робот. А вы срываете мою работу... Неопределенность, слизистость, — сердито говорил он. — Ненавижу их! Я и с собой-то мирюсь из-за ясной головы да отличной маскировки кожей моих потрохов. И хочу все знать точно и ясно, потому и пришел к вам.

Хочу знать, вы мой враг (это понятно) или потенциальный друг (это возможно)? Молчите, взвешиваете?.. Я бы и сам это установил, да времени не имею. Но что это мы сидим и ерунду городим? Хотите полюбоваться на мои штучки? Новые? А? Хе-хе, безопасные, но... (он поднял палец). Но с определенной мыслью.

— Валяйте!

— Итак...

Штохл поднял палец и склонил голову, прислушиваясь. И нижнюю губу закусил. Я услышал движение в коридоре. Оно оборвалось у двери.

Дверь вошла в стену. В ее проеме стоял робот в бронеколпаке с прорезями. Опять нарушение правил роботехники!

— Вижу, — заворковал Штохл, — вас смущает его вид. Это не броня, а экранировка. Я весьма наслышан о вашей власти. Рискуют они там, в Совете, с вами, рискуют. А если вы задумаете что-нибудь противозаконное? А? Или со мной споетесь? Я ведь преступник. Хе-хе... преступил закон. Кстати, преступление — это реакция человека на ненормальные для него условия. Хороша формулировка?

— С гнильцой...

— Итак, о роботе. Вы арестованы, вас берет этот робот, я к вам и пальцем не прикоснусь. Нет и нет!

Он сунул под мышки обе ладони. И глаза прикрыл: вот так, не вмешиваюсь...

Но губы его вздернулись, подбородок остро выпер вперед. Нос бросил на него четкую тень.

Робот был обычной многоножкой типа Ники, ростом с меня сидящего. Я перешел из людского тягучего времени в аргусовское динамичное. И оттуда смотрел на робота с юмором: паук шел, деля пространство между ним и мной сверхмедленными шагами.

Отсветы полировки стекали на пол.

И Штохл застыл с разинутым в смешке ртом. Свирепая усмешка, все зубы на виду.

Я встал и использовал разницу времени. В их времени (Штохла и робота) был резкий бросок ко мне. В моем времени я подошел к роботу (руки его начинали хватательное движение) и продавил стекло аварийного устройства.

Это всегда надо иметь в виду — аварийное окошечко робота. Так можно остановить даже ополоумевшую машину, не губя ее ценную механику. Если, конечно, успеешь.

И снова я во времени Штохла, снова сижу в кресле, снова разговор.

Штохл восхищен.

— Поздравляю, поздравляю! — трещит он. — Такая реакция! Ракета! Молния!.. Любопытно, как они добились этого? Можно разобрать ваш... Простите сидящего во мне механика, но очень хотелось бы покопаться в ваших вещичках. Я всегда мечтал стать таким вот неуязвимым, мне глубоко неприятно принадлежать к породе слишком рыхлой и слизистой. Во мне воды восемьдесят процентов. Во мне-то! Смех!

Хотите должность моего главнокомандующего? Нет? Тогда поделим шарик пополам? Ни с кем, кроме вас, делиться бы не стал, самому тесно. А вам — пожалуйста. Дать север?.. Юг?.. Нет?.. Удивлен. Ах да, вы же законник!

Но задумались ли вы о личной мощи? Что может человек один, если он не Аргус? Без роботов? Без себе подобных? Знаете, трагедия правителя в его зависимости от каждой мелочи. Ему же (сужу по себе) приятнее все делать самому. Да, да, все мы царьки сновидений. А если я мечтаю о планете, которую я целиком сделал сам? О мире, где действует только мой мозг, лишенный дурацких эмоций.

О вечной жизни, чтобы всему научиться и все уметь? Если здесь (он ударил себя по груди) что-то жжет и требует: делай, делай, делай...

— Сильно, — говорил я.

— Колонисты, эти поставщики фактов, конечно, наговорили обо мне много нелестных вещей. — толковал Штохл. — Я же

хочу одного — полной самоотдачи! Что мне делать, если мой калибр соответствует только всему шарикю? Если мне тесно в обыденных отношениях? Если мозг требует грандиозного?

Он говорит, сам усмехается. Тело его маленькое, горячее. В движениях рук и гримасах лица повышенная четкость. Он не сидит спокойно, не может, у него сильно повышен обмен, он даже в разговоре вынимал из кармана питательные шарики и кидал их себе в рот.

— Я прав не половинчато, а всеобъемлюще. Разница мира биологического и технического — в отличии случая от закономерности. К чему мне случаи? Зачем мне люди? Их настроение, эмоции? Проклятые случайности проклятых дураков! А вот роботов я люблю, они помогают мне выпустить на волю призрачный мир, заключенный в этой коробке (он постучал себя пальцем по шлему). Кто породил его? Подземелья Виргуса? Возможно. Там я убедился — человек может быть творцом мира. Дайте мне время, и я сотворю этот мир. И мне нужны не миллионы лет, как Глену. Через десять лет вы найдете здесь идеальную для жизни планету. Без слизи, без природных глупостей! Договорились?.. Нет? Тогда как это вам понравится, мой Судья?

Штохл вынул из кармана руку и раскрыл ладонь — вспорхнула тучка серебристых капель-пузырьков. Он подул, отгоняя их от себя. Э-э, да он их и сам боится! Ишь как страх сжимает его тело.

— Что это?

— Ха-арошая штука, — сказал он. — У меня их, разных интересных штук, тысячи. Я пошел.

Дверь гроыхнула, закрываясь за ним. Решительно щелкнул замок.

Я же следил за кружением капель. Они — словно дождь, повисший в воздухе.

И все же какой он заправ по характеру, даже противно. А пузырьки летят, будто медузы. Сначала стаяй. Но выстроились в ряд и летают по спирали. Теперь разбились по пять-семь штук и начали крестить комнату на разной высоте. Гм-гм, а они управляемы на расстоянии.

Один пузырек коснулся стола. Взрыв! Дымок поднялся в воздух. Я сощурился: эге, да это эмиссия синильной кислоты, смесь ее с газообразным антигравом.

Я отступил, задержал дыхание. А пузырьки идут на меня. Я отступил к дверям. Они идут. Я вжимаюсь в двери — и с грохотом упал в коридор.

Я поднялся и стоял, видел лежащую дверь с надписью «Для гостей», видел — Штохл, как летающих варауусов, брал в воздухе ядовитые пузырьки и прятал их в коробочку.

Ее засунул в карман. Повернулся.

— Вы и в огне не сгораете... — говорил. В его глазах, при-

липших ко мне, был банальный страх. Он же боялся меня, боялся до чертиков, до спазма в кишках.

Я же был ошеломлен пузырьками. Злости на Штохла во мне не было. Он сам был Злом, я не мог ждать иного.

Но его страх...

Передо мной человек. Он принес Зло в это место, погубил Глена, убил «Алешку», трех наших милых пушистых собак. Он хотел убить меня, но это не так важно.

— Гляди! — крикнул я ему. — Погляди мне в глаза.

Штохл напрягся, он хотел глаза отвести в сторону и не мог. Ко мне же пришло странное ощущение: я здесь не один, нас двенадцать человек. Мы все глядели в серые кругляшки его глаз, в отверстия зрачков, в сетку глазных сосудов. Я увидел бьющую из меня силу в виде горячего острого луча. Я сшибу его с ног. Собью, собью...

— Не свалишь, — прохрипел Штохл. — Не-е с-свалишь. — Он упал на колени и прикрыл лицо ладонями. Он вертелся на полу, бормоча: — Проклятый, жжешь... Проклятый, жжешь...

Я подошел, я схватил и оторвал его руки: на кожу лба и щек набегали мелкие водяные пузыри.

— Проклятое тело, он сжег его. Проклятое, проклятое, проклятое тело... — бормотал Штохл.

Я снял с головы его шлем и хорошим пинком пустил по коридору. Шлем завертелся и покатился — белый круглый шар. Затем я приказал Штохлу спать до утра, спать, спать...

И ушел.

Оглянувшись, увидел фигурку, поблескивающую на полу. Над нею уже клохтал дежурный робот. Он сначала ворочал Штохла, затем подхватил его и поволок по коридору. Растворился в голубом сиянии стен. Штохл крепко спит. Я улавливаю в нем сонное шевеление слов: мой мир, мой ребенок...

УТРО

Колонисты спят, они испуганы. Вопрос — отчего я не арестую Штохла — тянет на меня сквознячком из всех черепных коробок.

Я предвижу — они скоро пойдут ко мне один за другим и станут оправдываться. В чем? Да в жизни своей.

Первой пришла Мод Глен. Одета просто. Выглядела она предельно уютной — полненькая, завитушки волос на затылке. И волосы словно у моей жены. Она больше часа обвиняла себя в черствости и в бездушии. Плакала. Я убедился еще раз, что Глен (тот, которого она знала), будет жить в ней до самой ее смерти. Это тяжело. Я убрал из ее памяти Глена, и тогда она стала кричать, что до разговора была другая, другая, другая! И хочет ею остаться, а меня ненавидит, ненавидит, ненавидит!

...Механик рассказал еще кое-что о Глене и Штохле.

Он принялся рассказывать о склоках. Он сидел и нудил, я рассматривал те кадрики, что мелькали в его памяти.

Пришел Шарги. Какую иступленную зависть к Штохлу я увидел в нем!

Шарги (искренне!) спел хвалу Глену как работнику, целиком преданному науке. Рассказал: «Я познакомился с ним в Институте внутриклеточной хирургии, ассистировал ему. С первых же дней был поражен его императивным темпераментом, силой и мощью его облика. Когда он входил в лабораторию, с ним влиялась сила. Мне стало ясно, я должен быть близок к нему. Он убедил меня, что пора переносить его опыты на целую планету. Нас было много, одержимых. Где они? Погибли здесь в первые месяцы. Я же остался, я старался остаться жить. Да, за первые месяцы у нас выбыло до трети людского состава: событие чрезвычайное. Но вернусь к Глену.

До сих пор я помню этот массивный, словно глыба, череп гения-дурака, эти руки с десятью ловкими щупальцами, его взгляд.

Однажды я при нем просматривал журналы по хирургической тотальной селекции.

Глен рассвирепел. Он сказал: «Острые селекционные подходы устарели. Весь организм, как осуществление тончайшей и целесообразнейшей связи огромного количества отдельных частей, не может быть индифферентным к разрушающим силам. Он сосредоточен на спасении прежней своей сущности. Это служит почти непреодолимым препятствием на пути селекции.

Нам нужна игра на точнейшей клавиатуре и скорее гармонизация готовых организмов, чем создание новых».

Вот это и привело нас сюда, на Люцифер. Но здесь я понял: это работа на тысячу лет или на миллион. А у меня их только сто пятьдесят.

И я, все мы его подвели ради спасения овоей сущности человека. Это диалектика, Звездный.

Да, да, мы продали его за похлебку. Но не думайте, что мы чавкаем спокойно. Нет!

— Еще бы! — сказал я. — Еще бы. У тебя бывает изжога.

...Я побывал у Штохла. Он спал в саркофаге из толстого оцинкованного стекла. Прятал мысль от меня.

Свистел механизм, качал воздух, лицо его было покойно и насмешливо.

Завтра он обрушит ответный удар. Это и даст мне нужное знание.

Полчаса назад Штохл экранировал голову и исчез. Я ищу его. Я хожу и стучусь в комнаты. Вот четверо — опять карты и грибы. Они едят их с хрустом, запивая апельсиновым синтет-соком.

Я приказываю им смотреть на меня. Смотрят. Глаза сонные. Веки — красные ободки.

— Как Штохл, — спрашиваю я, — относился к колонистам? К вам?

Я наклоняюсь к ним.

— Он говорит, мы изучатели и поставщики кирпичей для его, именно его, мира (Прохазка).

Лица их багровеют, подбородки выдвигаются, бицепсы напрягаются.

— Он нас презирает, — сообщает мне Курт. — Он презирает меня. Смеет презирать. А я биолог, я лично нашел тринадцать новых видов. При Глене я был человеком, а сейчас?

— Всех! — уверяет Шарги. — О, я его знаю. Он такой, он всех презирает. А попробовал бы расшифровать ген. Он дурак рядом со мной.

— Он сволочь, — говорит третий грибоед. — Изобретатель, практик, дрянь. Только мы, ученые, настоящие люди.

— Он убил Глена, — рыдает четвертый. — Этим он убил меня. Глен был гений и умер, а я живу. Зачем?..

Ненависть... Теперь, если сюда заглянет Штохл, я определяю это по ним. Теперь мне нужен эскулап.

Врач был в кабинете. Человекоробот в половину моего роста лежит на кушетке с блаженной улыбкой на пластмассовых устах. Оказывается, шло испытание какого-то наркотического токсона.

Об этом и заговорили...

Говорил со мной врач осторожно, шагая по комнате от банок с заформалиненными маленькими чудовищами до стеллажей с гербарием. (Все растения ядовиты. Так и написано на ящиках — «яд» и косточки нарисованы.) По его рассказам я кое-что узнал о милой сердцу врача черной орхе, которую опробовал несчастный робот.

Я притворился неверящим.

— Вы ее понюхайте, — советовал мне эскулап. «Он нанюхается испарений, — сообразил он. — Заснет. Погаснут его глаза, его напряженная воля, а я уйду. Хозяин ждет».

Черная орха жила у него в аквариуме, герметически прихлопнутая крышкой. Врач откручивает один зажим, второй, третий...

Я беру орху. Красива — черные бархатистые тона. Лепестки всех пор извергают тонкий, сладкий запах. Он окутал мое лицо — молекулы его стремились войти в меня. Я видел их клубящийся полет.

Я вдохнул — и ощущение порочной неги охватило меня.

Я стал двойной — прежний «я», неплохой парень, млеет от сладости этого запаха. Другой — Аргус-12 — видел движение молекул, их вхождение в кровоток, их попытки химически соединиться с гемоглобином.

Я сел в кресло, откинулся и притворился дремлющим (или в самом деле задремал?). Глаза я прикрыл, но сквозь веки глядел на врача.

Дж. Гласс тотчас вышел. Я прочитал — Штохл ждет его в конце маленькой шахты. Там многоножка, там робот-секретарь. И комната освинцованная. Она видна мне белым прямоугольником.

Врач спешит. Сквозь камень пробиваются ко мне трески и шорох его мыслей. Я нюхаю орхидею и наслаждаюсь тем, что могу делать это безопасно.

Итак, это врач сказал Глену о свойствах черной орхи.

Колонисты бросили Глена.

Штохл отобрал у него управление колонией.

Точку поставлю я.

Я оперирую колонию, отрежу и выброшу все воспаленное. Так и сделаю!

Я встал, воткнул цветок в кармашек жилета и пошел. Плато было изгрызено штреками. Будто кора источенного насекомыми дерева.

И в последней ячее Штохл делает что-то недозволенное. Это «что-то» и будет моим вкладом в Знание Аргуса. Пойду-ка медленнее, пусть он не торопится, пусть готовит свое дело.

Широкие тоннели сменились узкими каменными трубами. Они шли вертикально, в них были железные лестницы.

Хрипели насосы, втягивая воздух с поверхности (фильтруя, стерилизуя, осушая его).

Потоки воздуха повсюду. Они воют разными голосами. А вот пещеры-фабрики, отделенные листовым металлом. В одних роботы лют металл (брызги, снопы брызг), в других работают на станках, в третьих сваривают какие-то части. Отовсюду несутся звяканья и стуки, шипение огня, хлопки взрывающегося газа. Иду ниже, ниже, ниже... Здесь естественные пещеры, маленькие, душные, пыльные. словно карманы в заношенном комбинезоне. Одни пещеры сухие, в других текут подземные воды с привкусом извести.

И вдруг я ощутил ужас, приближающийся ко мне. Он несся, спрессованный, брошенный мозгом, страшный, словно заграв в прыжке.

Это врач, его мозговые волны! Даю на отсечение голову (без шлема), что Штохл что-то выкинул. Новенькое. И впервые я ощутил усталость. Надоед он мне. Какой-то мертвотушный, свирепый, с воспаленным мозгом.

Вот брожу в пещерах.

А на плато день хороший. Там гуляет и дышит Тим. На плече его двуствольный старинный дробовик. Он коллектирует мелкое зверье, бьет из ружья сыпучими зарядами. И на роже его блаженная ухмылка, в бороде — солнечное золото, а собаки бегут за ним в легких панцирях, снуют туда-сюда и все обнюхивают.

Им-то хорошо — небо чистое, ни медуз, ни облаков.

Врач вопил:

— Что-о он делает!.. Что делает!.. У-у-у!..

Я вышел навстречу ему — тот налетел и приклеился ко мне. Будто присоска манты.

Он трясся и всхлипывал. Уткнув голову мне под мышку, мочил слезами мой уникальный бронезилет.

Я погладил его жестковолосистую голову и ощутил ладонью плоский, будто стесанный затылок.

Врач хлюпал, рассказывал, как Штохл заставил, принудил дать ему экстракт орхи. Много дать. Но ведь толком не проверено ее действие. Да! Боль уходит! Но куда? Что будет дальше?

Он кричал — надо спешить, там готовится преступная операция, его принуждали ассистировать, он же вырвался и сбежал.

Кричал — Штохл готов абсолютно довериться роботу-хирургу, а тот может убить его. А выживет, будет еще хуже.

Кричал — сейчас Штохл перестанет быть человеком, его срастят с машиной. Он станет кибергом, и тогда с ним не сладишь. Ага, вот оно, Знание! Такого еще Аргусы не видели, не встречали. Гласс кричал:

— Надо спасать человека! Спасайте! Бежим спасать!

И был прав — надо бежать. Мы и побежали.

У экранированной комнаты робот-секретарь обстрелял меня. От вспышки его лазера брызгалась каменная порода, взлетали радужки паров.

Я поборол желание стать под удар и испытать себя. Выстрелом я смел секретаря и расплавил породу. Пробежав по огненной жиже, я сорвал свинцовую дверь. Ворвался в помещение, опрокинув стул. И окаменел — за толстым стеклом начиналась операция.

На плоском и белом столе лежал Штохл, как белая лягушка. Над ним висла машина-паук. Она перебирала руками, словно пряла. Это была переделанная многоножка, к ней добавлено еще шесть рук.

Она работала сразу несколькими руками. Пока что манипулировала склянками. Видимо, анестезировала Штохла. Но делала это с необычайной скоростью.

И это было страшно — молниеносность происходящего.

Подоспел врач. Он задыхался — свистел легкими.

— Все! — сказал он. — Не успели.

— А если войти и помешать? — спросил я.

— Не войдете, предусмотрено. Отсюда я должен был наблюдать и давать советы... Смотрите, смотрите, что она делает! — вдруг закричал врач.

Машина-паук, схватив белую коробочку, поднесла ее к телу, и туда же потянулась лапа со сверкающими ножницами и другая — с щипцами. Третья поднесла марлевый тампон.

Пришлось идти напрямик.

Я остановил машину. Штохла я похлопал по щекам. Тот очнулся. Потянувшись, он сладко зевнул и сел, свесив голые волосатые ноги.

Он кивнул мне и погрозил врачу. Пальцем. Встал. Медленно и тяжело прошел к кушетке: та вздыбилась.

Он прислонился спиной — кушетка выпустила руки, схватила его и стала опрокидываться. Загудело — Штохл медленно приподнимался, он повис в воздухе.

Дезгравитатор? Это понятно, ему надо отдохнуть.

Он висел неподвижный и как бы окованный. Я положил цветок орхи ему в изголовье — пусть дремлет — и взял из робота-хирурга пластину с программой. И ушел, ведя доктора, абсолютно раскисшего от переживаний. Ха! Киберга из Штохла не вышло. Но мог бы и выйти.

...Вечером я встретил его, бродящего коридорами. Он ходил неторопливо, глядел, все трогал. Видимо, прощался. На нем странно огромный шлем. Я пошел к нему — он понесся от меня словно на колесах.

Штохл уходил. Зачем? Куда? Убегал он вниз, но не шахтами, а естественными ходами. Там были узкие щели и проходы, соединявшие небольшие пустоты. Я видел их как белое ожерелье. Были кое-где прямые штреки. Ими Штохл рвался к ядру планеты. Я вызвал Ники — тот побежал следом за Штохлом. Сам пошел наперерез ему.

...Опять пещера. Я услышал шум и пошел на него. Упал в ледяную воду, нырнул и проплыл. А вот и другая пещера. Подземная река внесла меня в нее. Здесь берега поднимались. Круто. Я вскарабкался. Огромнейшая пещера! Необычная пещера! В одном ее углу ощущалась повышенная радиоактивность. Злесь припрятан микрореактор. Зачем?

...Загрелом. Стук камней. Из узкого хода вынырнула фигура. Она уверенно (без света) пошла на середину пещеры. Там остановилась. Это же Штохл! Я по-прежнему не могу поймать его мысль, но вижу все движения.

Что он там на себя повешал? А вот нагнулся, поднял камень и вынул микрореактор. Погружает его в себя. Странно...

— Теперь энергии мне лет на сто хватит, — сказал он и пошел в мою сторону. И остановился, даже попятился.

— Аргус! — вскрикнул он.

Я промолчал, ощущая, как Штохл щекочет меня радиоволной.

— Не отмалчивайтесь, Звездный! — прокричал он. — Вы же здесь.

Я молчал. Штохл шел ко мне, перепрыгивая через камни. Вот поднял камешек и швырнул в меня. Промахнулся (тот ударился рядом, разлетелся мелкой пылью и обжег мне щеку).

Такой бросок! А-а, он нацепил на себя механический скелет, это и делает его сверхсильным.

— Странно, — сказал Штохл, и голос его разнесся: — Я вижу Аргуса, а он молчит. Быть может, мне это кажется? Может, приборы врут! Может быть, самовнушение. Я же не человек, я... Я почти супер, механика моя первоклассная, не хуже его штук. Вот, я могу перемещаться. (Он со свистом пронесся вдоль пещеры и не разбился о стену.) Вот, вижу гонящуюся за мной многоножку. Паршивый автомат! (Он погрозил кулаком.) А здесь Аргус сидит на камне.

Он стал подходить. Шел медленно и бормотал:

— Вот, вижу... Разберемся... Во-первых, инфразрение: я вижу его светлым пятном с достаточно четкими очертаниями.

Во-вторых, излучение. Это, конечно, его жилет. К тому же он дышит, шевелится, мембраны улавливают это. А все же его здесь нет! Что бы я сделал на его месте? Я бы напугался, вскрикнул. Или бросился в борьбу.

Значит, не удалось. Оперироваться он мне не дал, кибергом стать не дал. Проклятый! И приборы врут. Проверю-ка все простейшим образом.

Он подбежал и протянул руку — потрогать меня. Я схватил руку и замкнул на ней браслет. И на время мы замерли.

Молчали, тяжело и горячо дыша.

Он было начал бороться, но я сжал его и почувствовал — смогу раздавить. Он понял это.

Снова молчим. А в тишине слышна подземная жизнь — шорохи подземелья, голоса воды, стуки капель, кряхтенье камня. Затем возник слабый, дрожащий, двойной смех. Он родился и вырос, разнесся по пещере, усилился, загремел. Казалось, кто-то огромный захлебывается громовым хохотом в два огромных рта.

Это смеялись мы, смеялись вместе. Я держал руку на плече Штохла: он не уйдет от меня.

Я сказал формулу ареста. Дело было кончено. Слова, как глыба, прижали его (затем я, Звездный Судья, вынесу ему приговор).

Он снова подребезжал смехом. Потом сел рядом на камень, хлопнул меня рукой по колену.

— Знаете, Аргус, — сказал он. — Я так устал за часы общения с вами, что рад браслетам. Все же конец! Почему вы меня не взяли сразу? Желали играть?

— Хотел видеть. Насмотрелся на двести лет вперед. Видел полукиберга, а это дано немногим. Видел человека, сгубившего гения.

— Аргус, моя просьба — ссылка на одинокую планету...

«На мертвую, мертвую», — заговорили Голоса.

— А вы забыли про свои восемьдесят с хвостиком процентов воды? — спросил я.

— Ну, с ней я разделаюсь.

— А тогда, — сказал я, — тогда в снега Арктаса!

Но тут в пещеру ворвался Ники — загремел, залязгал, заморгал прожектором.

Пещера осветилась вся. Я даже вздрогнул — так хорошо было здесь.

Я глядел будто из центра кристалла с тысячью граней. И видел — стены искрились. Всюду гипсовая паутина. Под ногами белая трава и в ней гипсовые цветы. Подземный сад!

Я встал, чтобы удобнее было смотреть.

Я не жалел, что была погоня.

Я пил глазами красоту подземелья, подмечая все новые ее детали. А они менялись при каждом движении прожектора (кто видел многоножку в покое).

— Не правда ли, под землей чудесно? — говорил Штохл. — Одиночество здесь полное. А звуковые феномены? О, я могу многое рассказать вам о подземельях. Я вырос в них, копил силы, вынашивал главную мысль. Идите же, идите ко мне, Аргус. Вы ведь не сможете быть прежним, с тоски умрете, я вам верно говорю. Давайте, операция — и мы киберги, мы вместе. Всегда, тысячи лет. Жалко Люцифер? Найдем иное место. Давай врубим имена в историю. Кстати, о колонистах. Вы отнимете меня у них. Не боитесь? Я ведь им так много дал.

— Нет, не боюсь. Пошли!

...Нас встречали колонисты и Тим с барбосами.

Я вел Штохла. Коридор таял в голубом свете. В нем люди. Я шел, и лицо мое было камень! Я так его и ощущал — камень.

Колонисты (сдавшие, постаревшие этой ночью) встретили нас набором подбородков и пронзительных взглядов. Молча. Ни слова Штохлу!

На запястье его правой руки было изящной работы кольцо, оно отгородило Штохла, сделало его слабым и презираемым. И никто его не боялся, никто не испытывал к нему благодарности.

Вот оно, наказание!

— Ведут, — сказал кто-то. Это Шарги...

— Достукался, — отозвался Прохазка.

И все! Мне стало противно их равнодушие.

— Дорогу, дорогу, — говорил я. Да и времени было в обрез: «Персей» ходил вокруг планеты и ждал нас. Нужно забрать костюм Штохла — уникальная штука. Нужно взять робота-хирурга.

Я оставил Штохла с Тимофеем и собаками, сам ушел в рубку. Я связался с коммодором «Персея», увидел на экране его озабоченное лицо. Мы договорились об охране регалий Аргуса.

Сегодня вечером я избавлюсь от Штохла.

Я приказал закрыть шахты, прекратить работы и приготовить роботов к долгому хранению. Приказал колонистам готовиться к отъезду.

Они приходили ко мне.

Пришел Мелоун. Он соглашался и на проживание в ботолах. Говорил, что желает искупить вину — он привез сюда Белые Дымы.

Уверял, что выловит их, подманивая собой.

Я отказался, а на болото послал роботов. Приказ: испарить его к чертям собачьим!

Приходила великолепная четверка — вон!

Оставил Мод Глен.

Оставил врача около орхи и токсинов.

Оставил любителя механики — это был застарелый холостяк и никому не нужный брюзга.

Починенный «Алешка» сделал несколько рейсов к нашему дому, к старт-площадке. Он перевез собак и Тима, роботов-малюток, затем Штохла и колонистов.

Эти ощущали себя побежденными. Хмурые, они сидели на вещах на краю старт-площадки и ждали ракетную шлюпку.

Я же следил за ее траекторией.

Я видел — там коммодор в парадной форме. Таков Закон.

Я видел — два его космонавта вооружены. Они станут охраной Красного Ящика, и коммодор надолго потеряет власть над ними.

Таков Закон.

Я видел — те члены команды «Персея», что дежурили в звездолете, а не лежали в сне долгого анабиоза, взволнованно ждали новостей. Они ждали Красный Ящик, ждали колонистов, ленивых и робких. Беспокойство вновь одолевало меня. Я не спал неделю, одежда много раз промокала и высыхала на мне. Но я не ощущал слабости.

Я топтался на площадке, сжигаемый нетерпением. И при моем приближении колонисты отворачивались.

И Тим отворачивался. Но я видел его насквозь. Он ждал, когда я стану прежним. Тогда он возьмет свое. Он станет заботиться, нянчиться, покровительствовать мне.

Так и будет. Милый Тим, я соскучился по твоей воркотне. Гм, колонисты... Повесили носы?..

«Слушайте, — внушал я. — Вы, сытые и нежные, ленивые и жадные. Поднимите головы! (Подняли.) Примите наказание, долгое как жизнь, с достоинством».

...Штохл? Этот желт (разлилась желчь) и презрителен. Он все доставал и жевал свои шарики. Вот его мысль: «Твое время и сила кончаются».

Пусть кончаются, многое кончается. И с удовольствием я думал, что пора риска для Тима и его собак тоже кончается — я забрал всех роботов-исследователей Штохла. Их множество — от больших для сбора образцов до крохотных согляда-таев. Одни могли сидеть на деревьях, другие парить в воздухе и проследивать жизнь любого зверя.

Хорошие штуки! Ими Штохл исследовал планету, затем вынес ей приговор.

Я подмигнул ему.

— Вы думаете, — сказал я, — о побеге.

— Представьте себе, да. Но это же младенчество! Знаете, Аргус, я думал не только о побеге, я думаю о себе. Раньше все времени не хватало, а тут... Что я такое? Какова моя ценность? Понимаете, я не старик, всего семьдесят. А что мной сделано? Заметьте, безделья я не выношу, работал как черт. Тысяча чертей! Десять тысяч! Итак, семьдесят лет составляет шестьсот тысяч часов. Чем я их заполнял? Аргус, я расточитель. Двести тысяч часов я проспал, двести тысяч ушло на так называемую жизнь, на выполнение различных обязанностей. На образование, например. Еще сто тысяч я бросил на выполнение обязанностей гражданина вселенной. Не ухмыляйтесь, это серьезно. До пятидесяти лет я был неумолимо серьезен.

Из оставшихся ста тысяч часов шестьдесят тысяч истратил на перемещения с места на место и лишь сорок тысяч на работу. А вы помешали мне. Даже планету не переделал.

А сейчас поговорим о вас, мой бледнолицый красавец.

Не думайте, что победа ваша полная: я дал хороший пинок этой планете, она завертелась иначе. Поймите это. О, я бы и с вами справился, если бы не ваш проклятый темп.

И вдруг он посмотрел на меня с любопытством. Даже глаза вытарашил. Будто мы вот только что встретились и он узнал, что я Аргус.

Его глаза обожали мое вооружение, отчего-то снизу: пистолет, жилет, шлем. Штохл оживился, разглядывая мою технику.

— А вы хорошо знакомы с вашими игрушками? Шлем, жилет, пистолет? — расспрашивал он.

— Немного.

— Шлем... Тут вы все знаете. Жилет?.. Здесь мое знание ограничено, но, полагаю, его цена раз в десять выше цены всего моего оборудования. Пистолетик? Цена — второй мой поселок. Сумасшедшие траты, Закон в космосе — доро-о-гое удовольствие.

— Необходимое.

Штохл продолжал:

— Пистолет — отличная вещь, моя конструкция. И не ешьте меня глазами, прошу вас... Ну... хоть на прощание. Вам, я знаю, это все игрушки, а мне тяжело, сердце жжет. Эх, Звездный! Помню, когда рождалась у меня идея повертеть планеткой, то бродили в голове схватки, удары лучей и прочее. А на самом деле все оказалось предельно трудной работой, а теперь еще и дурацкая лихорадка. Потрогайте руку. Горит? Это подземная лихорадка, мы на Виргусе ее знаем. Да.

Судья, вы ощущали состояние: мочь и не хотеть? Я ощущал. Не из лени, не из трусости — я не боюсь даже вас. И не

из боязни неудачи. Разве я мог добиться большего? Я был царем, маршалом двухсот сорока универсальных роботов. Я вспорол эту планету. Не-ет, я недурно провел время. И кибергом бы стал, и... планету переделал бы. Э-эх, пронюхали... Чертов Гро. Ведь он? Скажите, он?

Я молчал.

— А руку мне напрасно тогда сжали. Вот вся онемела и не отходит. Возможно, и кость сломали. Так вот я задумываюсь, в чем моя ошибка.

— Людей вы презираете, — сказал я ему.

Штохл вздернул плечи, вскинул нос-клюв.

— Люди? При чем тут люди? Некоторых я весьма уважал. Себя, например. И ты отличный мужчина, пока в этом костюмчике. Люди... Люди...

Он замкнулся в себе.

...Стал накрапывать дождь. Штохл ежился. Он, видимо, зяб. Я стал ходить по площадке. Я ходил и ходил. Темнело. Сгушались тучи. В чаще поревывал моут. Недалеко охотилась стая загравов.

Хлынул ливень — вода заплескала на бетоне. Пищал зуммер. Что значило — ракетная шлюпка идет на посадку. Надо дать приказ роботам перенести коллекции Тима сюда.

Итак, все кончается, сейчас я стану свободным, Аргусы улетят в далекий космос, я останусь.

Кончится?..

Хорошо, что всему в жизни бывает конец. Даже счастью. Иначе бы жить стало невыносимо. А-а, голоса, Аргусы... Ну, давайте попрощаемся... Да, да, прощайте.

Прощайте, мои друзья! Где-то вы теперь будете? Сколько лет проведете в сне ожидания, пока вас снова призовут? А меня ждет суета работы.

Прощайте!

ПОДАРОК НА ПАМЯТЬ

...Во сне бормотал Тим, повизгивали собаки. Я тоже лег спать.

Прислушиваясь к раскатам пришедшей ночной грозы, я думал, как было бы хорошо не говорить формулу отречения, промолчать и быть Аргусом. Всегда.

Я вспомнил: вот я снимаю шлем — и слабеют глаза, уходит Знание.

Снимаю бронежилет — и кажусь себе голым и слабым.

Отречение!.. Я лежал и с горечью думал о силе этого слова. В прошлый раз слова Обряда Посвящения дали мне сверхсилу Аргусов. Слова отречения отняли ее у меня.

И с подозрением я вдумывался в любые слова, искал в них скрытые истоки могущества. Например, такие — хлеб, любовь, кислород.

Или — товарищи, друзья, мы, они, вместе...

И временами все казалось мне продолжением сна, увиденного на обломке ракеты.

Я ведь попал на Люцифер катастрофически просто — метеорит разбил «Вегу». Мне еще повезло — я был в скафандре и ремонтировал выхлоп двигателя. Вдруг взрыв.

На оставшемся куске я понёсся черт знает куда. Около меня торчал Ники с полным набором инструментов.

Когда я выдышал весь кислород и много дней провел без него (принял анапакс), меня подобрал корабль Звездного Патруля.

Собственно, я давно умер. То, что валяется в постели, ест, мечтает, думает, гладит собак, было мертвым. Я очнулся в корабельном госпитале на подлете к Люциферу. На планете был одинокий Тимофей (напарника его — Гаспара Ланжевена — проглотил муот). Я и остался на Люцифере — не мог сидеть в ракете. Мне было страшно в ней: я сжимался, я ждал удара метеорита.

На Люцифере я стал лаборантом Тима, немножко химиком, чуть-чуть биологом и страстным фотографом.

Главное — здесь были Тим, его собаки. И не было метеоритов. Я постарался забыть прежнюю жизнь и жить новой. Странно. Я устал и не сплю. Я тоскую по Аргусам. Что я без них?.. Но вдруг я увидел глубины космоса (и не поверил себе). Я видел дорожку света на звездчатом снегу Арктуса, ощутил движение земных пластов Люцифера. Что это? Бред?

Но чу!.. Звон или шепот, неясные слова. О-о, я узнаю голоса.

Это вы, братья Аргусы, говорите со мной из глубин космоса, вы не оставили меня одного. Спасибо!

Аргусы мне говорили:

— Мы преследуем Зло, и до тех пор пока не исчезнут последние крупницы его, ты пребудешь с нами. Ибо ты победил Зло с нами. Мы — вместе, мы всегда с тобой. Помни, с первых дней встречи ты смотришь нашими глазами, ты слышишь все, что слышим мы. Мы вместе. Это подарок и связь.

— Спасибо, Аргусы, — шептал я.

Я снова видел звезды, слышал топтание муота, звон универсальных роботов, бродивших в джунглях. Я слышал шепот Дж. Гласса в лаборатории, видел сны Тима.

Я был счастлив.

ЗЕЛЕНЫЙ ПОЕЗД

ПОЛЯР

Нырнув под облачное одеяло, наш самолет спланировал на крохотную площадку перед полярмор. Только что под крылом были тундра и море, а над нами — скупые линии сполохов. Тундра в застругах, море в торосах, редкие маяки на прибрежных сопках, первые срубы поселка... Там кончалась дорога. У полярмор — города под крышей — она начиналась. Бесшумной ночной птахой пронесся наш самолетик вдоль насыпи, в бледном сиянии полярной ночи над белыми спинами сугробов, и снизу, точно сквозь толщу морскую, то пробивались огоньки сварки у строящегося моста, то возникали купола новых алюминиевых домов, окруженные оленьими упряжками (дома только что привезли и на наших глазах начинали ставить). Ближе к югу и, значит, к полярмор мы нырнули в багровую прорубь заката. Отсюда, с юга, шел и шел день, размеренно и неторопливо, от месяца к месяцу набирая силу...

Нитка магистрали еще не отмечена светофорами, бегом сверкающих локомотивов, пока молчат струны ее стальных стрелок, и синие глаза фонарей еще не встречают вереницы вагонов у станционных околиц.

Но кто знает, может быть, через месяц-два мы вернемся в полярмор уже на поезде. Сегодня мы испытывали один из последних участков дороги. Самый южный участок почти готов. Размышляя об этом, мы выбираемся из самолета навстречу ветру и морозу, снег покалывает щеки до самого порога нашего большого дома. Мы не спешим. Жаль расставаться с лиственницами и кедрами, с прозрачными березами, с оленьей тропой и первым неожиданным запахом талого снега. Мы ждем — пусть улетит самолет. Звук мотора не слышно — белокрылая машина так тихо унеслась в небо над зубчатым гребнем тайги, что кто-то пошутил:

— Как зеленый поезд...

— А какой он, зеленый поезд? Может быть, это сказка? — спрашивает Лена Ругова, и я запоминаю глаза ее такими, как я вижу их в этот вечер: они у нее темные, прозрачные и чуть лукавые, а в глубине их, если всмотреться, можно открыть неожиданно сверкающий огонь радости.

Ахво Лиес, мечтатель и выдумщик из далекой Карелии, не моргнув глазом отвечает:

— Я видел его, и мой отец тоже.

— Ну и что же — зеленый?..

— Когда как. Летом — зеленый. Зимой — голубой. Его не за цвет ведь так называют. Если поезду не нужен ни зеленый светофор, ни «зеленая улица» и если он может пробежать кое-где и по недостроенным дорогам, без стрелок, без путевых огней — ночью, днем ли, в пургу или в бурю, — спрашивается, как его назвать еще?..

И Ахво начинает рассказ о зеленом поезде: как не однажды проносится он мимо, стремительный и почти невидимый, но он, Ахво, хорошо видел его и заметил даже людей в просветах окошек... Его уже не слушают, а Лена сбивает веткой снег с унтов и громко смеется — не над Ахво, конечно. Мне хочется спросить ее, я смотрю в ее глаза и вдруг забываю свой вопрос.

...Поляр. Под прозрачным и невидимым шаром — сад. Песок и сосны, пихты, кедры, яблони. Пернатые — дрозды, варакушки, овсянки — сориентировались быстро, даже на юг не летают, зимуют под крышей... Мы идем по аллее вдоль озера. Вода такая прозрачная, что у рыб плавники видны. Каждое возвращение с трассы — это как бы и путешествие в субтропики, хотя нас отделяет от конечного пункта магистрали всего шесть-семь сотен километров (не расстояние по сибирским масштабам!). Когда пойдут поезда, поставят еще один поляр. Дорога одарит север южным теплом, мы ведем электричество не просто в новые дома — в огромный город; вот-вот дохнут жаром золотые угли каминов и сотни чудо-печей разом приготовят ужин новоселам.

Кто знает, может быть, легенда о зеленом поезде будет кочевать вместе с нами. Когда-нибудь ее услышит Чукотка, потом — Новосибирские острова, Северная Земля. И пусть горизонт скрывается за торосами, дорога все равно пройдет у Ледовитого океана. И мы будем возвращаться со смены вот так же, как сегодня, оставляя за плечами новые и новые километры магистрали...

Нас четырнадцать человек. Бригада Перед нами распахиваются двери поляра.

* * *

Отъезд Лены был неожиданностью для всех. И в минуты неизбежного разговора во мне затеплилась слабая искра надежды: а вдруг она останется с нами? (Рано или поздно мы все вместе переберемся в Нижнеянгск и дальше — туда тоже протянется дорога, так стоит ли спешить?)

— Да, там сейчас трудно, — соглашается она, — но зато интересно.

— А здесь?

— Тоже. Но поймите, — горячо восклицает она, — многим хорошо работается на одном месте, другим... Да что я говорю, разве вы этого не знаете?

Я знаю это. И втайне завидую ей. Мне тоже хочется поехать к побережью надолго, жить не в полярке, а в рубленом доме, тянуть по тундре новую дорогу, строить город-порт на острове Врангеля. Тем более что наша работа близится к концу.

...У Лены ладони большие, теплые, движения всегда спокойные, плавные — разливают ли чай, собирают ли ягоды, устанавливают ли приборы на трассе в снег или в дождь. Никогда не замечал я в ней следов волнения.

А тут я с некоторым удивлением отметил про себя, что пальцы ее подрагивают, а голос стал чуть резким и порывистым — и это не вязалось с моими представлениями, сложившимися за полтора таяжных года. Неужели она сомневается, что я смогу понять? И только я подумал это, как уловил неожиданную перемену. Она точно прочла мои мысли, и руки ее стали прежними — спокойными, надежными, чуть медлительными.

— Странница вы, Лена, вот что. Подождали бы нас. Думаете, мне не хочется на север?.. Но в общем-то я завидую. Поезжайте. Все равно скоро встретимся. Мы догоним вас.

— Конечно, догоните, — радуется Лена, — я буду вас ждать. Примете меня?

Я вопросительно смотрю на нее.

— Ой, я не то сказала? Давайте считать, что я от вас и не уйду, просто в командировку уезжаю, что ли.

— Давайте так считать, — соглашаюсь я. — Скажите, что вы думаете о зеленом поезде?

Этот вопрос слетел с моих губ случайно, сам не знаю почему. На мгновение, на одно лишь мгновение, красивые пальцы Лениных рук словно потеряли точку опоры и метнулись вверх. Она опустила голову, а когда подняла ее, темные прозрачные глаза были по-прежнему спокойны, а жесты неловки.

— Я пойду. Я зайду к вам попрощаться. — Она словно догадалась о том, что мой вопрос был случайным и вовсе не требовал ответа.

...Еще на трассе мы настреляли кедровок. Промороженными насквозь птицами, точно палицами или дубинками, можно было бы вооружить целое племя. Зато нельма была свежая, она лишь уснула, эта огромная рыбина, пока летела с нами в самолете, и даже не успела по-настоящему остыть в холодильнике из-за своих сказочных размеров. Виновница прощального торжества раздобыла облепихового вина — стол был готов. Мы провожали ее по-таяжному: нам и на трассе доводилось готовить кедровок на вертеле и варить уху с тайменскими хвостами.

По другую сторону купола дремала предвесенняя тайга. Ранний закат разбрасывал по снегам первые искры тепла.

Синий цвет — предвестник северной весны. Синий снег, синий воздух, синее небо... Однажды вдруг все двинется и поплывет в бесконечную синь под гулкие звуки птичьих крыльев. Но ветер по-прежнему леденящий, а по ночам под ясными звездами потрескивает от жгучего мороза тайга.

И вот мы идем в этот синеющий простор — Ахво и я. Сначала снег был желт под факелом утренней зари, и лыжи осторожно касались его, нащупывая верную дорогу среди теней. Потом на него снизошло дневное сияние, тени убралась под деревья, и мы пошли быстрее. Трудны лишь подъемы, вниз мы катились быстрее ветра. Снег, казалось, плавился — сверкающая лыжня Ахво становилась невидимой в двадцати шагах. Движение порождало звон рассыпающихся кристаллов; казалось, что все вокруг издавало эти звуки, точно тысячи невидимых колокольчиков извещали о приходе весны. Пронзенное лыжами, сыпалось с кустов голубое стекло, снежная пыль таяла, осветленное небо раскрылось...

Не видать бы мне самого первого дня весны, не слышать бы полуденного перезвона, не вдохнуть бы первого вешнего воздуха, если бы не Ахво. Это он научил меня внимательности.

Теперь я знаю: у весны есть еще один спутник. Его можно назвать одним словом: движение. Если вдруг захотелось в дорогу, если факел зари вечерней был ярок, как никогда, а сон тревожен, значит, и пришла весна.

Вот почему наши лыжи скользят все быстрее, и мы не устали. Только на крутых подъемах ноги и руки как-то сами по себе замедляют движения, точно попав в невидимое силовое поле.

Зеленоглазый Ахво оглядывается: не отстал ли я?

— Вперед, Ахво! — кричу я, и становится вдруг смешно, потому что усталости я совсем не чувствую, но и идти быстрее не могу, не пускают упругость невидимого поля.

Насвистывая «Фиалку», Ахво взлетает на гребень сопки, где ветер соорудил метровую снежную стенку. Из-под нее выкатились живые комья — кулопатки — и распластали в воздухе крылья. Но, прежде чем они поравнялись со мной, Ахво успел сорвать с плеча малокалиберку и, почти не целясь, выстрелить. Сбитая птица упала к моим ногам.

— Наш обед! — крикнул Ахво. — Теперь вперед!

Мы выбрали место в узком распадке, залитом полуденным светом. Хрупкие ветки лиственниц полетели в огонь.

— Подожди, Валя, я сейчас...

Ахво пробежал вверх по распадку, остановился, поворошил снег палкой, потом раскидал его руками. Он, казалось, чувствовал, где прятались под настом стебельки, семена, ягоды,

спрятанные в тонкие ледяные чехлы до теплых дней, до праздника летнего первоцветения. Он набрал горсть брусники. Ягоды были крупные, твердые, похожие на цветные камешки, но, когда я бросил их в горячий чай, они всплыли, и я уловил их потаенный аромат.

Мы поднялись на плоскую безглавую сопку и вышли к магистралам — полотно тянулось по долине, под нашими ногами. Работы здесь были почти закончены, стояла воскресная тишина. Ни шороха.

Пустынна и просторна была долина.

— Поезд!

Я точно ждал восклицания Ахво. Пронеслось голубое облачко. Поезд?

Полоса дороги выбегала из-за пятнистого, коричневого с белым, склона. Тишина. И лишь взметнулся легкий вихрь, и возникла светлая полоса на фоне предвечерних теней. Ни звука. Качнулся воздух от невидимого толчка. И еще дальше пронесся светлый луч, прочертив снега и камни молниеносным, почти неуловимым росчерком.

— Зеленый поезд!

Я оборачиваюсь. Совсем рядом глаза Ахво, и в них я вдруг вижу отражение склона и стремительной ленты поезда. Быть может, мне показалось это? Но откуда тогда пришло видение серебристых вагонов, мелькающих как в калейдоскопе окон, испускающих мягкий зеленый свет? Может быть, человеческий глаз так устроен, что видимое им становится заметным и для других, как отражение, как мгновенная фотография... Или, еще вероятней, только у Ахво такие глаза. Поймать исчезающе малый миг, наверное, не многим дано и уж, во всяком случае, не мне.

Так вот он какой, зеленый поезд! Быстрый как стрела, окна светятся даже днем, а рассмотреть его можно разве только как отражение в глазах человека с необычайно острым зрением.

— Ты видел поезд? — спросил Ахво, когда мы возвращались в поляр.

Я понял подлинный смысл этого вопроса: речь шла о том, верю ли я теперь ему. Я кивнул, отвечая сразу и ему и себе: да, я знал теперь о зеленом поезде больше, чем из всех рассказов о нем.

— Да, я видел зеленый поезд.

Темный вечерний снег под лыжами поскрипывал, словно собирался рассказать зимнюю сказку, как будто с заходом солнца вновь ушла весна и надолго спускалась таинственная и долгая северная ночь. Но я знал: синий цвет и всеобщее движение — предвестники и спутники весны. Завтра, быть может послезавтра или немного позже, мы снова побежим по нашей лыжне, чтобы встречать зеленый поезд.

Мы с Ахво соседи. Наши окна рядом. Трехдневная оттепель наполнила воздух запахом влажной хвои и свежестью. А окна, к счастью, открываются прямо в тайгу. Долог вечерний разговор.

— ...точно знаю, что такие приборы есть, а принцип известен с незапамятных времен.

Ахво рассказывает мне об усилителях света. Я тоже слышал про них, но Ахво, оказывается, даже работал с ними. Долгой полярной ночью в Северной Карелии инфракрасные усилители очень помогали ему и его товарищам. Мысль его проста:

— Я буду в пяти-десяти километрах от тебя, у самой дороги, и дам сигнал. У тебя будет прибор, ты увидишь поезд и сфотографируешь его, ведь прибор легко дополняется фотоаппаратом. Отсюда найдем скорость поезда, не говоря уж о том, что ты наконец окончательно убедишься во всем. Я напишу. Нам пришлют приборы.

Ахво умолк. В профиль он похож на индейца из какого-нибудь приключенческого фильма, особенно когда свет неяркий или багровый. (Он это знает и курит самодельную деревянную трубку, правда, очень редко, в такие вот вечера, быть может, для того, чтобы доставить удовольствие себе и мне.)

...В другой раз, по пути на работу, мы размышляли: что же он такое, зеленый поезд? И почему он появляется на недостроенных дорогах, уж не мираж ли это, а если да, то наблюдатели из двух пунктов как раз и смогут убедиться в этом, ведь мираж нельзя «зарегистрировать» тем способом, о котором мы с Ахво говорили.

Впрочем, мы отыскивали с ним, кажется, тоненькую ниточку: поезд появляется почти всегда в безлюдных просторах тайги и тундры. И это не казалось нам случайностью. Тем, кто управлял движением зеленого поезда, нужны были два условия: огромные пространства и безлюдность, по крайней мере, относительная. Оставалось ответить на главный вопрос: кто управлял им?

СОКРОВИЩА ЗВЕЗДНОГО НЕБА

Это могло бы быть простым экспериментом. Мало ли что испытывают в наш век, но обо всем же немедленно сообщать газетам! Но в таком случае опыты длились слишком уж долго, несколько лет (Ахво видел поезд еще в Карелии, потом в Казахстане), и это вызвало мысли совсем другого направления.

Но поверить в невозможное можно лишь тогда, когда оно становится реальным фактом.

Как-то я смотрел фильм о космосе, где ракеты взмывали вверх так легко и свободно, как будто не было мучительно

трудной космической прелюдии, долгих поисков, блистательных находок и трагических неудач. Корабли совершенствовались на глазах с той скоростью, с какой позволял кинематограф, и в заключение возникал неизбежный вопрос: а завтра?.. «Сокровища звездного неба» — так назывался фильм. К этим-то сокровищам как бы устремлялись корабли. Что же это за сокровища?

С некоторым удивлением узнал я, что даже довольно близкие созвездия хранят тайны так ревностно, что и просто перечислить их пока трудно. Радиогалактики, магнитопеременные звезды, двойные пульсары, тройные и кратные звезды, скопления галактик... Почему неразлучны три светила Регула? И почему так схожи иногда пульсары и радиогалактики? За этими вопросами следовали другие, их было бесконечно много, гораздо больше, чем слов в древних преданиях и мифах. Не потому ли названия далеких солнц рассказывали о становлении человека так же красноречиво, как пирамиды, города и космические корабли? Самые близкие и доступные из них напоминали об античном времени, о всяких полузабытых древностях — о юности разума человеческого. Когда-то Диана изгнала Гелику из своей свиты, а Юнона превратила ее в медведицу. Юпитер поместил Гелику вместе с сыном Аркасом на небо, где они образовали созвездия Большой и Малой Медведицы. Десятки других героев античности также вознесены на небо звездочетами и образовали первый пояс. За ним следовал второй. Слабые и далекие звезды заставляли вспомнить о философах и ученых более позднего времени, их названия отражали попытки как бы более зрелого ума проникнуть в неиссякаемый источник вещества — в бесконечность. И все дальше отодвигалась невидимая условная граница, которой достигал разум.

А дальше? Как узнать, что за этой границей и потом — за следующей? И вот появляются радиотелескопы и немного позднее — космические корабли. Размышляя об этом, я сделал для себя маленькое отверстие. Антенна радиотелескопа подобна чаше, в которой мир отражается тем отчетливее, чем больше зеркало воды. Чем дальше друг от друга точки приема звездных сигналов, тем лучше. Иногда антенны расположены даже на разных континентах, а космические радиоголоса записываются на магнитную ленту, и потом все записи сравниваются. Межконтинентальные телескопы — самые точные, но, может быть, всю поверхность Земли использовать для приема сигналов?.. Установить побольше антенн, объединить их в одну сеть? Почему бы нет?

Полистав книги по астрономии, мы с Ахво пришли к выводу: такая всеобщая сеть не намного полезней одного или двух межконтинентальных радиотелескопов. Все зависит от предельного расстояния: чем больше расстояние между антеннами, тем лучше и точнее работает прибор, тем ясней слышны

звездные сигналы, и раз уж многие объекты вселенной испускают радиоволны — тем полней общая картина.

Антенны на ракетах — вот к чему можно было бы стремиться. Целое созвездие исследовательских ракет, летящих на таких расстояниях друг от друга, что пеленгация едва слышимых источников была бы идеальной. И, уж, конечно, карта неба стала бы гораздо подробней. Пока же космические корабли и радиотелескопы существовали отдельно, и мы с Ахво могли лишь помечтать о том времени, когда они будут объединены. Проект был мой, но Ахво его тут же усовершенствовал:

— Зачем же корабли? Установить антенны на разных планетах — вот и все. Действительно, зачем ракеты? Планеты — отличные опорные пункты для наблюдения.

* * *

Поляр уже спал, а мне захотелось помечтать, и я попытался представить необычную эстафету: корабли несли на себе антенные зеркала, они стремились как можно дальше доставить их — к звездам, к далеким планетам, обращающимся вокруг звезд. И оставляли их там, точно эстафетные палочки, чтобы потом другие корабли, гораздо более мощные, быть может, пронесли их еще дальше. Я приближаюсь к главному в наших рассуждениях (должен признаться, что нам помогли видеотелефонные консультации специалистов одного из сибирских исследовательских центров).

Чем дальше смогли бы проникать наши корабли, тем больше мы узнали бы о сокровищах звездного неба. Невидимая, но реальная граница познания, стартовав с Земли еще в древности, расширялась бы, охватывая все новые миры. Но это была, если только так можно сказать, геоцентрическая система изучения вселенной.

Почему бы не предположить, что такие исследования уже начаты, но совсем в другом районе Галактики? Автоматические корабли уже стартовали, первые антенны уже доставлены на расширяющееся кольцо межзвездных радиотелескопов. И на Землю тоже. На первых порах исследователи будут соблюдать известную осторожность, особенно на обитаемых планетах (ведь последствия любого вмешательства, влияния, на первый взгляд даже положительного, оценить практически невозможно). Значит, и на Земле они будут следовать этому правилу. Они постараются использовать и наши достижения: ведь им нужны платформы для перемещения антенн, положение которых выверено с точностью до метров. Железнодорожное полотно — идеальная опора для подвижного радиотелескопа. А как замаскировать его, сделать невидимым? И тут я снова так живо представил зеленый поезд, несущийся по снежной

долине, что эта последняя трудность показалась мне вполне преодолимой. «Любое чудо возможно, если только при этом не нарушаются законы природы» — эту фразу я разыскал как-то в своих старых конспектах. Так мы придумали зеленый поезд. (В сущности, за один-два вечера.)

Но ранним утром, когда я умылся, оделся, открыл окно и увидел сумрачные деревья в серой полумгле, тусклое предрассветное свечение и уловил дыхание холодной земли, наша выдумка показалась нереальной и неправдоподобной. И все-таки хотелось поверить в нее.

Я нажал клавишу телевизора, по выпуклому серебристому пузырю пробежали изогнутые линии, сжались в жгут, который задрожал, как пучок струн, и пропал. Еще две клавиши: «ПОЛТАРА» и «БИБЛИОТЕКА»...

Возникло знакомое лицо.

— Библиотека. Говорите...

— Что-нибудь по радиоастрономии...

— Принципы, история, применение?

— Фильм. Обо всем сразу.

— Время?

— Полтора часа.

— Заказ принят. Ждите пять минут.

Экран залился голубым сиянием, словно олицетворяя вспышку энергии телевизионного робота.

С высоты птичьего полета открылись ущелья и каньоны, перегороженные парусами антенн. Высоко в горах, на фоне острых пиков сверкали их чаши, смотрящие вверх снегов. На склонах зеленых холмов змеилась паутина антенн. Планета была основательно радиофицирована, и этот второй, звездный, этап радиофикации только начинался. Вместе с телескопами-гигантами еще выслушивали эфир первенцы радиоразведки: двадцатиметровый Серпуховский, стометровый американский, Крымский, Пуэрто-Риканский, Большой австралийский...

— Еще одна клавиша: «консультант»...

— Действуют ли межпланетные радиотелескопы?

— Нет.

— Есть ли проекты?

— Да. Первый проект: Земля — Луна; второй: Марс — Земля — Луна.

— Могут ли другие цивилизации использовать Землю для установки радиотелескопов?

— Не исключено... (Молчание.) Вряд ли — велик уровень радиопомех.

— Можно ли связать феномен зеленого поезда с исследованием космоса?

— Нет данных... (Длительная пауза.) Феномен зеленого поезда неизвестен... Вопрос не по теме.

Мы идем на лыжах по только что выпавшему снегу, мягкому и легкому, а с лиственниц беззвучно слетают их новые белые шапки, и голоса звучат тише и глуше. Я совсем забыл о весне, которая вот-вот собиралась отогреть землю, одарить ее первой травой, прозрачной водой, криками птиц. Нас четверо — Ахво, я, Глеб Киселев, следопыт из Русского Устья, потомок землепроходцев и якутских охотников, прирожденный строитель и путешественник, исколесивший Крайний Север вдоль и поперек, и Дмитрий Василевский, кинооператор и ученый (это он прислал усилители света, а потом и сам прилетел в поляр, чтобы сделать фильм). Можно ли встретить на Севере людей, которые бы не любили его? Вряд ли. Мне эта земля кажется гигантским естественным заповедником: выпуклы и величавы ее реки, быстры ветры, пространны и медлительны зимние ночи и летние дни.

Но чтобы узнать Север по-настоящему, нужно отдать ему жизнь, как Глеб, который помнил и редкие встречи со стерхом — белым журавлем красоты необыкновенной, и с исчезающими, все реже пролетающими над краем земли тундровыми лебедями и белошековыми казарками, а в лесных чащах, где рысь стережет лося и всякого зверя, охотился на черного соболя. В Арктике мало птиц?.. Полно, Глеб... Уже взят под охрану и гусь-белошей, и стерх, и сапсан, и казарки белошековые, красногрудые, что зорями летят к вершине земли — домой.

Века и десятилетия неуклюже, но верно поворачивают течения и ветры планеты, разглаживают морщины гор, среди зимы дарят оттепель, и, хоть весны прохладны, теплеет и теплеет красное лето, и мягче из году в год не столь уж лютая зима. Вдруг когда-нибудь незримый сеятель — время разбросает по горам семена сосен, на холмах рассадит ели, в местах посуше — розовый вереск, поближе к воде — иву серебристую. Где овраги, разбросает семена березы, на болотах посадит ракиты, а вдоль рек — могучие дубы. Вдруг когда-нибудь... Ведь Север вмещает любую мечту, но и наяву он поистине прекрасен.

Если бы мне сказали: тебе сегодня посчастливится, но ты должен выбрать — встретиться ли тебе с мамонтом, с настоящим мамонтом, шерсть которого рыжа, уши лохматы и бивни желты, торчат из замороженного глинистого обрыва, или с зеленым поездом, который ты, впрочем, уже видел, — я бы, пожалуй, ответил не сразу. Глеб-то уж наверняка выбрал бы мамонта, Ахво — поезд, Дмитрий...

— Что бы ты выбрал, Дмитрий? — крикнул я. — Мамонта или поезд?

Он даже не переспросил, сразу понял.

— Мамонта.

— Почему?

— Сам не видел и с очевидцами незнаком. Так... Чучела, картинки. Встретить настоящего зверя — все равно, что машину времени изобрести, а ты — поезд...

«Вот и Дмитрий влюблен в Север, — думал я, — камера, усилители изображения — это все не то... Может быть, он и в самом деле пошел с нами только затем, чтобы набрести на мамонта или хотя бы на медведя, на сохатого, на лешего?..»

...Сначала мы думали остановиться у разъезда, хотя у нас были палатки, потом подумали и решили: нет, не стоит этого делать, ведь не видел же зеленый поезд дежурный по разъезду (а он уже месяц тут жил) — чем же мы лучше... Мы вышли к дороге южнее разъезда. Ахво и Глеб пошли к югу, как было условлено, мы с Дмитрием остановились и разбили палатку. У нас было три дня. Кто-то из нас всегда дежурил у рации, когда пришла моя очередь, я даже ночью готов был услышать сигнал Ахво.

Дмитрий относился скептически к нашей затее, и я плохо понимал, зачем он приехал. На третий день, когда рация ожила, Дмитрий первым бросился к приборам, значит, он тоже ждал, просто не баловал себя надеждой.

Заранее было условлено: слово «поезд» не должно выйти в эфир, как и все относящееся к железной дороге, ведь, судя по всему, речь шла о тайне, которую кто-то ревностно хранил. Значит, тайным же должен быть и условный сигнал, когда Ахво и Глеб заметят поезд. Они остановились в двадцати километрах от нас, и время появления поезда на нашем участке измерялось минутами. За час до сигнала Ахво говорил с нами, это была проверка рации. Шел последний день, и мы уж было разуверились в успехе. Через полчаса Дмитрий развел костер и стал готовить обед — в этот день он дежурил. Еще через пятнадцать минут рация ожила, но это был не сигнал. Ахво сказал: «Вижу людей», — и через минуту: «Люди исчезли». Я спросил, что это значит. Он ответил: «Будьте готовы!» И вот прозвучал сигнал: «Найдены останки мамонта!» Эта условная фраза была повторена дважды, значит, и Глеб и Ахво видели поезд.

Как только я услышал их, я пустил секундомер. Мне казалось, что пройдет от шести до двенадцати минут, пока зеленый поезд поравняется с нами. На всякий случай Дмитрий тут же бросил котелок, чайник, консервы и немедленно установил камеру. Механизм сработал не сразу: от мороза, наверное. Но потеряно были всего несколько секунд, и поезд не мог опередить нас. Я наблюдал полотно через объектив усилителя изображений, потому что ни за что не рассчитывал обнаружить что-нибудь невооруженным глазом. Рядом были приготовлены два фотоаппарата, и тоже с усилителями: один аппарат мой, другой — Дмитрия. Когда истекла шестая минута, я вдруг печально нажал спуск своего фотоаппарата. Дмитрий услышал щелчок и обернулся ко мне. Я растерялся на одно лишь мгновение и

оторвал глаза от прибора. Кажется, я начал объяснять Дмитрию, что мой аппарат случайно сработал, и он с явным неодобрением слушал меня. В ту же минуту легкое облачко снежной пыли взвилось над полотном и быстро пролетело вдоль него. Дунул ветерок, снежинки медленно опускались на мое лицо. «Смотри!» — крикнул я. Но было поздно. Или, быть может, слишком рано? Я припал к окуляру и замер на несколько минут. Стрелка секундомера много раз обошла круг, и у меня стали мерзнуть щеки. «Хватит!» — сказал я. — Если облачко и было поездом, то мы уже знаем его скорость — сто девяносто километров в час, оставь камеру и пойдем пить чай, а то замерзнем».

Когда совсем стемнело, мы подложили в костер дров, пламя поднялось чадающими языками, потом снигло, открыв переливающиеся розовые камни углей под теплой подушкой воздуха. От белых облаков, отражающих снег, не осталось и следа. В небе проступили звезды. Желтые огни кропили нас легкими искрами, и мы уж было задремали, как вдруг два знакомых голоса прогремели в лад над костром. Ахво и Глеб приблизили лица к теплу и свету, иней на их шапках засеребрился и растаял. Мы торопливо собрались и двинулись в поляр.

...Утром мы собирались на трассу — испытывать очередной участок, предпоследний, самый трудный, но до глубокой ночи я не мог уснуть, как иногда бывает, если пройти много километров и желание выспаться, уснуть возникает и вдруг исчезает. А в закрытых глазах моих неотвязно плыли и плыли волнистые дали, точно белые волны, как видишь их с самолета. Они сливались с зимними светлыми тучами, что шурша летели сквозь снежные завесы, а им не было конца. И с неизбежностью воображение вело меня дальше и выше — туда, где открывалась вселенная и за ней — вместилище миров.

На рассвете я забежал к Василевскому. Он работал с кинолентой и попросту отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Пришли Глеб и Ахво. Трое — уже сила. Дмитрий оглядел нас, сказал спокойно:

— Лента испорчена, засвечена. Ни одного кадра не вытянуть. Вот сейчас, на наших глазах сделал последнюю попытку. И с пленкой из аппарата то же самое.

— Что же ты... — протянул Ахво. — Поезд-то был.

— Это не я, братцы. Делал все как надо и даже лучше.

— Сама засветилась? Так не бывает.

— Я тоже думаю, нет...

— Понятно. Теперь уедешь?

— Что делать... Пора.

Но Дмитрий остался еще на два дня. Думаю, он сделал прекрасный фильм о поляре, о людях его, об их нелегкой дороге в завтрашний день. Жаль только, что не было в фильме зеленого поезда.

Ночами еще стыла земля под ледяными звездами, но таинство весенней радости, быстрых крыльев, звонких ручьев было уже на пороге. Вот-вот первые желтые краски лягут на откосы, и заречье начнет окрашиваться в сиреневый цвет... Я вышел проводить зиму, лыжи еще скользили по синим снегам, осевшим темными пятнами под деревьями, у краев полей, где стволы дышали на солнце паром.

Полдень. Солнце. Первые прогалины на каменных лбах сопок. Совсем незаметно я добежал до железной дороги. Струя теплого воздуха висела над ней, гранитная насыпь была нагрета, рельсы пахли железом. Вдоль насыпи вела лыжня. Возникло чувство, что за мной следят. Но никого не было видно. Я пошел медленнее, оглядываясь. Далекая фигурка замаячила за моей спиной. Я пошел быстрее, но фигурка росла и росла. По другую сторону насыпи бежал на лыжах человек... Женщина. Как будто бы что-то неуловимо знакомое открылось мне в ней. Присмотрелся: Лена Ругоева. Откуда она здесь, подумал я, ведь улетела же на Север, и вдруг вспомнил нашу маленькую экспедицию, удивленное восклицание Ахво («Вижу людей!») и позднее — причину («Там, у поезда, была Лена!»).

— Здравствуйте, Валентин Николаевич! — крикнула Лена.

— Здравствуйте, Лена! Уж не вернулись ли вы к нам?

Ее голос звучал отчетливо, хотя она была еще далеко. Я подождал ее, она продолжала бежать по другой стороне насыпи. Глаза ее сияли, она была похожа в эти минуты на девушку из северной легенды, чей голос звонче песен весны.

— Нет, Валентин Николаевич, я еще не вернулась к вам. Я хочу рассказать вам о зеленом поезде.

...День был радостным, необычным, хотя я не мог отделаться от сознания своей беспомощности. Все мои вопросы казались лишними, я и без них получал ответы, и смысл слов Лены доходил так явственно, как будто бы она излучала свои мысли, а я ловил их. Это новое чувство было незнакомо мне прежде, эта неожиданная легкость общения вызывала даже легкую тревогу: ведь мои рассуждения и мысли могли показаться ей ненужными и неуклюжими. Что же делать? Если спрашивать не было необходимости? Слушать? Но я непостижимым образом догадался обо всем, что она как будто хотела сказать.

И вот из совсем немногих слов, слетевших с ее губ, составила целостная картина: я понял, что зеленый поезд был одной из исследовательских станций. Это был поистине звездный поезд, и эти два слова лучше всего подходили к нему, потому что... Нелегко осознать, что кажущаяся пустота пространства заключает в себе так много, что нужно изучать ее годы, десятилетия. Но и это не все — радиоволны лишь малая часть скрытого в ней. За ними выстраивается бесконечный ряд

взаимопревращающихся волн и частиц — и медленных и быстрых, таких быстрых, что они обгоняют свет, словно прочерчивая своими лучами путь из настоящего в будущее. И, следуя этим мгновенным росчеркам, выстраиваются в пространстве бесчисленные хороводы звезд, парящих планет с голубыми газовыми оболочками, сияющих комет и быстрых метеоров — это лишь следы, отблески того движения, которое и есть причина всего. Все, что наблюдаемо, может быть понято. Но где истоки неведомых «мгновенных лучей»? Они не нашли их. Они искали. И знали, что в тот момент, когда эти истоки будут найдены, — отыщется и причина становления целой галактики. Вот почему уже много лет путешествовал с планеты на планету звездный поезд. Но где-то в других созвездиях и в других мирах, под синим, под желтым, под розовым солнцем, каждый день, каждый час, невидимые как ветер, как воздух, как дыхание, неслись другие поезда. Вот почему они верили в успех.

Я подумал: зачем это вечное движение? И понял: отыскать источник лучей можно, лишь «поймав» его из нескольких точек пространства.

Возникла мысль: трудно, наверное, сделать поезд невидимкой? И в голове сложился ответ: вовсе нет, на вагонах трансляторы света, они ловят лучи с одной стороны поезда и передают их на другую, создается иллюзия, что вагоны прозрачны, невидимы.

Лена с нами работала... Зачем это им? Неужели только потому, что дорога не была готова? И глаза Лены стали чуть лукавы, она рассмеялась и, поправляя волосы, разлетевшиеся за ее плечами, сказала:

— Вот и нет. Конечно, поезд стоял до поры до времени. И дел срочных не было. Но у нас ведь только поезд — невидимка, а не люди. Лучший способ не выделяться, не бросаться в глаза — это быть вместе. И потом это нужно. Разве вы не заметили, что все измерения я выполняла намного точнее, чем требовалось? Но я работала с вами и потому, что это было интересно. Здорово. Я даже костры таежные люблю, и птиц, и снега, и лыжи. И вашу работу. Как будто здесь родилась. А на Крайнем Севере я действительно была, ведь нам нужно знать линию трассы очень точно, гораздо точнее, чем вам. И потом придется выверять координаты дороги до миллиметра. Даже такая ошибка вырастает в парсеки на большом удалении от точки наблюдения... Только вот что, Валентин Николаевич, вы должны забыть все, что связано со мной лично. Это долго объяснять, но это нужно. Мы ведь еще будем работать вместе. Я помогу вам. Вы забудете наш разговор, а поезд... О нем вам можно знать все. Помните, как ваш фотоаппарат случайно сработал и как у вас с Дмитрием ничего не получилось? Так вот, сегодня вечером вы проявите пленку (вы до них пор не сделали этого).

Как только вы увидите на снимке поезд, в вашей памяти возникнет словно провал. Временно, конечно. Ваши специалисты без труда поймут, что такое зеленый поезд. Вы и Ахво вспомните наши встречи через полгода, когда нас уже не будет здесь. А теперь мне пора...

Я понимал их: нелегко работать долгие годы на чужой планете, а сейчас у них, быть может, остаются считанные недели, и нельзя отвлекаться, и все на исходе, на пределе — нервы, аппаратура... И не решились ли они открыть секрет поезда только потому, что это даст им лишнюю энергию, чтобы хоть на несколько дней продлить обнадеживающие наблюдения? (Ведь поезд невидим только тогда, когда работают очень непростые, по нашим понятиям, приборы...)

— Хорошо, — сказал я, — пусть будет так. Желаю удачи, Лена!

...Вдруг солнечные лучи сошлись как в призме. Из светлого огня вылетела тень. Эта тень была поездом, я наконец увидел его рядом. Когда он пронесся мимо, разлив мягкое сияние, Лены уже не было. Откуда-то издалека донесся ее голос: «Послушайте нашу песню, Валентин Николаевич!»

Это была скорее земная песня. Иначе и быть не могло: ведь они любили Землю и работали здесь. О чем пелось в песне?

В ней пелось о красном восходе первого дня весны и синих чистых днях ее, о запахах гроз и лесном колдовстве зеленого возрождения под звоны дождей. Пелось в ней о золотых коврах осенних трав и стаях диких серебристых птиц, кричавших на камнях и скалах, о таинственных огнях таяющих, что расплывались как виденья вблизи, а издали сверкали как глаза зверей, волков и рысей; и пелось о жестких штормах вдоль восточных побережий — причудливо изогнутых краев планеты, — о летних красках северных фиордов и обо всем пространстве, где пробегал их поезд.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ

Жестоко дул ветер из края в край бесконечной, только с восхода холмами окаймленной равнины, и безнадежно маленькими были два человека в самом центре полутундры-полулеса, такой однообразной, что каждый шаг ни к чему не приближал и не отдалял ни от чего. Снег, проткнутый черными мокрыми ветвями низких кустарников, лежал там и здесь островами, горами, кочками — при взгляде вдаль эти острова на всех направлениях сливались в одно. Таяло. Среди мхов стояли озера и лужи, по большей части соединенные между собой. Наверху, закрывая солнце, сумятицей в несколько слоев катили черные и белые облака, огромная панорама неба ежеминутно перестраивалась, и лишь изредка мелькал где-нибудь голубой просвет.

Неуютный, злой мир. Ни одного местечка, чтобы согреться, — снег, чавкающая, насыщенная ледяной водой почва. Но двое, медлительностью своего движения прикованные к тому краю, где родились, никогда не видели другого, только слышали от старших, что прежде было лучше. И не холод тревожил их, они были скорее дети холода, чем тепла.

Десять тысяч лет назад.

Север Европейского континента...

Люди приближаются, и мы можем их рассмотреть. Это молодые мужчина и женщина, им примерно по восемнадцати, но трудности борьбы за жизнь заставляют их выглядеть старше, чем наши современники в такие же годы. Оба исхудали, но оба хорошо сложенные и высокие, особенно мужчина, длинноногий, с развитой грудью, мощным плечевым поясом, одинаково способный и на длительный бег, и на большое мгновенное усилие. И он и она одеты в звериные шкуры, но не сейчас, не ими выделанные, а вытертые уже, порванные, скрепленные на трещинах, такие, что почти не удерживают теплоту тела, а лишь загораживают его от ветра. На женщине рубаха из оленьей кожи, еще что-то вроде куртки из телячьих шкур, — она на первых месяцах беременности и защищает от стужи не только себя. За плечами сверток больших шкур, в руке примитивно сплетенная корзинка, доставшаяся ей от матери, старая, потемневшая. Мужчина вооружен. На ремennom поясе

висит колчан с четырьмя толстыми стрелами, маленький мешок, где кремневые рубила, скребки и предметы для добывания огня. В одной руке у него грубый, ничем не украшенный лук и копье, в другой — каменный топор на длинной костяной рукоятке, который нам теперь показался бы скорее молотком.

Женщина, опустив голову, смотрит себе под ноги — она собирательница. Мужчина — охотник, он бредет, оглядывая даль.

Но ничего нет ни рядом, ни в отдалении. Живая, движущаяся животная жизнь кажется исключением здесь, среди снега и воды. Трудно помыслить, что эта бесплодная почва способна создать и прокормить существо с горячей кровью, упругой плотью. Правда, мужчина видит под линией горизонта несколько темных точек. Но это волки, тоже охотники. Рослые и широкомордые, они уже несколько дней терпеливо преследуют двоих, ожидая, пока те ослабеют. А двое без пищи уже давно, их движения все неуверенней, их шаги шатки.

Вот двое подошли совсем близко. Женщина с коротким вздохом сбрасывает со спины сверток, садится на него. Мужчина опускается на корточки. Женщине хочется есть и хочется кислого, она обламывает черную веточку с куста, пробует пенный, желтый жгуче-горький сок, роняет, срывает перышко голубого мха, опять пробует. Она вся здесь, и теперь ее чувства и мысли конкретней, непосредственней, чем у мужчины, который в эти минуты отдыха рассматривает рисунок, вырезанный на рукояти топора, поворачивая его и так и этак с бережной осторожностью, даже странной для его больших заскорузлых кистей. Он вспоминает прошлое и, поглядывая на далекую гряду холмов, прикидывает будущее.

Люди! Почти такие же, как мы, только сто столетий назад. Одинаково с нами способные научиться чтению и письму, понять или хотя бы ненадолго для экзамена запомнить формулы химии и математики, примениться к цивилизованному бытию.

Наши родственники в самом прямом смысле. Население Европы того времени составляет едва ли десяток тысяч человек, а это значит, учитывая множество прервавшихся родов, что каждая человеческая пара той эпохи дала частицы своей крови миллиону или двум наших современников.

Поменьше пятисот поколений отделяют нас от задумавшегося мужчины. Как интересно было бы выстроить во времени шеренгу двадцатилетних отцов (всего лишь пехотный батальон по числу), молодых, у которых еще целая жизнь впереди и глаза светятся.

Вот он первый, ближайший к нам, в солдатской гимнастерке Великой Отечественной войны. Он пригнулся с друзьями в окопе, нервно, быстро докуривает махорочного бычка, бросает вскипевший, трещащий огонек на влажную землю и по привычке раздавливает, прикрутив подошвой тяжелого сапога.

Сейчас атака. Ну конечно, он останется жив — ведь ему еще встретиться с нашей будущей матерью и в мгновение нежности, страсти, оглушающе стучащего сердца зачать нас.

За ним отец — строитель начала 20-х годов. И следующий уже выглядывает из шеренги, в косоворотке фабричной бумаги навывпуск под ремень, темных брюках, заправленных в сапоги, в картузе — рабочий в 1900-м.

Через одного задумался парень в холщовой рубаше и лаптях — скоро волю дадут от барина. А дальше через одного примеривает французскую кирасу воин 1812 года — только восемь поколений от нашего.

Шеренга стоит. Все крестьяне, крестьяне, отцы, отцы, и во многих пока еще угадываются черты того солдата, который в окопе принял от товарища остаток махорочной скрутки. Что ж они сделали для сегодняшнего дня, эти парни, кроме того, что произвели на свет нас?

Тот, которого привезли в Москву с Дона, с Украины?..

Тот, кто несколькими поколениями раньше бежал на Дон от помещичьей кабалы? (Тоже наш дальний отец, от него у нас в характере вольная степная манера.)

Тот, кто с проклятой туретчины сумел вернуться домой?..

Лишь сорок поколений, сорок шагов вдоль шеренги, и вот стоит княжеский дружинник в железной сетке-кольчуге. На сто тридцатом шаге исчезнет металл, на двухсотом — домотканую шерсть сменит тщательно выделанная шкура. Но по-прежнему на обветренных лицах все та же упорная надежда.

Не правда ли, большая ответственность ложится на плечи каждого из нас, если задумаешься: как много отцов и матерей обменялись первым несмелым взглядом, чтобы на свете стало «я»? Ответственность и величие в любом — от академика-лауреата, что держит в сознании огромный свод сложнейших научных и народнохозяйственных проблем, до простого рабочего. Торжественное величие в каждом.

...Безлюдней и безлюдней вокруг. С полусотней шагов мы оставляем позади тысячелетье, снова тысячелетье, и наконец перед нами опять двое, затерявшиеся на голой равнине.

А если шагать дальше, за полк поколений, за одну дивизию, вторую? Тогда еще в пределах первой армии вернется в шеренгу отошедшая в сторону, исчезнувшая во мраке небытия цепочка охотников-неандертальцев — их последние костры погасли в Европе 35 тысяч лет назад. В пределах первой же армии станет заметно уменьшаться лоб, массивнее сделаются челюсти, приземистей фигуры. И в самом конце армии, а затем, составляя всю следующую, выстроились австралопитеки, заросшие шерстью, длиннорукие.

Чем он занят, один из больших полузверей, сейчас, когда мы на него смотрим? Вокруг него танзанийская степь, недавним ливнем прорытая глубокая щель-канавка заросла драценой

с острыми листьями, красноватым суккулентом, и там острый взгляд австралопитека различил коричневое пятно. А с другой стороны к канаве приближаются бредущие в стойбище с дневного поиска самки-матери с детьми. Какой момент! Крикнуть, предупреждая заворот? Но тогда сразу неотвратимый прыжок, когтистая лапа ударит мать, желтоватые клыки схватят младенца. Сильный ползуверь, наш дальний отец, опускается на четвереньки и крадется к леопарду: он пожертвует собой, отвлекая гибель от матери с дитем. Сияет африканское солнце — два миллиона лет назад. И через тьмы веков до нас все-таки докатится деяние, ибо не исключено, что в роды Пушкина, Шопена или Циолковского вступит спасенное тем подвигом в глубинах прошлого.

Австралопитек осторожно раздвигает травы, мускулы напряжены, взгляд неотступно на хищнике. Теперь семь шагов отделяют его от леопарда... шесть... пять... четыре....

Три... два... один... ноль! Вы слышите рев ракеты, взлетающей над Байконуром? Слышите?!

Но вернемся опять к тем двоим, что в центре огромного холодного поля на европейском Севере. Если б они могли провидеть тот длинный ряд потомков, что оберегается сейчас под сердцем женщины, если б знали, сколь разительно переменится в будущем окружающая их бесплодная местность! Только им не дано такого, они дошли до самого последнего рубежа своего времени, впереди одиночество и гложущая неизвестность.

Гложущая, потому что мужчина и женщина — современники великой передвижки. Всего за несколько поколений мир стал другим. Прежний навык не отвечает новым условиям, в руках все расползается, из-под ног уходит, нужно найти что-то или погибнешь.

Двое — первые люди в этой части земного глобуса. Их привела сюда жуткая катастрофа, которая втрое-впятеро срезала население материка, оставляя там и здесь вымирающие орды, едва не приведя человека в Европе на грань исчезновения. Солнце отказывается светить, как раньше, облачная мгла затянула ясное небо, потемнели чистые снежные поля, с юга налезает непроходимая чаща неведомых растений.

Прежде жили охотой на оленей, что приходили стадами на ближние равнины. Шкурами одевались, мясо запасали в пещерах на долгую зиму. Мужчина помнит эти загонные охоты: быстрый бег, пенные морды животных, удар копьем, торжествующий крик, исторгшийся из собственной груди. В его памяти рассказы стариков о том, что их отцы добывали еще более крупного зверя, злобного, которого заманивали в яму. И мужчина верит, что такой зверь был, потому что огромные кости изобильно валяются вокруг стойбища, а изображения его украшают рукоятки старых топоров.

Но стада оленей постепенно уменьшались, однажды весной

они не пришли совсем. Черная масса кустарников и деревьев, сквозь которую ничего не увидишь и не прорубишься, подступила к обжитым холмам, поглотила их. Год от году становилось теплее, большие животные исчезли совсем, других люди не умели бить. Питались падалью, грибами — от этого многие умерли.

И когда орда сократилась вчетверо, молодой мужчина решил покинуть стойбище, отыскать тот край, где далеко видно на снежных просторах и олени режут, вскидывая рога, убегая от сильного охотника.

Но легко ли? Попробуй найди!

Сегодня нам кажется, будто проблемы, стоявшие перед предками, были далеко не столь громоздки и насущны, как те, с которыми встречаемся мы. Вроде все было не так сложно в буйные рыцарские времена, в лихие мушкетерские. Вскочил в седло и умчался от любой нависшей беды — только стук копыт и ошеломленные лица отшатнувшихся врагов. Или рабовладельческая эпоха: разве трудно поднять восстание, а если его и подавят, половина земного шара еще не заселена и свободна для тебя. Но все так лишь отчасти. Действительность и в самом деле была проще, зато проще и умирали. Люди всегда держались сообществами, а сообщества жестоко, ни о чем не спрашивая, оборонялись от кочующих чужаков-одиночек — ножом, стрелой, дубиной. Мир во все времена был миром нехватки и скудности. Всякая вещь ценилась дорого, владелец держался за нее до последнего издыхания. Король, умирая, точно указывал, кому камзол, чьими станут его кровать и штаны. В богатом доме кубок переходил от прадеда к правнуку, в бедном доме топор — от отца к внуку. «Вскочил в седло и умчался...» Но седел-то в эпоху турниров и замков было по числу рыцарей с их оруженосцами, вовсе не по числу крестьян, которых насчитывалось в двадцать-сорок раз больше... Да кроме всего прочего, неизвестность, обступающая того, кто ушел от своих. И голод. Достаточно не есть неделю, а после не хватит сил добыть себе пищу. Достаточно даже пяти дней.

Но мужчина пошел. Вместе со своей подругой — от наступающего леса, спиной к солнцу, которое стало теперь слишком горячим для людей. Через полмесяца двоих встретил холодный ветер, вскоре он сделался непрерывным, двое поняли, что идут верно. Но собранный запас пищи кончился, оленей все не было, мужчина и женщина начали слабеть. Потом к ним прицепились волки, которые тоже озлобились, осмелели.

Теперь во всем окрестном мире, куда хватал глаз, их было две группы — человеческая пара и хищники. Безлюдье на сотни километров вокруг, абсолют безлюдья впереди. Медлительный шаг по лишенной ориентиров сырой пустыне, где нечем огородиться, негде спрятаться.

Мужчине известна бездушная неотвратимость охоты, кото-

рую ведут волки. Он знает, что перед концом от них не отобьешься. Свирепый, неприступный желтый глаз, ошеломляюще неожиданный бросок сзади, и в агонии забьется тело, которое рвут. Но сейчас, в минуты отдыха, мужчина позволяет себе отвлечься мыслями от страшщей реальности. Он поворачивает рукоять топора, рассматривая насеченное на ней изображение шерстистой морды с хоботом и бивнями. Ему не представить себе настоящих размеров зверя, мужчине кажется, что тот не больше крупного оленя. Один крепкий удар — и падает груда вожака мяса.

Он сжимает отшлифованную ладонями кость.

Сжимает, и...

Женщина, вдруг застывшая, издала тихий, придавленный горловой звук. Еще слышный, рассчитанный, чтоб едва коснулся слуха мужчины и не ушел дальше. Следуя за ее остановившимся взглядом, мужчина повернул голову, тоже затаил дыхание, опустил топор, медленно-медленно потянулся к лежащему рядом луку.

В полутора десятках шагов от них северный заяц, рыжевато-коричневый, с любопытными выпуклыми глазами, вынырнул из кустарника, сел, глядит на две незнакомые ему фигуры. Прыгнул ближе и снова сидит. Стал на все четыре лапки, грызет шишечку с ветки ползучего ивняка — видно, как мягкая верхняя губа передергивается у него со стороны на сторону.

Вот она, возможность спасения, единственная.

Время как будто замерло, двое слышат биение собственного сердца. У мужчины стрела на тетиве, женщина перестала дышать. Мужчина натянул лук, подался вперед, выстрелил. Но неумело, неудачно. Грубая стрела летит мимо цели. Однако заяц, испугавшись, именно в этот момент скакнул и косо наткнулся мордочкой на каменный наконечник.

Женщина рысью метнулась с места, упала на дергающегося зверька. Схватила поднесла ко рту, перегрызла горло.

И вот двое пьют теплую кровь, этот концентрат животной жизни, которую человек еще так трудно собирает с больших площадей жизни растительной.

Если б они сумели остановить в памяти ситуацию — выстрел с упреждением. Но нет, где там! Еще сотни раз такое должно повториться, тысячи. Еще несколько поколений минует до времени, когда изловчившиеся охотники начнут из легкого, более изящного лука бить мелкого зверя на бегу и птицу на лету. А двое не поняли, что произошло, упустили. Они развели костер, поджарили мясо, съели. Вернулась энергия, движения стали свежими.

Дальше!

Они пошли, кое-где перепрыгивая через лужи, кое-где шагая по ним. Равнина теперь повышалась к северу, еще плотнее дул ветер в лицо. Вскоре мужчина увидел на горизонте гряды бе-

лых гор. Все более влажными делались воздух и земля. Повсюду текли ручейки, сливаясь в маленькие речки. Начали попадаться глыбы камня и глыбы льда. Порой они образовывали такие завалы, что невозможно было пройти. Льда становилось все больше, он лежал целыми лугами. Затем почва вовсе скрылась, направо и налево от двоих простерся край бесконечного ледяного поля, которое полого поднималось впереди.

Мужчина остановился, огляделся. Это было ново и тревожно. Он присел на корточки, раздумывая, потом решительно встал. Где лед, там холод, где холод, там снег, а значит, и олени.

Дальше!

На равнине к погасшему костру тем временем подбежали тощие, облезлые волки. Почуяв кровь, сразу оживились, поспешно, вырывая с рычаньем друг у друга, поглотали обрывки шкуры с шерстью, повертелись, принюхались и неторопливой рысью потрусили за людьми. Их ничто не могло сбить с этого следа и нечему было отвлечь от последнего, быть может, шанса на жизнь. Они приблизились ко льду и вступили на лед.

Двое поднимались долго, отдохнули, потом еще раз долго. Позади все выше вставал горизонт, равнина за спиной постепенно превращалась в огромную серую чашу. Мужчина и женщина вошли в пояс тумана — странно было видеть его клубы вне кустов и деревьев, свободно висящими в воздухе, медленно перемещающимися. А когда двое миновали туман, их ярко осветило солнце, склоны льда вокруг заблестели глянцем, и стало казаться, что рукой подать до гребня, за которым богатая охота. Здесь было совсем безветренно и тепло, женщина распахнула перетянутую оленьей жилой куртку. Лед вытаил пещерами, утесами, лежал застывшими реками, провалился ущельями. Идти становилось все труднее, женщине не доставало воздуха, она вдыхала тяжело и часто. А гребень все отодвигался — всякий раз будто на то расстояние, какое двое проходили от передышки до передышки.

Потом кончилась полоса разнообразного льда, опять он разлился полями, уходящими к небу. Мужчину взяла оторопь: знать заранее, как труден путь, он не осмелился бы на подъем.

Может быть, вернуться?

С высоты туман смотрелся как облака, а вдалеке был похож на всплывшие вдруг и движущиеся сугробы снега. Чудно было видеть теперь все это внизу, а не там, где обычно, в небесной вышине. Несколько точек, мелькнувших среди белеющей мглы, подсказали двоим, что волки не оставили их.

Вперед!

Теперь гребень начал приближаться ощутимее. Стена в человеческий рост, кое-где ниже, а за ней уже голубизна пусты. Десяток шагов, еще десяток, мужчина тоже ослабел, дышал хрипло. Солнце перевалило зенит, начало опускаться, равнина внизу сквозила через облака-туманы, и далеко, далеко

к югу лежала темная полоса — вал наступающих высоких, враждебных растений.

Двое подошли к последнему ледяному уступу. Там должен был начаться спуск, за которым олени и мохнатый зверь

Мужчина забрался наверх, выпрямился. Женщина видела, как он сделал шаг вперед и, отшатнувшись, окаменел. Она с трудом влезла за ним и тут же села, испуганно глядя перед собой.

Ни снежных полей, на которые они надеялись.

Ни леса, которого боялись.

Ни льда.

Двое никогда еще в своей жизни не были на такой ужасающей высоте: быть может, вообще люди в Европе никогда не поднимались еще на такую.

И здесь, над облаками, начинаясь сразу от синих босых ступней мужчины, от его замерзших, окостеневших пальцев с искореженными, обломанными ногтями, разлилась под небом и сияющим солнцем ровная, бесконечная поверхность холодной темной воды.

Во все стороны она уходила, теряясь прямо вдаль. Невысокие тяжелые волны округлыми валами медлительно катили на мужчину и успокаивались у самых его ног.

Море, разлившееся выше положенного уровня, простершееся на миллионы квадратных километров. Безмерные массы пустых вод, где ни рыбы, ни водорослей, ни даже бактерий.

Двое, конечно, не знали всего этого. Не знали, что и полжизни им не хватило бы, чтобы кругом дойти до противоположного берега. Уничтоженные, они смотрели на необъятное водное поле, сходявшееся у горизонта с небом, и рассыпался, исчезал образ оленьего стада, пасущегося на снежных лугах.

Сильно пригревало, и было совсем тихо. Но легкие, неошутимые ветры все же бороздили гладь моря в отдаленье — там черные пространства лежали вперемешку с голубыми и серыми. Слева от людей вода почему-то парила, поднимались и рассеивались в воздухе белые быстрые клубы. Неспешно плыла льдина, высунувшаяся торчком из глубины. Ее изъело солнцем, жаркие лучи выгрызли что-то вроде гигантских сотов на неровных откосах. Она кренилась постепенно, затем вдруг пошла решительно переворачиваться — верхняя часть, всплеснув, скрылась под водой, а оттуда вынырнул другой бок, размытый, отшлифованный, белый.

Что-то происходило в этом на первый взгляд недвижимом мире. Тысячелетиями что-то готовилось и теперь назрело.

Лед, хотя и повсюду лед, был неодинаков в разных местах — синие оттенки перемежались с зеленоватыми, даже желтыми. Здесь он иззернился, там шерстил, присыпанный вмерзшим снегом, тут переламывался четкой стеклянной гранью.

Волна от перевернувшейся льдины докатила до берега, омы-

ла ступни мужчине. Он вздрогнул, очнувшись. Сотнями роились солнечные блики. Ледяная кромка, отделявшая море от пологого склона-спуска, кое-где была широкой, громоздилась утесами, кое-где сужалась, плоская, до двух метров или метра, как мы смерили бы теперь.

Угрюмо, медленно мужчина снял с себя пояс с колчаном, взял у женщины две свернутые шкуры, служившие обоим как шатер для ночлега. Он развернул и бросил шкуры у самой воды, опустился на них. Женщина легла рядом, свернулась в комок и сразу уснула, потому что была сыта и смертельно устала. А мужчина не мог и не хотел спать, ему надо было решить, куда теперь. Он подобрал ноги, обнял колени, просидел несколько минут, задумавшись. Ему казалось, что где-то тут должны быть олени, но только путь к ним преградила огромная вода, которую двое и помыслить не могли перейти.

С коротким сдавленным восклицанием мужчина встал, прошелся взад и вперед, потом взял в руки топор — он чувствует себя уверенней, когда пальцы охватывают костяную рукоять.

Неподалеку послышался шорох — подтаявший ледяной нарост сорвался с утеса.

В этом месте кромка берега совсем узка — с одной стороны рядом море, с другой — далеко внизу потонувший в провале смутный контур полулеса-полутундры. Мужчина останавливается здесь. Без мыслей взлетел топор, ударил по льду раз, другой, третий.

И вот уже заполнилась бороздка, первые капли стекают за край гигантского блюда.

Снова удар, изливается струйка и быстро-быстро делается ручейком.

Это привычно мужчине — сбрасывать воду. В стойбище по весне так приходилось делать в пещерах, где зимой не жили, не жгли костров, а только хранили мясо.

Еще удар, ручеек набухает. Пока безмолвный, он бежит между ступнями мужчины, который стал сейчас лицом к солнцу, к равнине. Поблизости пришла в движение поверхность воды, а движущаяся вода — совсем не то, что стоячая. У нее другая сила, ее молекулы трутся о молекулы льда, расшатывают, срывают. Р-раз — и рухнул запирающий кусочек, безмолвие сменяется переливчатым шепотом! Р-раз — и выламывается маленькая глыбка! Ручеек заговорил, зажурчал, стал вдвое шире.

А мужчина... На каком берегу ему остаться?

Чрезвычайно важен выбор, хотя человек и не подозревает о том. С правой стороны струйки он сделается предком норманнов, которым обживать неприветливые фиорды Скандинавии, увидеть на горизонте березовые роши Гренландии, высадиться в Америке. С левой — мужчине начать славянский корень, его дальние правнуки будут, возможно, воздвигать златоглавый Киев, столицу Древней Руси. Кто-то из них в страшную для рус-

ской истории осень 1240 года будет смотреть, как на низком берегу Днепра собираются верткие широкоскулые всадники в долгополых тулупах и больших шапках-треухах — отряды неисчислимых полчищ Батыя. Но уйдет в лес, останется жив, семя и страсть свою передаст тому, кто в розовый утренний час на поле Куликовом... Это если влево. Вправо же быстроходный остроносый даккар, неумолчный скрип уключин, пенная морская волна, а потом овцы на горном лугу, домик у чистого озера, музыка Грига.

Удивительная альтернатива, и вариант определяется всего одним шагом.

Вправо или влево?

Мужчина переступает вправо, подходит к своей подруге. Чуткая, она сразу просыпается и встает, освеженная, сильная, мгновенно готовая к действию. Но нечего делать вокруг, и вот двое возле ручья. А это именно уже не ручеек, а ручей, который с каждым мгновением ширится, превращаясь в стремительную речку. Струя шириной в полтора метра падает с ледяного вала и дальше внизу растекается пленкой. Но и там начинает обозначаться ложе течения.

Теперь не остановить, не закрыть бегущую воду, даже если б мужчина и захотел. Поблизости в море изменились пути течений, пробуждены силы, которые уже невозможно обуздать.

Мужчина перепрыгивает на ту сторону, обратно и снова туда. Отломился еще кусок ледяного берега, мелькнул сквозь водопад. Речка стала наполовину шире, ее говор сменяется рокотом. Нужно кричать, чтобы понять друг друга.

Мужчина зовет женщину на свою сторону, она подступает к струе, мерит взглядом, качает головой. Мужчина смотрит вниз, вода нашла себе дорогу, она катит мелким ущельем, от минуты к минуте размывая его, делая глубже. Поток уже разделил склон пополам.

А волки? Где они?

Вот стая — всего в двух сотнях шагов ниже. Так близко хищники еще не подходили днем.

Звери справа от бегущей воды и отступают перед ее разливом. Значит, людям надо на левую сторону.

Мужчина берет брошенные на лед шкуры, прыгает с ними через поток. Он показывает женщине на волков. Скорей же, скорее, а то будет поздно!

Тем временем обламывается еще кусок льда. Поток расширился, напор сильнее.

Женщина колеблется, затем отступает для разбега, примеривается. Несколько быстрых шагов, прыжок. Нога попала на самый край ледяного уступа, руки взмахнули в воздухе. Короткий, неслышимый крик, и женщина падает. За несколько секунд ее уносит, сталкивает на два десятка метров вниз, и на разливе ей удастся задержаться. По колени в ледяной воде женщина не

осмеливается сделать и шага, она подалась вперед, наклонилась. Холодные струи неумолимо вымывают, выкапывают дно под ней, она еле удерживается на ногах.

А все еще яркий день. На высоте ничем не загороженное солнце заливает ослепительным светом бесконечный склон, неохватную поверхность нависших вод и ту льдину, которая наверху развернулась и царственно направляется к истоку реки.

Мужчина швырнул копьё и топор в сторону, длинными прыжками он спускается, падает, вскакивает, устремляется к женщине. Вот они рядом, обжигаяще холодная вода по пояс обоим. Они идут, держась друг за друга. К счастью, здесь маленькое плато, где река растеклась. Мгновенье отдыха и дальше влево. Опять глубина. Женщина вдруг проваливается с головой, мужчина пытается вытащить ее и тоже скрывается весь в потоке. Их несет по глубокой ложбине.

Все полноводнее река, сильнее ход воды.

На какой тонкой нити повисли будущие отцы-охотники, отцы-земледельцы, княжеский дружинник, крестьяне, солдаты...

Оба выныривают, мужчина яростно борется. Обоих прижимает к ледяному выступу. У женщины плотно сжаты губы, она не сказала ни слова, не крикнула с того момента, как упала. Задышавшись, чувствуя, что отнимаются занемевшие руки, мужчина отчаянно осматривается.



Что такое? Напор резко ослабел, он почти совсем иссякает.

Льдина, подплывшая там наверху к берегу, заперла реку. Однако и там верхний слой теплой, нагретой за день воды точит и точит новые проходы с ее боков, проламывается и урчит, шата- и сотрясая ледяную глыбу.

Мужчина и женщина выходят из потока, тяжело дышащие, побитые, обессиленные и дрожа.

Но топор! Лук и стрелы!.. Все осталось на другой стороне. А без оружия, одежды, инструментов обрывается связь двоих с прошлым, с человечеством. Они сразу скатятся на положение голых слабых животных, которым не прожить и суток, не спастись в холодной бесплодной тундре.

Женщина, побелевшая и синяя, бежит наверх, туда, где олени шкуры. Мужчина, не раздумывая, бросается обратно в воду. Через минуту и он начинает подниматься. Топор, колчан, мешок с рубилами и скребками — все прижато к груди. Разбег, беззаветный прыжок. Женщина подхватывает мужчину, вдвоем они отбегают дальше от пролома, дальше по узкой кромке у моря.

Вовремя! Льдина стала торчком, переворачивается и выламывает, падая, огромный кусок берега. С ревом обрушивается стена воды, ее серое долгое тело устремляется вниз. Переплетаются тугие струи, брызги взлетают и блещут. Водяная пыль поднялась над истоком, кусок радуги засвечивается, меркнет, опять засвечивается. Эшелонами низвергаются тяжкие массы, за ними, не прерываясь, следуют другие. Трещит лед, округлая линия перелома воды протянулась уже на полкилометра.

Где там волки — они сгнули! Сбежали, испуганные, и быстрыми тенями уходят, скачут к северу.

Новые течения возникли на ближнем участке моря, плывут и исчезают воронки водоворотов. Взметнулся бурун и подтачивает высокий береговой утес.

В трех километрах ниже, на равнине, вода пришла и ударила. Тут уже озеро, которое растет с катастрофической быстротой. Кинулась в разные стороны живность, что не видели, не умели увидеть люди — охотники за крупным зверем и волки-охотники. Скачут зайцы, бежит песок, трясогузка взлетает над разоренным гнездом. Но никому не уйти. Низкорослый ивняк скрыт с верхушкой, крутят водовороты, сшибаются волны, всплывают глыбы льда, колеблются надолбы.

Ревет и пенится вся извилистая дорога воды. В одних местах расходясь, в других сжимаясь, современный весенний Днепр падает с заоблачных высот.

А там наверху к провалу подтащило айсберг. Белая тяжелая гора поднимается, нависает, обламывает огромный кусок береговой кромки, и Волга, целая Волга обрушивается в бездну. Воздух дрожит, на десятки километров разносится канонадный грохот. Полная радуга перебросилась на высоте через стремитель-

ную реку, чье течение каждый миг низвергает новые сотни тысяч тонн воды.

Солнце, белые льды, горизонт моря, горизонт суши, и два человека...

Что же происходит?

Кончается ледниковый период в Европе, вот что! Создается Балтийское море.

Около миллиона лет назад на планету с ужасающей быстротой надвинулся холод. Там, где раньше стояли жаркие леса, лежали влажные саванны, простерлась теперь белая, гладкая, мертвая, как на Луне, пустыня. Область высокого давления, возникшая у полюсов, повернула горячие ветры экватора с меридионального направления на широтное, пояс тропиков и субтропиков стал царством дождя, который непрерывно падал каплями величиной с детскую голову. Лед вобрал невообразимые массы планетарной воды, иссушил моря, понизил уровень океанов, разделив их, обрезая морские течения, которые прежде разносили тепло по земному шару. Сфера жизни на суше резко сократилась, и человек, как раз впервые вступивший в Европу, был вынужден бежать. Четырежды, по крайней мере, климат делал людей на континенте своей игрушкой, приглашая в периоды потепления волны человеческого нашествия, а затем изгоняя первобытных охотников. Челнок с размахом в тысячи километров и сотни тысяч лет — из Африки, из Азии в Европу, а потом обратно в Азию, Африку. Только неандерталец целых три оледенения сумел продержаться в средней Европе, но дорого ему дались тысячелетние зимовки. Жестокий мороз остановил развитие этой ветви, суровость борьбы за жизнь отбросила неандертальцев обратно к полузвериному облику. И когда еще раз пришло тепло, когда весной зазеленели луга, вернувшиеся из Африки по мосту между Тунисом и Италией новые люди не признали своего в низкорослом, косматом, жилистом обитателе пещер. Неандерталец был истреблен, но со следующим приливом холода трудная пора настала и для победителей. Опять стали расти ледники, опять тундра вытеснила лес, однако человек был уже изобретательнее. Не отставая от мамонта и оленя, он проник далеко на север, неся с собой развитую культуру камня.

А теперь снова катастрофа, снова климат меняется — уже под влиянием ледника отступающего.

А что же управляет оледенениями?

Процессы, происходящие на Земле.

Возможно, что изменения активности Солнца.

Вероятно, периодически (через 300 миллионов лет) выброс гигантских масс вещества из центра Галактики.

Не исключено воздействие других галактик.

Грандиозен масштаб, но пусть он не пугает нас. Напротив, прекрасно, что наша историческая судьба зависит от столь мно-

гого. Громятся горы, дышат огнем вулканы, зеленеет лес, сияет солнце, хороводы звезд идут по своим кругам, и все это (несомненно, и взрывы сверхновых) влияет на человека. Значит, мы не отщепенцы, не просто так сбоку, а живая часть безмерного целого, наименованного нами вселенной.

Вот они, двое, на краю заоблачного моря. Быть может, в дальнем космосе, в недоступной звездной чаще началось то, что привело их сюда.

А они сами, что сделали они?

Тысячелетиями истаявал ледник, покрывший север Европы. Чаша, наполненная талой водой, образовала титанический морозильник, определяющий климат материка. Но ударил топор, струйка превратилась в ручей, реку, огромный водопад. Словно сто Ниагар, он будет реветь теперь недели, месяцы, десятилетия.

Вы слышите, как вплетается в рокот вод пенье длинной трубы?.. То Спартак у Везувия строит в ряд восставших гладиаторов.

Вы слышите, различаете в грохоте пенных струй конский топот и крики?.. Это воевода Боброк поднял руку. Уж русские войска прижаты к берегу Непрядвы, пал на траву окровавленный князь Дмитрий. Но засадный полк свеж, руки сжали мечи, сцеплены зубы, взметнулась хоругвь, отпущены поводья, дрожит земля.

Все уже здесь... Обрушившиеся воды намечают современную береговую линию Балтийского моря, они соединятся с Атлантикой, перемешаются с ее нагретыми солнцем волнами, и оттуда на север придет тепло. Освободившиеся от давления вечного антициклона горячие ветры экватора повернут внутрь континента, принося океанскую влагу. Чахлая полутундра сменится дубравами, на зеленой опушке пчела зажужжит над цветком, крупные стадные животные откочуют далеко на восток, и вынужденно свершится в Европе великая перемена — от охоты человек перейдет к земледелию, от сбора пищи — к ее производству. Создастся устойчивый, легко сберегаемый излишек еды, поднимутся первые города, начнется цивилизация.

Если бы им знать, мужчине и женщине!

Но они ничего не знают, их страшат, не радуют жаркое солнце, белые облака — вестники другой эпохи. Мрачно, глядя под ноги, мужчина завязывает пояс с колчаном и мешком. На его мускулистом плече сочится кровью рваная ссадина-рана, косой шрам пересек лоб.

Женщина свернула шкуры, закинула их за спину. Она кивает мужчине — слов не услышишь в оглушительном реве, — и двое начинают свой путь кромкой моря, туда, к холмам, что огораживают затопляемую равнину. Двое ступают вниз на склон. Мужчина останавливается и бросает последний взгляд на неохватную поверхность льдистого океана. Его губы сжаты, брови нахмурены, но гордый и горький вызов на миг выражается в гла-

зах — все-таки двое достигли самого края. Не их вина, что некуда дальше.

И вот люди удаляются от нас. Очень медленно, так что целый час им нужен, чтобы стать пятнышком на пустом белом фоне льдов и снега. Все меньше, меньше пятнышко, наконец, оно исчезает совсем. Двое ушли к югу, в скифскую степь будущего, к славянскому лесу, в глубину пространств и времен.

Ушли, но вернутся, не пропадут. Их кровь, хоть и многократно растворенная, влилась к нам в жилы, просочившись сквозь толщу тысячелетий. По водам отворенного им Балтийского моря поплывут корабли, на его берегу Петербург раскинет свои дворцы. А там Сенатская площадь, штурм Зимнего, тяжелые бои в 1941-м на Ораниенбаумском плацдарме, — от крепости Кронштадт крейсера бьют главным калибром по фашистским танкам дивизий Гота, — а после взлетят над Невой праздничные ракеты, знаменуя прорыв блокады.

Двое свершили.

А мы?..

Где оно, наше Балтийское море?

Да вот оно! И сейчас тоже проливается первая струйка, начинается исток — только мы не умеем увидеть. Дыхание, жест, слово, поступок дают начало таким развитиям, которых последствия не измерит никто.

Может показаться, что первобытный охотник лишь потому приблизил конец ледника, что тогда мир менялся, был в состоянии великой перемены.

Но мир всегда меняется, и постоянно мы на последнем, решающем рубеже своего времени.

Не будем беспокоиться — ничто наше хорошее не пропадет. Будем беспокоиться, ибо не смыть, не зачеркнуть дурного, коли оно вошло в мир. Человек, который сделал Балтийское море, — это вы, это я. Зависящие от всего, влияющие на все, по скрещению минутного с вечным, малого с безмерным, люди идут среди звезд. Нужно только хотеть и действовать. И верить!

Нам привычна мысль, что разум сильнее веры. Да, это бесспорно. Однако, прежде чем открыть, изобрести, начать, решиться, мы должны быть уверены в своей способности добиться успеха. Разум велик, но все-таки впереди идет вера в себя.

ЭТИ ТОНКИЕ ГРАНИ РИСКА

Экспедиция «Маяк» работала в поясе астероидов. Она состояла из базового лайнера «Ригель» и шести малых исследовательских кораблей. Они не имели собственных имен и отличались только номерами — МИК-1, МИК-2, МИК-3.

В задачу экспедиции входила всесолнечная перепись астероидов и метеорных потоков. Образования с наиболее неустойчивыми, возмущаемыми орбитами маркировались радиомаяками. Попутно экспедиция вела широкие исследования по составу, структуре малых тел и исследовала возможности их применения для строительства внеземных станций.

Главную исследовательскую работу выполняли малые корабли. Работа на них требовала большого напряжения и искусства: экипаж такого корабля состоял всего из двух человек, а полет в глубине пояса астероидов напоминал плавание без карт и лодий в богатых коралловыми рифами морях Индийского океана. И почти всегда роль лидера, роль головного корабля, который первым проникал в неисследованные районы, брал на себя МИК-1. Командовал им Ларин, а бортинженером был Шегель. Их направили в экспедицию из испытательного центра в самый последний момент, после трагической случайной гибели предшественников во время безобидного тренировочного полета.

В день встречи с астероидом, который впоследствии был назван астероидом Ларина — Шегеля, экипаж МИК-1 преследовали неудачи.

Сначала прервалась связь с «Ригелем». В этом не было ничего особенного: пояс астероидов был полон пылевых облаков, которые несли электрический заряд и отражали радиоволны не хуже металлической сетки. Однако для очистки совести пришлось копаться в радиостанции дальней связи и проверять исправность ее блоков. Радиостанция оказалась исправной, а связь с базой так и не восстановилась.

Едва закончили эту работу, как отказал руль продольной оси головного телеразведчика. Ракету приняли на борт и начали перебирать станцию телеуправления, так как, судя по всему, неисправность гнездилась именно там. Корабль между тем продолжал полет полуслепым, довольствуясь информацией одного обзорного локатора. В поясе астероидов это было далеко не без-

опасно. И Ларин несколько не удивился, когда в разгар ремонтных работ корабль заполнил высокий режущий уши и нервы сигнал тревоги.

Пожалуй, только в космосе возможны такие мгновенные переходы от будничной работы к максимальному напряжению чувств, воли и способностей. Неожиданное, иногда страшное, иногда увлекательное, но всегда неотвратимое входит вам в жизнь легко и просто, как входит в дом хороших друзей старый знакомый.

Выключив электропаяльник, Ларин гибким, кошачьим движением проскользнул мимо замешкавшегося Шегеля и метнулся к боевому креслу. Он уже пристегнул привязные ремни и надел гермошлем, когда рядом с ним занял свое рабочее место инженер. Он досадовал на свою медлительность, торопился, а поэтому движения его потеряли обычную четкость — стали нервны и суетливы.

— Не спеши, Олег Орестович, — спокойно сказал Ларин, скосив глаза на товарища, — ничего страшного. Астероид или крупный метеорит в дальней зоне обнаружения.

Обе руки Ларина лежали на пульте управления, а пальцы бегали по клавишам и кнопкам с быстротой и ловкостью, которой позавидовал бы опытный пианист. Подчиняясь его командам, автоматы послушно выдавали на главный индикатор нужную информацию. Ларин зачитывал ее вслух. Инженер внимательно слушал и время от времени, щуря глаза, рассматривал на зеленоватом экране локатора блестящую точку — отметку астероида.

— Расстояние наибольшего сближения девяносто три километра, диаметр не определяется, значит, меньше четырехсот метров, орбитальная скорость. — Ларин помедлил и обернулся к Шегелю: — У него гиперболическая скорость, Олег Орестович.

— Гость из космоса, — без всякого воодушевления констатировал Шегель. — Стоит ли нам за ним гоняться? Все равно уйдет от Солнца.

Отсутствие энтузиазма у инженера объяснялось тем, что это был далеко не первый «гость из космоса». Из-за высокой скорости гоняться за такими астероидами приходилось подолгу, горючего расходовать много, а обследование ничего интересного не давало.

— А может быть, все-таки обследуем? Вдруг что-нибудь любопытное.

— Вроде небулия или корония? — усмехнулся Шегель и потер переносицу. — А телеразведчик?

— Н-да, — на секунду заколебался Ларин, но потом решил: — Обследуем без телеразведчика, прямо на «микеше».

— А инструкция? — все так же флегматично напомнил инженер. Инструкция запрещала производить прямое обследование небесных тел без предварительной телеразведки.

— Что инструкция? — Ларин уже набирал предварительные ходовые команды. — Инструкция, Олег Орестович, не догма, а руководство к действию. А потом, в особых случаях инструкция разрешает проявлять инициативу.

— Жаль, что нет связи с «Ригелем».

— Жаль, — согласился Ларин, он медлил, глядя на товарища. Шегель поймал его взгляд и улыбнулся.

— Ну что ж, раз инструкция разрешает — проявим инициативу. Поехали!

Ларин удовлетворительно кивнул головой и мягко выжал ходовую педаль. Корабль наполнило гудение, постепенно превращавшееся в свист. Этот свист становился все тоньше, пронзительнее, мелко задрожали боевые кресла и приборная доска. Поднявшись до нестерпимых высот, свист вдруг оборвался, исчезли вибрации.

Только глухой шум, похожий на непрерывный вздох набегающей волны, висел теперь в воздухе.

«Микеша» незаметно снялся с места и, набирая ход, поплыл к астероиду, навстречу собственной гибели. Но кто тогда догадывался об этом?

Из предварительного отчета экспедиции «Маяк», базовый корабль «Ригель»: «Малый исследовательский корабль МИК-1 был обнаружен в четвертом секторе внутреннего пояса астероидов спасательным кораблем С-4. На запросы аварийный корабль не отвечал».

В результате обследования с безопасной дистанции было установлено следующее. Корпус корабля подвергся глубокой лучистой коррозии. В результате лучевого удара полностью испарились все внешние корабельные надстройки, аэродинамические рули, стабилизаторы и антенны. Оказались наглухо запаянными основной и аварийный входной люки, иллюминаторы, окна и щели приборов наблюдения. Характер повреждений корабля подтвердил догадку службы безопасности о том, что авария МИК-1 произошла в результате мощной световой вспышки, наблюдавшейся в зоне его предполагаемого местонахождения...»

С дистанции визуальной видимости Шегель начал обследование астероида с помощью телескопа. Астероид представлял собой металлическую глыбу неправильной формы с размерами триста десять на сто двадцать метров.

— Самый обычный железо-никелевый астероид, — скучно констатировал инженер, — стоило за ним гоняться! Я же говорил.

Ларин не ответил. Для него наступил самый ответственный этап работы — вход в зону тяготения и непосредственное сбли-

жение с астероидом. Манипулируя рулями и тягой малого двигателя, он все свое внимание сосредоточил на том, чтобы удержать изображение астероида в перекрестье нитей нуль-индикатора. Расстояние до него сокращалось: три километра, два, один. Инженер, не выпуская из поля зрения контрольные приборы, неожиданно скомандовал:

— Срочное торможение!

Быстрое движение руки Ларина, короткий вой главного двигателя, и «Микеша» неподвижно завис в пространстве на удалении восьмисот метров от астероида.

Ларин взглянул на Шегеля с молчаливым вопросом.

— Астероид радиоактивен, — растерянно пояснил инженер.

— Что?

Удивление Ларина было понятно. За все время работы в поясе астероидов экспедиция еще не встречалась с радиоактивными небесными телами. Да и вообще, сколько знал Ларин, не было известно ни одного радиоактивного метеора. Но теперь и он заметил, как мигает лампочка радиометра, а маленькая остроносая стрелка, чуть покачиваясь в такт этим миганиям, заметно перевалила за уровень обычной нормы.

— Может быть, возросла интенсивность фона? — предположил Ларин. — Мало ли что. Флуктуация космических лучей. Вспышки на Солнце.

— Исключено, — инженер решительно отверг это предположение, — счетчик работает на остронаправленной антенне.

— Чудеса, — пальцы Ларина пробежали по клавишам пульта, запрашивая из памяти компьютера сравнительную информацию. — Хм, а радиоактивность не так уж велика. На таком астероиде и пообедать можно да еще и вздремнуть после этого.

— Да, радиоактивность невелика, — согласился Шегель, — примерно такая же, как у чистого урана.

Ларин взглянул на него с улыбкой.

— А если это урановый метеорит?

— Ну! Таких не бывает. А впрочем, — в голосе Шегеля появились мечтательные нотки, — чем черт не шутит. Во всяком случае, обследовать этот феномен мы обязаны. Жаль вот, связи нет с базой.

— Жаль, — согласился Ларин, включая малый двигатель.

— Малый, я прошу самый малый ход, — поспешно сказал инженер.

— Это почему? — терпеливо уточнил Ларин.

— Я должен выяснить динамику процесса при сближении. Мы вторгаемся в неведомое, Андрей Николаевич. Мало ли что.

В мягком голосе Шегеля звучали требовательные нотки. Ларин снисходительно улыбнулся и согласен кивнул головой.

«Микеша» пополз, почти в буквальном смысле этого слова, к астероиду. Шегель утонул в показаниях приборов. По лицу его

как по открытой книге, можно было читать переживания, напряженное ожидание, недоумение и, наконец, изумление.

— Что там еще стряслось? — не выдержал Ларин.

Шегель мельком взглянул на него и возбужденно пояснил:

— Смотрите, как растет радиоактивность!

— Она и должна расти.

— Но она растет быстрее, чем по квадратичному закону!

Несколько долгих секунд Ларин переваривал услышанное, затем главный двигатель коротко взвыл, и корабль неподвижно завис в пространстве метрах в четырехстах от астероида.

— Что такое? — недовольно спросил инженер. — Почему мы остановились?

— Надо разобраться, в чем дело.

— Вот именно. А для этого надо подойти поближе. Может быть, на прямой контакт! — Шегель начал сердиться.

— Сначала надо разобраться, в чем дело, — терпеливо повторил Ларин. — Чем вызван рост радиоактивности? Почему она растет так аномально быстро? Может быть, астероид взаимодействует с кораблем?

Шегель еле дослушал.

— Согласен. Но как это сделать на таком расстоянии?

— Попробуем гамма-пушку.

— Но ведь далеко!

— Далековато, — со вздохом согласился Ларин, — на самом пределе. Но кто нам мешает попробовать?

Он сдержал улыбку, видя, как раздраженно передернул плечами Шегель. Его была исследовательская лихорадка, он весь, до последней клеточки, был там, на астероиде.

Через минуту гамма-пушка была подготовлена. Ларин нажал кнопку, на корабле притух свет, компенсируя мгновенный расход энергии, а из жерла гамма-пушки на астероид пошло несколько мощнейших импульсов электромагнитного излучения, начиная от мягких рентгеновских волн и кончая жестами гамма-лучами.

Из предварительного отчета экспедиции «Маяк», базовый корабль «Ригель»: «Эта вспышка носила аномальный ядерный характер, радикально отличаясь от цепных ядерных реакций взрывного типа — деления и синтеза. Во-первых, она была сильно растянута во времени, то есть была именно вспышкой, а не взрывом как таковым. В результате подавляющая часть массы астероида просто развалилась и рассыпалась в тончайшую пыль, диаметр частиц которой сравним с размерами молекул. Во-вторых, по ядерным масштабам удельный выход энергии при вспышке был крайне низким, вполне сопоставимым с выходом энергии при обычных химических реакциях. В-третьих, свыше 90 процентов энергии вспышки выделилось в виде электромаг-

нитного излучения на сравнительно низких частотах, до ультрафиолета включительно.

Проработка ряда гипотез, которые достаточно удовлетворительно описывали внешнюю картину парадоксального явления, на центральном компьютере базового корабля позволила отдать решающее предпочтение гипотезе Динкова — Макдональда, выдвинутой еще в 80-х годах XX века и ныне почти забытой. В соответствии с этой гипотезой в природе, помимо вещества и антивещества, может существовать также стабильное нейтральное и антинейтральное вещество. А поэтому в своих исследованиях наряду с мирами и антимирами человечество может встретиться также с мирами нейтральными и антинейтральными...»

Электромагнитные импульсы, частично отразившись от кристаллической решетки молекул и атомов, вернулись к приемнику гамма-пушки, неся полную информацию о структуре вещества, слагающего астероид. В течение нескольких секунд эта информация была расшифрована и подана на индикаторы.

— Железо! — ошарашенно констатировал Шегель, несколько раз перечитав показания приборов. — Самое обыкновенное метеорное железо с примесями никеля и кобальта.

— Железо, — в раздумье подтвердил Ларин.

Шегель возбужденно обернулся к нему.

— Но у железа нет долгоживущих радиоактивных изотопов. Значит, в геологическом смысле астероид образовался буквально сейчас!

— Возможно, — без всякого энтузиазма ответил Ларин.

Но Шегель не заметил его скептицизма.

— Но если так, Андрей Николаевич, то мы просто обязаны детально обследовать этот феномен!

Ларин внимательно разглядывал возбужденного товарища.

— А если дело обстоит как раз наоборот?

— Не понимаю.

— Если астероид доживает последние дни, даже часы, а его радиоактивность говорит о том, что он вот-вот взорвется?

— Но тогда мы тем более должны его обследовать!

Шегель смотрел на командира с некоторым удивлением — как это он не понимает столь очевидной вещи? Лицо инженера покраснелось, глаза блеснули. Он был совсем непохож на вдумчивого осторожного специалиста, который сидел с Лариным несколько минут назад и твердил о малом, самом малом ходе.

Ларин вдруг понял, почувствовал сердцем, почему Олег Орестович, деликатный предупредительный человек и отличный товарищ, был несчастлив в любви и в семейной жизни. Он принадлежал науке, и никакая любовь ничего не могла с этим поделаться. Он служил науке бескорыстно, беззаветно и радостно. Без этого фундамента он бы психологически не выдержал тяжелой нервной нагрузки, которая ложилась на всех, кто вел работу в

поясе астероидов. Огонь подвижничества горел в его душе незаметным, но неугасимым огнем. Иногда этот огонь ярко вспыхивал, бросая странные блики света и тени на его облик.

— А если контакт с «Микшей» ускорит распад астероида? — вспомнив о нарушении квадратичного закона, сказал Ларин.

— Если мы будем предельно внимательны, мы уловим момент, когда нужно удирать.

«А если не уловим?» — хотел спросить Ларин, но промолчал, только улыбнулся. Шегель с необыкновенной чуткостью заметил колебания командира.

— Конечно, риск есть. Научный поиск — это бой с тайнами природы, а не увеселительная прогулка. Но радиоактивный астероид, да еще с аномальным нарастанием радиоактивности — это же кладезь тайн! В конце концов, гамма-зондаж дал нам структуру лишь самого внешнего слоя астероида. А что скрывается в его толще? — Шегель замылся, подыскивая наиболее «сногшибательный» аргумент, и не вообще, а для своего командира. — Может быть, внутри его скрыта атомная энергостанция или ядерный двигатель.

Ларин усмехнулся.

— Корабль коварных пришельцев, хитроумно замаскированный под астероид?

— А вдруг? И почему именно коварных? Разве мало было выдвинуто проектов у нас, на Земле, которые предлагали использовать астероиды как космические станции?

— Имеем ли мы право рисковать собой и кораблем во имя этих «а вдруг»? — медленно спросил Ларин.

— Во имя науки, Андрей Николаевич, — мягко поправил Шегель. — Да и что такое риск? Особенно для нас с вами.

Тут Шегель был прав — действительно, что такое риск? Даже теперь, в эпоху массированного исследования космоса, множество людей упорно сидят на Земле, не решаясь подняться в небо. И это вовсе неплохие люди, способные на мужество и храбрость в иных ситуациях. А разве среди профессиональных космонавтов мало таких, которые считают полеты в поясе астероидов безрассудством? А много ли найдется на «Ригеле» охотников ходить в свободный поиск на «Микеше»? Ходить систематически, превратив этот поиск в хотя и увлекательную, но будничную работу?

Что толкает людей на риск? С Шегелем все ясно, это фанатик науки. Что заставляет ходить по узкому карнизу дозволенного его, летчика-испытателя Ларина? Конечно, незабываемая радость победы, сознание своей силы и торжества над капризным случаем, над темным фатумом. Недаром древние греки подчиняли этой темной силе не только людей, но и богов. Играют какую-то роль и честолюбие, и искры восторженного недоумения в глазах любимых и близких. Но дело не только в этом.

Само счастье бродит где-то совсем рядом с риском и удачей, само неуловимое счастье!

— Андрей Николаевич!

Ларин очнулся от раздумья.

— Мы не имеем права упускать такой объект. — В голосе Шегеля звучали умоляющие нотки. — Это будет настоящее преступление против науки!

Серьезный командир «Микеши» вдруг рассмеялся.

— Что ты уговариваешь меня как маленького, Олег Орестович? Ты думаешь, мне не хочется навеки прославить свое имя каким-нибудь сенсационным открытием?

— Ну! — других слов для возмущения Шегель не нашел.

Ларин погрозил ему пальцем.

— Рискнуть я согласен. Судя по всему, игра стоит свеч. Но делать это надо с головой. — На лице Ларина появилось сосредоточенное выражение. — Кораблем и нами обоими сразу рисковать глупо. Оставим «Микешу» на месте. Я отправлюсь на астероид и сделаю все, что нужно.

— Вы? А я?

Легкая улыбка тронула губы Ларина.

— Ты в любом случае обогатишь свою любимую науку новыми фактами.

Шегель потемнел.

— Андрей Николаевич, вы злоупотребляете моим уважением к вам.

— Напрасно обижаешься. Орестович, — мягко сказал Ларин, — я опытнее, старше. Да и не впервой мне ходить по краешку.

Шегель замотал головой.

— Ни за что! Лучше пусть он пропадет, этот астероид!

— Может, и правда, пусть пропадет, — в раздумье проговорил Ларин, глядя в лобовое стекло на колоссальную глыбу металла, закрывавшую звезды.

— Я пойду, понимаете? Я! А вы останетесь.

Ларин не ответил.

— Андрей Николаевич, — совсем тихо сказал Шегель после долгой паузы, — я прошу вас. Это несправедливо, неблагородно, в конце концов. Вы все время берете риск на себя. А я уже давно не тот инженер-теоретик, которого вы взяли в напарники для испытаний «Вихря».

Ларин перевел взгляд на товарища.

— Андрей Николаевич, я прошу вас, пожалуйста.

Из предварительного отчета экспедиции «Маяк», базовый корабль «Ригель»: «Картину нейтрального мира наглядно можно проиллюстрировать особенностями простейшего химического элемента — водорода.

Водород обычного мира представляет собой структуру из ядро-протона и орбитального электрона. Антиводород, синтезируемый ныне в крупных масштабах наземными станциями космического топлива, состоит из ядра-антипротона и орбитального позитрона, электрона с положительным зарядом. Простейший элемент нейтрального мира, нейтрон, в качестве ядра имеет нейтрон, а орбитальной частицы — электрон с антинейтральным зарядом.

Если вещество и антивещество аннигилируют, превращаясь в гамма-кванты, то нейтронное вещество может в определенных условиях сосуществовать с веществом нашего мира длительное время. Нейтральному миру полярен антинейтральный, структура элементов которого достаточно очевидна.

Сопоставление расчетов, выполненных на базе гипотезы Динкова — Макдональда и фактических данных вспышки убедительно свидетельствует в пользу того, что астероид Ларина — Шегеля представлял собой монолитную глыбу нейтрожелеза, вторгнувшуюся в пределы солнечной системы...»

В массивном скафандре высшей защиты Шегель был похож на робота, а лучше сказать — на средневекового рыцаря с шупом геолокатора вместо копья в правой руке.

Он помедлил, точно перед прыжком в холодную воду, вглядываясь в небесную бездну мрака, светящейся пыли и драгоценных камней.

Пожалуй, только сейчас, перед решительным шагом, который должен был отдалить его от корабля и унести навстречу неведомому, Шегель понял всю глубину риска, на который он решался. Чувство это было похоже на озноб, на предлихорадочное состояние, готовое разрядиться бурным пароксизмом.

В который раз за время пребывания в космосе Шегель позавидовал командиру. Как все ясно и просто Ларину! Риск, опасность — для него обыденная будничная работа все равно что для Шегеля расчет какой-нибудь элементарной плазменной ловушки. У Ларина и сердце бьется ровно, и ни один мускул не дрогнет на лице. А что толкает на этот проклятый риск его, Шегеля?

Конечно, служение науке — дело святое, без этого базиса он бы и дня не засиделся в космосе. А какое удовлетворение, какое торжество охватывает все твое существо, когда ты побеждаешь самого себя и шагаешь через порог, возле которого топчутся в сомнении и страхе тысячи других людей! Перед этим блекнет даже самый миг победы.

— Олег Орестович, готов?

Шегель вздрогнул, очнувшись от своих так не к месту пришедших в голову, не относящихся к делу мыслей.

— Готов, — тенорком пропел он и шагнул вперед.

Шагнул в странный мир, в котором не было ни верха, ни низа, в котором всюду, куда только мог взглянуть глаз, были звезды, звезды и звезды. Правда, впечатление всеобъемлющей звездной пропасти скрадывалось сейчас громадой астероида, которая тяжело вставала совсем рядом с кораблем. Приходилось делать усилие, убеждая себя, что до него четыреста метров. Отделившись от корабля, инженер сбалансировал скафандр, неторопливо проверил снаряжение и сообщил:

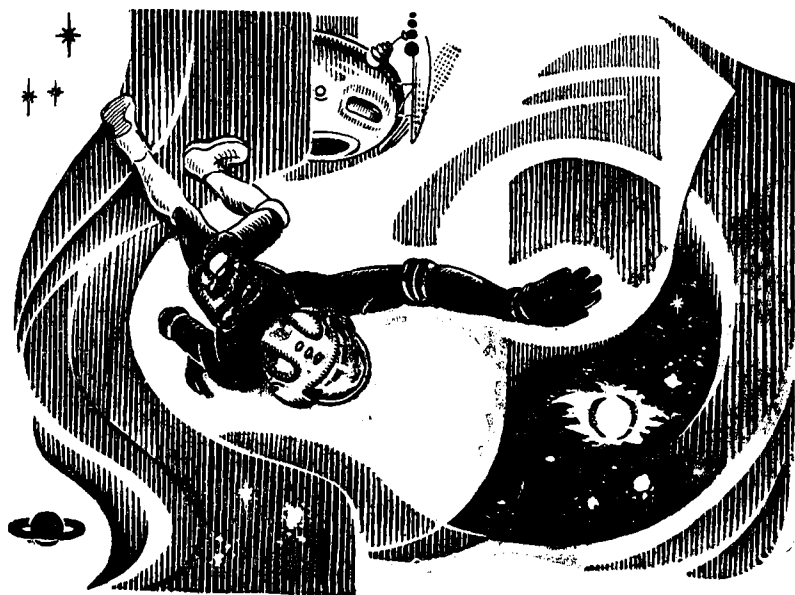
— Все в порядке, я пошел.

— Слежу за тобой, — отозвался в телефонах голос Ларина, — желаю удачи.

Инженер дал двигателю скафандра малый ход. Раздался приглушенный свист реактивной струи, и корпус «Микеша» медленно поплыл назад. Через пару секунд Шегель вышел из тени корабля и окунулся в ослепительные потоки солнечного света.

На прозрачном шлеме скафандра вспыхнули золотистые блики. Набрав скорость четыре метра в секунду, инженер выключил двигатель и полетел по инерции. Он почти не спускал глаз со счетчиков радиации. Ее уровень возрастал, все быстрее обгоняя квадратичный закон, и это беспокоило его больше всего. Но доза радиации внутри скафандра была небольшой, и до нормы было еще далеко.

Изломанная поверхность астероида, искрящаяся отблесками света, разрасталась, растягивалась перед глазами, закрывая собой звезды. «Микеша» съезживался и становился игрушечным.



На расстоянии десяти метров от астероида Шегель включил двигатель на торможение. Тысячетонная масса металла, разорванная глубокими трещинами, под свист реактивной струи стеной валилась на него.

— Приземляюсь! — хрипловато сказал Шегель. Он волновался. Удары сердца гулко отдавались в груди. Шегелю казалось, что Ларин должен их слышать, и ему было стыдно своего волнения. Он вытянул ноги вперед и за мгновение до касания подал в калоши скафандра электрический ток. Мощное магнитное поле должно было помочь ему удержаться на астероиде.

А дальше все смешалось и перепуталось. Словно шмель, загудел зуммер, внутри шлема замигали красные вспышки лампочки опасности. Ноги коснулись изломанного металла, но не удержались на нем. От полученного толчка вопреки действию магнитного поля Шегель начал медленно, едва-едва удаляться от астероида. Зуммер гудел все громче, это был уже не шмель, а рассерженный пчелиный рой; вспышки лампочки следовали так часто, что сливались в почти непрерывный багровый поток света. Екнуло сердце, и острый холодок заполнил грудь. Радиационная опасность. Но почему?! Мысли бессильно перескакивали с одного предмета на другой, а ждать было некогда. Секунды, даже их доли решали сейчас его судьбу и судьбу корабля. Стрелки счетчиков стремительно бежали по шкалам, бесстрастно отмечали лавинообразный рост радиации. Рождался ядерный взрыв.

— Уводи корабль! — крикнул инженер, хватаясь непослушной рукой за рычаг управления двигателем.

— Включи магнитное поле, — торопливо, но отдельно прозвнес голос Ларина над самым ухом.

Шегель машинально повиновался и раздраженно, он уже не думал о себе, закричал:

— Да уводи же корабль!

И осекся. Гудение зуммера быстро замирало, все ленивее следовали друг за другом вспышки лампочки, стрелки счетчиков падали к норме... Пронесло! Инженер вдруг ослабел. Его тело обмякло, на лице выступил обильный пот, и струйки его неприятно зашекетали шею.

— Орестович! — осторожно, почти шепотом окликнул товарища Ларин.

Инженер закрыл глаза и откинул голову. Он собирал силы для ответа.

— Олег!! — заорал Ларин.

— Все в порядке, — негромко ответил Шегель.

В телефонах послышался такой звук, как будто бы щеткой провели по песку, — это облегченно вздохнул Ларин. Инженер встряхнул головой, нащупал рычаг управления двигателем и перевел его на малый ход.

— Возвращаюсь, — сообщил он.

— Торопись, — сказал Ларин, после паузы голос его звучал виновато, — радиоактивность астероида возрастает.

— Как? — невольно вырвалось у Шегеля.

— Довольно интенсивно, — пояснил Ларин, принявший его восклицание за вопрос.

Шегель стиснул зубы и подавил уже готовый вырваться вздох. Стук сердца снова начал отдаваться в ушах. Шегель до отказа подал вперед рычаг управления двигателя. Тонкий свист реактивной струи превратился в резкий вой.

Приняв на борт инженера, «Микеша» несколько секунд неподвижно висел рядом с астероидом, купаясь в золотистых потоках солнечного света. Они были так непохожи: стройное, гармоничное создание человеческого разума и грубое, неуклюжее, тысячетонное порождение слепой природы. Потом корабль выбросил голубоватый сноп огня, дрогнул и, стремительно уменьшаясь в размерах, начал таять среди сонма звезд.

В этот миг астероид беззвучно вспыхнул ослепительным, сжигающим пламенем, мгновенно растопив мрак доброй четверти небосвода. Мощный поток лучистой энергии обрушился на корпус корабля, запоздавшего с уходом на короткие, считанные секунды. Световой удар испарил внешний слой металла корабельного корпуса. «Микешу» окутало клубящееся, сверкающее облако раскаленных газов.

Из предварительного отчета экспедиции «Маяк», базовый корабль «Ригель»: «Нейтровещество вообще и нейтрожелезо в частности обладают спонтанной устойчивостью. Однако в окружении обычных частиц начинается постепенный переход нейтронов в протоны, а орбитальных антинейтральных частиц — в электроны. Накопление электронного заряда на поверхности такого рода тел способствует интенсификации этого процесса. Роль не особенно мощного катализатора должно играть постоянное магнитное поле, влияние которого может привести к слабо развивающейся цепной реакции. Результатом ее является совокупное превращение нейтровещества в обычное. Процесс сопровождается постепенным разрушением кристаллической структуры и дроблением вещества до атомного уровня с последующей рекомбинацией молекул и более крупных единиц».

Руки начальника бригады спасателей подрагивали от волнения, когда он приставил гарпун-пистолет к запаявшемуся приборному окну жилого отсека и нажал спусковой крючок. Отдачей его кинуло назад, и если бы не страховочный пояс, унесло бы с «Микешей» в космос. Плазменный кумулятивный шнур прошел внешний прочный корпус корабля как бумагу, а по его следу в потолок жилого отсека вонзился гарпун — штырьевой мик-

рофон с палец ребенка величиной. Нестройный деловитый хор голосов спасателей сменила первозданная мертвая тишина. Изуродованного «Микешу» окутало незримое облако людских надежд, тревог и сомнений.

— Антенна, — испуганно произнес тенорок Шегеля.

— Спокойно, Орестович!

— А я говорю, антенна! Ни черта это не метеорит! Антенна, пришли спасатели!

— Спокойно, Орестович. Спасатели, но ты спокойно. Лежи, триста рентген зараз не шутка. Ну, будь мужчиной!

Вылизанный световой бурей корпус «Микеши» тускло, как глыба старого льда, блестел в косых лучах солнца. И право, при некоторой фантазии спасателей можно было принять за хоккеистов, которые за секунду до финального свистка забросили решающую шайбу.

БЕГ

А бежать было так...

Легкими ступнями касаться почвы. Раз-два, раз-два. По асфальту, по камням, по гравию, по песку — все той же воздушной поступью пятнать пространство, тиканьем шагов отмеривать время. Раз-два... Лететь вперед, напирая грудью на ватную пустоту, оставляя за спиной легкий смерч пыли, неслышные вихри потревоженного воздуха, невидимые бурунчики ветра. Раз-два, раз-два, раз-два... Брызгать во все стороны лужами, студить разгоряченные ноги росной травой, плескать холодной грязью, шуршать нагретым жнивьем, а грудь мерно, радостно поднимается и опускается, легкие в полную меру вбирают упругий кислород, сердце стучит ровно, и скорость только успокаивает нетерпеливое биение крови. Раз-два, раз-два...

— Доброе утро, учитель! Ваши газеты...

— Спасибо, Бегун!

— С наступлением лета, тетушка! Молоко сегодня отличное, сливок на целый палец.

— Оставь у калитки, милый Бегун, я заберу позже. Дай бог тебе ровной дороги!

— Ресторатору — мое почтение! Вам должок от поэта, у него сегодня гонорар...

— Весьма кстати, Бегун, весьма кстати. Перехватил бы кофе с булкой, небось с зари летаешь уже. Смотри, про завтрак забудешь.

— Потом, потом, папаша! Дел по горло. Как управлюсь — обязательно пробегу мимо... Эй, табачник! Забирай свои пилюли! Глотай по одной и поправляйся. Будешь хворать — всех без курева оставишь, придется мне в город бегать, а ведь и здесь забот хватает...

И опять тишина, лишь тихий стук подошв о землю. На небе ни облачка, но и жары нет, бежать совсем приятно, ноги полны привычной, звенящей силы — уверенно встречают тропинку, растворяются, мелькая в ритме, такте, гармонии скорости, а собранное в покорности тело зыбко плывет-покачивается, летит-струится.

И мысли были:

«когда же это началось? Года три мне было или четыре. А то и

все пять? Сидишь, играешь, и вдруг сердце забьется, заколотится, думаешь, что такое, вдруг вырвется из груди, как быть тогда? А потом успокаивается, и забываешь сразу же. Казалось, у всех так. Пугаться-то я потом начал. А как маленький был — чего пугаться? Все в порядке вещей: то плакать захочется, то смеяться, то коленка зачесется, то грудь ходуном заходит. Ясно — живу... Вот бегать я всегда любил. Как себя помню — хоть днем, хоть ночью заставь бежать — только приятно. Да и не заставлял никто, я все бегом делал. В играх никто догнать не мог. В «салки» никогда не водил, потому что угнаться не могли, в «прятки» всегда первым до «чур» добежал, а когда наперегонки соревновались — ни одна душа в пару встать не хотела: знали, что бесполезно. Да... Хорошо было в детстве: хочешь — беги, хочешь — нет. Лучше, конечно, бегать было...

А в пути было вот как.

Надоело бежать по тропинке — сверни в сторону. В лесу тень, солнечные зайчики, мох пружинит под пятками, невзрачные цветы роняют пыльцу на босые пальцы, ноги мощно отталкиваются от оголенных корней, четко печатают след на разлапистом папоротнике, вминают в землю прошлогодние листья и еловую чешую. Сквозь веер пены, капель, маленьких радуг, бабочками садящихся на тело, — через ручеек, родник, ключ, речушку — легче водяного жука, водомерки, комариной личинки — на тот берег, на луг. Ноги только что были чистыми, а сейчас уже заляпаны илом, еще несколько стремительных шагов — парений, и к грязи пристал мелкий песок, но эти нечаянные «гетры» недолговечны: мохнатый дерн услужливо набегаёт под ноги, ласково обмахивает ступни. Вперед, вперед! Раз-два, раз-два...

— Барышня, проснитесь! Утро уже, солнце давно поднялось. Смотрите, какие цветы прислал вам жених. Он нарвал их на заре, а я бежал так быстро, что роса еще не успела высохнуть. Чувствуете, какой аромат? Он бешено кружит голову, и я уже не верил, что донесу. Следите за своей головой, милая, есть вещи, которые кружат ее почище орхидей.

— Спасибо, мой добрый, славный Бегун! Не тяжело было бежать с такой ношей?

— Куда там! Это приятный груз. Я парил с ним над землей, не чувствуя ног...

Ах, обернуться бы! Но нельзя: ритм влечет вперед, сердце требует скорости, скорость подхватывает сердце, ноги несут дальше, дальше... И можно лишь догадаться, представить, уловить воображением: рдеют щеки, туманится взор, очаровательный носик погружается в самую гущу охапки, в самое благоухание...

— Здравствуйте, мастерица! Давно, давно я не пробегал мимо вас. Все не было писем, а вот сегодня весточка. Держу пари, от сына. Он еще в больнице? Бедный мальчуган. Ну ниче-

го, поправится. Ловите конверт, пусть в нем будут хорошие вести.

И снова вперед, и снова оглянуться бы, но нет, только что минувшее провалилось в прошлое, тысячи дел зовут из будущего, тысячи дел впереди для пружинистых ног и торопокого сердца. А за спиной — в близком, неблизком, далеком — руки лихо-радочно рвут конверт; глаза впиваются в буквы...

— Бабушка, куда же с такими сумками? Помогу...

— Бог с тобой, сынок. Ведь я за тобой не угонюсь.

— Ничего, ничего, я знаю адрес, оставлю прямо у порога. Никто их не тронет, а мне тяжесть не помеха...

Десятки, сотни забот. Просьбы, поручения, требования, угданные желания... Здесь почта, там лекарство больному, сегодня билеты на поезд, завтра праздничный подарок. Всех obeжать, все доставить, везде успеть, никого не забыть... Так каждый день, каждый месяц, годы...

И мысли:

«еще и двадцати не было, как впервые страшно стало. Сердце так безумно колотиться принималось — не раз думал: конец. Все тело вздрагивало. А ведь как по ночам иной раз плохо бывало! Просыпаешься от боли: вены набухли, в голове шумит, пульс — трещотка, дробь, пулеметная очередь — не сосчитаешь. Надо же, собственное сердце будило! Врачи с ног сбились — все причину искали. Организм вроде бы здоровый, не подкапаешься, а того и гляди концы отдашь. Или просто останавливалось. На полминуты, на минуту. Стоишь в поту — и ждешь: ударит или нет. Задыхаешься, ртом воздух ловишь. Единственное спасение — в беге. Сорвешься с места, смотришь — заработало, и даже не разгонялось — сразу же ровно, спокойно стучало, будто и не было ничего. А разгадка-то простой оказалась: работы ему не хватало. Долго же я до этой причины доискивался, все думал — болезнь у меня какая-нибудь неизвестная. Впрочем, может быть, и болезнь. Кто знает? Даже наверное болезнь. Какое же это здоровье, если мне покой заказан, если от него, от покоя-то, отвыкать довелось. Я ведь, и не знаю теперь, что это такое — покой...»

А время идет так...

Лето кончается осенью, весна начинается с зимы. Сердце мчит кровь, кровь мчит ноги, ноги мчат тело. Тело принадлежит человеку, но сердце ему не принадлежит. Порой поднимается ветер. Иногда он в спину и не холодный, иногда — ледяной и в лицо. Но сердцу мало заботы: «Жить-жить, жить-жить» — знать ничего не знает о дожде и слякоти, стуже, промозглости, снеге, граде, ливнях, духоте и зное. Увлеченно трудится сердце и не внимания звукам извне. Человек тоже не прислушивается к ним. Он прислушивается к сердцу.

— Приятного аппетита, учитель! Мерзкая нынче погода. Скользко, и ветер колючий. Еще два дома на этой стороне, а за-

тем поверну. Но ваша телеграмма в целости, не подмокла. Надеюсь, все дома? Все здоровы? В такое ненастье грешно на улицу выходить... Привет супруге!.. Что? Не слы-ы-шу-у-у...

Еще один дом.

— Эй, Бегун, все бегаешь? Захвати-ка вина в лавке. У меня дружок сидит, а тебе ведь все равно носиться, угорелому. Ты у нас добряк, чего тебе стоит...

— Захвачу, захвачу...

И еще один...

— Слышь, длинноногий, убавь скорость, чего скажу. Скучно вроде сегодня, в такую-то развозню. Будешь шлепать мимо Вислоноса, крикни ему, чтоб сюда прыгал. В картишки, может, перекинемся. И этому, Рыжему, тоже скажи. Не забудешь, голе-настый? Ну сверкай дальше. Да побыстрее чтобы...

И думается:

«невежливо, конечно, ну да бог с ним. Отчего бы не передать на самом деле? Правы они — мне ведь все равно бегать... А хочется иногда остановиться — прямо сил нет. Просто из интереса—что будет? Но нельзя. Как это мне тот профессор объяснил? Очень быстрое сердце, говорит. В организме, который бездействует, ему просто нечего делать. Остановитесь, предупреждал, — и разорвется. Уникальный случай, в его практике такого не было. Сомневаюсь, чтобы вообще в чьей-либо практике похожее было. Но этот-то, светило, здорово объяснял. У вас, говорит, инфаркт наизнанку. Обычно люди — те, что мало двигаются, — возьмутся с непривычки за какую-нибудь физическую работу — сердце и сдает. А вам, наоборот, работу только подавай. Лучше всего бегайте. Только не останавливайтесь. Остановки вам категорически запрещены. Сейчас вы еще можете ненадолго отдых устраивать, а в будущем и от этого придется отказаться, но сделать что-либо невозможно. Медицина пока бессильна. Знаете, говорит, как бывает, если зайца долго в клетке держать, а потом на свободу выпустить? Он рванется с места — и тут же лапки кверху: сердце не выдержало. Вот для вас бег — та же клетка. И даже название придумал: в наше время, выразился, у многих гиподинамическое голодание, так вот у вас, должно быть, гипердинамическое... Может, мне еще и повезло? По крайней мере, от перегрузки не дано умереть. Одно плохо было — со сном в первое время никак устроиться не мог. Сейчас-то чего, сейчас привык. Заснешь на минуту-другую на бегу — и дальше. Глаза ведь все равно открыты — дорогу выбирают, а мозг спит. Да и сна ему давно уже меньше требоваться стало...»

А одет он был так.

Летом — по-летнему. Ноги босые, на теле — легкая рубашка и шорты, голова не покрыта: солнца нечего бояться — на место-то не стоишь. Для поздней осени, зимы и ранней весны — наряд другой: шерстяной костюм и теннисные туфли. Стоит ли теплее одеваться: все время в движении, скорость согревает. Укутаешь-

ся — взмокнешь: простудиться не простудишься, но сгоришь. От снега, от дождя, от слякоти — одна защита: шапочка, козырек как у жокейских, и чем длиннее, тем лучше: глаза оберегать. Вывокнешь — не страшно. Дождь пройдет, снег кончится — и от одежды через пять минут пар идет: сохнет.

«Мышцы ног, конечно, приятно ощущать: каменные, литые, ни у кого таких нет, ни у профессиональных бегунов, ни у марафонцев. Для них сохранить форму — проблема, задача номер один. А уж «вечная форма» — для них и вовсе мечта...

Интересно, я сам-то давно ли перестал радоваться «вечной форме»? Лет пять назад, пожалуй. Есть на ходу, спать на ходу — сколько так можно выдержать? Кто его знает! Сердце не спрашивает. И ведь не поделаешь ничего. А дома нет. Не откроешь дверь, не войдешь в комнату, не сядешь отдохнуть, музыку не послушаешь, словом не с кем перемолвиться. Даже с женой, потому что и жены нет. Откуда она может взяться, жена? Замуж выходят за человека, за достаток, за покой и уют, за любовь. А я не человек, я — сердце. С сердцем же спать не ляжешь. И по сердцу не будешь тосковать, не будешь ждать с работы: у него «неработы» нет. И в кино с ним не пойдешь, и в театр, и в гости... Деньги в дом оно тоже не принесет. Вот так-то вот, человек-сердце... Что тебе остается, давай подумаем... Только многого не придумаешь. Бегай! Помогай слабым, ублажай сильных. Усердствуй... Слово-то какое правильное. Что делать человеку-сердцу? Усердствовать, не иначе...»

— Вертай сюда, молодец! А теперь держи монету. Поймал? Силен, расторопный... Купишь сигарет! Мои все вышли, так не побегу же я, коли ты на это дело есть. И вообще бегай по нашей улице чаще: хорошее это дело, когда Бегуны по улицам носятся.... Сдачу оставишь...

— Куда, приткий? Ко мне, что ли, и заскочить нельзя уже? Мало ли что, дел много. Привесил бы себе на шею колокольчик, чтобы издали слышно было. А ведь это мысль! Так и быть, я тебе этот колокольчик сам куплю. От тебя-то не дождешься, чтобы бежал и кричал, мол, люди добрые, вот он я, кому чего надо? Мне чего надо? А я уж и забыл... Ах вот чего. Поищи-ка в киосках газету с кроссвордом. Сегодня же суббота, должен быть. А не найдешь — заскочишь: мол, нету. Чтобы не волноваться из-за тебя попусту.

— Алле, алле! К тебе обращаются, бегун-тугодум! Парня моего не видал? Опять куда-то с гитарой удрал. Как найдешь — скажи: дома к ужину ждут. Как это, где искать? А я знаю?..

«Вот, пожалуйста, парня ей надо найти. Может, мне самому парня хочется. Или девочку. Но даже если бы и мог я детей завести — что с ними было бы? Тоже бегунами родились бы? Может, нет, а может, и да. Дети-бегуны... Страшно! Несчастная порода бегунов...

И почему это все рано или поздно на голову садятся? Вид мой не нравится? Действительно, нелепый, но зато удобный. За неполноценного считают? Или знают, что у меня выхода другого нет — только бежать? Так ведь бег-то мой для них благом обора­чивается! А может, во мне никто уже человека не видит? Рикша, живой велосипед, почтовый ящик с ножками, автобус... Ох, сердце, не остановится ли, а? Возьмем да и встанем как вкопанные. Вместе....»

«Жить-жить, жить-жить...»

— Дяденька, постойте на секундочку. Мы давно хотели вас попросить, только вы все мимо да мимо бегаєте. Мама говорила, вам все время бегать надо. Всегда-всегда. Мы тоже так хотим, но у нас не получается. Может, вы покатаете нас на себе, а? Мы в лошадки играем...

С легкой ношей, с легким сердцем, легкими ногами — по тропинкам, через ручьи, полями, лесами, навстречу ветерку. Все той же воздушной поступью пятнать пространство, тиканьем шагов отмеривать время; лететь вперед, оставляя за собой невидимые бурунчики; четко печатать след на разлапистом папоротнике, взвихривать пыльцу диких цветов; не замечать дождя, духоты, зноя; плыть-качаться-лететь-струиться; раскачиваться в ритме, такте, радости.... И не оборачиваться — все впереди. И не останавливаться. Теперь уже никогда не останавливаться...

ЗВУЧНОСТЬ ЛЕСА

Являться муза стала мне.

А. Пушкин

В глубине ели, в самой тишине ее, тронуть смычком скрипку — и звук пойдет по всему стволу, по каждой ветке. Ель замрет от звучания, сделается тоньше и стройнее, а хвоя засветится, словно упала роса или расцвел иней. Не нужно приближаться к ели ухом, только приложить ладонь, но ладонь должна быть добрая.

Так стоять можно долго, на лице ощущая не ветер, а дыхание ветвей. Дорога пусть уходит пока одна, спускается под уклон почти к самому озеру и тоже замрет на берегу. Там березы столпились. Береста их порозовела при низком свете солнца, как розовеют на морозе щеки. Озеро заснежено, даже неприметны берега. Ходит по середине озера ворона и что-то бормочет себе под нос. А что бормочет, разобрать издали трудно. Пора шагать дальше, отнять ладонь от ели, от ее ствола и чувствовать на ходу, как в ладони еще живет и чуть замирает мелодия.

Андрей снял шапку, тряхнул головой и зашагал дорогой под гору, поскальзываясь ботинками по наезженному снегу и полуприкрыв глаза. Он шел, и мелодия теперь двигалась как бы чуть впереди и как бы вела его своей дорогой. Справа осталось озеро. Снег на нем был странного свечения. Ворона поднялась и улетела. «Действительно, озеро маленькое, недаром прозвали его Маленец, — подумал Андрей. — Светлое. Тихое». Ворона каркнула и улетела на холм. Там села на березу тяжело, так что снег с веток посыпался и засверкал на лету. Где-то ударили в колокол. Помедлили, ударили еще, уже в другой колокол. Ворона посмотрела в сторону звона, поднялась и улетела совсем. Скрылась.

Теперь дорога пошла в гору, а вокруг стояли большие сосны. Мороз усиливался, и тонкие алые чешуйки коры скручивались. От них шел шелест, какой порою слышится, когда на стуже застывает горячий печной дым. Синие тени лежали на сугробах и ползли вверх по взгорку. Впереди, на повороте, показалось Андрею, кто-то сидит за сосной в белой куртке, распустил волосы, а голубой платок положил на колени. Андрей приблизился, но под сосной лежала только тень. Тоже синяя. Тень уходила далеко в глубь леса, и поперек тени положен был заячий след.

Вдали струились дымки поселка, виднелись молодые берез-

ки, тесно посаженные вдоль улицы. Дверь на крыльце знакомого дома была открыта. Андрею все чудилось, будто кто-то пробегает стороной от сосны к сосне, бесшумный. И, подходя к крыльцу, Андрей чувствовал, что смотрят ему в спину и вместе с ним вслушиваются в звуки скрипки.

На крыльце под крышей, на перекладине, Андрей нашел ключ. Отпер дверь в квартиру, что по коридору справа. А за дверью слева гремели шумные голоса и хлопали тысячи ладоней, играла музыка. Можно было понять, что там смотрят хоккейный матч и слушают одновременно приемник.

* * *

Заснул Андрей спокойно и видел то, что его окружало.

Дорога, озеро, снега, квартира в деревянном доме, пустом на время командировки друга... И книги по полкам, постегивание ветвей за стеной... Все звучно в этом деревянном доме, слышно, как мороз ходит по соснам, как вытекает ключ под горой в Сороть. И, уж конечно, слышно, как отбивает час за часом в колокол время. Может, время всегда течет именно так, что каждый час отбивается звучно?

Пускай идут сюда хруст ветвей, и поступь мороза, и течение ключа, и течение дороги. И синие длинные тени, ползущие по снегам, и заячий след поперек теней. Только зачем этот грохот, кому это нужно в полночь сидеть и слушать приемник? Смотреть и смотреть, не уставая, телевизор?

Андрей забылся и остался среди леса на дороге, что течет через гористый сосняк. Хлопья снега среди хвои перебирает ветер. Те рассыпаются, а потом долго висят в воздухе. Теперь здесь и там воздвигаются по лесу хоромы, из блеска и шелеста сотканы их стены. Но порой ветер налетает с силой, и хлопья падают на сугробы со звуком глухим и точным. Тогда кажется, что где-то далеко за горой скачут кони. И похоже, в ярком свете солнца будто сидит у дороги кто-то в светлой куртке, голубой косынке и держит в одной руке длинную полоску света. И раскачивает ее, и перекладывает с места на место между синими тенями сосен да елей. И другой рукой ее, эту полоску, расчесывает. Да, расчесывает большим гребнем из багряного легкого камня, который тоже светится, и от него по лесу снизу вверх лучи да блики. Не знаешь, глаза нужно зажмурить или все же смотреть. А только зажмуришь глаза — проснешься...

Большое и высокое за окном утро. На яблоне раскачиваются снегири, смотрят в комнату. В комнате немного морозно. Пахнет свежими сосновыми дровами. Надо бы затопить печку.

А снегири переговариваются, покачивают головами. Ни дать ни взять, зовут к себе за дверь, на воздух. Под небо.

В соседней квартире в два голоса работают приемник и телевизор.

В лесу легкий ветер перебирает иней, и тот как бы освещает дорогу мелкой зернью. И в ярком солнце видно, что стоит кто-то на дороге впереди. И не уходит, а так себе, шагает. В косынке синей, коротком пальто березового цвета, в валенках, похожих на сапоги. И чуть размахивает веткой в правой руке. Поднимет голову и смотрит на деревья, в небо. Стоит и словно ждет.

Андрей поравнялся с девушкой. Она подняла руку и перегородила дорогу веткой, Андрей остановился.

— Почему вы не идете дальше? — спросила она.

— Как же я могу дальше идти? — отозвался Андрей.

— Хорошо. Идите. — Девушка убрала ветку.

Андрей продолжал стоять.

— Идите же, — сказала девушка.

— А вы останетесь?

— А мне все равно, — шевельнула девушка плечом. — Я могу стоять, могу идти.

— А можете и лететь?

— Могу и лететь.

Андрей наклонился, взял горсть снега, смял в снежок и бросил вниз вдоль дороги. Снежок покатился далеко и, поблескивая на солнце, рассыпал вокруг синеватые искры.

— Вот совсем другое дело, — сказала девушка и побежала за снежком.

Подхватила снежок и спрятала за спину. Андрей приблизился. Девушка швырнула снежок.

— Теперь бегите вы!

Андрей прошел вперед, подобрал снежок и, не оглядываясь, коротко бросил его назад. Он слышал, как снежок был пойман и голос девушки произнес:

— А теперь лети!

Снежок высоко пролетел вперед. Он сверкал и словно таял. Упал на сосновую ветку. Та качнулась и подбросила его. Снежок подскочил и упал на другую ветку. Та его снова подкинула.

— Вот как! — засмеялась девушка.

Снежок еще раз прыгнул — уже на самую вершину длинной ели. Там и остался. Остался, чуть покачиваемый. И светился голубовато, как луна при солнечном утре.

— Это моя луна, — сказала девушка и встала рядом с Андреем.

— У меня такой луны нет.

— Не у всякого такая луна может быть, — сказала девушка. — Чего же мы стоим, надо идти. В такой день обязательно надо идти. Но не торопиться.

— Куда же? — спросил Андрей.

— А куда угодно... Видите: дорожка вдоль берега, а там колодезный сруб.

— Знаю. Я бывал тут. Еще в молодости.
— А разве сейчас у вас не молодость?
— По-моему, нет.
— У человека всегда есть молодость.
— Не всегда.
— Всегда, — сказала девушка утвердительно. — Я это знаю точно. Вон даже колодец. Он старый, а молодость у него есть. Стоит из него глотнуть один только глоток, и сразу почувствуешь.

— Тогда стоит из него глотнуть сейчас.

— Сейчас это необязательно.

Девушка слепила еще комок снега и швырнула его вперед. Снежок упал на дорогу и рассыпался.

И тогда они тихо пошли под сосны, которые стояли, широко расступившись. Вдоль березника. Если сквозь березовую чащу смотреть на озеро, становится ясно, что вылиты березы из розоватого льда. Лед берез прозрачен, и видно, как внутри поднимаются снизу потоки, похожие на ручьи.

Так они шли молча, и Андрей чувствовал, что девушка тоже смотрит под ноги, иногда поднимая голову и глядя вперед. Там, впереди, замерла вдоль дороги аллея могучих елей. Каждая из них была похожа на целую страну, охваченную зеленым торжественным мраком.

* * *

Вошли в аллею, как в глубину пруда. Водянистый воздух шелестел, разводил перед глазами круги, полукружия, струи. Шли аллеей, словно плыли. Вышли к деревянному дому с высоким крыльцом. Перед домом на мощном пне стояла крошечная пушка и смотрела заколоченным дулом.

— Из этой пушки раньше стреляли, — сказала девушка.

— По воробьям? — спросил Андрей.

— Не нужно смеяться, — строго сказала девушка. — Из нее стреляли в честь гостей. Салют.

— А почему бы не выстрелить сейчас? — предложил Андрей. — Мы разве не гости?

— Нельзя сказать, чтобы мы были гости. — Девушка задумалась. — Да и пушка сейчас забита.

В глубине сада поблескивала инеем широкая бревенчатая звонница. На ней замерло более десятка больших и малых колоколов. Маленькие висели словно купчики: важные, но простые. Побольше — как бояре. Девушка тронула самый меньший. Воздух вокруг улыбнулся, и разошлась в нем рябь. Девушка качнула другой колокол, побольше. В воздухе прозрачно заискрился иней. Девушка весело посмотрела в глаза Андрею. И Андрей встретился с ней взглядом. Лицо девушки, чистое и свежее на морозе, все казалось усыпанным веснушками. Глаза смотрели доверчиво голубой веселой прозрачностью. Чудилось,

будто и во взгляде замерли веснушки, как замирает уносимая ветром листва.

Девушка тронула третий колокол, постарше. И закачались в воздухе хлопья снега.

— Это кто же там? — раздался позади веселый энергичный голос.

— Это мы, — сказала девушка и обернулась.

— Ну и что же, что вы!

Подошел немного приседающей быстрой походкой мужчина в куньей шапке. Сам старый, красивый, с длинным носом.

— Ну и что же, что вы! Кто вы такие? — спросил мужчина.

Он стоял в черном расстегнутом полупальто, полупустой левый рукав которого был засунут в карман.

— Это мы, — повторила девушка. — Разве не видите?

Мужчина долго стоял и смотрел, смотрел приветливо. Потом подошел к звоннице и один за другим тронул каждый колокол. Когда прогудел самый старший, сугробы вокруг колыхнулись и долго потом успокаивались.

— Вот так, — сказал мужчина строго.

— Конечно, так, — согласилась девушка.

— Слушайте с вечера. На них отбивают время. — Мужчина постоял, его лицо сделалось чуть грустным, он запахнулся и пошел через дорогу к дому. На двери этого дома было написано: «Здесь не музей, а квартира». Вдоль стеклянных стен веранды стояли кувшины, горшки, самовары.

— Я его знаю, — сказала девушка, — он добрый.

Теперь пошли через мостик мимо красного, крупной кладки, здания к лесу. В просторной роше среди сосен и елей поднимался ветер. Чувствовалось, что вокруг роши метель уже гуляет, а здесь еще только раскачивались вершины. Потемнело, словно кто мутным взглядом уставился в глубину леса. Деревья встревожились. От них пошел такой звук, будто раскачивались колокола. Ударило впереди. Коротко. Без отзвука.

— У Маленца, — сказала девушка тихо.

Ударило сзади. Далеко, далеко. Тоже отрывисто.

— Над Кучанами, — сказала девушка еще тише.

В стороне высоко прошел тонкий удар. С отзвуком.

— В Тригорском, — девушка наклонила голову, вслушиваясь. Она немного вздрагивала от каждого удара. И замирала.

— Метель начинается, — сказал Андрей.

— Да, да, — согласилась девушка рассеянно, — скоро уже ничего видно вокруг не будет.

С вершин осыпались снега и устанавливали по лесу сухие серые сумерки. Девушка подняла воротник пальто. Зашагала медленно, как бы отсчитывала шаги.

— Пойдемте ко мне, у меня есть печка и сухие дрова, — сказал Андрей.

— Да, да...

— Я затоплю печку. В комнате станет тепло.

— В такую ночь хорошо спать на веранде. Все звенит, и кажется, что куда-то несешься... Ну ладно, до свидания.

Девушка остановилась. Лицо ее потемнело, по нему пробежали быстрые тени. Будто пробегали облака.

— Зайдемте ко мне, — попросил Андрей.

— Что вы! — улыбнулась девушка. — Я ни к кому не захожу. До свидания.

— А мы еще встретимся?

— Конечно.

— А как я вас найду? Как зовут вас?

— Я сама вас найду. Или встаньте среди леса. Или над озером. И скажите: «Ау». Хотите громко, хотите чуть слышно. Или про себя. Ну пока.

Андрей пожал ее руку.

— Не грустите, — сказала девушка.

— Что вы...

Тихими шагами Андрей направился к дому.

* * *

Метель поднялась во все небо. Она гудела в стенах и замирала за окном. Она подстерегала, прикидывалась на мгновение спокойной, всматривалась в окно, потом взвивалась и уносилась в сад. Сад стонал и, казалось, лопался от напора. В печке гудело, но сам огонь был весел. И на сердце было спокойно. Легко было на сердце. Только грохотали из-за стены чудовищные аплодисменты и крики очередного хоккейного матча да ревел приемник бешеной какой-то музыкой. Казалось, музыка эта сама участвовала в хоккейном матче, раздувала его, ломала клюшки, сносила ворота. Пожалуй, на стадион тоже пришла метель и сметала трибуны.

Андрей закрыл глаза и лицо подставил доброму теплу печки. Его клонило в сон. Только перед глазами светился небольшой комок снега, он искрился и покачивался на ветке. Однако скрежет и вой из-за стены нарастали, и сон никак не слетал. «Может, и вправду пойти на веранду?» — подумал Андрей.

Он захлопнул дверцу печки, подпер ее маленькой кочергой. Накинул большую толстую шубу и коридором сквозь музыку и аплодисменты прошел на веранду. Там на топчане лежал матрац и подушка без наволочки. Ни приемника, ни телевизора слышно тут не было. И Андрей прямо в шубе лег на постель.

* * *

Утро совсем непохоже на утро. Какой-то тревожный полет. Дрожь веранды. Дым, а не снег за окнами. Словно тебе несет, а Земля далеко. Ее не видно, только знаешь ты, что Земля тоже

летит и по ней клубятся не то моря, не то облака, не то континенты. И там, на Земле, все смотрят в небо, все за тобой следят, и в каждом за тебя бьется сердце. И ветки в стекла бьют. И хлопает соседская дверь. И сосед что-то напевает себе под нос довольно бодрым голосом.

Андрей вышел на крыльцо. Метель проносила над холмами мутные могучие облака. Порой облака разрывало, и на мгновение показывались дали. Но только на мгновение. Тогда проглядывало вдалеке Тригорское. Но потом исчезало снова. Не было вообще никаких его признаков. И страшно делалось; может быть, его нет и никогда не было? Только были блистательные дали поэмы, удивительные, полные листопада и ветра. И ночная карета в Михайловское, и аллея, и ветка гелиотропа. Слышно, как там вокруг парка гудит вьюга. Там не метель, а вьюга.

— Вот это завьюжило! — раздался на крыльце голос, и шаги остановились рядом с Андреем.

Андрей обернулся.

Перед ним стоял высокий старик. Ровными гладкими веками были полуприкрыты его серые глаза. Старик попыхивал сигаретой. Старик попыхивал и прислушивался к тому, что звучало за окнами его квартиры. А там деловито рассуждал телевизор и грохотал приемник.

— Зима кончается, — сказал сосед уверенно, — со дня на день весна распахнется.

— Да, верно, — согласился Андрей.

И ушел в комнату. Он растопил печку и присел у огня. Кто-то вроде постучал в окно.

— Ау, — слышалось Андрею.

Он оглянулся. Кто-то за окном стоял. Но разглядеть его среди метели было трудно.

— Ау, — повторил голос.

Андрей выбежал на крыльцо. Метель бросилась ему навстречу и хлопнула дверью комнаты. Андрей прибежал под окно. Здесь никого не было. Вышел за калитку. Там высокими дымными столбами гуляла вьюга. И кто-то в коротком пальто шел впереди, среди вьюги. Оглядывался и махал рукой. Андрей плотней запахнулся и пошел следом. Но впереди уже ничего нельзя было разглядеть. Через некоторое время Андрей опять заметил человека. Человек шагал в сторону Тригорского. Он снова оглянулся и помахал рукой.

В открытом поле гуляла метель. И Андрей чувствовал, что сбивается с дороги, что кто-то ходит вокруг него, но никак не может подойти.

«Где же тут дорога?» — думал Андрей, проваливаясь и оступаясь в сугробах.

— Там, впереди, Тригорское, — услышал он сквозь ветер знакомый голос. — А я здесь.

— Но я не могу разглядеть вас, — сказал Андрей,

— Да и мне трудно вас найти в этой сумятице.
— И Тригорского вроде бы нет.
— Почему же? Тригорское впереди. Там сейчас тоже выюга.
Но деревья поют. Слышите голоса кленов?
— Не слышу.
— Ну как же? А вот ели... Хорошо слышно даже отсюда.
— Кажется, слышу, — сказал Андрей.
— Вот и слушайте. А это голоса лип, что стоят вокруг «Зеленого зала».

Андрей прислушался.

— Там, в «Зеленом зале», — напевно заговорил голос девушки, — шелестят просторные платья. Танцуют, подняв над головами широкие хрустальные чаши. Танцуют, кружась и глядя друг на друга. Листва полна лунного света. Со дна каждой чаши бьет невысокий родник. Танцуя, подносят чашу к губам и пьют из родника. Под крышей дома ласточки. В гостиной фортепьяно. И две свечи на нем в подсвечниках. На фортепьяно медленно играют. Фортепьяно как бы произносит не звуки, а слова:

....Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальнему упреков и похвал,
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив...

Свечи колеблются. Бьют высокие английские часы, звон уходит высоко. Сквозь тихий сон внимают звону ласточки. Луна колеблет чаши. Танец среди лиц... Слова фортепьяно...

...И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моления
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

А ниже ручей. Вода стекает по колоде и бормочет. Словно кто-то торопливо старушечьим голосом отчитывает какое-то беспечное существо. А в «Зеленом зале» танцует девочка. Теперь здесь пусто. Девочка одна, — продолжал напевно голос девушки, — девочка в короткой юбке и в матросской куртке. Она танцует с матросской шапочкой в руке. И прислушивается к фортепьяно...

Когда Андрей вернулся домой, дверь в комнату была прикрыта. В комнате тепло. Дверца печки подперта маленькой кощережкой. Андрей снял шубу. В дверь без стука вошел сосед.

— Не следует, молодой человек, огонь оставлять в раскрытой печке.

— Извините, — сказал Андрей, — я забыл.

— Нельзя забывать, когда топится печка, — сказал сосед, стоя у порога с сигаретой в руке. — Так весь дом спалить можно.

— Я вышел в поле и заблудился в метели.

— Кто же в поле ходит в такую метель? — наставительно сказал сосед.

— Я в Тригорское хотел пройти.

— Чего в Тригорском смотреть в такую погоду, — сказал сосед снисходительно.

— Да так уж...

— Лучше посмотрите хоккейный матч, — предложил сосед.

— Спасибо.

— Приходите. Теперь не скоро погода уляжется. Не на один день закрутило. Весной пахнет.

— Да, — согласился Андрей.

— Будет время, приходите, — еще раз пригласил сосед и вышел.

По тому, как шумело за стенами, гудело в трубе и какой мокрый снег лепил в окно, было видно, что непогода не собирается затихать.

* * *

Сегодня солнце долго стояло над парком Тригорского. Солнце поставило над парком два огненных столба, справа и слева. Солнце не то чтобы ликовало, солнце любовалось природой и совсем не хотело спускаться за горы.

Андрей вышел знакомой дорогой в сосняк и увидел, что лес улыбается ослепительным светом сугробов. Но глазам легко. Сосны алеют прямо на глазах. Повсюду горят зеленые спокойные костры можжевельника. Их пламя неподвижно. Впереди под сосной вроде кто-то сидит. Сидит парнишка в полушубке и наводит из рукава на дорогу полосу света. А потом кладет на нее тень от сосны. Андрей подошел ближе и увидел, что это просто пенёк, высоко засыпанный снегом. Андрей улыбнулся, остановился, сложил глухой пригоршней руки возле рта и сказал в пригоршню тихо, чтобы никто не слышал:

— Ау...

Ничто нигде не колыхнулось. Все продолжало молчать и цепенеть в звонком свете зари. Андрей зашагал дальше. Под горой у самой дороги сидел на повороте медведь. Медведь сидел белый. Он уперся лапами в дорогу и склонил голову, будто спал. Или, может быть, у медведя болели зубы. Андрей приблизился. Это был совсем не медведь, это был камень под сугробистым наметом. И можно было на камне прочитать: «Дорога в Савкино».

— Дорога в Савкино, — сказал веселый голос за спиной, — и больше ничего. Ничего больше.

Андрей радостно обернулся.

— Здравствуйте.

— Добрый день, — отозвалась девушка, поправляя вокруг лица свой синий платок.

— А я думал, вы заблудились, — сказал Андрей. — Я так вас и не увидел среди метели.

— Ну как же я заблужусь? — засмеялась девушка. — Я вас видела, только ветер мешал подойти.

— А я ходил, ходил и оказался возле дома.

— Ну как было дома?

— Да, собственно, ничего особенного не было. Сосед звал телевизор смотреть.

— А вы?

— А я читал книги.

Солнце погасло, только в небе чувствовалось его дыхание. Однако ложбина Маленца была освещена, и свет на снегах ее не угасал, а усиливался. Можно было подумать, что солнце рассеялось в небе и теперь опускалось на Маленец.

— И что же читали? — спросила девушка, поглаживая ладонями щеки.

— Читал дневники, воспоминания.

— Интересно? — Девушка улыбнулась немного снисходительно.

— Интересно. Вульф, например, пишет, как ему сообщали две новости.

— Какие же? — строго спросила девушка.

— Одна из них о женитьбе на Гончаровой, первостатейной, по его словам, московской красавице. «Желаю ему быть счастливым», — пишет Вульф.

Девушка молчала.

В небе темнело, но над озером сгущался широкий круг света. И потихоньку он снижался.

— Все думают, что солнце садится за лесом, — сказала девушка.

— Конечно.

— Солнце садится в озеро. Вот сейчас оно совсем уже низко. Еще чуть подержится и сядет под лед. А ночью будет отсюда светить. А мы... — девушка посмотрела Андрею в глаза.

— А мы? — спросил Андрей.

— А мы пойдем и что-нибудь посмотрим.

Она взяла Андрея за руку и пошла впереди.

Сосны в сумерках сделались вытесанными из серого камня. Из гранита. Они стеснились, встали поближе друг к другу и касались одна другой, напоминая, что стоят они совсем рядом и что им теперь не так одиноко. Однако порой там или здесь дерево вздыхало. И слышался легкий звук. Так скрипят половицы, когда по ним крадется домовой. Пахнуло дымом печных труб. И этот добрый запах сделал сумерки синими. Кто-то гулко

ударил в сосну, как в бочку. Андрей вздрогнул. Девушка засмеялась. Ударил еще раз, дробью. И замер.

— Это дятел, — сказала девушка, — он хороший.

Птица сорвалась в глубине леса и неохотно полетела над землей.

— К кормушке, что ли, полетел? Чего же так поздно? — удивилась девушка.

Птица вернулась, пролетела над головой. Тогда девушка вытянула перед собой руку. Птица села на рукав. Дятел, небольшой, в черной с прорезами накидке и в красной шапочке на затылке. Дятел сидел и смотрел маленькими острыми глазами то на девушку, то на Андрея.

— Он добрый, — сказала девушка и посмотрела на Андрея, потом спросила: — Добрый?

— Не знаю, — ответил Андрей.

— Добрый, — повторила девушка уверенно и стала объяснять: — Дятел на кормушку летит к тому человеку, что под колокола к нам подошел. У этого человека кормушка под окном построена. Он долго, — девушка посмотрела на дятла, — не верил кормушке. А теперь, чуть чего, прямо туда летит. Мы его туда и отнесем. Тут уж рядом.

Впереди за яблоневым садом показались огни. И видно было, как в доме ходит высокий человек и размахивает рукой. Казалось, человек произносит речь. Дятел сорвался с рукава и полетел в сторону окон.

— А нам туда. — Девушка показала рукой на длинное каменное здание под высокой крышей. Окна этого здания были темны.

Она подошла к двери, тронула ручку, и дверь отворилась. Девушка взяла Андрея за руку и повела длинным темным коридором. Поднялись по деревянной лестнице. Не то на чердак, не то на антресоли. В темноте различить можно было железную решетчатую дверь. На двери висел большой замок. Девушка тронула замок и раскрыла его. Распахнула тяжелые двери, прошла первой. Коснулась пальцами стены, под потолком зажглись большие свечи.

Здесь было тепло. Здесь пахло хорошим старым деревом, бумагой, фарфором и какими-то сильными духами. Казалось, пахнет малиновым вином, легким оттого, что коснулись его женские губы.

— А вдруг сюда придут? — спросил Андрей.

— Сюда никто не придет.

— Увидят свет и придут.

— Никто не увидит. А если и увидят, не пойдут. Побоятся. Кто в закрытом доме может ходить при свечах?

Девушка подошла к застекленному шкафу, раскрыла его и вынула небольшой флакон малинового цвета. Она вывернула стеклянную пробку и подала флакон Андрею. Андрей поднес его

к лицу и тихо засмеялся. Перед ним поплыли открытые, слегка тронутые светом плечи. Плечи склонены и прячутся в черное тяжелое платье. И голова женщины склонена, глаза смотрят не весело, губы приоткрыты, готовые не то улыбнуться, не то засмеяться. Волосы гладко уложены. Тонкая нитка поблескивает на шее. Плечи плывут и кружатся в танце.

— Долго нельзя. — Девушка взяла флакон у Андрея. — Это просто старинные духи.

Девушка присела на корточки, с нижней полки подняла высокий белесоватый кувшин. Подала его Андрею.

— Это не кувшин. Это керосиновая лампа. Она светила той, кого Вульф обозначает в своем дневнике «А. П.». А поэт написал ей стихи, которые теперь поют и не могут надивиться их красоте. Правда, лампа семидесятых годов. Но все же.

В руках лампа оказалась легкой и прохладной. По зеленоватому ее фарфору распустились белые цветы, цвел шиповник. Над шиповником висели стрекозы и бабочки. Девушка зажгла спичку и засветила лампу.

— Жаль, что нет стекла, — сказала она, — но это ничего.

Лампа не чадила. Цветы, стрекозы, бабочки засияли и подернулись воздухом. Девушка прошла с лампой в угол чердака. Там из темноты выступило с детства знакомое Андрею лицо.

— Это тоже фарфор, — сказала девушка. — Работа скульптора Трубецкого. Он лепил и Льва Толстого, если помните.

Из глубины угла смотрело умное тревожное лицо. Взбитые высокие волосы, пышные бакенбарды, напряженный лоб и глубокий взгляд. При свете лампы можно было подумать, что портрет отлит не из фарфора, а из чистого и плотного льда, внутри которого светит луна. И свет ее ровен, спокоен и мудр.

Внизу, во входной двери, громко повернулся ключ. Девушка замерла. Ключ повернулся еще раз, и звук его резко отдался в пустом доме. Послышались шаги. Девушка задудла огонь и лампу поставила на стол. Насторожилась. Шаги спокойно приближались. Заскрипела лестница.

Человек поднялся по лестнице, прошел в раскрытую дверь. Остановился.

— Добрый день, — произнес человек широким красивым голосом.

Голос этот был Андрею уже знаком.

— Впрочем, не день, а ночь. — Человек прошелся по комнате.

— Ну что вы мне скажете?

Помолчал.

— Чего вы без меня тут рассмотрите...

Еще помолчал.

— Вон в шкафу дорожный столик-шкатулка для игры в карты. А на шкафу чайный сервиз саксонского фарфора. «Голубые мечи». Сервиз для интимных бесед. На две персоны.

Помолчал еще.

— А здесь клинки. Легкие, как перо. Возьмешь в руку — и сам превратишься в поэму...

* * *

Ночь скрыла аллеи, глубину сада, лес, огни деревенских изб за Соротью. Дым уже не стлался синей тенью, он висел в воздухе.

Девушка смеялась, глядя под ноги. Весело рассказывала:

— Это он только кажется таким строгим. Да на его месте и нельзя слишком ласковым быть. А когда один остается дома, чего только не чудит! По стенам у него подковы набиты, колокола висят да колокольчики, и повсюду самовары, самовары...

Девушка широко развела вокруг руками.

— Одни самовары вокруг. Сядет он среди веранды как царь-император. И самый пузатый самовар на стол выставит. Хлопнет ладонью по столу, в самоваре угли загудят. Зашипит самовар, как боярин, запыхтит, распахнет шубу, живот медный выкатит, шапку лисью сорвет с головы да об стол ее со всего размаха. И сапогом притопнет, и засвистит в кулак свой медный. Тут маленький под потолком колокольчик тихонько охнет. Ему другой, побойчее, отзовется. Третий будто всех приструнит да во фрунт выстроит.

Девушка откинула голову, будто со стороны все это разглядывала.

— Тут хозяин брови надует и второй раз по столу ладонью хлопнет. Боярин пузатый упрет руки в боки и загудит зычным голосом. И чашечки фарфоровые из комнаты побегут, позванивая, кружась и юбочки придерживая. И все на стол. А колокольцы и колокольчики так и ходят под потолком. Такой звон поднимут. А хозяин сидит и радуется! Чай попивает из одной да из другой чашечки. Дышит весело.

Девушка посмотрела на Андрея.

— Потом нахмурит брови пуще прежнего и третий раз по столу ладонью хватит. Подковы на стенах загудят, как комары. А боярин среди стола свою самоварскую шубу скидывает и давай плясать, сапогами сафьяновыми чашки поколачивать. Сам покрикивает: «Ах, побирушки вы мои тонкорученькие!» А чашки дымятся, звенят и отскакивают. Хозяин поведет тут длинным носом, зыркнет глазом по каждому самовару. И пошли самовары да самоварчики прямо по полу. Пляшут, звенят — кто ложкой, кто чашечкой по меди да по серебру. Один что жук переваливается, другой котенком кувывается, а те вприпрыжку поросятами бегают, похрюкивают, эти приказчиками зарумянились, с ног на голову становятся. Такой тут смех да звон пойдет! Теперь и дятел прилетит. С самовара на самовар пересаживается. По одному так ударит, а по другому дробью. Подгоняет их при-

танцовать. Потом притомится, сядет на плечо к хозяину, смахнет с головы красную шапочку и шапочкой утирается. А хозяин сидит и письмо читает. Вот как, — засмеялась девушка, — в этом доме бывает!

Как раз проходили мимо дома с надписью на двери: «Здесь не музей, а квартира». В окнах горел свет. Высокий человек расхаживал по комнате и взмахивал рукой, будто спорил. Девушка подбежала к окошку и одним пальцем дробно ударила в стекло, как дятел. Захохотала, схватила Андрея за руку и побежала вон из усадьбы.

Уходили тропинкой по склону — под сосны. Где-то лаяла собака. Эхо далеко уносило лай, за Петровское озеро.

— Ну мне пора, — девушка остановилась.

— И мне пора, — сказал Андрей, — уже ночь.

— И звезды ярко горят. В пятницу в одном месте уже подснежники появятся.

— Так рано?

— Совсем не рано. Уже пора. Ведь только кажется, что зима. А весна уже здесь. Я как раз пойду туда.

— Я бы тоже пошел.

— Ну и что же? Можно пойти вместе. Я буду ждать у большого камня возле дороги.

— А где это?

— У самой дороги, как поворачивать от Савкина к Святым горам. Камень большой лежит, и чаши на нем выбиты. Я буду ждать. Только приходите надо задолго до рассвета. Когда луна начнет садиться.

Девушка поправила платок, коротко поклонилась и побежала тропинкой вниз к Сороти. Андрей пошел тропинкой к озеру.

Кругом лежала ночь, однако Маленец светился. И оттого снега Маленца казались невесомыми. Тропинка не скрипела под ногами, да и сами шаги не были слышны.

* * *

В пятницу Андрей проснулся рано. За окнами стоял мглистый свет. Так светят остывающие угли, если на них подуть. Яблони в саду стояли багровые. Однако приемник у соседа уже распевал. Дверь хлопнула, а шаги спустились по крыльцу. И соседа голос послышался, который спрашивал:

— Вам чего?

— Я просто так, — ответил голос девушки.

— Просто так по ночам не ходят, — сказал сосед.

Андрей вышел на крыльцо. Девушка стояла во дворе под яблоней.

— Нехорошо так долго спать, — укорила она. — Я совсем заждаюсь там у дороги. А здесь меня допрашивают.

— Я не думал, что так поздно уже, — сказал Андрей. — И мне, поверьте, от этого совестно.

Земля уже была подморожена. Кое-где лежали багровые полосы сугробов. На земле валялась сломанная ветка яблони. Девушка подняла ветку, помахала ею в воздухе и направилась к калитке. С улицы возвращался сосед с ведром. Старик с хрустом прошел по заледенелому сугробу и наставительно посмотрел на девушку.

— Зачем вы сломали ветку?

— Я не ломала. Я просто подобрала с земли.

— Не отпирайтесь! Кому еще было ломать?

— Зря вы не верите людям, — сказала девушка. — Впрочем, возьмите эту ветку, и пусть она вам даст столько яблок, сколько вам хочется. — Девушка протянула ветку старику.

— То-то же. — Сосед принял ветку и направился домой. — Деревья надо беречь, они должны давать плоды.

Сосед ушел, неся в одной руке ветку, а в другой ведро. Луна висела низко над Тригорским, огромная, а небо вокруг нее выглядело черным, без единой звезды, и одновременно малиновым.

Молча вышли на шоссе.

Впереди на холме Андрей увидел большой валун. Словно кто-то исполинской рукой положил на траву отсеченную голову огромного тельца. По холму стекали длинные полосы заледенелого снега. Над камнем из больших долбленых чаш поднимались ровные языки желтого пламени. Пламя извивалось и светило без дыма. Вокруг стояли, склонив головы, люди. Люди стояли неподвижно. Одни в коротких, до колена, плащах и шлемах. Плащи багровой ткани, на шлемах отсвечивало пламя. Некоторые стояли в похожих на шлемы шапках. На пригорке возвышался старик, седой, длиннородый. На его голове поблескивал стальной обруч. Одет старик был в длинную белую рубаху, подпоясанную ремнем. Держал старик в руке длинную палку и смотрел на вершину камня.

За Маленцом ударил колокол и пробил пять раз.

Андрей оглянулся в сторону колокола. Какая-то звезда покатилась с самой высоты и рассеивалась на лету, теряя свет и скорость. Андрей почувствовал, как пальцы тут же коснулись его руки, и девушка спросила:

— Ты что сейчас задумал?

— Ничего не успел.

— Вот всегда так бывает, — сказала девушка горько. — Пойдем.

Андрей взглянул на холм, все было пусто. Лежал камень, светила луна, и мглисто поблескивали на камне пустые широкие чаши. Шли по зернистому от холода асфальту, шаги звонко отдавались на дороге. Луна опустилась на далекие холмы за Тригорским. Луна была большая, светила пустынно, и казалось, до нее рукой подать.

— И не верится, что сейчас там ходит эта машина, аппарат, и щупает, — сказал Андрей, глядя на Луну.

— И, может быть, размышляет, — подхватила девушка.

— Ну о чем аппарат может размышлять? Размышляют за него на земле.

— А может быть, не так, — сказала серьезно девушка. — Может быть, он тоже размышляет.

— Чего ему размышлять?

— А ведь никто не ожидал, что он будет там так долго ходить.

— Да, он ходит, — сказал Андрей спокойно. — Я-то уж это знаю.

— Откуда? — Девушка посмотрела Андрею в глаза.

— Я кое-что делал для этого.

Девушка отошла в сторону и некоторое время шла молча.

— Ну как легче стало? — спросила она.

— Нет. Я очень устал.

— Значит, она страшная. — Девушка посмотрела на луну.

— Нет... Просто я устал немного. Мне нужно передохнуть.

— А я ее боюсь, — сказала девушка.

Андрей тоже посмотрел на луну и потом окинул взглядом всю холмистую равнину. Равнина в это предутреннее время была багрового и одновременно пепельного цвета и поблескивала.

На холмах залаяла гончая. Девушка схватила Андрея обеими руками за локоть. Лай приближался.

Вдруг что-то зашуршало по асфальту. На шоссе выскочил и замер заяц. Он был большой, уже серый и смотрел в глаза. Мгновение он как бы размышлял и, казалось, надеялся. Потом рванул задними ногами по асфальту, поскользнулся и бросился через дорогу в лес.

Тотчас же выбросился на дорогу крупный старый гончак. В нем не было резвости. В нем было знание дела и уверенность. Гончак тоже остановился. Глянул исподлобья и деловито покакал все с тем же лаем.

— Неужели догонит? — спросил тревожно Андрей.

— Догонит, — сказала девушка упавшим голосом. — Обязательно догонит... Ну пойдем. Утро начинается...

Далеко за дорогой среди сосняка наступал рассвет. Воздух быстро начал светлеть. На горе среди молодых сосен девушка остановилась.

— Смотри, — она вытянула руку в сторону недалекой долины, — там Маленец.

Самой долины видно не было, только видны были обступившие озеро сосны. Воздух там тоже светлел, как бы расступался. Потом он сделался розовым, и поднялось оттуда светящееся плоское и круглое облако. Облако легко и плавно вытяну-

лось, затрепетало, поднялось выше и растаяло. И тут же во все стороны ударили лучи. Глазам стало легко. И запели птицы...

* * *

Когда вернулся Андрей домой, сосед шел от колонки, нес в одной руке полное ведро воды. Другая его рука была замочена полотенцем. Сосед издала сердито, но в то же время просительно посмотрел на Андрея. Андрей прошел в свою комнату, выпил кружку воды и лег на постель.

В дверь вежливо постучали.

Андрей поднялся.

— Войдите.

Вошел сосед. Он сел на табуретку и пристально посмотрел на Андрея.

— Добрый день, — сказал Андрей.

— Какой же он добрый день?

— Конечно, добрый, — Андрей улыбнулся.

— Зачем же так над пожилым человеком шутить?

— Как «шутить»? — насторожился Андрей.

— Плохая это шутка. На старости-то лет зачем мне так? — Сосед вопросительно посмотрел Андрею в лицо.

— Какие шутки? — Андрей вдруг заметил, что в доме стоит удивительная тишина, не слышно ни телевизора, ни приемника. — Какие шутки? — повторил он.

Старик размотал на правой руке полотенце и протянул Андрею раскрытую ладонь. В ладони возле большого пальца торчала маленькая ветка. Та самая, что девушка утром подняла с земли.

— Что это? — спросил Андрей.

— Прироста, — сказал старик укоризненно.

Он потрогал ветку пальцем левой руки. Ветка только покачнулась — она крепко сидела в ладони. Почка на ветке уже заметно набухла.

* * *

Снег только начал таять, а по лесу пахнет уже грибами. Уже влажные шорохи притаились по мхам. Еще ничего нет, а запах уже стелется. Особенно в полдень.

Кругом туман. Савкино стоит в тумане, как остров на разливе. И Воронич. И Тригорское. На яблонях снега нет. Но яблони тяжелы от воды. С ветвей каплет. Звук этих капель слышен далеко. Кап... Кап... Стук... Стук... С крыш тоже каплет. И с хвои. День обещает быть пасмурным.

Но внезапно туман оседает и является солнце. Все блестит, все тонет в сверкании. На молодых соснах капли горят, как иней. Лес ярок и сочен. Хвою хочется пить, пить ее прямо с ветки, зелеными, пахучими, густыми глотками. На проталинах

наливается брусничник. Он тяжелеет на глазах. Темная зелень его жгуче лоснится. Березы совсем зарумянились, они действительно похожи на девиц. Они томятся, они бы запели протяжно и ласково, когда бы вокруг было одно только поле, только чистое поле да ветер. Ветер тоже беспокоен. Ветер никак не может остановиться. Он спешит. Он не может найти себе места. У него тревожная душа. Как у этих камней, что завлажнели у дорог, и по оврагам, и в лесу. Камни тоже наливаются соком.

Все обнажено. Все голо. Так перед утренним купаньем. В Дедовцах за Соротью гудят гуси, вопят петухи, басом лают собаки. Вороны прямо рычат. Цапли за Маленцом гогочут доисторическими голосами. К ним страшно подходить. Воздух душист и густ. Он весь набухает. От него тяжелеют веки, голову ломит.

Дятлы усердствуют от всей души, и стук их похож на топот конницы.

Лед лопается, и стон идет из одного озера в другое.

* * *

Над землей тихо. По вершинам сосен идет ветер. И сосны шумят, как тяжелый дождь. Иногда этот шум похож на гул водопада. Сороть разлилась и заперла лед в Маленце. И вода еще прибывает. Нет уже ни Маленца, ни Петровского озера, ни Сороти. Разлив. И Сороть туда, где был Маленец, гонит лед. Льды теснятся, напирают и лезут на берег. Льды цвета черного серебра и как бы подернуты мхами. Льды раскалываются на пластины, чешуйки. Они мелко, гусельно наигрывают. И взбираются, взбираются на берег.

Льды то шумят подобно снегопаду, то — вроде бы ссохшиеся ворота — раскрываются со скрипом. Или в пустом доме шевелятся полуоткрытые двери. Верховой ветер слабеет. Облупившаяся кора сосен шелестит подобно льдам. И шорохи хвои напоминают поскрипывание льдов. Падают шишки. Нет, это стеклянные льдины раскалываются и рассыпаются по ветвям.

— А почему бы человеку, стоя над озером, не сказать «ау»? — спросил Андрея знакомый голос.

Такой голос не совсем неожиданный среди сосен и льдов.

— Человек слушает ледоход, — ответил Андрей.

— Ледоход и вместе можно слушать.

— Вот мы и слушаем вместе.

— Не всегда так получается, — сказала девушка и встала рядом с Андреем. — Однажды я видела здесь человека, и мне показалось, что вместе с ним можно слушать ледоход. Человек сидел на берегу и рисовал это озеро. Я стояла и ждала. Он закончил свою работу, и я окликнула его. И поманила пальцем. Он подошел. И я показала ему, как слушают ледоход.

Я низко наклонилась к воде и сделала вид, что внимательно слушаю. Он тоже стал слушать. И некоторое время слушал. А потом ни с того ни с сего стал бить каблуками по льдинам. Я взяла и ушла.

Девушка присела, подняла небольшую льдинку. Льдинка блестела на ладони. Девушка высоко подбросила льдинку, та упала на берег и рассыпалась на множество кристаллов. Из леса выбежала красная лиса, схватила большой сверкающий кристалл и побежала вдоль берега, высоко подпрыгивая. Потом лиса встала на задние лапы, подкинула кристалл, а сама отскочила в сторону. Кристалл покатился по земле и начал рассыпаться. Лиса уставилась на девушку и села. Девушка двинулась к лисе. Тогда лиса вскочила, подбежала к воде,хватила другой кусок льда и убежала в лес.

— Какая же это лиса?

— Это и есть лиса, — сказала девушка.

— Зачем лисе лед?

— А зачем синице море поджигать?

Кто-то шел той стороной Маленца и напевал:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

В наступающих сумерках человека видно не было, и пение как бы само собой двигалось вдоль озера.

— Сейчас бы лодку да на разлив выплыть, — сказал Андрей.

— А за мысом стоит лодка. Кто-то забыл или оставил. Все равно водой поднимет и унесет.

— Так она чужая.

— Тут ничего чужого нет. — Девушка взяла Андрея за руку.

— Там сосед у меня совсем обиженный сидит, — сказал Андрей.

— Он сам себя обидел, — сказала девушка. — Нельзя таким недобрым быть. А людям надо верить. Хороших людей больше, чем плохих. Может, хоть это на пользу ему пойдет.

— У него на ветке этой уже листья распустились. Цвет набирает. А он руку все полотенцем заматывает. Всем говорит, что кипятком обварил. И приемник свой забыл. И телевизор не смотрит.

— А хорошо ведь это. — Девушка улыбнулась.

— Конечно, хорошо. Да жаль старика.

— Глупый он. Ему бы радоваться надо. Ну ладно. Вот уедешь отсюда, тогда и отпадет ветка. Пусть он тогда и телевизор палит, и приемник свой крутит.

— Уезжать мне отсюда совсем не хочется, — сказал Андрей.

— Уезжать надо. — Девушка невесело наклонила голову. — Ну хорошо. Сегодня ночью заморозок ляжет, и весь цвет у него на ветке побьет. Только пусть он не гудит приемником да телевизором, пока не уедешь.

— Не хочется мне уезжать, — опять сказал Андрей.

Впереди в сумерках замаячила лодка. Она стояла на берегу. Но вода уже подмывала ее и покачивала. Лодка еле держалась у берега.

Теперь трудно было все это назвать просто разливом. Расстиралось море. И в низкой тьме ночи светились острова.

— Много лет назад я рыбачил здесь как-то с друзьями, — начал Андрей рассказывать. — Смешная получилась рыбалка. Взяли невод. Разлив большой тоже был. Только закинули, зацепился невод. Еле отцепили. Зашли в Маленец. Закинули. Опять зацепились. Мучились, мучились. Невод пустой, конечно. Отплыли под усадьбу. Тянем. Тяжело. Как бурлаки тащим. Вытянули — перепугались. Уж не мертвую ли скотину выволокли? Какая-то странная кочка в неводе. Раздирали ее, раздирали. Только одного линя нашли. Зато громадный. В руках так и бьется. Бросили рыбалку — и домой.

— Так оно и должно было быть, — сказала девушка.

— Может быть, — согласился Андрей. — А ночью на веранде спали да и линя тут бросили. Только задремлешь, вроде кто-то вздыхает. И зубами скрипит. Собака, что ли, пробралась? Свет зажгли: нет никакой собаки. Опять легли. Снова кто-то вздыхает. С рассветом глядим, а это линь на полу дышит, движется. Положили его в ведро и выпустили в Сороть.

— Уплыл?

— Сначала на боку долго лежал. Потом встрепенулся — и от берега. Все же вернулся, поглядел на нас, дал круг — и в глубину.

— Ты ведь не жил здесь тогда.

— Да, я тогда учился уже. Но приезжал сюда. В деревне я жил раньше. За Волгой. Сено косил, пахал. С матерью мы жили. Колодец был у нас. Помню, на хутор к нам девушка одна зашла. Заезжая. Туча большая в небе стояла. Такие тучи у нас перевалами называют.

— Перевалами?

— Да. Потому что стоит, стоит, а потом куда-нибудь перевалится. И девушка к нам на хутор пришла из-под тучи.

Андрей сидел на корме, девушка — на самом носу лодки. Весла лежали на бортах. Девушка руки заложила за голову.

— Ты полюбил ее? — спросила девушка.

— Я бы ее полюбил. Таких я тогда еще не видел.

— Что же вам помешало?

— Да ничего особенно. У нее жених оказался. И приехал.

На пригорке в усадьбе начал бить колокол. И каждый удар колокола уходил в свою, особую сторону. И далеко уходил он,

и пропадал в своей стороне навсегда. На усадьбе вспыхнул огонек. Вспыхнул и погас. И опять вспыхнул.

— Няня со своей лучиной, — сказала девушка.

За Маленцом опять послышался голос:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

* * *

— Значит, уедешь скоро, — сказала девушка задумчиво.

— Не хочется мне уезжать. Давай уедем вместе.

— Я никуда не могу отсюда уехать. — Девушка положила руки на колени.

— Поедем.

— Нет. А тебе ехать надо.

— Мне здесь так спокойно. — Андрей нагнулся и зачерпнул за бортом пригоршню воды.

Выпил воду.

Девушка тоже зачерпнула пригоршню за другим бортом. Тоже выпила.

— Теперь тебе уже не будет спокойно, — сказала она грустно.

— А тебе? — спросил Андрей.

Низкая тьма облаков рассеивалась, и в небе начали проступать звезды. Заметно холодало.

— Там, на усадьбе, в доме окна большие, — негромко заговорила девушка. — Ночью встанешь у окна при таком разливе, а звезды все по воде рассыпаны. А зимой в камине гудит, и мороз на стеклах, и половицы поскрипывают.

По голосу чувствовалось, что девушка думает совсем не о том, о чем говорит. По разливу ходило течение. Оно развернуло лодку и медленно понесло по кругу.

— Теперь ты будешь счастливым, но жить тебе тревожно станет. Хотя ничего бояться не будешь, — сказала девушка.

— Не буду я счастливым.

— Ты помни обо мне.

— Конечно.

— Ты меня не забывай.

— Как же я забуду?

— Ты полетишь куда-нибудь?

— Не знаю.

— Если ты куда-нибудь полетишь, то обязательно обо мне помни. А я в это время буду о тебе думать. И мне за тебя станет страшно.

Девушка села за весла и начала грести. Она гребла и говорила, как бы размышляя вслух:

— Теперь ты будешь счастливый. Это человеку уже неподвластно.

— А что «это»? — спросил Андрей и посмотрел под ноги.

— То, что я тогда стала у тебя на дороге и ты меня увидел.

— Я ведь тогда и не понял, кто ты и откуда появилась.

— Я здесь все время. Когда еще никого и не было, я тут ходила над озерами.

— Хорошо все-таки, что мы встретились.

— Для того я тут и живу. Если я нужна человеку, ему и повстречаюсь. Теперь ты будешь счастливый.

— Я все это время был счастливым, — сказал Андрей. — И сейчас я счастливый. Только мне тревожно.

— Не нужно сейчас тревожиться. — Девушка положила весла на борта. — А то, что ты был счастлив... Это просто так. Это еще не совсем счастье. Это только начало. Ты был спокоен, и тебе казалось, что ты счастлив. А счастлив бы будешь тогда, когда не сможешь найти себе покоя... Ты помни обо мне, — попросила она еще раз.

Лодка подходила к берегу. Там, на горе, светились окна. Воздух сделался холодным, и ярко сияло электричество.

— Здесь на горе живет забавный человек. — Девушка вздохнула. — Он себе кухню летнюю во дворе поставил. Ради шутки написал на ней: «Харчевня». И русалку нарисовал. Теперь ему беды хватает. Туристы как придут, надпись увидят и валят. А дверь закрыта. Шум туристы поднимают, книгу жалоб требуют. Заведующего ищут. А ему это нравится.

— Я знаю, — сказал тихо Андрей.

— Я знаю, что знаешь.

Лодка подошла к берегу и въехала на траву. Девушка сошла на берег. Она отошла несколько шагов и остановилась к лодке спиной. Андрей вытащил лодку далеко на сушу. Девушка продолжала стоять, Андрей подошел к ней и тронул за плечо. Девушка обернулась, приподняла руки и приблизила их к Андрею ладонями вперед. Андрей тоже поднял руки и приложил свои ладони к ладоням девушки. Ее ладони вздрагивали, и Андрей увидел, что она плачет. Девушка плакала, но не опускала лицо.

— Иди, — сказала она и быстро пошла к лесу.

Андрей зашагал в гору.

— Андрей! — крикнула девушка из лесу. — Андрей!

И Андрей бросился на крик. Но услышал громкий бег. И уносился бег по лесу все дальше и дальше.

* * *

Андрей вернулся к дому. Начинало светать. В комнате соседа гремел приемник. Андрей прошел к себе и, не раздеваясь, бросился на постель. Он заснул мгновенно.

Но во сне почувствовал тревогу. Будто стоит он на краю света...

Тогда Андрей проснулся и вышел на крыльцо. Сосед ходил по своему огороду, хозяйственно рассматривал грядки, держа в руках лопату, и бодро напевал. В его комнате пел приемник и гремел музыкой телевизор. Возле крыльца валялась на земле маленькая ветка яблони. На ветке съежились распутившиеся и убитые морозом цветы.

Андрей вышел за калитку и направился на горку. Там шумели сосны, а тени их длинные ложились далеко вниз, до самой воды. Разлив был громаден. Из Маленца на широкое течение разлива выносило лед. Течение кружило его и несло. И Андрей увидел на разливе небольшую льдину, а на льдине стояла девушка. Девушка стояла в коротком светлом пальто, на голове трепетал синий платок. Она пристально смотрела со льдины в сторону горки.

— Ау, — тихо сказал Андрей.

Девушка подняла руку и стала махать ему оттуда, с самой середины разлива.

— Ау, — повторил Андрей.

Девушка сняла с головы платок и стала махать платком. Льдину кружило и уносило все дальше. Скоро она совсем пропала из глаз...

Андрея охватило неистовое беспокойство. Он побежал по горке. Потом остановился. Потом опять побежал. И остановился снова. Ему стало казаться, что со всех сторон на него смотрят. И зовут разными голосами. Смотрят рядом и смотрят издали. Зовут из-за леса и зовут из-за горизонта. Андрей стремительно спустился с горы. Он шагал сильно и твердо. Прошел мимо соседа, мимо дома, мимо поселка.

Он шагал через лес к автобусной остановке. В лесу пела весна. Андрей шагал и почему-то все повторял слова, которых раньше никогда не слышал, и даже не подозревал, что могут быть они на свете:

— И теперь, когда роса уже высохла на тропинке, я прикладываю ладонь к земле и долго слушаю удаляющееся тепло шагов этой замечательной девушки, которую мне больше никогда не придется увидеть.

ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ РЭТИКУСА

ВАЛДАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ

То взмывая вверх, то ныряя в воздушные ямы, вертолет шел над лесами, над жемчужными, поседевшими полями. И казалось: гребень леса расчесывал легкие волосы облака, медленно поворачиваясь у горизонта.

Я запомнила это облако и лес. И синие искры в полях ржи. И еще полные золотистым закатным светом озера; легкие на лик земли, как веснушки, холмы; крутые берега рек и длинные тени, укрывшие дороги войн и древних ледников, паруса рыбачьих лодок и тайну рождения Волги.

Синие искры принесла с собой жатва. Собственно, из-за этого я и прилетела сюда. Валдайская новь — и люди и техника — должна была стать предметом внимания и обсуждения на страницах журнала, по заданию которого была оформлена моя командировка.

По сей день целы записные книжки с беглыми записями, пометками, вклеенными газетными вырезками — и легко всплывает в памяти эта поездка, как будто случилась она вчера.

...Вечером в день приезда я сижу у вороха остывающей, пахнувшей полем соломой. Двадцатилетний комбайнер Валька Малинин, балагур и повеса, рассказывает о срезании стебля лазерным лучом, о часовой точности машины, берущей зерно бережно, без перегрева и механических повреждений — «в одно касание».

— Почему же сухой стебель не сгорает в тысячеградусном луче?

Но на вопрос мой, заданный не без некоторого умысла, Валька так и не отвечает толком. Нелегко, наверное, укладывается в голове мысль о хрупком стебле и всепроникающем луче, ослепительном и горячем, срезающем без единого дымка. Мгновенное испарение, своеобразный взрыв в миниатюре — вот принцип действия лазерного лезвия.

Просто ли управлять лучевым комбайном? Бывают ли отказы? Какие реальные выгоды дает применение машины? Речь пошла о вещах прозаических, но не менее интересных.

— У нас места такие есть, что и коню не развернуться. Местность у нас пересеченная, холмами и оврагами украшенная. Может, обратили внимание?..

— Что там холмы, — прерывает Малинина бригадир. — Машине цены нет: по балкам идет, точно плывет. А про управление скажу в трех словах: водить ее под силу и роботу. Да у нас, кстати, и испытывают такого робота. Два инженера с ним приехали.

Так я впервые услышала о Рэтикусе. А название института, в котором его создали, вписалось в полное имя своего дитища: робот электронный Томского института автоматики и электромеханики (уже строили первые модели биомеханических систем, так что эпитет «электронный» вовсе не был лишним).

Малинин участвовал в этих испытаниях, и это казалось мне естественным: нужно же было научить Рэтикуса водить комбайн. На второй или третий день после приезда я начала понимать подлинную роль Вальки во всей истории с испытаниями. Да, не мог он похвастать знанием структуры кристаллических ячеек и межмолекулярных барьеров, не читал книг и журналов по кибернетике, да что журналов — и в простейшей рефлексной схеме автоблокировки не смог бы разобраться он самостоятельно. Но зато золотые руки были у комбайнера Валентина Малинина. И потому, пока инженеры спорили между собой, ругали авторитеты и ездили в районный центр для телефонных переговоров со своим и смежными институтами, Малинин доводил Рэтикуса до кондиции.

Он заслужил полное доверие инженеров после маленького происшествия, которое могло бы остаться незамеченным, не имей оно прямого отношения к одной из основных проблем кибернетики.

Как-то ранним утром обнаружили Рэтикуса на берегу нерестового пруда с удочкой в руках (да, в руках — иначе трудно сказать). Не то чтобы его не видели там раньше. Видели. Но никому в голову не могло прийти, что так быстро Валька Малинин его для рыбной ловли приспособит.

Для маскировки, а может быть, из простого озорства на спину Рэтикуса повесил он зеленый стандартный плакат: «Ловля рыбы запрещена». Вызвали, конечно, Малинина на собрание и, хоть прудовое хозяйство было в состоянии не очень хорошем — руки не доходили, так что и ущерба фактически нанести ему было невозможно, проработали за любовь к ухе основательно.

На собрание и инженеров пригласили: разве не их дело за Рэтикусом присматривать? А тех больше всего заинтересовало, как логически мыслящая машина, человекоподобная по существу своему, могла выполнять две противоречащие друг другу команды. Одна из команд — плакат, который не разрешил бы Рэтикус повесить себе на спину, не ознакомившись с его содержанием, вторая — Валькины поучения, как лучше лесу забрасывать, наживку на крючок крепить, за поплавком смотреть.

Секрет был прост. Показал Малинин, какие рычажки отрегулировать, какие контакты отогнуть, чтобы работала человекоподобная машина как надо. Похвалили инженеры его за сообразительность, сказали, что учтут это в работе.

С тех пор часто можно было видеть вместе с Рэтикусом и Малинина. И заметили многие: черноглазая Галя, почтальон совхоза, вроде бы обижаться стала на Валентина, слишком уж много времени, мол, уделяет он роботу и никого-то вокруг словно не замечает.

...Кончалась моя командировка. Валдай дарил мне последние ясные вечера, когда где-то возникала почти неслышная протяжная песня или дальний гудок электрички мерил своим эхом синюю дымку над лесной далью, живую, как волшебное стекло. На полях зажигались все новые огни, лучевые комбайны плыли по теплым волнам земли, точно марсианские корабли.

В последний мой день опять сидели мы вместе, и бригадир Кузьмич рассказывал какую-то нескончаемую сагу о жизни предков и потомков, о мире и войне, о пользе зеленых листьев, скота, зверя и овоща всякого. И дошел он в своем рассказе в пятый или шестой раз до наших дней, Рэтикуса помянул и инженеров, но устал, видно, от рассказа и промолвил со вздохом:

— Э, да разве в наше время такие инженеры были. Да они, бывало, своими руками все...

Но перебил его Валька Малинин, видно, не раз воспомина-ния о прошлом кончались вот так же, и проступала уже выпукло немудреная мораль саги.

— А что, бригадир, не пойти ли нам лучше поработать, а то норму не дадим — кому, как не тебе, перед начальством отвечать да авансы для бригады выпрашивать?

...Утром, за два часа до отъезда, разбудил меня шум мотороллера, прыгавшего по ухабам. Вел мотороллер Рэтикус. На руке у него небрежно болталась сумка, которую мне приходилось видеть у Гали-почтальона. Я отчетливо слышала, несмотря на щелканье мотора, как мурлыкал Рэтикус со знакомой Валькиной интонацией: «Валдай ты мой, Валдай...»

О ЕГО РОЖДЕНИИ

Многие инженеры предпочли бы один раз увидеть, а может быть, и потрогать обводы корпуса универсального робота, руки, совсем как настоящие, плотную упаковку микросхем, чем читать скучные отчеты. Тем более относится это к людям обычным.

Внешность же Рэтикуса ни о чем особенном не говорила, не блестел он никелем и армированными цветными клавишами, рабочий был у него вид, будничныи, и не выражением какого-нибудь потустороннего вдохновения подкупали его глаза-дат-

чки, но прописанной в них деловитостью, собранностью и честностью.

Стоило открыть панель — даже школьнику становилось ясно: много людей, да что людей — целые конструкторские бюро должны были участвовать в его создании. Так он и родился, и трудно, пожалуй, было бы собрать всех сразу, кто рассчитывал, чертил, планировал Рэтикуса.

Пришел долгожданный день — акты о многочисленных испытаниях подписаны и утверждены, описания оттиснуты во множестве экземпляров, сданы в редакции последние статьи.

Рэтикус оправдал надежды, нет, лучше сказать — доверие, давших ему путевку в жизнь. На испытаниях ему приходилось водить комбайны и автомобили, управлять прокатным станом. просматривать и реферировать журналы.

Тесно было в конференц-зале на собрании, напоминавшем выпускной вечер. Один из ведущих конструкторов, Тропинин, упомянул в выступлении и об электронной черепахе Уолтера, и о моделях персептронов, и о проблеме распознавания речи.

— С самого начала мы были сторонниками высоких требований к разумной машине, — сказал он в заключение. Анализ фонем, этих кирпичиков, из которых построены слова, указал путь создания экономических и простых устройств.

Делались и завуалированные попытки объявить Рэтикуса «незаконнорожденным». Машина, мол, слишком уж проста, чтобы быть перспективной, не воплощает в себе принципиально новых идей, а иллюстрирует частное решение, тривиальную структуру, вытекающую из общих закономерностей, открытых в свое время, однако, сторонниками этого же скептического взгляда. Общие закономерности не нашли, к сожалению, применения. Так как испытания Рэтикуса прошли успешно, то дело, в общем, обстоит плохо: настоящие машины, за которые нужно было браться конструкторам, окажутся забытыми на неопределенное время, что не может не сказаться отрицательно на развитии многообещающего направления кибернетики.

В целом эта точка зрения формулировалась с трибуны деликатно, без особого акцента. Горячий ее сторонник — аспирант Н. У. Краюхо пытался придать конфликту остроту.

— Многие не только не принимают, но и не понимают нашей точки зрения, — сказал Краюхо. — И это обидно, товарищи. Тем и хочу закончить свое выступление.

Кто-то шутки ради предложил высказаться самому Рэтикусу. Зашумели. И тут же притихли. Потому что Рэтикус произнес:

— Стоит ли спорить? Вспомните: работы Карела Чапека не помешали, а помогли явиться на свет работам Айзека Азимова. И вообще: поживем — увидим.

Разгладились лица, заулыбались доценты и инженеры, лаборанты и стенографистки.

Однако позже, когда председательствовавший, профессор Перевальский, уже успел забыть о маленьком инциденте, тот же Краюхо несколько раз поднимался, как бы прося немедленно слова, но, не дождавшись приглашения, выкрикивал с места, слегка хлопая себя по лацкану пиджака:

— Да обидно же, обидно, товарищи...

Перевальский наконец обратил на него внимание и попросил удалиться из зала. Краюховцы возмутились. Один из них встал, требуя справедливости. Председатель растерялся — и от собственной резкости, вызванной рассеянностью, и от ошутимого нажима из зала.

Но Тропинин, после выступления так и не отходивший далеко от председательского кресла, оказался на высоте. Смотря поверх голов и обращаясь к тому месту, где возник шум, он сказал, как-то по-особому выделяя фонемы:

— Молодой чилаэк, с людьми, лишенными чувства юмора, следует обращаться со всей серьезностью.

«ПРО ВОЛНИСТУЮ РОЖЬ ПРИ ЛУНЕ...»

Года через три довелось мне снова встретиться с Рэтикусом, на этот раз в Большой Лунной библиотеке. Я не рассчитывала увидеть его здесь, о Библиотеке же писала очерк, стараясь с помощью легкой стилизации вызвать у читателя мысли о книгохранилище, являвшем собой воплощение порядка и пунктуальности. Начало этого очерка, сохранившегося у меня в рукописи, рассказывало о младшем библиотекаре Дане Цодровой и заведующем одним из многочисленных библиотечных отделов...

«Она пришла через полчаса после вызова — легкая, кроткая, в пушистом облегающем свитере. Сначала захлопали двери вакуумных шлюзов. Одна и вторая, ближе, ближе. Звонко простучали каблучки ее туфель. Вот она уже здесь, и в ее больших глазах — ни тревоги, ни недоумения. Оторвавшись от книг, он смотрел на нее строгими глазами и спрашивал, не была ли она о том, что нужно быть внимательной, собранной, безошибочной в каждой операции. Конечно, ошибку исправить легко — по Каналу книга до Земли за пять минут дойдет, — но что читатели скажут?»

Каждая ошибка — потерянное время, минуты досады, сливающиеся в часы. А если к тому же читатель-новичок и не заметит, что книги перепутаны? Вчера едва не послали школьнику роман Сологуба вместо книги Соллогуба. Он понимает, читатели сами иногда виноваты, передают нечеткие заказы. Им нужно помочь с вниманием.

Она сидела опустив глаза, а он ворошил письма читателей, и ерошил волосы, и сыпал пепел мимо пепельницы. И говорил. Конечно, нелегко работать в самой большой библиотеке. Да и

книг столько выпущено, что ошибиться нетрудно. Шутка ли, сотни миллиардов томов! На Земле они и не разместятся, хотя кое-кто до недавнего времени считал это целесообразным. Вот и выбрали Луну. Здесь нет влаги, силы гравитации малы, вакуум полный — идеальное книгохранилище. Да, предлагают кое-что вместо книг. Фотопластик, электропроекторы. Но разве сбросишь со счетов, что старомодные бумажные книги нравятся читателям? И когда построили Канаа — само собой получилось, что большую часть книг перевели на Луну. Так возникла Библиотека — сотни километров туннелей, залов, герметизированных эскалаторов, транспортеров, пневматических трубопроводов. Тысяча пульсирующих артерий в лунном теле.

Да он знает, нелегко быть здесь первый год. Пусть она извинит его за резкий тон — ничего страшного не случилось. Книжку Соллогуба адресат получит. Вот она — в углу кабинета, в ящичке — упакована, перевязана. Она и отправит ее сама. Четыре минуты по Каналу, три — по магнитопроводу — и книга у читателя. Вот семь дней назад произошел действительно недопустимый случай: вместо сонетов Шекспира собрались высылать сборник молодого поэта Шафировва. Но в общем не стоит расстраиваться. Дальше — легче. Он сам два года работает, а не двадцать. Нет же, она не совсем так понимает его. Он и не огорчен вовсе. Так только... Пройдет... Всего доброго.

Снова стучали ее каблуки по паркетным клавишам. Снова хлопали двери. Через полчаса, приняв заказ, он сам передавал его по фону. Опять она не могла понять, то ли просили стихи Марины Цветаевой, то ли новую поэму Нецветаевой. Голос его звучал негромко и чуть-чуть неуверенно. Может быть, она сама путала немного — сосредоточиться не успевала, когда слышала его звонок. Иногда ей казалось, что он вполне мог бы говорить погромче, а она — быть повнимательнее.

И утром следующего дня, ожидая ее, он ловил звуки шагов и старался думать о Майкове и Маяковском, о серьезном. Двадцать сотрудников работали в отделе. Девятнадцать из них не ошибались никогда».

После описанного в очерке разговора Дане стал помогать Рэтикус, и маленькие недоразумения прекратились. Или почти прекратились. Пришло как-то в Библиотеку радиописьмо с просьбой... но лучше привести его полностью:

«Уважаемые сотрудники Библиотеки! Мне еще ни разу не приходилось обращаться к Вам. Да и читал я раньше совсем немного. Начинаю понимать, какое это счастье — прочесть настоящую книгу. Вот уже четвертый год работаю я в совхозе, хотя по специальности я — робот универсальный. Свободными вечерами после горячего трудового дня люблю посидеть за новым сборником стихов, перенестись в давние времена, описываемые в исторических романах, или перевоплотиться в героя хорошей пьесы.

Недавно слышал я стихи, только опоздал к началу передачи и автора стихов не знаю. «Про волнистую рожь при луне...» — вот строчка из одного стихотворения. Очень прошу, если можно, выслать полное собрание сочинений этого поэта.

Ваш Рэтикус, совхоз «Валдайские зори».

Прежде чем рассказывать дальше, нужно условиться о терминологии. Будем во избежание недоразумений называть Рэтикуса из Библиотеки его подлинным именем, а Рэтикуса из совхоза «Валдайские зори» — братом. Ведь они и в самом деле как бы родные братья.

В числе других заказов письмо попало к Рэтикусу. Так он узнал о просьбе брата.

Надо сказать, что двуокись серы и азота, разрушительно действующие на клетчатку, сделали свое дело: многие бумажные издания берегаются столь же тщательно, как и манускрипты из телячьей кожи. В массовых отделах Библиотеки можно найти сочинения поэтов и писателей всех времен и народов. И каждый может получить книги. Конечно, в порядке очереди.

Прочитав письмо, Рэтикус долго размышлял. Эта была единственная весточка от брата. И он решил выслать ему книги сразу, вне очереди.

Он видел безбрежные поля Земли и помнил еще странную силу, заставлявшую отвечать словами, чувствами, песней на шествие золотистых волн, на утренние лучи, на весенние синие просветы меж белых низких облаков. В этом не было ничего сверхъестественного, ничего от монополии одних лишь людей. Оно, все это, было скорее сродни математике, правда другой математике, с законами неуловимыми, точно переход к пределу, сродни бесконечности и ритму, ритму магическому, ритму нескончаемому. Так он понял брата и в тот же день выслал ему стихи, в простых словах которых, составленных вместе, звучало удивление и неповторимая грусть.

Он послал бы брату стихи, даже если бы пришлось нарушить самые строгие запреты. Все обошлось. Их вызвали вместе с Даной и сделали замечание: случай не имел precedентов.

Разбирая старые заявки, встретила я и еще одно письмо. От Валентина Малинина. И он просил выслать томик Есенина по тому же адресу.

Для меня все стало на свои места. В письме Рэтикуса-брата они, вероятно, намеренно не назвали имя поэта, стремясь превратить сотрудников Библиотеки как бы в соучастников замысла. Их общий заказ был рассчитан на верную удачу. Расчет оправдался.

Каждый раз, когда я мысленно снова пробегаю строки письма, в моей голове возникает отчетливое видение тропинки, бегущей по жемчужному полю, а между строк письма словно смотрят на меня серые Валькины глаза.

ЛУНАТИКИ

Каждую ночь, когда луна становилась полной и походила на огромный кошачий глаз, они выходили в безмолвие. Лица были спокойны и казались голубыми. И глаза их были направлены в небо. Что их влекло в неведомую даль — неизвестно. Их никто не окликал, не спрашивал — все понимали, что нельзя будить спящих.

Алексей Максимович Ненароков жил на самой, что называется, верхотуре. Над его девятым этажом начиналось небо. Летом Алексей Максимович спал на балконе, считая, что такая процедура продлит уходящую жизнь. Стремительное кружение жизни вне балкона его волновало редко. Да бог простит. Алексей Максимович заканчивал седьмой десяток.

В эту ночь, после традиционного чая с шиповником, Ненароков посидел на скрипучей раскладушке под звездным небом, залез в спальный мешок (это охраняло его от вездесущих комаров) и уставился глазами в карниз. Сон не шел.

В это время Надежда, соседка Ненарокова, уже встала, медленно двигаясь по привычным ковровым дорожкам к двери, а там плавно на чердак и через открытое слуховое окно — к карнизу. На этот раз небо было чисто, луна была начищена до медного блеска, и крупные, с мохнатыми ресницами звезды сияли призывно и сказочно. Надежда была не одинока в своих полнолунных исканиях. На многих крышах города тянулись взгляды тех, кто был отмечен единым знаком полнолуния.

Алексей Максимович думал о пиве. О том спасительном глотке терпкого напитка, который всегда вливал изрядную порцию энергии в его молодой организм. Пиво было в холодильнике. Но звездное небо притягивало, не отпускало. Там, где Большая Медведица завершалась ручкой ковша, дрожала неведомая Алексею Максимовичу звезда. И он не мог припомнить, была ли она там прежде, но отчего-то казалось, что не было, и Ненароков видел себя первооткрывателем. В это время прямо над ним, по самому карнизу, проплыла женская фигура. Остановившись над балконом, потянувшись к чему-то далекому, зовущему в небо, она тихо шевелила губами. Луна серебрила ее тело, и Ненароков почувствовал себя неудобно,

Луна поднималась медленно, делая тени короче. Наденька ничего этого не видела и не чувствовала. Она спала. Ей снился тревожный сон, который так часто приходил к ней. Она не понимала его. Ничего похожего не было в ее будничной жизни. Не был он и фантастическим. Может, лишь чуть-чуть. Были люди с какими-то большими и глубокими глазами. С глазами, в которых загадочно отражались видения окружающего. Глаза были темные, местность непривычная, но чем-то близкая и родная, а чем, Наденька не могла понять. Все казалось, будто давно уже жила среди этих людей, была там своя...

А сон был поистине сказочным. Шли длинной чередой видения, которые повторялись каждый раз. Будто вовсе не сон это, а красочная лента фильма. И Наденька смотрела, смотрела и припоминала какие-то новые детали, которых не было в этом фильме. На этот раз сон пришел сразу, возбудив все чувства, настроив на неведомую волну. Сон был тот же, но в то же время иной. Было знакомое начало: лица, растения, неведомая земля. Но дальше появился белый дом с узорчатыми колоннами, из него вышел человек и призывал, протянул руки...

Алексей Максимович смотрел на Наденьку, поняв наконец, что все то, что слышал о лунатиках, есть на самом деле. А Наденька тем временем что-то шептала звездам... Алексей Максимович ничего не слышал, а все боялся скрипнуть, кашлянуть, из рассказов знал о губительности звуков для лунатиков. Он и сам считал себя чуть-чуть лунатиком, хоть не верил в рассказы о них. А считал потому, что ночью часто бубнил, бормотал что-то, а порой вскрикивал, чем смущал свою жену.

Он видел, что луна уходит от его балкона, что Наденька становится спокойнее и как-то уже безразлично смотрит на звезды. Как-то незаметно она ушла, оставив Алексея Максимовича в беспокойстве. Думая о том, что же это такое, он заметил, что новая звезда у Большой Медведицы переместилась и как-то начала блекнуть... Сон одолел Алексея Максимовича. Ему снилось звездное небо и неведомый космический корабль, который удалился от Земли...

Космический корабль медленно уходил из солнечной системы. Опять его поиски были тщетны. Уже сотни лет возвращался и возвращался он к Земле, подавая одни и те же сигналы. Кроме слабых шорохов, в акустической системе приемника не было ничего. Не было того ясного, четкого биоимпульса, который подавали высадившиеся на планету много сотен лет назад члены космической экспедиции. По-видимому, экспедиция растворилась в аборигенах, и лишь некоторые из потомков пришельцев унаследовали малую долю тех удивительных способностей, которыми обладали их далекие предки. Этим и объяснялись шорохи в эфире.

...В положенный срок корабль возвращается к Земле...

ИГРЫ

Клотоида, или спираль Корню, — кривая, состоящая из двух ветвей, симметричных относительно начала координат.

Отходя от начала координат, эти ветви спиралью навиваются на одинаково удаленные от него особые точки, приближаясь к ним асимптотически.

*Толковый словарь
математических терминов*

СЛЕЗТЬ СО СТЕНЫ

Они не прошли.

Все чернильницы были разбиты, а ручки у портфелей оторваны. Откатившаяся армия угрюмо сопела, лихорадочно искала выход из создавшегося положения и строила замыслы отмищения один коварнее другого.

Краснощеков обожеал всех.

— Отходим, — шептал он в вымазанные чернилами уши. — Надо пополнить запасы оружия и продовольствия. Мы победим! Салют!

Потрепанная армия перестроилась и организованными колоннами отступила к реке. Уходявший последним Краснощеков не удержался, и оглянулся, и зловеще рассмеялся, увидев то, что ожидал: не было больше заслона бежавшей на уроки неприятельской армии. На крыльце топтались два самых рослых школьных детдомовца, только что, казалось, державшие в руках блестящую победу, а теперь оставшиеся ни с чем, — звонок прозвенел давно, путь на уроки отрезан, а перед глазами — поле боя, усеянное мешочками с разбитыми чернильницами, да удаляющаяся в неожиданном маневре армия.

— Не хотел бы я быть на их месте, — сказал Краснощеков, и его воспрянувшие духом воины одобрительно загудели. Они видели, что враг растерян, а следовательно, наполовину повержен.

На коротком привале у реки они деловито смыли с себя следы кровавого боя, перевязали раны, привели в порядок обмундирование и походным шагом направились вдоль обрывистого берега Кутума в сторону вокзала.

На площади у родильного дома они увидели танк. Лихим налетом танк неприятеля был захвачен, башня развернута, и пушка наведена точно по цели. Крутивший маховики Краснощеков заглянул в дуло и увидел, что школу загораживает ка-

кое-то желтое здание. Он крикнул с досады, но тут же отдал приказ обстрелять врага «навесными залпами». Дуло подняли кверху и дали несколько залпов разрывными. Воздушные наблюдатели доложили, что обстрел был удачным и в стане неприятеля паника.

Рейд продолжала армия, закаленная в боях и уверенная в победе, — теперь с ними был танк. И на вокзале, похожем на голову сказочного витязя в остроконечном шлеме, им делать нечего, пусть хоть под этой головой лежит волшебный меч Черномора! Их цель — продовольственные пакгаузы.

Они обогнули вокзал слева, скрытым маршем подошли к пролому в стене и окопались.

Краснощеков провел рекогносцировку.

— Так, — значительно сказал он. — Какие будут предложения?

Военачальники, как положено, задумались. После короткого обсуждения военный совет принял тактику захвата продовольствия, соответствующую обстановке. И она тут же блестяще себя оправдала!

Малыми летучими отрядами — по одному — они прорывались сквозь пролом, на огромной скорости огибали грузовую эстакаду, подхватывали с пола куски жмыха, отколовшиеся от сложенных штабелями плит, пересекали несколько железнодорожных путей и исчезали в ржавых лабиринтах металлического лома, приготовленного для переплавки. Охрана кричала страшными голосами, топала ногами, широко растопыривала руки, но операция была проведена столь молниеносно, что противник даже не успел развернуть орудия в их сторону.

После короткого отдыха, во время которого жмых был братски поделен, рейд продолжался.

Они миновали Вороний бугор, действительно похожий на ворону. Пошел легкий снежок. Чтобы спутать карты противнику, который мог опомниться с минуты на минуту, было решено идти гуськом — след в след. Пусть гадают, сколько людей прошло здесь!

Настроение было великолепное. Ветер дул в лицо. Воины бодро шагали под звуки боевой песни «Звезда победы, нам свети!». Вдали показалась конечная цель их рейда — самолетное кладбище.

Самолеты были боевые. Если как следует потрудиться, из нескольких подбитых машин можно собрать отличную эскадрилью! В армии Краснощекова не хватало самолетов.

Часовых сняли бесшумно. Зубоврачебные щипцы, реквизированные на нужды армии Юркой Тропининым у матери, переходили из рук в руки, каждый находил и отвинчивал необходимые для постройки эскадрильи детали, а когда дело было сделано, они бесследно растворились в степи. Ищи ветра в поле!

К вечеру все собрались в угрюмом дворе в центре города у

стены полуразрушенного демидовского лабаза. Трофеи были разложены и оценены. Лучшим был признан трофей Краснощекова — плоский механизм с двумя выступающими крючьями. Если потянуть за рычаг с небольшой дырочкой, от которой, по всей вероятности, отходил трос управления, крючья выдвигались из механизма, и если на них было бы что-то подвешено, например две небольшие бомбы, то они непременно упали бы вниз. Ни у кого не было сомнения, что в руках у них «бомбосбрасывающий механизм»!

Трофеи до лучших времен решено было понадежнее спрятать. Краснощеков уже придумал как. А пока они по-походному обедали — грызли жмых, заедая его снегом. Снегу выпало мало, но, если осторожно провести ребром ладони по земле, набиралось вполне достаточно для одного глотка, пахнущего походными ветрами и мужеством.

Трофеи уложили в портфель, перевязали веревкой, петлю Краснощеков забросил за шею, и портфель увесисто улегся у него за спиной.

По торцу разрушенной стены лабаза Краснощеков взобрался на чердак. В самом темном углу он аккуратно выложил трофеи на стропила, вернулся к пролому в крыше и неожиданно поскользнулся на обледенелой доске. И тут он понял, что игра кончилась.

Далеко внизу, наверно метрах в десяти, прямо под торцом стены, по которой он так легко сюда взобрался, громоздилась куча битого кирпича, слегка припорошенная снегом. Тонкий слой снега покрывал и выступы стены, и слезть с нее, не упав и не разбившись, было совершенно невозможно.

Его армия, оживленно жестикулируя, обсуждала подробности удачного рейда, а он стоял наверху и, пытаясь побороть смертельную тоску, вдруг охватившую его, думал: «Какие же они... маленькие...»

Кто-то поднял голову и крикнул:

— Димка! Слезай скорее и домока!

«А-га, — как-то спотыкаясь, подумал Краснощеков. — «Димка» — это я... Так. Правильно ...А «домока» значит «все по домам, а то влетит»... Странно...»

Неверными движениями он снял с себя портфель и бросил его вниз. Портфель громко шлепнулся о камни. Краснощекова передернуло. «Хуже всего, ничего-то они не понимают», — подумал он и на четвереньках подполз к краю стены. Он лег на живот, развернулся лицом к чердаку и, осторожно поводя ногами в воздухе, нащупал опору. Затем другую. Верхняя часть стены была сравнительно отлогой, но когда его пальцы ухватились за выступающие обломки кирпичей, на которые он ставил ноги при спуске — на тонком слое снега отпечатались следы его ботинок, — ноги его уже только чудом держались за стену, круто уходящую вниз.

«Вот и все», — спокойно подумал Краснощеков. Он никакими усилиями не мог заставить себя передвинуть куда-либо ни руку, ни ногу, ни подбородок, которым уперся в острый край известкового шва. «Чего это они там кричат? А...»

— Димка! Слезай скорей! Чего ты копаешься!

«Все правильно. Копаюсь», — подумал он, не дрогнув ни одним мускулом, и отчетливо увидел кривую.

Кривая уже несколько дней не давала покоя Краснощекову. Началось все со школьной карты полушарий, которая висела на стене недалеко от его парты. По полям карты были расположены цветные рисунки, соответствующие различным частям света. Самый интересный рисунок изображал джунгли. Веселые обезьяны, уцепившись хвостами за лианы, дразнили палками крокодилов, которые высывали из воды свои пасти. Краснощеков никогда не видел обезьян и был поражен их длинными хвостами, закрученными в правильные спирали.

Обезьяньи хвосты Краснощеков рисовал во всех тетрадях и учебниках, закручивал их то вправо, то влево, приставлял один к другому. Получалось смешно: два обезьяньих хвоста, концы которых закручены в разные стороны. Дались ему эти хвосты!

На уроке русского языка Юрка Тропинин, заглянув через плечо в тетрадь Краснощекова и увидев соединенные вместе две спирали, таинственно прошептал на ухо, что это замечательная кривая. Юрка был «великим математиком». На другой день он притащил в школу потрепанную книжку, в которой было полным-полно всяких кривых, в том числе и его, Краснощекова, кривая. И называлась она клотоидой.

Самое интересное было то, что каждая из спиралей, закручиваясь все дальше и дальше, все глубже и глубже, бесконечно глубоко, так и не могла достигнуть точки, вокруг которой она закручивалась! Точка эта называлась «особой». Краснощекова потрясло это вечное движение, стремление к недостижимой цели. Это было непонятно и страшно.

По ночам какая-то могучая сила стала поднимать Краснощекова с постели, и он принимался часами рисовать, закручивать свою кривую. Наваждение какое-то, туман! Будто кто-то стоял над ним и заставлял лихорадочно водить по бумаге карандашом, водить, водить, водить онемевшей от напряжения рукой! Грифель ломался, бумага прорывалась в местах, куда падали с низко склоненного над столом лица капли пота. Он стискивал зубы, спирали двоились в глазах, рябили, вибрировали.

Но однажды произошло странное: словно вдруг что-то произошло, он выскочил на своей кривой из тумана, и муки кончились. Ему показалось, что он видит прекрасный сон, будто ореховое полено, приготовленное матерью для праздника, и которое он тайно съел вчера ночью, преспокойно лежит в буфете. Он помнил, что сегодня утром эта тайна с позором для него

публично была раскрыта, но все же встал, подошел к буфету и убедился, что полено на месте. Он потрогал полено пальцем и, не удержавшись, съел его еще раз!

Сон закончился и вовсе хорошо: у школьной доски Краснощеков рассказывал о том, как работает доменная печь, и получил за ответ пятерку. Словом, все было прекрасно, если бы на другое утро его не вызвали к доске и он, испытывая смятение и тревогу, отчетливо сознавая, что все это уже однажды произошло, не стал бы рассказывать про доменную печь. «Наверно, схожу с ума», — подумал он, во второй раз получив пятерку и сев на место. Но на всякий случай решил, что в этом надо как следует разобраться, а пока помалкивать...

И теперь Краснощеков отчетливо видел эту кривую. Она была похожа на горбатый лыжный трамплин, круто уходящий вниз, а он находился в самом ее начале, вернее, в точке между двумя спиралями, обозначенной в книжке нулем.

Кривая проходила сквозь стену и была прозрачной, вздрагивала и колебалась, как нагретый воздух над костром. Там, внизу, она загибалась назад, под Краснощекова, немного поднималась вверх, а потом опускалась и, описав полную окружность, вновь поднималась, но уже внутри первой окружности. Колебания кривой становились сильнее, Краснощекова лихорадило, трясло. Низкий рокошущий гул, который он сначала принял за вой ветра, нарастал. Гул становился выше, тоньше, вот-вот пальцы сорвутся со стены, и... он сорвался, заскользил, полетел по кривой.

Ревели гигантские трубы все тоньше, пронзительнее. И по мере того как Краснощеков все стремительнее летел по кривой, ввинчиваясь по спирали ближе и ближе к пульсирующей и поблескивающей точке, этот рев перерастал в оглушительный писк и становился невыносимым. Он чуть заметно ослабевал, когда очередной виток спирали из верхней точки поворачивал вниз, но затем вновь утоньшался до размеров иглы, пронзавшей сердце.

«Вот, вот! — шептал Краснощеков. — Сейчас, сейчас! Ну же! Ну!!!»

...Они летели низко над сверкавшим под солнцем ледяным полем. Краснощекову было немного страшно, но он был счастлив: мама нашлась, и она не умерла, как говорили, а выздоровела и теперь летела на Большую землю лечить раненых. И он летел вместе с нею в настоящем боевом самолете, который назывался «кукурузником». Мотор ревел, ледяной ветер обжигал лицо, а ремень крепко притягивал к спинке сиденья. Держись фашисты!

Краснощеков сидел у матери на коленях и во все горло пел:

Раз-два, левой!
Я — мальчишка смелый!
Гитлера поймаю,
Ножки обломаю,
Палочки приставлю...

И фашист появился.

Это был «мессер» с крестом на фюзеляже и свастикой на хвосте. Он вынырнул сзади и, обгоняя «кукурузник», пролетел совсем рядом. Вражеский летчик с любопытством рассматривал их, потом быстро сдвинул очки на лоб, что-то прокричал, помахал рукой и нехорошо засмеялся. Но Краснощеков ничего не расслышал, так как теперь ревели сразу два самолета, да и фашистский летчик сидел под стеклянным колпаком.

— Упустили! — закричал Краснощеков, когда «мессер» скрылся из виду, но мать больно прижала его к себе и закрыла ему глаза колючей шерстяной варежкой.

Но фашист появился снова.

Это был ас, охотник, один из тех, кто рыскал в поисках одиночных целей, расстреливая автомашины, людей, коров и, как говорили, даже кур. Фашист откровенно насмеялся над ними. Он кривлялся, непрерывно что-то кричал и, умудрившись бросить управление, обеими руками делал движения, как будто стрелял в них из пулемета.

— Ну погоди! — крикнул Краснощеков, оттолкнулся от матери, зубами сдернул варежку и, сложив пальцы правой руки pistolетом несколько раз выстрелил по летчику:

— Кх-кх-кх!

В то же мгновение из передней кабины «кукурузника» грохнул выстрел. Другой. Третий. На стеклянном колпаке у фашиста Краснощеков увидел дырочку. Фашист в изумлении замер и вдруг уронил голову вперед. «Мессер» нырнул вниз. Краснощеков видел, как их летчик, перегнувшись через борт, стрелял из pistolета в падавший самолет, но тот через несколько мгновений уже врезался в лед и исчез.

— Ай да мы! — кричал через полчаса Краснощеков, бегая по аэродрому от одного летчика к другому и захлебываясь, рассказывая, как они сбили немецкий самолет.

Мать его обнимала летчика и плакала. Пожилой летчик очень смущался, все время пытался носком унт отодрать примерзший к земле окурочок и повторял одно и то же:

— А я чуть свою пушку не выронил. Вот было бы делов...

Словно волны пошли по зеркальной воде. Заколебались самолеты, летчики, мать...

...Прямо перед глазами Краснощеков увидел кирпичную стену и свои пальцы, уцепившиеся за крохотные выступы.

«Чертовщина какая-то», — подумал он. Ведь это было пять,

нет, шесть лет назад, когда они с матерью эвакуировались из осажденного Ленинграда. Тогда он еще не понимал, что такое страх. Но он готов был поклясться, что только что вновь был там и стрелял из «пистолета». Он так громко кричал от радости, что и сейчас горло подирало!

— Димка! Слезай же, мы уходим! — неслось снизу.

«Что ж, валяйте, — хладнокровно подумал Краснощеков, — я еще немного подержусь». Чудовищная сила с надсадным воем вновь несла его по кривой, но уже вверх и там, высоко-высоко, ввинчивала в спираль, с каждым витком ближе и ближе придвигая к пульсирующей точке, прокалывая сердце тончайшей иглой...

...Краснощеков шел по мосту через ущелье. Это были два основных ствола со срубленными сучьями. Вершины стволов связали прутьями, а комли заклинили в расщелинах скал по обеим берегам горной реки. Он шел по мосту и где-то ближе к середине увидел, как перетершиеся от времени и подкованных ботинок прутья начали медленно расползаться... Веселое положение! Но самое удивительное — это когти. Ему показалось, что на руках и ногах у него выросли настоящие когти и густая шерсть по всему телу встала дыбом. Но он почему-то верил, что останется жив, и потому не оцепенел, вцепившись когтями в бревно, и не побоялся: и в том и в другом случае проклятый мост развалится, потому что за плечами тяжелый рюкзак, и Краснощеков разобьется о мокрые валуны, между которыми там, внизу, бурлит река, и если сильно повезет, бревно не прихлопнет его сверху. Конечно, если к тому времени он будет еще дышать. Да. Тогда везение и прочие прелести ни к чему.

И он шел, не убыстряя шага, даже сдерживая его, чтобы выбрать опору для ноги понадежнее, так как бревно наклонялось в сторону и идти приходилось не по прямой, а по винтовой линии. И когда, совсем уже рядом со скалой, где на его глазах проворачивался между гранитными глыбами конец бревна и острые края камней пропарывали в дереве глубокие борозды, слева на Краснощекова наехали перила — хлипкая жердь, укрепленная на березовых рогатинах, — он, вместо того чтобы сделать два лишних шага к спасению, два коротких шага, за которые так много бы отдал, он остановился и осторожно перелез через жердь и, по-прежнему сдерживая себя, пошел по наружной, не очищенной от коры стороне бревна.

В последний момент он все же не выдержал и прыгнул на скалу, и упал на нее коленями, грудью, локтями, а рюкзак съехал на затылок и расквасил подбородок о симпатичный обломок кирпича. И Краснощекову было очень приятно смотреть на бородатое, белое, как снег ледника, лицо Юрки, который из всех сил держал его обеими руками за рукава штормовки...

...Краснощеков висел, распластавшись по стене, а снизу доносились всхлипывания:

— Ди-ма-а! Слеза-а-ай! Ну пожалуйста!

«Это Юрка — «великий математик», — почему-то с удовлетворением подумал Краснощеков. — Вежливый... Еще бы, у него... Постой! Юрка только что был с бородой, хоть такой же костлявый. И мы с ним, это уж точно, недели две бродили по горам. Взрослые!..»

Что-то белое скользнуло вниз справа от Краснощекова. Он скосил глаза и на гладкой боковой поверхности стены увидел гвоздь.

Это был замечательный ржавый гвоздь с большой кованой шляпкой! Он был прочно заделан в известковый шов между кирпичами, наверно, еще во времена Петра I.

«Должно быть, снег с него сдуло ветром», — подумал Краснощеков и, осторожно высвободив руку, крепко ухватился за гвоздь двумя пальцами.

От внезапной догадки сразу стало жарко и застучало в висках, и он подумал, что ниже наверняка есть еще гвозди и что к ним, видимо, когда-то крепились водосточная труба. Он поглядел вниз и увидел ровный ряд таких же гвоздей, на некоторых из них были прикручены обрывки ржавой проволоки.

Он тяжело и шумно дышал, хотелось кричать во все горло от радости, но в горле что-то застряло, и он никак не мог это проглотить, а кровь так громко, подбрасывая голову, стучала в висках, что, не удержавшись, он вновь скатился вниз по своей крышине...

...Они с матерью бежали из госпиталя к реке. Ночь. Вой сирены, гул самолетов, а над головой медленно опускается на парашюте «фонарь», освещая все вокруг холодным колеблющимся светом.

Грохнула бомба. Потом другая. Справа, на нефтебазе, суетились и кричали люди. Свистел милицейский свисток, и люди бежали, размахивая лопатами.

А мать затеяла непонятную игру. Она очень щекотно держала Краснощекова под мышками и хохотала. Краснощеков всегда легко включался в игру и поэтому тоже засмеялся. Но мать смеялась как-то не так. И поступала не по правилам. Она неловко швырнула его к стене глинобитного дома и тяжело придавила собой к земле. Земля была очень холодная и пахла пылью, а мать все странно хохотала и подпрыгивала. Краснощеков никак не мог понять правил этой игры и поэтому то и дело спрашивал:

— Мам, ты чего смеешься? Ты чего прыгаешь?

На нефтебазе что-то загорелось, и Краснощеков увидел, как по крыше резервуара, который стоял недалеко от забора, бега-

ет человек в военной фуражке. Крыша вздувалась, громыхала и попыхивала дымом. Вот она вздулась еще сильнее, опала и вдруг со скрежетом резко оторвалась, взвилась вверх и стала, плавно покачиваясь и скользя по воздуху, как брошенная картонка, падать на землю. Со страшным грохотом она обрушилась на дорогу невдалеке от Краснощекова, а человек в фуражке, так славно прокатившийся на крыше, держась за выступавшую трубу, начал громко и непонятно ругаться...

...Краснощеков был совершенно спокоен. Он теперь знал, что делать. Он нащупал ногой второй гвоздь, оторвал от известки подбородок, огляделся и увидел подходящий выступ для левой руки, передвинул левую ногу как можно ниже, потом правой рукой, двумя пальцами обхватил нижний гвоздь — правый ботинок пришлось немного наклонить, чтобы просунуть пальцы. Все эти движения он медленно повторял до тех пор, пока левая нога не ступила наконец на кучу битого кирпича. И тут он не удержался и, разодрав пальто, съехал на спине с кучи вниз головой.

К нему подбежал Юрка. Краснощеков, лежа, снизу вверх радостно рассматривал его. Юрка плакал.

Краснощеков рывком встал, но тут же упал на колени.

— Чего ревешь? — сказал он.

— Стра-ашно... Стра-ашно... Кровь... — Юрка показал вздрагивающей рукой на подбородок Краснощекова и начал плакать.

— Ну вот... Наладил. — Краснощеков провел рукой под подбородком, и ему стало больно. Он поморщился и сказал: — Все страшное позади. Мне теперь, старина, никогда уже и ничего не будет страшно.

Юрка смотрел на него, счастливо улыбался и плакал.

ГДЕ-ТО РЯДОМ

Краснощеков очнулся. Правую руку ломило от холода.

«Что это?»

Он в недоумении рассматривал ладонь, покрытую рыжей ржавчиной. С трудом повернув заостренную шею, он увидел Саню Потемкина. Потемкин сидел на складном стульчике и писал этюд.

«Что-то не так. Что-то тут все-таки не так...»

Краснощеков осторожно поставил покореженный пулемет на рогульку, вытер ладонь о брюки и, стараясь не растерять непонятное, странное ощущение, осмотрелся.

Потемкин вдохновенно работал и пел в обычной манере, бесконечно повторяя нечто без начала и конца.

«Что же? Что...»

Тут только Краснощеков и рассмотрел палитру.

Мой др-р-руг р-р-рисует гор-ры!..

Потемкин замолчал. Набрал краску на палитре, шлепнул кистью по этюду и дропел протяжно:

Да-лекие... м-м-м... как сон...

Он склонился над этюдником и подправил мазок пальцем. Откинул голову, наклонил ее набок, прищурился оценивая. Потом бросил взгляд вперед, на горы. Опять на этюд.

Тур-рум, тур-рум, ту-рум... тум...

Потемкин задумчиво рассматривал свою работу — что-то ему не нравилось. Медленно, подозрительно приблизил он лицо к этюду, протянул к нему одну руку, другую, прямо-таки влез в него своими лапищами и головой и что-то делал там, кряхтя и сопя, наугад тыча кистью в палитру. Откинулся. Самодовольно ухмыльнулся и торжествующим басом проревел:

И чер-р-рточки лесов!

Краснощеков не мог оторвать взгляда от палитры. Красок на ней, видимо, не было уже давно.

Краснощеков обернулся и увидел развалины немецкого блиндажа, среди которых потерянно бродили ребята, а инструктор Гаврилов сидел на корточках и медленно вращал в снегу котелок — приготавливал мороженое.

«Та-ак!»

Краснощеков посмотрел на ущелье. Снизу, с долины Азау, куда им нужно было спускаться, поднялся туман, густой и упругий, и наполнил ущелье до краев. Над розовой волнистой поверхностью возвышались две сверкавшие головы Эльбруса, а ближе — острые вершины скал. Туман подобрался к перевалу и уже скатывался через его седло широким потоком назад, в долину Ненскры, освещенную закатным солнцем.

«Так!!»

Вчера утром Гаврилов сбил всех с толку эдельвейсами. Они знали, что время эдельвейсов прошло. Но Гаврилов твердил, что он здесь воевал, что он тут каждый камень знает, что эдельвейсы где-то рядом, в двух шагах. «Как хорошо, — говорил он, — придем завтра в лагерь и принесем нашим девушкам эдельвейсы». Словом, заморочил голову. Ему, конечно, виднее. На то он и мастер по альпинизму.

Вполголоса поругиваясь, они переползли вслед за ним через один невысокий хребет, через другой, спустились в заросшую густой травой и кустарником долину Ненскры. Правда, попадались эдельвейсы. Но это были такие поломанные, в бурых пятнах заморыши, что даже прикасаться к ним было бояз-

но. Зато, говорил неунывающий Гаврилов, долина Ненскры — красивейшее место в Советском Союзе!

И тут грянул ливень.

Мгновенно промокшие, они разбили палатки в самом замечательном месте на свете и, дрожа от досады, холода и сырости, пролежали в них целый день. И ночь. А дождь не прекращался ни на минуту, словно собирался лить так вот сорок дней и сорок ночей.

Утром они в сквернейшем настроении свернули под дождем лагерь и, подталкивая вперед упиравшегося Гаврилова, пустились в путь вверх по долине. Повыше водяной ливень превратился в снегопад. Краснощеков едва различал впереди спину Потемкина и поэтому поминутно налетал головой на жесткие углы этюдника, болтавшегося поверх Санинного рюкзака. Они прошли сквозь тучу, посветлело, и вдруг солнце брызнуло в глаза! И они вышли на перевал Чипер-Азау. Совсем не на тот, на который должны были бы выйти.

Здесь они были в самом начале пути дней десять назад. Маленький, подвижный Гаврилов бегал тогда среди развалин блиндажа и ржавых консервных банок — тут были целые горы этих вскрытых тремя ударами кинжала пустых консервных банок, — и Гаврилов, не переставая, говорил, что в сорок втором году здесь сидели немецкие егеря из дивизии «Эдельвейс». «Веселенькая была жизнь! — говорил он, покатываясь от смеха. — А мы были вон там! — Гаврилов показывал в сторону долины Ненскры. — А в начале сорок третьего наши немецкий флаг снимали с Эльбруса. Все подходы были заминированы! Представляете? — Гаврилову было что вспомнить. — Совсем недавно тут еще пушка была. Немецкая. И снаряды в ящиках. Мы зарядили пушку и кы-а-ак бабахнем по скалам!»

Все знали о слабости Гаврилова чуть-чуть приврать. Но ему многое прощали за легкий, общительный нрав.

Рассказ его произвел неожиданное впечатление. Веселый балаганщик как бы вдруг остановил свою карусель и затащил резвившихся детей за тонкие фанерные щиты, чтобы показать, как карусель крутится. И там, рядом, среди мрачных колес и цепей оказалось, что мир может быть и не очень-то веселым.

Ребята притихли. Потемкин ходил по развалинам с блокнотом и делал карандашные наброски, а Краснощеков даже написал тяжеловесный верлибр о перевале, студентах, егерях из дивизии «Эдельвейс» и флаге со свастикой над Эльбрусом.

Стихи не понравились всем без исключения. Потемкин сумрачно сказал, что каждое стихотворение может быть написано прежде всего с какой-то целью, да и вообще что это обыкновенный подстрочник...

«Ладно, подстрочник... Что же было дальше...»

Да, так вот, сегодня они вновь пришли на этот перевал...

Синее, бездонное небо, солнце в зените и сияет, словно не было никогда проливного дождя и снежной метели! Они сорвали с себя промокшую одежду, разложили ее сушиться на скалах, и от нее тотчас пошел пар. Чтобы задобрить вышедшую из берегов Сечь, Гаврилов, чувствовавший за собой какую-то смутную вину, вызвался приготовить мороженое. С ледника он набрал в котелок снега, вылил в него две банки сгущенного молока, насыпал кружку сабзы и перемешал. Для лучшего букета добавил немного соли и лимонной кислоты. Потом он вдавил котелок в снег и стал яростно его крутить, чтобы смесь затвердела.

А голые ребята залезли повыше на ледник и скатывались с него верхом на ледорубах — «на трех точках». Снег был сухой, рассыпчатый, желтоватый. С легким звоном и шорохом разлетался он веерами из-под ног.

Потемкин уселся писать. Свой проволочный стульчик он поставил на уступ скалы так, чтобы виден был весь перевал и Эльбрус. Краснощеков, подобравший в развалинах заржавленный ручной пулемет с разбитым прикладом, подошел к нему со спины и оперся о ствол. Он любил наблюдать, как работает Саня — чистыми красками и широкой кистью. Сначала он «замазывал холст», то есть покрывал загрунтованный картон большими цветовыми пятнами, а потом начинал в нем «ковыряться», выписывать детали.

Потемкин писал быстро. Он уже начал разбираться в деталях и с наслаждением затынул: «Мой друг рисует горы-оры...»

На картоне Краснощеков увидел Эльбрус, перевал и развалины блиндажа. Он посмотрел на горы, а потом на эту д, и что-то дрогнуло у него внутри — он увидел тот же Эльбрус, перевал и... пушку, стоявшую в каменном укрытии. И блиндаж был аккуратно сложен из серых плит, и люди в немецкой форме.

Краснощеков зажмурился, потряс головой, посмотрел одним глазом. Развалины. Чуть повернул голову — пушка, блиндаж и немцы! И флаг над Эльбрусом! Не поймешь, правда, что за флаг. Да нет, понятно.

Ощущалось напряжение в глазах. Это напоминало впечатление, которое Краснощеков испытывал, когда рассматривал стереоскопические открытки, привезенные из Японии: глядишь — красotka тебе улыбается, чуть поведешь головой — красotka уже подмигивает. Но больше это было похоже на чудные картинки из его детства. Этакая красно-синяя абракадабра, которую нужно было рассматривать сквозь специальные очки. Посмотришь через красный фильтр — домик в лесу, лужайка, трава, цветочки. А через синий фильтр — там уже зима наступила, и домик завален сугробами.

Так Потемкин еще никогда не писал.

Подходили ребята, смотрели, отходили притихшие. Даже Гаврилов в кои-то веки сказал задумчиво и серьезно: «Вот так,

все рядом — начало и конец... Конец и начало...» А потом... Краснощеков очнулся от ощущения резкого холода в руке.

Мой др-р-руг р-р-рисует гор-ры...

— Та-ак! — сказал Краснощеков. Нетвердыми шагами подошел к кликушествующему другу и схватил его за плечи.

— Саня! — закричал он и тряхнул Потемкина, но тот увернулся, и мокрые от пота голые плечи выскользнули из рук. «Дал-лекие... как сон-н...»

— Саня! — Краснощеков обхватил его за шею и попытался свалить здоровущее тело на землю. Потемкин изо всех сил упирался.

— Чудище обло! — кричал Краснощеков, стараясь стащить Потемкина со стула. — Озорно! — Саня напрягся и, изловчившись, мазнул кистью под носом Краснощекова — ему всегда удавалось пририсовать усики Краснощекову, но сейчас кисть была сухой. — Огромно! Стозевно! — заклинал в отчаянии Краснощеков, и ему наконец удалось свалить Саню на землю. Тот ловко перекатился со спины на зад, сел и пророкотал дьяконовским басом:

— И лаяй! — он поднял указательный палец вверх и нравоучительно потряс им в воздухе.

— Бурлюк! Петров-Водкин! Сальвадор Дали! — всячески обзывал его Краснощеков. — Вечер уже, и туман!

Потемкин озабоченно озирался, а потом подхватил свою картонку и стал запихивать ее в пазы этюдника, невнятно что-то бормоча о «волшебной силе искусства».

А Краснощеков подбежал к Гаврилову и толкнул его в снег.

— Что-что-что? — завертел головой Гаврилов. — Вечер? Туман?

Краснощеков отлавливал ребят среди развалин, встряхивал их, и те суетливо начинали натягивать на себя высохшую одежду, взваливать на плечи рюкзаки.

— Аксакалы! Все в порядке! — кричал между тем пришедший в себя Гаврилов. — Я эти места знаю как облупленные!

А туман был очень густым. Ущелье, заполненное им до краев, стало похоже на заснеженную равнину с выступающими кое-где из нее синими скалами. Гаврилов, сделавший несколько шагов вниз, как в снег зарылся — только голова торчит в вязаной шапочке.

— Снежные барсы! За мной! — заливался он. — Я здесь каждый камень знаю!

Он сделал еще шаг вниз и совершенно скрылся из вида, и голова его стала выдергиваться вверх из тумана, как чертик на пружинке.

— Что бы ни случилось, — выкрикивала эта голова, — только вниз! Через три часа мы будем есть жареную картошку с грибами!

Гремя башмаками по каменным обломкам, ребята втягивались в туман. Краснощеков шел замыкающим. Он тщетно пытался протереть глаза рукавицей. Ничего не видно, кроме тумана. Впереди совсем близко погромыхивали в Санином этюднике тюбики с красками. Идти стало легче — скалы были припорошены снегом.

Снег был рыхлым и пушистым. Потом он стал плотным, жестким. Потом ноги провалились в жидкую ледяную массу. Впереди слышались проклятия.

Как в театре, быстро, рывками наступали сумерки. Туман стал сиреневым, фиолетовым, синим. Потом все заволокло темно-серо-бурой мутью. Ноги по колено погружались в чавкающее ледяное болото, и Краснощекову приходилось каждый раз с силой выдирать их для следующего шага.

— Что бы ни случилось, только вниз! — где-то впереди вещал Гаврилов. По тону его голоса можно было понять, что с пути они сбились уже давно.

Снег стал выше пояса, и на него нужно было наваливаться грудью и далеко вперед забрасывать руки, чтобы сделать следующий шаг. Брюки, рукавицы и куртка промокли, но, схваченные морозом, обледенели, стали жесткими. Было очень жарко. Ноги, тело и руки проворачивались в липкой, горячей изнутри одежде, как в водолазном скафандре.

— Грибы жареные... Аксакалы... Барсы снежные... — хрипло бормотал Краснощеков, наваливаясь грудью на снег.

Склон наконец стал крутым, и вода сразу исчезла. Ледоруб прощупывал твердое основание, и сухой зернистый снег из-под башмаков разлетался в стороны. Все прибавили шагу, перешли на бег, делая большие скользящие прыжки. Потом впереди кто-то радостно заорал, и башмаки Краснощекова загремели по гальке морены.

Это был клочок земли, нанесенный ледником. С узкой стороны площадки ледник отвесно обрывался. Внизу шумела вода.

Они вбили в землю ледорубы, натянули на них палатки и залезли в спальные мешки. Каждый выпил по банке сгущенного молока, проткнув крышку в двух местах ножом. Потом все застегнули пуговицы мешков и, укрывшись с головой, усиленно задышали внутрь, пытаясь нагнать тепло. Было очень холодно.

Краснощеков достал из клеенчатого мешка сухой лыжный костюм и надел его. Спать не хотелось. Запрокинув голову, он долго высасывал из банки молоко, пока в ней не захрипело. Просунул руку в клапан палатки над головой, с силой отшвырнул банку, прислушался.

— Раз, два, три... Ого! — сказал он, когда через несколько мгновений банка глухо брякнула далеко внизу. — Метров пятьдесят!

Ему было очень холодно. Зуб на зуб не попадал. Спальный

мешок с одного бока совсем промок, словно он устроился на ночлег в луже.

Он не находил себе места. Его бросало то в жар, то в холод. Зуб на зуб не попадал.

Он расстегнул мешок, достал из-под головы холодные, липкие ботинки, с трудом их натянул и, наступив рукой на спящего Потемкина, выполз из палатки.

Ему показалось, что снаружи теплее. Даже совсем тепло. Было очень темно и тихо, туман рассеивался, и стали видны звезды.

Ухали ночные обвалы. Внизу шумел поток.

Он немного побегал на месте у входа в палатку. Галька хрустела под ногами. Остановился. Поглядел вокруг.

— Где-то рядом эдельвейсы, — неожиданно для себя сказал он ясным голосом. — Где-то совсем рядом!

Он посмотрел в сторону, откуда они пришли. Бурая мгла переходила в черное небо, на котором мигали звезды. Нет, перевала не видно.

Он махнул рукой около уха — комар, что ли, пищит? Откуда?

Краснощекоев внимательно посмотрел в сторону перевала и увидел зеленую проблескивающую точку. Самолет? Какой самолет...

Вот оно что... клотоида... ну-ну, уж все сразу...

Он следовал взглядом за голубыми витками спирали, колеблющейся и фосфоресцирующей, все дальше и дальше, все ближе, ближе к пульсирующей, проблескивающей зеленой точке, бесконечно близко, и все-таки так и не достигая ее! Ему хотелось кричать от отчаяния, его трясло, он задышался...

— Ну, хорошо. Хорошо! Хорошо же!!!

Ревели гигантские трубы, распуская невероятно низкий звук, обволакивая им и пронизывая все вокруг...

На перевале было тихо. Светила луна. Краснощекоев обернулся — нет, Эльбруса не видно, и флага. Краснощекоев стоял в тени, падавшей от черной скалы. Из блиндажа доносилась немецкая речь.

Открылась дверь. По каменным ступенькам поднялся молодой солдат с котелком в руке, подошел к выступу скалы и опустил котелок на землю. Солдат был совсем рядом. Он достал из кармана складную спиртовку, согнул ее в двух местах, поставил на плоский камень. На полку спиртовки он положил несколько кусков сухого спирта, чиркнул зажигалкой, поджег спирт и осторожно поставил котелок на спиртовку.

Краснощекоев очень хорошо рассмотрел лицо солдата, когда тот грел руки над пламенем.

«Должно быть, денщик, — подумал Краснощекоев. Денщик,

по-видимому, был даже моложе его. — И все же это «Эдельвейс»... Фашисты... А мы... И ничего нельзя сделать...»

В то же мгновение он увидел круглые от ужаса глаза. Солдат схватил котелок, швырнул его что было сил в Краснощекова и бросился к блиндажу. Котелок очень больно ударил Краснощекова по выставленным вперед пальцам. Резко запахло свиной тушенкой.

— А-а-а-а! — кричал немец, с грохотом катясь по ступеням блиндажа.

Краснощеков мчался вниз, сшибая камни, срываясь, падая, раздирая одежду, царапая лицо и руки о смерзшийся снег. Зашипела ракета. Бегущая тень металась по синему снежному склону.

«Тиу-тиу-тиу-тиу», — засвистело вокруг. И сразу же: «Боп-боп-боп-боп». По нему стреляли из пулемета.

С размаху он влетел в глубокий рыхлый снег, упал, полз, запрыгал, побежал по нему...

...Лагерь проснулся с первыми лучами солнца. Горы отбрасывали синие тени, и полет их в густом чистом воздухе отчетливо прослеживался до вершин. Внизу вдоль потока вилась тропа, с которой они сбились, а вдали, километрах в пяти, темнела и Зеленая поляна.

— Покончим жизнь альпинизмом! — бодро закричал Гаврилов, потирая руки.

— Это можно...

— Шапочку вязаную потерял.

— Сбегай и поищи...

— А все же неплохая была прогулочка!

Вано Дыдымов делал свирепое лицо, топорщил усы и, хватая то одного, то другого за руки, возбужденно рассказывал:

— Снегу, снегу-то сколько было! Ух ты! Если прямо встанешь — будет вот так. — Он резал ребром ладони по горлу. — Если чуть пригнешься — будет вот так, — чиркал на уровне глаз. — А если совсем пригнешься, то вот как! — И он яростно рассекал воздух рукой выше головы.

Лагерь быстро сворачивался.

— Что это с поэтом?

— Дрыхнет, мерзавец!

— Я слышал, он ночью выходил...

— На свежий воздух его. Проветриться!

Краснощеков крепко спал. Он лежал поверх спального мешка вниз лицом. Брюки и куртка были изодраны, руки в ссадинах и царапинах, на скуле синяк. Подошвы ботинок сорок пятого размера были совершенно гладкими, только на одном кривом гвозде чудом уцелел триконь. Рядом валялся помятый немецкий котелок.

— Хорошо, что он пулемет не прихватил, — сказал Гаврилов, — на память.

— Не трогайте его, — сказал Потемкин.

— Нас давно ждут!

— Вот и катись, а он пусть спит, — сказал Потемкин.

— Из одной команды, — сказал Гаврилов и подмигнул. Все засмеялись.

Потемкин стал раскладывать этюдники.

— Оставим поэтов на Олимпе!

— Пусть что-нибудь сочинят.

— Ну мы поехали, — сказал Гаврилов.

— Пока, — сказал Потемкин и грузно сел на свой стульчик.

Не дожидаясь, когда ребята соберутся и уйдут, он выдал из тюбиков на палитру аккуратным рядом краски, прицепил масленку, налил в нее разбавителя и принялся писать широкой кистью, поглядывая на освещенные солнцем горы.

Дыдымов топтался около Потемкина, торопливо соображая, что бы такое выдать. Ага. Наклонившись к Потемкину и назойливо заглядывая ему в глаза, пропел громким, свистящим шепотом:

Нуль — цена тому поэту,
Кто пишет здесь, а не в газету!

Могучая длань описала плавную дугу и веско опустилась на холку Дыдымову, пригнув его к земле. Человечество так и не узнало, о чем там дальше поется, в этом шлягере.

— Ну-ну, Ваня, — добродушно сказал Потемкин, — дуи отсюда...

Дыдымов, обиженно оглядываясь, побежал догонять товарищей.

Когда Краснощеков проснулся, солнце стояло высоко над головой. Тело ломило, ладони нестерпимо жгло, как будто он целый день крутился в гимнастическом зале на перекладине. Большой палец на руке посинел и распух.

Краснощеков вылез из палатки. На солнце на своем стульчике сидел Потемкин. Щеки у него были в мыльной пене. На рюкзаке перед ним стоял немецкий котелок дном вверх. Поверх котелка — пустая коробка из-под сардин. Глядя в отогнутую крышку, Потемкин сбирал отросшую за две недели щетину.

— Привет, — сказал он и улыбнулся намыленным лицом. — У меня есть еще одно лезвие.

— Ушли? — спросил Краснощеков.

— Да. А я тут хорошо поработал.

Краснощеков посмотрел на расставленные вокруг этюды. Ему нравилось, как пишет Потемкин. На одном из этюдов он увидел палатку, себя, спящего поверх спального мешка, и лысые подошвы горных ботинок. Он посмотрел на ноги, нагнулся

и отломил торчащий в сторону шип. Сквозь дыру в штанине рассмотрел грязное колено. «Как молодой картофель», — припомнил он и улыбнулся. Злополучный этюд. Сейчас Краснощеков рассматривал его без боязни. «Так, — бормотал он, — и это так. Удивительно». Потом он задержал взгляд на котелке, потрогал распухший палец, постучал по котелку.

— Чего ты его притащил? — сказал Потемкин.

Краснощеков перевернул котелок и ногтем соскреб со стенок остатки тушенки.

— Не скажешь ли, Саня, который нынче год? — спросил он.

И Саня, не моргнув глазом, ответил.

Потемкин был замечательным другом.

НОЧАМИ ДОЛГО КУРЯТ АСТРОНОМЫ

Легкий хлопок, будто кто-то раздавил гриб-пылевик. Снег внезапно просел, зашипел, и Юрка Тропинин, взмахнув руками, с шумом рухнул вниз.

— Откуда здесь грибы! — выкрикнул Краснощеков то, что за мгновение до этого мелькнуло у него в голове. — Юрка!

Впереди на гладком снежном склоне зеленела ледниковая трещина.

— Юрка... погоди... Юрка... — Краснощеков сбрасывал рюкзак. — Сейчас, сейчас...

Вздрагивающими руками он достал веревку. Только-только достанет до края трещины! На концах веревки он сделал две петли, яростно, рывком затянул узлы, воткнул ледоруб в наст, сел на него, несколько раз подпрыгнул, каблуком вбил в слежавшийся снег, привалил рюкзаком. Одну петлю он укрепил на ледорубе, в другую влез ногами, подтянул до подмышек.

— Пошел, пошел! Живее!

Держась за веревку, он подполз к краю трещины. Трещина была узкая, ничего не стоило ее перешагнуть. Но в том месте, где провалился Юрка, она обтаяла по краям и представляла собой небольшую воронку, узкое горло которой уходило назад, под Краснощекова.

— Юрка-а-а! — крикнул Краснощеков.

— А-а-а! — хлестнуло по лицу эхо. Краснощеков от неожиданности отпрянул назад. Он нервно рассмеялся, но тут же взял себя в руки, заглянул в трещину и крикнул:

— Юрка! Ты жив?

— Жив? Жив? Жив?

Краснощеков напряженно прислушался — звенели падающие сосульки, далеко внизу глухо шумела вода. Краснощеков зарылся лицом в колющий снег.

И вдруг:

— И-и-ма-а! А-а! — донесся, как из загробного мира, голос Юрки. — Ди-ма-а! А-а!

Краснощеков чуть не свалился в трещину.

— Юрка! Я сейчас, мигом!

— Мигом! Мигом! Мигом! — повторяло эхо.

Краснощеков уже бежал в лагерь...

Краснощеков не любил ругани, но его словно прорвало. Он ругался самозабвенно и, к своему удивлению, со знанием дела. Целый день он провел на монтажной площадке строящегося химического комбината, заряжаясь темпераментом: пудовой кувалдой дубасил по каким-то фланцам, перетаскивал задвижки и вентили, ломом поддерживал трубы, пока сварщик прихватывал швы. Одним словом, занимался не своим делом. А когда выяснилось, что трубы вот-вот кончатся, помчался к начальнику отдела снабжения.

Тот и бровью не повел: «Ишь чего захотел. Сразу так вот и подай. Тут тебе не государство Кеннеди!» И продолжал что-то писать в своих бумагах.

Вот тут-то Краснощеков и сказал... Начальник отдела снабжения замер, посмотрел маленькими глазками-буравчиками на Краснощекова снизу вверх и негромко так, ласково ответил. Краснощеков сделал выпад. Снабженец выпрямился, уселся в кресле поудобней и, не веря в реальность происходящего, с завидной легкостью парировал удар. Подперев подбородок кулаком, метнул ответный шар. И Краснощеков выдюжил! Грудью! Слегка заикаясь, он сказал снабженцу все, что о нем думал. Но тот ловко, профессионально отводил все удары в сторону, и «шпага» Краснощекова укалывала только воздух. Тем не менее снабженец все с большим и большим любопытством и интересом рассматривал Краснощекова, а когда прозвенел звонок, извещавший об окончании рабочего дня, сказал:

— Ладно, бери свои трубы, — и подписал бумажку, которой размахивал Краснощеков. Потом не спеша, с удовольствием закурил и, сощутив глаз, сказал: — Скажи на милость! Из тебя еще со временем, может быть, и выйдет хар-роший прораб!

Но удовлетворения от победы не было. Краснощеков знал, что его, так сказать, взлет случаен. Просто он очень не хотел, чтобы наступал сегодняшний вечер. Но вечер наступил.

Было темно, когда Краснощеков, пройдя мимо Крытого рынка и цирка, свернул с центральной улицы в переулок. Он миновал несколько деревянных домов. От стен и кирпичного тротуара тянуло дневным теплом. Вот и дощатый забор, и калитка. Краснощеков видел, как кто-то входил в калитку, и немного постоял, прислонившись к теплым доскам, — ему не хотелось ни с кем встречаться. Пока это возможно.

Он вошел в калитку и осторожно ее прикрыл. Тихо. В саду совсем темно, но стволы фруктовых деревьев были побелены, и

Краснощеков, пригнувшись, увидел между ними, что окошко флигеля освещено. И он пошел не по дорожке, а прямо на освещенное окно, между деревьями, отводя от лица ветви вытянутыми вперед руками. А когда он проходил дальше, ветви, мягко спружинив, догоняли его сзади, шуршали по куртке листьями, а осенние яблоки увесисто ударяли его по затылку.

Он постоял у порога, вошел в сени. Ага, умывальник с тазом. Он вымыл руки, подталкивая вверх медный клапан. Не спеша поискал глазами. Так. Полотенце. Петухи вышиты крестиком. Он долго вытирал руки и думал: «Ну же, ну! Спокойно!» А потом, как в воду бросился, вошел в комнату и увидел Юрку.

Юрка сидел на лавке чистый, прибранный, прямой и руки держал на коленях. Руки у него были забинтованы до локтей. Только... словом, не было у Юрки обеих кистей рук. Юрка хорошо улыбался.

— Привет, — сказал Юрка и кивнул на скамью рядом с собой.

Краснощеков подошел и легонько хлопнул Юрку сбоку по плечу. Сел. Подошла Машенька и что-то сказала ему, но он не расслышал. Шум в ушах стал слабее, и все вокруг перестало раскачиваться.

Комната была просторной. Весь флигель и состоял из этой комнаты с маленьким «предбанником» — сенями. Большая русская печь, лавки, стол из толстых, некрашенных дубовых досок. По стенам висели пучки степных трав, у двери — гирлянды репчатого лука, заплетенного в косы. На столе стояли узкие бутылки с сухим вином и стаканы. По лавкам, подоконникам, на полу сидели и лежали ребята.

Вон Саня Потемкин на полу, отдувается, как морж. Все-то ему жарко. Попотей, пототей, товарищ директор нефтепромысла, вспомни своих подчиненных! А вот этого парня он не знает. И ту девушку. И гитариста, похожего на Булата Окуджаву, который тихонько поет про Смоленскую дорогу. «А может, это и Булат Окуджава», — подумал Краснощеков. Такое свое состояние он называл мелкодисперсным. Тут его хоть на сковороде поджаривай.

Все это время кто-то пристально глядел на Краснощекова. Было это неприятно и тревожно. Он долго не мог понять кто. И вдруг увидел — чуть повыше головы, на лежанке, сидит рыжий кот. «Фу ты, черт рыжий!»

Саня принес сухого вина в стакане. Растрясся-таки, директор! Но вино Краснощеков выпил. А Окуджава, который, может быть, и не Окуджава, запел песню:

Ночами долго курят астрономы...

Краснощеков дальше ничего не мог разобрать, но он ясно видел этих славных ребят, которые общаются с беспредель-

ностью и бесконечностью мира, ребят, для которых наша Земля со всеми ее бедами и заботами — крошечная песчинка, но они понимают, что и здесь есть кое-что, ради чего стоит жить, и здесь есть о чем подумать. И поэтому они могут так вот остановить мгновение, задержать бесконечный, стремительный бег времени и закурить. Курить долго, неторопливо размышляя, откладывая трубки.

Юрка, Юрка...

Когда-то, в детстве, Краснощеков спас Юрку, вытащив из-под колес грузовика. Ничего удивительного. Просто Краснощеков тогда прочно стоял ногами на твердой глине, а Юрка, разбежавшись с пригорка, катил на спине по замерзшей колее. Передние колеса грузовика пересекли колею, а вот под задние колеса Юрка и должен был подоспеть как раз вовремя. Краснощеков успел подумать, что что-то происходит не так, и на всякий случай крепко ухватил Юрку за воротник пальто. Юрка по инерции потащил его вперед, и Краснощекова сильно швырнуло кузовом на землю. Машина остановилась, вылез, пошатываясь, шофер, сел на подножку, долго смотрел на перепуганного Юрку и сказал заикаясь: «Долго же ты будешь жить, парень».

Юрка, Юрка...

Тогда Краснощеков обернулся меньше чем за час. Прибежали Гаврилов и двое ребятшек с веревками. Краснощеков не первый год знал Гаврилова, но раньше никак не мог рассмотреть, какие у него глаза — очень тот был подвижным. Сейчас у Гаврилова было не лицо, а два огромных голубых блюдца.

Краснощеков падал с ног, но все же настоял, чтобы в трещину спустился именно он, так как Юрка больше не отзывался. Ребята молча работали, и через минуту Краснощеков уже спускался на веревке в воронку, зажав конец второй веревки в кулаке.

Трещина была узкая. Хрипло дул пронизывающий ветер. Звенели падающие сосульки. Далеко внизу хлестала вода.

Юрка висел метрах в пятнадцати-двадцати от поверхности. Его заклинило между рюкзаком и небольшим ледяным выступом. Видно было, что он с самого начала не мог пошевелить притиснутыми ко льду руками. Ноги свободно болтались внизу, и ледяной ветер хлопал легкими брюками.

— Юрка! — шепотом позвал Краснощеков.

Юрка открыл глаза и виновато улыбнулся. По бородатому лицу у него стекали крупные капли пота.

— Я тут йоговской гимнастикой занимался, — сказал он слабым голосом, — представлял, что мне очень жарко... Кажется, не получилось...

Краснощеков лихорадочно обвязывал Юрку веревкой. Пальцы на сквозном ветру сразу же стали плохо сгибаться, но ему удалось протащить веревку под грудью у Юрки. Завязать узел

мешал рюкзак. Он обрезал лямки ножом и протиснул веревку между спиной и рюкзаком. Затянул узел, потом еще один.

— Тащи! — крикнул Краснощеков.

— И-и-и! — завывало эхо.

Веревка натянулась, дернулась, Юрка подскочил вверх и потерял сознание. Руки и ноги его повисли...

Рядом с Юркой стояла Машенька. Она и Юрка, не отрываясь, долго смотрели друг на друга. Маша держала в руке дымящуюся сигарету и, когда Юрка делал знак, давала ему затянуться. Маша — медсестра, крупная, земная, красивая девушка. Рядом с ней Юрка, «великий математик и кибернетик», — мальчишка. Она выходила Юрку в больницу. Не было б ее, наверно, выходили бы другие. Но все же это была она. И Юрка, всегда застенчивый, как мальчик, где-то не уверенный в себе, сразу стал старше, вдруг повернулся какой-то своей другой стороной, незнакомой Краснощекову.

«Это у них серьезно, — подумал он. — Очень серьезно».

Юрка — аспирант. Он уже давно морочил голову Краснощекову аналоговыми, цифровыми и еще какими-то чудесными машинами. А несколько дней назад сказал по секрету, что после того, как ему сделают кибернетические руки, которыми ничего не стоит поигрывать на клавишах вычислительных машин, так вот после этого он сам займется своими руками, так как тут, по его мнению, нужно навести порядок. «У меня теперь есть хобби», — сказал он.

Самолет в Москву улетает рано утром. Они и собрались здесь, у Маши, проводить Юрку. И Машенька полетит вместе с ним...

Ночами долго курят астрономы...

Краснощеков тряхнул головой. Нет, не показалось. Свет стал меркнуть, а углы комнаты закругляться, сворачиваться, превращаясь во что-то похожее на кокон.

— Юрка, скорее!

Он дотащил Юрку до умывальника и взял за плечи. В углу пискнула то ли мышь, то ли какая-то дудочка. Глаза у Юрки были как у девушки. Нет, как у ребенка...

...Юрка внимательно рассматривал свои руки. Сжимал пальцы в кулаки, разжимал. Наклонился, слепил снежок, долго его обкатывал в ладонях, пока тот не стал твердым, несколько раз подбросил ледяной шарик, поймал. Он сцепил пальцы, зажал эту ледышку между ладонями и с треском раздавил. Краснощеков всегда поражался, какие сильные руки бывают у сухощавых людей.

— Не пойму, как это у тебя получается, — сказал Юрка.

— Сам до сих пор не знаю... Находит что-то иногда.

Когда... волнуясь... — Краснощеков дрожал от возбуждения. Он был в чем-то очень не уверен.

— В первый раз это случилось в Астрахани. Помнишь, когда я слезал со стены и чуть не разбился...

— Что будем делать? — Юрка оглянулся — лагерь был еще виден вдалеке.

— Пойдем другой дорогой... Хочешь, я пойду вперед?..

— А люди?

— Встретим других людей...

— А Маша? — Юрка резко обернулся.

— Может, зайдешь в больницу... просто так... — неуверенно сказал Краснощеков.

— Дима, Дима... — Юрка долго молчал. — Это очень непросто... Очень.

Юрка смотрел на гладкий заснеженный склон, по которому они должны были спуститься.

— Не подхожу я на роль доктора Фауста, — глухо сказал он. — А ты... надеюсь, не Мефистофель... Пошли!

То ли свистнул взявшийся неведь откуда ветер, то ли дудочка пропищала, то ли полевая мышь... Юрка взвалил на плечи рюкзак.

— Вперед! — говорил он тем голосом. — Дорога прекрасная, и наст держит хорошо! — повернулся и начал спускаться.

Краснощеков шел следом. Он любил ходить замыкающим и недавно узнал с удивлением, что это почетная и трудная обязанность самых опытных альпинистов. Он шел сейчас по гладкому, заснеженному склону следом за Юркой и не знал, как скоро, очень скоро ему придется исполнить эту тяжелую обязанность.

Легкий хлопок, будто кто-то раздавил гриб-пылевик. Снег внезапно просел, зашипел, и Юрка Тропинин, взмахнув руками, с шумом рухнул вниз...

...На Краснощекова смотрели глаза Юрки, похожие на глаза ребенка. Юрка улыбался.

— Пошли, старина, — сказал Юрка, — а то хватятся нас. Краснощеков встретил тревожный взгляд Машеньки, но выдержал его.

— Вернулись? — сказал Потемкин. — А я полагал...

— Кто полагает, а кто и... — резко перебил Юрка, но не договорил.

Краснощеков был задумчив. Юрка молчал. Молчали и Потемкин с Машенькой. В комнате было тихо. Только Окуджава, который, может быть, и не был Окуджавой, негромко пел:

...И потому

Так долго курят ночью астрономы.

Им было о чем подумать.

УЛЫБКА РЕБЕНКА

Влажный горячий ветер идет с океана, только в тени от скал еще можно дышать. «Ну-ну, здорово, старина!» — говорю я мысленно, глядя поверх невысоких, непрерывно бьющих в прибрежные камни волн, и прихожу к узкой песчаной отмели; передо мною соленая прозрачная вода; сзади — выветрившаяся, почти отвесная стена из красного камня; в сильные штормы волны накладываются на скалы и разрушают их. Я, как всегда, один здесь; медленно стаскиваю с себя рубашку, брюки; из-под обломка камня, который я нечаянно цепляю, выскакивает мелкий ловкий краб и быстро, боком-боком бежит к воде; я загораживаю ему дорогу, он сердится, подскакивает, и я даю ему уйти: пусть, зачем обижать такого маленького?

Ложусь на песок, от солнца пот не успевает выступить, высыхает; и в душе все как выжжено — пусто, легко, ничего не было, и нет, и не будет, только вот это беспощадное солнце льется сквозь крепко сжатые веки, льется непрерывно; и я поскорее перехожу в тень от скалы и опять ложусь, оставив на солнце лишь ноги до колен. Они все время болят, и их надо хорошо прожарить; я через силу ощупываю себе грудь, плечи, лицо; да, я никогда не был красив, а теперь вот, после несчастья, совсем опустился. Правда, тетушка Молли всегда говорит, что выгляжу я не больше чем на тридцать, но я-то сам знаю, сколько мне в самом деле, и знаю, почему эта ложь тетушке нравится. Идиот, на что я ухлопал всю свою жизнь? А теперь что можно сделать? Только вспоминать и жалеть, а больше ничего.

Что-то все время колет бок, я шарю под собой, нащупываю в песке несколько ракушек и забрасываю их подальше. Небо, очень синее и далекое, успокаивает, и, как только я начинаю глядеть вверх не отрываясь, сразу приходит дрема.

Я вздрогнул и открыл глаза, словно от резкого толчка. Опять прозвучал мучительно знакомый голос:

— Чарли, старина! Вы?

Огляделся — пустынная отмель, красные скалы, по-прежнему идут на камни невысокие волны и слышится ритмичный раскат разбивающейся волны. Э-э, опять та же чертовщина,

пора бы и пообедать, а то на голодный желудок всегда что-нибудь мерещится. Но разморило вконец, встать трудно, еще труднее открыть глаза, а земля подо мной движется, я чувствую, как она движется, я знаю, что она движется, и у меня все время такое ощущение, что вот-вот она совсем выскользнет из-под меня и я останусь совершенно один — ни земли, ни камня, ни живого краба. И я лежу, боясь открыть глаза, здоров острый подбородок, выставив костлявую, узкую грудь и худые колени, — парящий вверху орел наверняка меня видит и считает, что это старая, нестоящая падаль. Я знаю, что орел висит как раз надо мной. Я быстро открываю глаза и вижу в небе медленно плывущую далекую черную точку: высоко-высоко, эх, негодяй, надо же так уметь! Потом я ни о чем не думаю; было самое страшное открыть глаза, а теперь ерунда, вот только в ушах начинает болеть, словно там плещется этот проклятый океан, а голова — огромная, гулкая, ну совсем раковина, старая, пустая. Пропала голова. Да, да, вот оно, все начинается опять, но это ничего, только и на этот раз нужно выдержать и не поддаться. Все чушь! Это все океан, ядовитый зеленый океан, вот, вот, опять этот голос, хриплый, надтреснутый знакомый голос, и он опять будет рассказывать о знакомых надоевших делах. Я не хочу больше ни о чем думать, ни о чем вспоминать! Ну да, я был молодым и сильным, у меня были родители, потом женщины; но зачем мне об этом рассказывать? Вот, вот, опять тот же тихий свист, тонкая раскаленная игла сверлит воздух, он долго не обрывается.

А, к черту, я знаю, что нужно сделать. Вот так. Я рывком поворачиваюсь и начинаю сыпать себе на голову горячий песок, он лезет в глаза, в уши, забивает ноздри и рот, но мне хорошо. Однако сегодня определенно что-то новое. Этого еще мне не хватало.

— Здравствуй, здравствуй, — говорю я. — Послушай, где это я тебя видел?

Какая интересная все-таки промоина, по ней можно, оказывается, спуститься в самый центр Земли, она, как бурав, вворачивается все глубже и глубже; нет, нет, это действительно чудесное изобретение, тут ничего не скажешь. Молодец, Ульт, молодец, я рад за тебя.

* * *

Конечно, песок, на котором я лежу, и скалы вокруг — чепуха, я ведь старше, я был вечно и только сейчас перестаю существовать. Я ведь помню бури Гондваны и рождение Гималаев, когда крупная лихорадочная дрожь била глупую круглую Землю... А вот и бескрылые птицы моа. Господи, как они велики, чу... осторожно! Я слышу, напрягшись, как они проходят мимо. «Топ-топ-топ», — слышу я, ноги у них похожи на рас-

четверенные копыта, и мне кажется, что одна из них вот-вот наступит мне на голову и голова хрустнет.

Я пугаюсь, начинаю думать о другом и потихоньку успокаиваюсь. Ну что ж, вернемся назад, думаю я. Как всегда, ну, ну, еще немного, хорошо все-таки жить, если над тобою могут вот так шелестеть пальмы, и синева неба так густа и спокойна, и недалеко в темной тропической зелени белеет большая вилла. Сколько же это я здесь не был: год, два или все десять? Очень знакомое место. Да, конечно, вилла принадлежит сыну моего старого друга профессора Джеффа Ульта; я вспоминаю, как однажды профессор приехал отдохнуть к сыну недельку-другую в кругу внуков; их было трое, два мальчика и девочка; девочка родилась всего десять месяцев назад и теперь училась ходить; профессор любил ее больше всех. Он любил сидеть у кровати ребенка, когда она засыпала; бронзовые слуги неслышными тенями скользили мимо: он их не замечал. У девочки было смуглое личико и синие глаза. Широколобий, усталый профессор садился где-нибудь в стороне, так, чтобы видеть лицо ребенка, опирался на набалдашник трости и не шевелился часами. А по утрам, когда девочку выносили на нижнюю террасу играть, профессор тоже устраивался где-нибудь неподалеку, ему нравилось слышать голос ребенка. Это были для него самые приятные часы, воздух шевелили бесшумные вентиляторы, вдоль всей террасы били струйки воды из труб, спрятанных в зелени. Я, в свою очередь, любил украдкой понаблюдать за профессором, меня тянуло к нему, мы с ним были связаны крепко и давно. Но профессор ничего не замечал; ни болезненно-яркой красоты залива, ни губастой кормилицы-мулатки, отвечавшей на все вопросы заученно и односложно: «Да, сэр, нет, сэр». Он или глядел на девочку, или вслушивался в ее голосок и о чем-то думал, и никто из живущих рядом с ним не знал о чем. Меня это бесило, а сын с горечью говорил, что отец стареет, в прошлые годы такого за ним не замечалось, невестка, со своей стороны, пыталась отвлечь старика и терпела неудачу за неудачей. А старшие внуки платили деду его же монетой — полным равнодушием; и жизнь в вилле шла своим чередом; вышколенные слуги не замечали того, что им не нужно было замечать. И только Мэт, молодая хозяйка виллы, со временем начинала чувствовать все большее беспокойство при виде высокой сутуловатой фигуры свекра. Она замечала, что девочка в присутствии старика меняется, перестает шуметь и улыбаться, упорно смотрит в одну точку; если старик подходил к ней во время сна, она, бывало, просыпалась и начинала беспокойно шевелить руками. Девочка в присутствии деда никогда не плакала, и это особенно тревожило молодую миссис Ульт. Когда она после некоторых колебаний поделилась с мужем своими сомнениями, тот отмахнулся:

— Что ты, Мэт. Придумала вражду между шестидесятилет-

ним человеком и ребенком... Да и по крови они близки, при-
выкнет. Не будем огорчать папу из-за таких глупостей.

Женщина промолчала, но вряд ли она согласилась с муж-
жем, в глазах у нее так и остались недоумение и тревога.

* * *

Бывает так, что время исчезает и ты можешь пролежать двести или пятьсот лет и остаться таким же; приятно это знать и никуда не торопиться; нет, теперь никто не убедит меня в необходимости спешить. Приятен горячий крупный песок, я отлично помню, что перешел в тень под скалу; сейчас мне все время кажется, что именно в эту минуту сверху срывается камень и повисает прямо надо мной, я боюсь открыть глаза, ведь камень сразу ударит вниз, в меня. Странное ощущение! Пока я не погляжу вверх, камень будет висеть себе и висеть, но ведь нельзя долго удержаться, это не в человеческих силах. И я пытаюсь отвлечься, уйти в сторону или вернуться назад, ведь я хорошо помню, что минуту назад был где-то в другом месте, среди людей, вот их я никогда больше не увижу. Кого? Ах да, людей. Да и не хочется, тяжело на них смотреть, нервных, обозленных. Смешно, они всегда торопятся догнать и схватить то, чего в природе нет. Выдумали искусство, а оно лжет, наука же приносит одни несчастья. Сейчас меня ничто не может удивить. Люди...

А! Джефф Ульт, вот оно что, чуть не забыл окончательно! И случилось-то всего два года назад, когда я приехал на виллу Ультов — мы работали вместе с профессором, были старыми друзьями, но по целому ряду вопросов мы вообще не могли столкнуться и оставались противниками. Когда мы впервые встретились и познакомились, в дебрях атомной физики прокладывали первые тропки, тупиков было много, а Джефф Ульт только что стал доктором и получил собственную лабораторию — нас сблизило тогда изучение атомного ядра, и уже тогда Ульт был фанатиком, — приходилось проводить в лабораториях по два-три месяца кряду, не разбирая ночей и дней. Ну что ж, давайте еще раз встретимся, профессор Ульт. Здравствуйте, шеф, я рад вас видеть.

— А, Чарли! Вы еще живы, старина!

— Жив, профессор, видите, жив, а у вас как дела?

— Мои дела в порядке, Чарли, мне теперь ничего не нужно. Когда-то я был молод, полон сил и замыслов, а теперь я понял, что все это чушь. Ха-ха, что вы на меня так смотрите? А, Чарли? У меня вполне нормальная психика, Чарли, я не кусаюсь.

Я слушаю его и улыбаюсь, мне хорошо, что он после долгого отсутствия пришел и сел рядом со мной; да, это всегда был не человек, а кибернетическая машина, набитая теориями,

формулами, расчетами, идеями. Ядро, ядро, лабиринт атомного ядра — Ульт чутьем большого ученого угадывал неисчерпаемые возможности атомного ядра и кружил вокруг него, не давая покоя ни себе, ни другим, и вся остальная жизнь до поры до времени проходила мимо него, незамечаемая. Например, он приятно удивился, когда узнал, что у него родился сын.

Окончательно Ульт прославился, когда ему сообщили в срок пятом году об окончании войны. Как сейчас помню, он сосредоточенно оглядел своих сотрудников, пожал плечами и сказал, что это никого из присутствующих не касается. И никто бы не поручился, что Ульт запомнил этот разговор больше чем на пять минут. Помнится, именно в то время ему не давала покоя блестящая теория нового способа дробления атомных ядер заурановых элементов; и все мы уже работали в подземных лабораториях Черного Острова, удаленного от материка на полторы тысячи миль. Я украдкой гляжу на Ульта и не узнаю в нем, в тихом, успокоенном, того одержимого: он даже не поинтересовался тогда, почему институт переместили с материка на Черный Остров, его лишь возмущала потеря времени, но он вскоре же был вознагражден. В его распоряжении оказались лаборатории-заводы, оборудованные по последнему слову техники и научной мысли; и он, потирая длинные сухие руки, днями ходил по нескончаемым лабораториям и цехам. Я несколько раз слышал, как он повторял: «Сколько времени потеряно! Если бы мне дали это лет на тридцать раньше!» А вечером за чашкой турецкого кофе в подземном баре он сказал, что отдыхает от шума и грохота города, что люди науки так и должны работать — в тишине и уединении, мол, человеческая жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пустяки вроде конференций и диспутов. Я осторожно спросил, не находит ли профессор немного странным наличие большого числа военных на острове, пропускную систему, отсутствие наземных сооружений, кроме маскировочного рыбацкого поселка. Ульт не понял меня, вероятно, даже не слышал.

— Сто тысяч миллионов, — сказал он, глядя в чашку с кофе. — Сто тысяч миллионов, Чарли.

— Чего, долларов?

— Градусов, Горинг. Вы понимаете, коллега, что освобождение человечества — в ядре атома, в этом колоссальном сгустке энергии? Я вот не представляю, как обуздать такую температуру, положить ее в карман человеку. Все, что открыто до сих пор, пустяки по сравнению с тем, что у меня здесь. — Он шлепнул себя по лбу. — Наперсток моего ядерного горючего, — косым размашистым почерком он стремительно набросал цепь сложных формул прямо по матовому стеклу столика и тут же тщательно стер, — будет весить три тонны и сможет осветить и обогреть страну с населением двести миллионов человек в течение двух лет.

Я взглянул ему в глаза и с содроганием отвернулся. Мне захотелось спросить, что будет, если такой наперсток просто взорвать. Я уже открыл было рот, но вовремя заметил, что к нашему разговору прислушиваются двое посторонних. Впрочем, разве сам Ульт не знал, что была Хиросима и в ней его доля?

* * *

Ульт сидел метрах в двух от меня, я видел его хрящеватое ухо и красную морщинистую шею, он как сел, так и замер, и мне все время хотелось протянуть руку, чтобы убедиться в его реальности.

— Джефф, — сказал я негромко, напряженно всматриваясь в него, и он поглядел на меня.

— Да, Чарли, я слушаю, — отозвался он, спокойно и как-то умудренно глядя на меня; у него было сейчас чужое, незнакомое лицо, он словно знал, о чем я минутой назад думал, и поэтому в углах серых губ была у него горечь.

— Знаете, Джефф, как-то странно мы сейчас сошлись и даже не удивились друг другу. Вот как мы стары, у нас и способность радоваться исчезла.

— А чего нам радоваться? — спросил он тихо. — Жизнь человеческая очень уж осложнена. Да, я знаю, что вы обижены, в душе вы всегда считали себя гением. Поверьте, это далеко не так.

— Чепуха! — возмущаюсь я. — Вы же знаете, Джефф, что это чепуха.

— Не знаю, — говорит Ульт, вздохнув. — Пойдемте.

— Куда?

— Пойдемте.

Он встает, мне становится не по себе, и я крепче вжимаюсь затылком в горячий песок и зажмуриваю глаза.

— Нет, нет, — бормочу я, — не хочу, никуда я не пойду. Мне и здесь достаточно хорошо.

— Ну, вставайте, Чарли, — настойчиво говорит он. — Сейчас не время заниматься разговорами, пойдемте.

Я хочу отказаться, но неожиданно для себя встаю и с удивлением осматриваюсь. Вот беда, конечно же, это Черный Остров, косые лучи пронизывают и плавят черный базальт. Нет, я не сплю: вот ревет океан, вон чахнет редкая растительность в расщелинах скал, издыхают рыбы в пене прибоя, — очевидно, была буря.

— Ну, хватит, Чарли, — говорит мне Ульт. — Подышали, пора спать, завтра рано подниматься, дело не ждет. Идите ужинать.

Ульт исчезает в кабине скоростного лифта, меня уносит в другом направлении, я прихожу к себе в комнату, включаю вентилятор и бессильно падаю на кровать. И только потом рас-

стегиваю ворот рубашки и на ощупь сбрасываю туфли; они мягко шлепаются на пол, и я начинаю отдыхать. Вот тебе и штука, думаю я, оказывается, это все тот же Черный Остров, лаборатории, свинцовые двери, похожие на могильные плиты; открыть их без помощи автомата человеку не под силу. И на многих дверях кровавые росчерки надписей: «Не входить!» Кто-то невидимый руководит автоматами, я лежу, в голове тупая боль, и я думаю, что есть хозяин Черного Острова, нечто безжалостное и неумолимое. Я не трушу, я все больше прихожу к мысли, что мне нечего терять, и я, успокаивая себя, громко смеюсь. Ведь это не впервые: везде, где бы я ни был, я и раньше чувствовал присутствие хозяина, и во сне мне часто хотелось прошептать молитву, но я еще в детстве забыл их все. Я лежал, обливаясь липким потом, смеялся и думал, что в любой момент могу уехать с Черного Острова — все-таки я свободен в своих поступках и решениях, чего мне бояться? Бог? Какая чепуха! Атомная физика — и бог. Надо заснуть, а завтра чашка кофе, хороший завтрак, и все пройдет. Просто сказывается переутомление от непрерывной работы, от изоляции — она особенно отражается на нервах. И нечего думать, на кой черт мне все эти размышления о человечестве? Что тебе человечество? У тебя мозг и знания, у них деньги. Тебе нужно работать и жить, на Черном Острове платят в семь раз больше. Его деньги? Ты не знаешь, кто он. Ты лишь знаешь, что он вездесущ. Х о з я и н! Его воля выдолбила гигантские катакомбы, наполнила их движением и светом, за свои деньги хозяин стоит за спиной у каждого на этом проклятом острове, в этом угрюмом царстве камня, искусственного света, счетных машин, автоматов. У меня здесь по-настоящему один друг — кургузый человек с циферблатом вместо груди, в резиновом футляре. Ровно в девять он до смешного важно начинал мигать электрическими глазами, методично указывать себе на грудь и попеременно поднимать одну из своих четырех ног. Я любил конструировать подобные безделки — единственный отдых на острове. Если я не успевал встать за десять минут, человек-часы прыгал мне на грудь и начинал отчаянно верещать. Вот и сейчас — снится мне, что ли? Таращу глаза и долго не могу нащупать подпрыгивающий автомат, потом долго и тщетно оглядываюсь: в дальнем углу мелькает громадная человеческая тень, очертаниями напоминающая мистера Крэсби — директора Черного Острова, слово которого закон для всего живого и мертвого на острове. И только с профессором Ультом любезен мистер Крэсби, только в разговоре с ним у мистера Крэсби сияют крупные зубы, и это всем понятно. Профессор Ульт — мировая величина в атомной физике, сейчас он на пороге нового большого открытия — недаром его так ревностно охраняют, он уже много лет негласно засекречен. Временами даже я не вижусь с ним по месяцу и больше, на звонки по телефону отвечают, что

господин профессор занят и подойти не может. Голос отвечающего всегда непреклонен, и каждый раз мне мерещится тень мистера Крэсби. Иногда я думаю, что начинаю сходить с ума: ведь и мистер Крэсби подставное лицо. Все равно никому не узнать настоящего хозяина, все равно не увидеть его лица: ни имени, ни лица у него нет. Это просто хозяин.

Я встаю с постели с головной болью, делаю несколько вялых гимнастических движений и замираю. Из большого зеркала на меня смотрит высокий костлявый старик, с большой сухой головой и с ненормально пристальным взглядом. Я с усмешкой рассматриваю его. В этом теле когда-то рождались и гасли страсти, в мускулах переливалась жадная сила. Ты помнишь, старик, женщин? Нет, не помнишь. Все прошло мимо, и жив один мозг, холодный, бесстрастный, способный только рассчитывать и вычислять. Все остальное отдано ему — хозяину.

— Ха-ха-ха... ха!

Неожиданный смех звучит глухо и безнадежно; в подземных помещениях звуки вообще быстро угасают. Я медлю, одеваюсь; эскалатор выносит меня в кафе — у меня часа три свободного времени. Я оставляю почти нетронутый завтрак и по сложной системе лифтов опускаюсь вниз, в длинный, залитый мертвенным светом коридор. В дверях появляются и исчезают фигуры в белом — широкий коридор многократно разветвляется. Я медленно иду из отсека в отсек, провожаемый внимательными взглядами дежурных офицеров и мертвыми глазами плафонов опасности. На одном из поворотов я сталкиваюсь носом к носу с профессором Ультом; он стремительно шагает по пустому, почти квадратному коридору, заложив руки за спину и наклонив далеко вперед голову; у меня опять такое чувство, что, если я к нему прикоснусь, он исчезнет. У него кривятся серые губы, глаза воспалены, он еле сдерживает себя.

— Горинг, постойте. — Он притрагивается к борту моего пиджака. — Где вы опять пропадаете? Я вас не вижу, старина. Я молчу, я мог бы спросить профессора о том же.

— Вы скверно выглядите, Ульт, — говорю я, присматриваясь и отмечая новые изменения в лице Ульта: больше нависли на глаза брови, стали заметнее большие уши.

— Ерунда! — профессор глядит мимо меня. — Ерунда, Чарли! Наука на пороге величайшего открытия... Фактически, Горинг, мои исследования привели к созданию нового сверхтяжелого элемента. Он бесконечно устойчив сам по себе. Я назвал его сверхэлементом «А».

Я гляжу на него, и у меня противно сосет под ложечкой, я всегда боготворил профессора Ульта, великого физика и безумца. Я завидовал ему, а сейчас я его ненавижу, от него веет страхом. Я вспоминаю все разговоры, которые велись на Черном Острове вокруг новой работы Ульта: последние месяцы все на острове подчинено его изысканиям, и говорят, что Ульт со-

здал принципиально новое вещество совершенно немислимой силы и теперь занимается разработкой путей его использования. И говорят, уровень современной техники не позволяет использовать это вещество в промышленных целях и что одна тонна его в кубическом сантиметре способна вскипятить Балтийское море. При этом сотрудники Ульта как-то натянуто улыбались — я боялся этих улыбок. Говорят, двух ближайших помощников Ульта увезли на материк со следами тяжелого психического расстройства; перед этим они имели с Ультом долгий разговор и настаивали на уничтожении всей документации по своему открытию. Поговаривают и о бомбе из сверхэлементов «А», способной испепелить материк, равный Африке.

Ульт долго глядит на меня, опускает набрякшие веки.

— Я знаю, о чем вы думаете, Чарли, — говорит он просто. — Не верьте, никакой бомбы не будет. Сверхэлемент есть, его уже около четырех тонн в моей лаборатории, но я не такой дурак. — Он усмехается. — Все расчеты, все, что касается синтеза сверхэлемента, здесь, в моей голове. Это надежный сейф. — Он притрагивается к своему лбу. — Иначе они бы давно вышвырнули меня с острова. А здесь есть все, что мне необходимо для окончания работы. Пока я не открою безопасных способов использования сверхэлемента, правительство не получит документации. Сейчас я в тупике, но я найду... Что вы, Чарли?

Я с трудом перевожу дыхание; я же не могу сказать Ульту, что увидел над ним громадную тень хозяина. Ульт все равно бы не поверил.

— Знаете, Чарли...

— Да?

— Всем нам нужен отдых. Я думаю сделать перерыв, пожить с месяц у сына на вилле. Берите отпуск и приезжайте.

— Вряд ли меня отпустят сейчас, Джефф.

— Пустяки, я скажу Крэсби.

* * *

Дальше, дальше... А, черт, откуда-то из-под черепа тонкой струйкой выбивается боль; я держусь за голову и мычу; это от жары, зря я, конечно, согласился и приехал сюда. Покачиваясь, я ухожу под навес, надо крикнуть, чтобы принесли воды, и не хочется раскрывать рта. Это ведь не отдых, а какой-то полусон, и втайне все встревожены состоянием старого профессора: здесь ничего не знают о Черном Острове, и поэтому можно предполагать, что на свете есть счастливые люди. Да, я чувствую какую-то зависимость от Ульта и все время думаю о нем; мне это неприятно, но я ничего не могу поделать с собою, иногда мне даже кажется, что нет на свете ни меня, ни Ульта, а есть из нас двоих что-то одно, единое. Я все знаю: когда Ульт встает (а встает он всегда вместе с солнцем), как он до завтра-

ка бродит по берегу, молчаливый, прямой, похожий на штангу циркуля. Между прочим, он поразительно неуместен под ослепительным солнцем тропиков. Все равно здесь он инородное тело, и кто видит его в утренние часы, безошибочно это чувствует. И потом к нему всегда приковано внимание полудюжины скучающих для вида молодых людей, они появились здесь вместе с Ультом. Я люблю за всем этим наблюдать; когда солнце поднимается выше и маленькую Кэтти выводят на террасу, сразу появляется и профессор Ульт. Он по-прежнему не обращает внимания на старших внуков, зато возле Кэтти он может высиживать часами. То ли он отдыхает, глядя на чистое личико ребенка, то ли продолжает раздумывать над своим открытием. В такие часы я избегаю старого Ульта, но вот сегодня оказываюсь с ним вместе. Утро душное и жаркое — приближается пора тропических дождей, я обливаюсь потом и завидую Ульту; я знаю, что он никогда не потеет. Если не считать крошки Кэтти и ее няньки, все остальные ушли к заливу купаться. Я дремлю, наслаждаясь тишиной и покоем; девочка возится в своей изящной клетке из бамбука, она то встает, то садится. Я вскидываю голову, когда раздается голос профессора, он зовет меня, и я подхожу. Опершись о набалдашник трости, Ульт глядит в одну точку; я вижу его седые, выгоревшие брови, запавшие щеки, выпуклый бугристый лоб мыслителя, положенные одна на другую руки. Много лет я знаю эти руки — сильные, рыжие руки в шрамах и ожогах. Он поднимает глаза, и я вижу перед собой просто очень старого человека.

— Чарли, — говорит он, беспомощно мигая безволосыми птичьими веками. — Чарли... Почему она ни разу не улыбнулась мне? Она боится меня, старика. Вот итог, к которому человек приходит.

Я гляжу на ребенка в легком кружевном платьице, со смуглыми нежными щеками и растопыренными розовыми пальчиками, затем на старого профессора.

— Простите, как прикажете расценивать ваше новое открытие, Ульт? — спрашиваю я.

— Не шутите, Чарли, это очень горько.

— Ну что вы, Джефф, что за чепуха, в самом деле!

— Нет, нет, Чарли, это нехорошо. Она меня боится, дети чувствуют чужую судьбу. Вот давайте подойдем посмотрим.

Признаться, я не сразу решаюсь, в моем и без того расстроенном воображении всплескивается темная волна неуверенности, страха, и я с трудом заставляю себя шагнуть ближе к ребенку; я чувствую затылком горячее дыхание старого Ульта.

— Смотрите, Чарли.

Полураскрыв губки, девочка улыбается, и в ее синих глазах прыгает солнце. Она тянется ко мне ручонками и улыбается, и я потрясенно думаю, что она, вероятно, так же улыбается цветам, птицам, облакам, деревьям. И я для нее просто часть этой

жизни, часть утра, часть добра. А я никогда никому не казался добрым, и никто мне сроду так не улыбался.

Я боюсь шевельнуться, в темноте сознания ворочается, всплывает прошлое — реакторы, аппараты, чертежи. Последняя работа по созданию машины холода для профессора Ульта — для его последних опытов. Понадобилось чудовищное давление в сотни тысяч атмосфер. Он получил и это, в его открытии оно сыграло не последнюю роль. Да, я причастен к новому открытию Ульта, я твердо это знаю. До поры до времени я был доволен, даже гордился собой — как же, генеральный конструктор Черного Острова! А теперь вот перед этой детской улыбкой все во мне окончательно мешается: я никогда не понимал детей, мне всегда становится неловко с ними.

И все-таки неужели я когда-нибудь так улыбался? И Ульт?

Я не могу тронуться с места, и лишь резкий голос профессора приводит меня в себя.

Черт бы его побрал! Зачем ему вздумалось экспериментировать с ребенком? Мало ему его уранов?

— Отойдите теперь, Чарли, в сторону... вы увидите...

— Да бросьте, Джефф.

Ульт отодвигает меня. Твердо стукнув тростью, он встает на мое место. Вытянув шею, я вижу, как гаснет улыбка ребенка, как останавливаются, испуганно округлившись, глаза. Девочка смотрит на профессора в упор, не мигая, смотрит так, как могут смотреть одни дети, и в этот момент она похожа на маленькую старушку. И я начинаю отодвигаться от Ульта шаг за шагом, потому что мне делается немного не по себе. Я вижу его жизнь, всю от начала до конца, и на эту его жизнь как бы проецируется моя, бесплодная и жалкая, вложенная в железо машин, в кальку чертежей, в расчеты проектов, лишенная добра, и смысла, и самой простой детской улыбки.

Я не выдерживаю, отворачиваюсь, сбегая с террасы и бросаюсь в чистую, промытую зелень сада.

— Горинг! Подождите! Что с вами?

* * *

На следующее утро начинается шторм, сдержанный, настойчивый гул дрожит в жарком плотном воздухе. Все уходят с террасы, кроме нас. У профессора на переносице мелко стекленеет испарина. Он выпивает кофе, отодвигает фарфоровую, насквозь просвечивающую чашку и шире распахивает белую фланелевую куртку.

— Сегодня всю ночь меня мучили кошмары, Чарли, — говорит он неожиданно. — Какое-то дурное предчувствие, тревожит сверхэлемент. Он в специальном сейфе.

— Ключи можно подобрать, Джефф.

— Зачем?

— Зачем? Чем больше дряхлеет человечество, тем нужнее ему сильные ощущения. Вы не замечаете такого парадокса?

— Не шутите, Горинг, вы сами не знаете, что говорите. Вы не можете представить себе... это дьявольская сила.

Он выговаривает это с трудом, у него страдающие старческие глаза, зрачки бесцветные, тусклые. Белки в густой сетке красноватых жил. Больно глядеть в эти глаза, но я не могу удержаться. Не желая того, я мщу профессору за его головокружительную научную карьеру, за его слепоту. Я говорю, что мы в неумолимых тисках, что Черный Остров проклят людьми и богом, что мы слуги дьявола. Ульт пытается меня остановить, и я срываюсь окончательно.

— Нет, профессор, подождите, я не все сказал. Я хочу открыть вам глаза, пока не поздно. Вы не можете не знать, что на острове есть подземная гавань, куда не допускается ни один рядовой сотрудник. А вы...

— Знаю, Чарли, но...

— Туда заходят подводные лодки...

— Но, Чарли...

— Чтобы заправиться атомным горючим и увезти на полигоны новые виды бомб. Молчите? Дети, дети! Вам не улыбается Кэтти? Вас это удивляет, профессор Ульт? Ха-ха-ха!

Я хохочу так, что у меня сотрясаются внутренности, и старый Ульт глядит на меня с ужасом. Его взгляд для меня наслаждение. Ага, профессор! Ага!

— Крошка Кэтти! Неужели вы думаете, что рядом с вашим святилищем не идет подготовка к широкому производству этого вашего дурацкого сверхэлемента? Славный подарок детям, профессор, ах какой славный. Не прикрывайтесь наукой, нет, нет, у людоедов раньше тоже были свои принципы. Несомненно.

Я обрываю фразу и едва успеваю отодвинуться от стола вместе с креслом. Ульт вырастает надо мной, высокий, исступленный. Он взмахивает тростью — она брызгает кусками от удара по столу. В следующую минуту он сбегает с террасы, нелепо размахивая длинными руками. Ветер остервенело мотает из стороны в сторону верхушки пальм, угрюмо ревет океан. Душно и жарко. Надоедливые крики попугаев звучат тревожнее, чем всегда. Мне нестерпимо хочется выбежать куда-нибудь в чашу, зарыться в землю с головой.

Я прихожу в себя уже на полу. Вокруг меня бестолково суетятся, и кто-то льет мне теплую воду на грудь и на голову.

— Пустите, — прошу я. — Дайте встать, я здоров, я совершенно здоров. Проклятое солнце, у меня черно в голове.

* * *

Несколько дней бушует океан, ломаются пальмы, тревожно кричат попугаи. Профессор Ульт не выходит к столу. Я вижу его лишь у залива. Он кивает мне и молча проходит мимо с

напряженно сдвинутыми бровями. Собаки, изнывая от жары, яростно воюют со змеями. Как-то, забравшись в прибрежные скалы, я наблюдаю одну из таких схваток. Подобрал язык, собака продвигается медленно, ползет, словно по натянутой струне. Я люблю красивым гладкошерстным псом и упускаю момент схватки. Все происходит молниеносно. Прыжок, резкое движение головой и передними лапами — оторванная голова змеи падает в камни. Тяжело дыша, собака отскакивает, стоит, вздрагивая всем телом, трется носом о землю, сосредоточенно глядя на извивающееся змеиное тело, и даже на расстоянии я чувствую, сколько ненависти в собачем взгляде.

Я задумываюсь. Продолжает волновать открытие Ульта. Неужели он в самом деле перешагнул через актиноиды и даже черт знает через что еще? Невероятно, однако этот факт существует. Пора бы мне уже перестать сомневаться в дурацких возможностях науки.

Выбравшись на берег, я иду вдоль самой кромки прибоя. Океан еще не успевает успокоиться, но здесь тихо. Выброшенные на песок водянистые тела медуз бледнеют и тают на глазах, остро и горьковато пахнет солью и сыростью, залив безлюден, и только голые дети местных туземцев что-то выбирают из влажных водорослей. Я думаю о предстоящем отъезде на Черный Остров и останавливаюсь. Наш век, безумная скорость, даже на минуту задержаться нельзя — голодные не замечают красоты. Рембрандт, Сессю... Где-то я слышал их имена. Литература? Ха! Живопись? Устарело! Бег, бег! Вперед! От расщепления атомных ядер до их синтеза, до сверхэлементов, до... Интересно бы погладить коралловую змею.

Я приподнимаю шляпу — голова совершенно мокрая. Бедный, неразумный наш мир. Что-то ожидает тебя за первым поворотом истории?

Я спотыкаюсь и едва успеваю ухватиться за нагретый солнцем камень — рука дрожит, я не могу с ней справиться. Я недоуменно оглядываюсь — в сухом мареве дрожат красноватые скалы, дробится полоса прибоя, ломит возле ушей и в затылке. Я с усилием поднимаю голову. Расплавленным шаром висит в зените солнце. Я не могу сомкнуть век, я чувствую, как выгорают, дымятся мои глаза. Черная тень хозяина, распластываясь, закрывает солнце — боже мой, боже! Я хватаю и сжимаю свою голову изо всех сил, совершенно слепой, — значит, Ульт прав, говоря, что я болен. Но уже кто-то другой думает за меня, он видит меня со стороны, и я неотделим от него. «Чарли, — слышится мне. — Что тебе надо в этом проклятом мире?»

— А-а...

Медленно возвращается свет, медленно выпрямляется полоса прибоя, скалы успокаиваются — я стою на ногах, держась руками за гудящую голову, глубоко увязая ногами в песке. Ко мне бежит старый Ульт, размахивая шляпой.

— Горинг!

Я гляжу на него, не понимая, что ему нужно, почему он так радостно возбужден. Я еще не здесь. Ульт кажется мне ребенком, большим старым ребенком.

Он добегают до меня, бросает шляпу и хватает меня за руки. Я близко вижу его незнакомые, счастливые глаза.

— Что вы, Джефф?

— Она мне улыбнулась, Чарли!

— Кто? — спрашиваю я устало и безразлично.

— Она! Кэтти!

Господи! Какой глупец! И это один из самых выдающихся физиков XX столетия.

У меня в груди что-то начинает злобно копошиться, копошиться, вот-вот перехлестнет. Улыбнулась! Чему он радуется? Я снова не могу удержаться от дурацкого злого смеха. Ульт, болезненно улыбаясь, пьтится.

— Профессор, улыбнулась? Ах, черт, хорошо! Чем же вы оплатите такой вексель? За доверие платят наличными! Они у вас имеются? Сверхэлемент «А»? Здорово подойдет малютке Кэтти... Смерть радиусом в триста миль! Белокровие, безногие младенцы! Великолепный подарок...

— Чарли, замолчи-и-те! Ради бога, ради бога...

У профессора растрепаны белые волосы, зрачки расширены. Он вытягивает вперед длинные руки, словно отталкивает мои слова. Потом поворачивается и бежит, неловко закидывая ноги. Таким он и остается у меня в памяти. Больше я его не вижу. Запоминаются узкая длинная спина, втянутая в плечи голова, мой злобный хохот.

На другое утро я встаю с тупой головной болью: случившееся вспоминается смутно. Я иду в душ и по пути стучусь к Ульту. В сущности, я виноват в том же, что и он. Я вхожу — комната пуста. За столом во время завтрака мне сообщают, что профессор еще с вечера вызвал вертолет и улетел. Молодая миссис Ульт, передавая мне сандвич с ветчиной, сообщает со вздохом, что профессор вел себя очень странно, но по ее глазам я вижу, что она рада неожиданному отъезду свекра. А еще через два дня в газетах начинают пестреть заголовки о гигантской катастрофе на Черном Острове: в результате взрыва чудовищной силы, который был зарегистрирован всеми сейсмическими станциями Земли, остров перестает существовать. Очевидец, капитан океанского лайнера «Мерседес», находившегося в это время в трехстах милях от Черного Острова, рассказывает о вспыхнувшей, взлетевшей к небу водяной стене, о сводящем с ума грохоте, о том, что люди на открытой палубе были ослеплены, искалечены, сброшены в океан, на который затем навалилась раскаленная мгла. «Мерседес» уцелел чудом. Остаткам команды назначены государственные пенсии. Правительственные экспедиции, отправленные для выяснения причин катастро-

фы, молчат. Работают они в двойных защитных костюмах, радиоактивность воды выражается в миллионах единиц.

Об этих подробностях я узнаю через год, когда меня выпускают из сумасшедшего дома, — я имел неосторожность высказать вслух свои предположения о причинах катастрофы. И вдали от Черного Острова за мной неотступно следит всемогущий хозяин. Давно уже, очень давно, я не вижу над собой проклятой тени, но я всегда чувствую его цепкую руку. Я давно уже не работаю, на свои скромные сбережения я купил домик на Восточном побережье, выращиваю бананы и кактусы, живу с полуглухой родственницей — теткой, но молва до сих пор считает меня сумасшедшим, и никто не придает значения моим рассказам о Черном Острове, о профессоре Ульте, о его сверхэлементе.

— Это тот сумасшедший, который называет себя стариком Чарли Горингом? Тот, что рассказывает о маленькой Кэтти и ее улыбке? Ха-ха! И вы поверили? Этой сказке? Не обращайтесь внимания, пусть его болтает, у него давно уже не все дома.

* * *

Я приподнимаю голову; под конец все проносится во мне скачком, все разрывается, и я вспоминаю, что живой Ульт где-то рядом, ведь это я для него рассказывал, что потом со мной было. Я вскакиваю, озираюсь: так и есть, Ульт, опустив голову, сидит почти у самой кромки прибора. Почему он только нелепо одет в какой-то грязно-белый халат? Чепуха, все чепуха. Вот солнце — оно есть, и скалы, и океан. Им можно верить. Они не лгут, они просто есть. Они чертовски правильно делают — никому не мешают, живут своей первобытной здоровой жизнью.

Я оглядываюсь: скоро вечер, в скалах захохочут, застонут обезьяны. Пора домой.

— Эй, Джефф, вставайте, — зову я, — нам пора. Сегодня мы опять славно поработали.

И тут я вспоминаю, что это случается уже не раз; и я гляжу, как медленно Ульт встает и, не оглядываясь на меня, идет сначала по берегу, затем исчезает в скалах, причем он без всякого усилия движется по самым отвесным местам и вскоре в последний раз появляется вдали крохотным белым пятнышком и меркнет.

— Ну вот, — огорченно говорю я. — Черт знает какая чепуха!

Вот так всегда, стоит мне встать, и все исчезает, Ульт словно ждет этого момента. Но я знаю одно: он завтра снова придет сюда, на свое место, и все будет по-старому.

Я накидываю полотняную куртку: пора домой. С трудом передвигаю старые больные ноги по знакомой тропинке; тетюшка

теперь нажарила орехов; иду, настороженно оглядываюсь: на тропинке в любое время можно встретить детей. Я боюсь их больше всего на свете, прячусь за камни и кусты, мне кажется, что меня обязательно убьют дети. Иногда мне хочется выскочить к ним и сказать: это я, тот самый Чарли Горинг, бейте. Когда-нибудь я это обязательно сделаю. Но прежде чем это случится, мне хочется рассказать им о себе, пусть они не думают слишком плохо, я не хочу, чтобы они повторяли наши ошибки, у них есть выбор, и пока еще не совсем поздно. Сам я опоздал, но не хочу этого для других. Я тяжело переставляю больные ноги, чутко прислушиваюсь и оглядываюсь, я знаю, что точно на этом месте я ушибу ногу об острый камень; так и есть, я морщусь от боли, и ругаюсь, и тут же бросаюсь за куст, и долго прислушиваюсь. Нет никого, я успокаиваюсь: тропинка пустынна, и совсем скоро дом, жареные орехи и простое рябоватое лицо Молли, она будет ворчать, но она всегда добра и заботится обо мне.

Я вижу Молли еще издали, она стоит, уткнув пухлые кулаки в бока, и сурово глядит на меня. Тихо, песок скрипит под ногами.

— Где ты все бродишь, Джон? — говорит она недовольно. — Дождешься, опять упрячут в лечебницу.

Ничего не отвечая, поджав губы, я прохожу мимо. Мне жалко ее, я замечаю, Молли горестно покачивает головой. Я останавливаюсь и говорю:

— Сколько раз я просил, чтобы ты не называла меня Джоном. Я Чарли, слышишь, Чарли Горинг.

Я прохожу в дом, а она еще долго стоит и думает. Я знаю, ей кажется, что во всем виноваты книги, всегда она, объясняя соседкам и знакомым, говорит, что я глотал их десятками, когда еще мальчишкой чистил сапоги, и потом, когда работал в ресторане официантом, и в гостинице носильщиком и швейцаром. Все это, конечно, правда, но она забывает, что потом я уехал и стал физиком, и она никак не может к этому привыкнуть. Если я начинаю рассказывать, вокруг всегда собирается толпа и слушает, раскрыв рты. Молли, моя тетка, простая женщина, и мне ее жалко. Чтобы она долго не думала, я подкрадываюсь к ней сзади и говорю:

— Я Горинг, Чарли Горинг. Сегодня я ходил в свое прошлое. Слышишь, я Чарли, Чарли Горинг, — повторяю я. — С тех пор как я вернулся, ты никак не хочешь ко мне привыкнуть. А я уже не тот, поверь, тетушка. Это плохо, ты не должна меня злить. И почему ты считаешь меня еще молодым? Ты просто не умеешь считать, я давно уже старик. Когда я уходил, я действительно был молодым, но ведь с тех пор прошло столько лет...

— Господи, ты же никуда не уезжал. Ты всю жизнь прожил здесь, и тебе ведь всего тридцать.

— Перестань, старому человеку нехорошо лгать! — строго говорю я, совсем рассердившись, и она покорно глядит и отвечает:

— Хорошо, Джон, хорошо. Пусть ты будешь Чарли. Ты уезжал, я согласна, будь Чарли, Джон, только не уходи далеко. Я всегда за тебя беспокоюсь. Ладно?

Я слушаю ее с подозрением, она хитрая, только никто этого не знает. Она всегда мне говорит, что было лучше, когда я просто таскал по лестницам чужие чемоданы. Она никак не поймет: я стал ученым, чтобы спасти и ее, и всех остальных. Я гляжу на нее и не улыбаюсь. Она только женщина, она плачет, вот только почему сама она не стареет, в самом деле? На этот раз она ничего мне не говорит. Бедная тетушка Молли, она, наверно, так и не поймет, что ее племянник — новый Христос, ждущий своего великого часа.

Я сам понимаю это только сейчас, когда она начинает плакать. И чтобы мой час наступил, меня должны убить только дети, а потом через три дня я воскресну. Я боюсь, час, мой великий час идет, близок, и все равно я буду приветствовать его.

— Пойдем, — говорит тетушка Молли, неловко вытерев слезы. — Пойдем, у меня сегодня хорошие бобы.

Мне хочется улыбнуться, я с трудом сдерживаюсь.

Бедная тетушка Молли! Бобы, ха-ха-ха! Мне наплевать на это, потому что завтра я опять пойду к океану и займусь своим настоящим делом.

— Спасибо. Я сейчас не хочу есть. Чуть позже. Мне нужно записать кое-какие расчеты, они только что пришли мне в голову. А то я забуду, а это очень важно, — говорю я и уйду.

Тетушка Молли, опустив тяжелые, вечно красные от стирки руки, глядит племяннику вслед; ей страшно наедине с тем, чего еще никто пока не знает, но холодный ужас все больше сковывает ее, и ей хочется закричать и самой проклясть этот мир, в котором все дышит ядом.

Вот уже вторую неделю Джон читает по ночам, и она начинает замечать в его глазах что-то необычное и далекое: он все чаще уходит за эту черту, которую она не может переступить и может только молиться и верить. Но и вера все чаще покидает ее, и она, стараясь в себе оставить хоть крупицу добра, вспоминает, каким хорошим и умным мальчишкой был Джон; он даже как-то смастерил машину, которая сама двигалась в огороде и дождем разбрызгивала воду. А что она, старуха, могла изменить? Джону надо было учиться, может, отсюда и все беды, но что она могла сделать, если у мальчишки оказались такие беспутные отец с матерью.

Молли стоит, все думает, и вспоминает, и тихо плачет.

ОТКРЫТИЕ МАТЕМАТИКА МАТВЕЕВА

Громоздкий, тяжело дышащий, со всклоченными волосами и запутавшейся бородой. Его звали Матвеевым. Он давал уроки математики.

Его повсюду сопровождал дрессированный спрут. Когда Матвеев занимался с учениками, огромный спрут терпеливо ожидал его на улице. В то время, в восьмидесятых годах сорокового столетия, было принято щеголять красотой головоногих домашних слуг.

Своим видом и манерами Матвеев слегка шокировал тех, кто сталкивался с ним впервые. Надо сказать, что и библиотекарь города N-ска несколько удивился, когда однажды увидел, как, придя первый раз к его сыну Алеше на урок, Матвеев обтер двумя бумажками свои пневмокалоши, спрятал обе бумажки в карман, почистил стекла очков клоком собственной бороды и, не глядя по сторонам, пошел на детскую половину дома. Библиотекарь пристально смотрел ему вслед, отметив про себя, что под мышкой у чудака зажат томик Тургенева.

Между тем Матвеев прошел в Алешину комнату, представился и сел на краешек стула. Минуты две учитель и ученик конфузливо молчали. Потом вдруг Матвеев заговорил почти сороговоркой:

— Вы знаете, что такое математика? Вы думаете, что математика — это счет и цифры? Что это формулы, да? Вы ошибаетесь. Математика — это мысль и поэзия. Только поэзия очень своеобразная.

Математик всегда думает. Его мысль не останавливается на полпути. Она движется. Неуклонно!

Вы помните, как начинается Евгений Онегин?

— Помню. «Мой дядя самых честных правил. Когда...»

— Достаточно. А вам все понятно в этой фразе «Мой дядя самых честных правил»? Почему вдруг «дядя самых честных правил»? Вы об этом не задумывались?

— Нет, Василий Дмитриевич.

— Потому, что у вас еще нет математической хватки. А математик непременно задумается. И пойдет в библиотеку и вызовет голографического духа, ведающего первой половиной девятнадцатого века. А дух ему расскажет про популярную в то вре-

мя басню, которая начиналась словами: «Осел был самых честных правил...» Тогда математик догадается, что хотел сказать Пушкин. Вы меня поняли?

— Понял, понял. Но, Василий Дмитриевич, вы мне расскажете про проблему Аиральди и про неприятности для человечества? Мне папа обещал, что непременно расскажете.

— Расскажу. Только, разрешите, я сначала вам спою одну старинную песню.

И, отбивая такт рукой, Матвеев запел высоким голосом, несколько козлиного оттенка:

За рекой на горе
Лес зеленый шумит.
Под горой за рекой
Хуторочек стоит...

Алеша слушал, положив голову на стол.

Матвеев спел свою песню и приступил к ее математическому разбору:

— «За рекой на горе лес зеленый шумит». Я представляю себе это так, — говорит Матвеев. — Некто подходит к берегу реки. Тот, другой, берег высокий (за рекой на горе...), а этот низкий. Известно, что вследствие кориолисовой силы у большинства русских рек правый берег высокий, а левый — низкий. Значит, вероятно, некто подходит к реке со стороны ее левого берега. Далее, поскольку за деревьями леса не только не видно, но самое главное, и не слышно, то этот берег безлесный. Лес на том берегу лиственный, потому что, если бы он был хвойным, он бы не шумел, а гудел. Иголки более непрерывно колеблют воздух, чем листья. Вспомните, что струна гудит, а не шумит.

Как следует из дальнейшего, начинало смеркаться. Если в это время лес издали казался зеленым, то, значит, он был ярко-зеленым, каким бывает в мае, когда листва уже распустилась, но еще очень свежа. На то же время года нам указывают слова «в том лесу соловей громко песню поет».

И Матвеев улыбнулся, торжествуя победу своих аргументов...

Продолжая разбор песни, Матвеев делал самые неожиданные заключения. Ему удалось узнать час и место действия, выяснить взаимное расположение реки и «дороги большой», на которой «опоздился купец», и даже с большой долей вероятности установить, какую именно рыбу ловил «на реке рыболов».

Алеша слушал внимательно. Наконец математический разбор песни был завершен и, помолчав немного, Матвеев заговорил о неприятностях, ожидающих человечество, если оно не решит проблемы Аиральди.

— Солнце взорвется через 10 084 года, — объяснял он. —

Чтобы переместить Землю к другой звезде достаточно быстро (по собственному времени Земли), надо уничтожить около пяти миллионов звезд, истратив заключенную в них энергию на перемещение Земли. При этом нельзя посягать на звезды, имеющие планеты, так как там могут быть обитатели.

Пять миллионов беспланетных звезд находится в шаре радиусом примерно в пять тысяч световых лет. В этих звездах надо будет возбудить процессы, позволяющие использовать их энергию для перемещения Земли. Если бы уже сегодня послали сигналы, возбуждающие в звездах нужные процессы, то лишь не раньше чем через десять тысяч лет можно было бы двинуться в путь к другой звезде. Однако сегодня еще никто не знает, каковы геометрические свойства пространства на больших расстояниях от солнца. В частности, неизвестно, сколько там черных дыр. Между тем знать это необходимо, чтобы суметь правильно определить направление сигналов. Чтобы это узнать, надо решить проблему Аиральди, причем решить ее надо в ближайшие годы, иначе потом будет уже поздно.

Матвеев обмакнул перо в чернильницу с вечными чернилами, нарисовал на бумаге многогранник, рассеченный плоскостями, и стал объяснять сущность проблемы Аиральди. Через час он окончил объяснения и откланялся.

Выйдя на улицу, Матвеев остановил бредшую мимо коляску, уселся в нее вместе со своим спрутом, взял вожжи в руки и погнал лошадей на Приморский бульвар.

Проезжая мимо танцевального зала, Матвеев вспомнил один эпизод, случившийся на последнем балу. Танцевали игровой танец в сто двадцать пар. Дирижировал балетмейстер Волгин. В числе замысловатых фигур устроили тройки. В первую тройку запряглись три красавицы: Донаурова, Шавинская и Петрова. Волгин взял шелковые ленты в руки, оглянул следовавшие за ним остальные тройки и хотел уже скомандовать «марш», но в это время кто-то закричал «остановитесь!». И когда все остановились, кричавший, указывая жестом на великолепную тройку Волгина, пригласил публику полюбоваться ее красотой.

Все взоры обратились на трех красавиц. Они же, гордые сознанием собственной красоты, но смущенные, ринулись вперед, увлекая Волгина, и зал под звуки музыки загремел аплодисментами...

На Приморском бульваре Матвеев остановился возле гастрономического погреба. Оттуда тянуло душистым воздухом, пахнущим финиками, орехами, апельсинами и ни с чем по вкусу не сравнимым оленьим сливочным маслом. Около погреба хлопотало с десятков спрутов, складывающих ящики с апельсинами.

Матвеев спустился в погреб и вскоре вышел оттуда, неся корзину со страусовыми яйцами. Усевшись в коляску, он продолжил путь.

Он хотел было свернуть на запущенную аллею между огромных запыленных кустов сирени, в конце которой стоял его дом, но передумал и направил лошадей к подъезду городского театра. Отпустив лошадей и оставив корзинку со страусовыми яйцами на поечение своего спрута, Матвеев прошел в зрительный зал.

Здесь не было ни нумерации, ни отдельных мест. Публика сидела на ступенях амфитеатра. Испокон вечный спор о том, что лучше в театре: удобство сидения или удобство общения, уже почти повсеместно решался в пользу удобства общения.

В тот день в театре выступал фокусник Петр Туманов. Его изящные фокусы с летающими картами очаровали публику. Туманов умудрялся бросать карты так, что они совершали круг от сцены до галерки и обратно. Закончил Туманов свое выступление знаменитым фокусом с золотыми рыбками.

По окончании представления восхищенный Матвеев подошел к Туманову и спросил, известен ли тому старинный топологический фокус, заключающийся в выворачивании наизнанку не снятой с плеч коротайки. Туманов ответил отрицательно, и Матвеев тут же принялся выворачивать наизнанку свою коротайку, но вдруг обнаружил, что совершенно забыл, как это делается. Он и так и эдак крутил коротайку, но ничего не выходило. Смущенный, Матвеев пообещал Туманову, что непременно поделится с ним секретом этого фокуса, когда его вспомнит, попрощался и пошел домой.

Пока спрут жарил на кухне яичницу из страусовых яиц, Матвеев размышлял над проблемой Аиральди. Половину его кабинета занимали модели аиральдовых многогранников. Это были вереницы раскрашенных кубиков, нанизанных на множество горизонтально натянутых нитей. Матвеев прохаживался возле моделей, передвигая кубики, пока наконец спрут не поставил яичницу на стол. Тогда Матвеев принялся за еду. Тем временем спрут подполз к моделям аиральдовых многогранников, взобрался на кресло и стал сдвигать шупальцами вереницы кубиков влево. Увидя это, Матвеев вспомнил одну особенность зрения спрутов. Глаз спрута как бы расщепляет изображение по двум направлениям — горизонтальному и вертикальному и фиксирует ширину предмета на всевозможных уровнях, но не его форму. Так, например, все треугольники с равными высотами и равными горизонтальными основаниями представляются спруту одинаковыми. Фигура, составленная из горизонтально расположенных полосок, не изменится для спрута, если полоски произвольно сдвинуть по горизонталям влево или вправо.

Матвеев почувствовал, что у него колотится сердце. Он встал

из-за стола и, не удержавшись от слабости на ногах, опустился на диван. Перед глазами все поплыло.

«Неужели это так? Неужели это правда? — думал он. — Похоже, очень похоже на правду! Да, действительно! Сомкнем и склеим у аиральдова многогранника положительные и отрицательные вершины, ребра, грани и т. д. Сохраним при этом размеры, которые фиксируются глазом п-мерного спрута. Тогда по циклам получившейся фигуры можно будет вычислить аиральдов инвариант!»

Матвеев поднялся с дивана, подошел к комоду и, найдя флакончик с успокоительным лекарством, осушил его сразу весь. Действие лекарства обнаружилось немедленно. Сердце перестало бешено стучать, и прошла физическая слабость. Матвеев смог теперь, сесть за стол и погрузиться в проверку своих предположений. Через час все было проверено. Сомнений не оставалось. Проблема Аиральди была решена!

В эту ночь Матвеев так и не смог заснуть. Он лежал на кровати и созерцал собственные грезы, наполненные мечущимися многогранниками Аиральди.

На следующий день, едва забрезжило, Матвеев был на ногах. Позавтракав половиной страусового яйца, он отправился к бывшему своему учителю Петру Михайловичу Кузьминскому.

Кузьминский жил на другом конце города в деревянном доме, позади которого находился запущенный парк с вековыми деревьями и такими дремучими дебрями, что в них можно было вести охоту на всякую лесную дичь. Подходя к дому Кузьминского, Матвеев услышал громкое щебетание птиц, доносившееся из растворенного окна. В прихожей он застал своего учителя, стоящего перед огромной клеткой из проволоки. В этой клетке было царство пернатых разных пород.

Увидя Матвеева, Кузьминский перестал бросать птицам зерна и проводил его в свой кабинет.

— Петр Михайлович, я вчера решил проблему Аиральди, — сказал Матвеев, садясь в кресло.

Кузьминский нахмурился.

— Чтобы решить проблему, которая никому не поддается уже триста лет, — сказал он, — нужно быть архигениальным математиком. У вас есть способности. Вы доказали это своими работами. Однако об архигениальности, по-моему, говорить еще преждевременно. Через день или два вы сами найдете свою ошибку.

— Я вас очень прошу меня выслушать.

— Хорошо. К десяти часам у меня будут Коля Синицын и Миша Мартино. Вы поговорите с ними. Если они с вами согласятся, то и я вас послушаю. А пока что не выпьете ли вы клюквенного кваса?

От кваса Матвеев не отказался. Утолив жажду одной круж-

кой кваса, он выпил еще другую для испытания капля за каплей его вкуса и аромата.

Когда через полчаса к Кузьминскому пришли Синицын и Мартино, Матвеев, волнуясь, стал объяснять им суть своего открытия и тут понял, что находится в затруднительном положении. Он мысленно уподобил его положению собаки, которая, как говорится, «все видит, все понимает, но сказать не может».

Матвеев не умел рассказать о своем открытии. Его не понимали. Ему стало казаться, что он не сможет ничего объяснить, если не покажет Синицыну и Мартино модели аиральдовых многогранников. Он хотел было уже прекратить объяснения, но тут Мартино сообразил, в чем дело. Вскоре и до Синицына дошел смысл объяснений Матвеева...

Вечером того же дня Матвеев, возвращаясь от Кузьминского домой, впервые в жизни позволил себе громко петь на улице. Прохожие с удивлением оборачивались, слыша грустные слова:

И с тех пор в хуторке
Уж никто не живет,
Лишь один соловей
Громко песни поет, —

которые пел хриплый от ликования голос. В кармане у Матвеева лежало рекомендательное письмо Кузьминского к ученым Математического городка.

Аэродром располагался в овраге, тянувшемся от леса до орехового питомника. Сотни свернутых парусов толпились в этом овраге. В глубину оврага вели три дубовые лестницы.

Рано утром, в воскресенье, ровно через неделю после встречи с Кузьминским, Матвеев в обществе своего спрута пришел на аэродром. Взобравшись на борт двухмачтового воздушного корабля, он открыл вентили гелиевых баллонов, и трюм корабля наполнился легким газом. Корабль взлетел. Тогда Матвеев расправил паруса. Тотчас поток нейтрино запрягся в белоснежные ткани, и корабль помчался над морем быстрее ветра.

Дорога длиной в десять тысяч километров заняла двое суток. Матвеев никогда не летал в Математический городок. Поэтому теперь, вместо того чтобы трудиться, он смотрел в распахнутые окна корабельной каюты. Корабль летел так низко, что Матвеев легко различал мельчайшие подробности ландшафта. Пролетая над морем, Матвеев видел дельфинов в его прозрачных водах. Он созерцал коров, пасущихся на шелковистых лугах. А на лесных полянах математик замечал зайцев и барсуков.

Дважды корабль пролетал над городами. Крыши городских домов, крытые искусственной золоченой соломой, ослепительно сверкали огненными бликами в лучах солнца.

В тот час, когда вдаль показался Математический городок, Матвеев был занят кормлением своего спрута живой рыбой. Он тут же встал за штурвал и спустя несколько минут посадил корабль на водную гладь большого затененного пруда, служившего аэродромом. Усевшись в одну из карет, стоявших возле пруда, Матвеев тронул вожжи, и лошади побежали по грунтовой дороге, покрытой тонкой чистой пылью. Через час карета въехала на улицу, где находились заезжие дома. В одном из них, свободном от постояльцев, Матвеев и обосновался. До позднего вечера, сидя перед силикатной свечой, на которую для смягчения света был надет стеклянный глобус с водой, математик штудировал учебник санскрита. Когда свеча сгорела до половины, Матвеев ее задул и лег спать.

Проснулся он в десятом часу утра и тотчас поехал к знаменитому Буонфиниоли. У Буонфиниоли Матвеев застал еще двух математиков — Карла Кольбица и Людмилу Михайловну Гореву, поразившую Матвеева своей в те годы еще необыкновенной одеждой: Горева была облачена в облако серебристого ионизированного газа, удерживающегося около ее прекрасного тела благодаря наэлектризованным поясам и браслетам.

Буонфиниоли усадил Матвеева рядом с собою в кресло и слушал его с закрытыми глазами. Когда Матвеев окончил свой рассказ, Буонфиниоли вышел в другую комнату и погрузился в математические вычисления. Тем временем между Матвеевым, Кольбицем и Горевой завязался разговор на санскрите (попоскольку Кольбиц санскрит обожал).

— Неужели проблема Аиральди вами решена! — восклицал Кольбиц.

— При существенной помощи моего спрута.

— Мы еще многому должны учиться у животных, — задумчиво сказала Горева.

Матвеев с радостью подхватил эту идею. Сдерживая улыбку, он воскликнул:

— Конечно! Мы должны у них учиться мудрости!

— И мудрости и любви. Я недавно читала, что любовь животных бывает иногда сильнее человеческой любви. Они умирают, лишаясь своего возлюбленного.

— Но вы не хотите же, чтобы и люди умирали в подобных случаях? — заметил Кольбиц.

— Нет. Однако я считаю, что любовь должна быть более сильной, чем это обычно бывает. — Посмотрев в окно, выходящее на море, Горева с некоторой рассеянностью прибавила, теперь уже по-русски: — Там можно взять лодку.

Матвеев почувствовал молниеносный удар любви. С трудом подавляя застенчивость, он сказал, правда, несколько принужденным тоном:

— Может быть, покатаемся на лодке после математических занятий?

^к Горева, улыбнувшись, кивнула головой и повела речь о проблеме Аиральди...

Через час явился Буонфиниоли. Теперь на нем был зеленый зонтик, защищающий его больные глаза от солнечного света. Он остановился у дверей и заговорил об итогах своих вычислений.

— Это изумительно! — обратился Буонфиниоли к Матвееву. — Проблема Аиральди действительно вами решена! Воспользовавшись вашими приемами, я уже рассчитал одну из возможных трасс полета Земли к другой звезде. Эта трасса длиной в три миллиона световых лет имеет форму спиралеобразной тридцатизвенной ломаной. Движение по ней по собственному времени Земли пятьдесят четыре минуты.

— Неужели всего пятьдесят четыре минуты? Но ведь в таком случае Земля подвергнется ужасным перегрузкам. Ей же придется двигаться с гигантскими ускорениями, — содрогнулась Горева.

— Вы ошибаетесь. Земля не подвергнется никаким перегрузкам, хотя действительно будет двигаться с гигантскими ускорениями. Эти ускорения вызовет переменное гравитационное поле. Оно подействует одновременно и равномерно на все атомы земного шара. Его свойства являются такими, что никаких внутренних напряжений не возникнет. Вспомните, что когда под действием гравитационного поля человек падает вместе с лифтом, то внутри лифта он невесом. Точно так же и во время полета к намеченной звезде в туманности Андромеды земляне не испытают никаких нагрузок сверх тех, которые создаются гравитационным полем самой Земли.

— Может быть, я чего-то не понимаю, — сказала Горева, — но мне кажется, что Земле понадобится лететь в миллионы раз быстрее света, чтобы путь длиной в три миллиона световых лет пройти за пятьдесят четыре минуты.

— Ничего подобного, — возразил Буонфиниоли. — Земле не придется лететь быстрее света. Для наблюдателя, который остался бы в солнечной системе, Земля будет двигаться не пятьдесят четыре минуты, а свыше трех миллионов лет. А для наблюдателя на Земле (как следует из теории относительности) длины звеньев трассы полета сократятся в миллиарды раз, поскольку вдоль них Земля полетит почти со скоростью света. Так что Земле не придется превысить скорость света, чтобы долететь до туманности Андромеды за пятьдесят четыре минуты.

— А почему надо лететь так далеко? — спросил Кольбиц.

— Я сейчас объясню, — сказал Буонфиниоли и, набросав на бумаге контуры трех аиральдовых многогранников, принялся объяснять Кольбицу, что перемещать Землю возможно не по любой трассе, а лишь по той, которая удовлетворяет ряду условий и, между прочим, проходит вблизи достаточно большого

числа черных дыр, а самая короткая из таких трасс оканчивается в туманности Андромеды.

Во время этих объяснений Матвеев делал что-то непонятное со своей коротайкой, и, когда Буонфиниоли кончил говорить, Матвеев обратился к нему с вопросом:

— Простите, не помните ли вы, как можно вывернуть наизнанку коротайку, не снимая ее с плеч?

Буонфиниоли этот фокус помнил и показал его Матвееву. Затем Матвеев попрощался, посчитав, что ему незачем долее беспокоить хозяина. Попрощалась и Горева с Буонфиниоли и оставшимся у него для обсуждения какого-то вопроса Кольбицем.

Выйдя из дому, Матвеев и Горева пошли на море.

Они отвязали одну из лодок, причаленных к каменным сваям, и поплыли по чистым, прозрачным волнам. Сидя на корме лодки, Матвеев смотрел, как Горева гребет, замечая, что она гребет профессионально: легко и неустойчиво.

— Вы спортсменка? — робко спросил Матвеев.

— Если хотите знать, я чемпионка мира по фехтованию три тысячи девятьсот семьдесят третьего года.

— Я завидую спортсменам. У них много воли. Они решительны и очень красивы, — сказал Матвеев, глядя на Гореву с восхищением.

Между тем лодка обогнула высокий мыс, и стал виден лепящийся на нем у самого обрыва заезжий домик. Матвеев предложил здесь остановиться.

В заезжем домике нашелся котелок, а в погребке обнаружись макароны, соль и оливковое масло. Матвеев собрал с грядки десяток помидоров. Спрут, живший на чердаке заезжего дома, наловил в море рыбы и принес воды из колодца.

Набрали в котелок воды, поставили котелок на угли, развели огонь.

...В тот вечер Матвеев впервые в жизни поцеловал женщину. Произошло это так. Провожая Гореву, он все время молчал, накапливая в душе необходимое для исполнения своего замысла мужество. Наконец, призвав всю имевшуюся у него волю, он произнес хриплым от волнения голосом, весьма удивив этим Гореву:

— Разрешите мне вас поцеловать. Пожалуйста. Я всегда буду гордиться, что поцеловал такую красивую женщину. Можно?

Горева, казалось, была смущена и растеряна, но кивнула головой. Из груди Матвеева вырвалось глупое восклицание. Он крепко обнял Гореву и поцеловал ее в губы.

— Вы меня смутили вашей просьбой, — тихо сказала Горева. — Я замужем и у меня двое детей.

...Через месяц Матвеев улетел на воздушном корабле в N-ск.

Решив проблему Аиральди, Матвеев прожил затем не больше года. Вскоре по возвращении в N-ск, он заболел. Медицина оказалась бессильна против болезни. Пятого сентября 3977 года Василий Дмитриевич Матвеев находился при смерти.

В тот день доктор ушел от больного, поскольку ему незачем было долее тут быть, и у постели Матвеева остались ученик Матвеева Алеша и другой, уже взрослый его ученик — Михаил.

Был поздний вечер. Комната слабо освещалась маленькой свечой с зеленым абажуром. Матвеев лежал и тяжело, прерывисто дышал. Чтобы отвлечься от тягостных чувств, Алеша заговорил о песне, слышанной им от Матвеева.

— «За рекой на горе лес зеленый шумит». Раз лес шумит, а не гудит, значит, он был лиственным, — говорил Алеша. — Ведь хвойный лес не шумит, а гудит. Один берег реки, левый, низкий, а тот берег, на котором стоит хуторок, правый. Он высокий. А через реку в этом месте был перекинут мост.

— Откуда ты знаешь, что через реку был перекинут мост? — спросил Михаил.

— Из строк «Опоздился купец на дороге большой. Он свернул ночевать ко вдове молодой». Слова «на дороге большой» означают, что действительно там была большая дорога, или, по выражению Василия Дмитриевича, транспортная артерия. Но река — это тоже транспортная артерия, а две транспортные артерии располагать параллельно невыгодно.

Василий Дмитриевич рассказывал мне, что на картах тех областей России середины XIX века, где употреблялось слово «хутор», не обозначены большие дороги, которые вплотную приближались бы к рекам, но не пересекали их. Так что, вероятно, «большая дорога» пролежала ортогонально к реке и там был мост.

— Но могла быть и переправа...

— Да, правильно. Я позабыл. Василий Дмитриевич говорил, что там был мост или переправа, — сказал Алеша смущенным тоном и вытер рукавом пот со лба. В комнате было душно. Алеша встал с дивана и вышел во двор. Все спало. Звезды сияли. Алеша подивился их множеству, надышался воздухом ночи и направился уже обратно в комнату, как вдруг поскользнулся и упал на что-то черное, извивающееся, склизкое. С ужасом вскочил Алеша на ноги и, лишь прибежав в комнату, сообразил, что он впотьмах наткнулся на ползавшего по двору спрута. Посмотрев на Михаила, Алеша обомлел. Тот сидел за столом еле живой, совершенно зеленый.

— Что с тобой? Тебя что-то напугало? — хрипло спросил Алеша.

— Нет.

— Отчего же ты такой зеленый?

Михаил вздрогнул и провел ладонью по лицу.

— Постой! — воскликнул он. — И ты зеленый!

— Да ну? — Алеша тоже провел рукой по щеке, но сразу сообразил: на их лицах был свет от зеленого абажура силикатной свечи.

Они подошли к Матвееву. Он что-то прошептал, и дыхание его пресеклось.

Утром у подъезда раздался топот лошадей и грохот подкашившей кареты. Хлопнула дверка, и в комнату вошла, почти вбежала, молодая женщина. Она назвалась Людмилой Михайловной Горевой. Она спросила:

— Какие были последние слова Матвеева?

— Людмила Михайловна, его последними словами, — отвечал Михаил, — была пословица: «На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь».

— Внесите сюда цветы! — крикнула Горева, и двое ее детей — мальчик и девочка — внесли в комнату целый сноп великолепных цветов.

Ныне не много осталось стариков, помнящих удивительные минуты перелета Земли в туманность Андромеды. Один из них, Николай Андреевич Хлопонин, в принадлежащих его перу «Исторических очерках и воспоминаниях» так описывает свои впечатления об этом самом грандиозном космическом предприятии человечества.

«В тот день в Н-ске, — пишет Хлопонин, — к двум часам дня Театральная площадь заполнилась народом. Толпа с замедлением сердца следила за солнечным диском. Точное время старта Земли не было известно. Его ждали с минуты на минуту.

Я, тогда еще совсем малыш, сидел на цепях, окружавших памятник, расположенный у выхода Театральной площади к Приморскому бульвару.

Со мной был отец. Он объяснял мне что-то, чего я не понимал, про эффект Доплера, в силу которого солнечный свет, переместившись в инфракрасную часть спектра, станет невидимым, когда Земля двинется в путь. Я слушал отца, раскачиваясь на цепях памятника, как на качелях.

Вдруг мне показалось, что тень, отбрасываемая памятником, почернела и качнулась в сторону. Я поднял глаза и испугался. Все, что было на площади, — люди, лошади, кареты, — все сделалось иссиня-черным. Люди, похожие теперь на негров, все до единого смотрели на солнце.

Я повернул голову и тоже стал смотреть на солнце. Оно больше не слепило глаза, превратившись в медленно плывущий по небу комок ярко-фиолетового пламени. Теперь оно было не круглым, а сильно вытянутым. Через минуту солнце стало синим, а еще через минуту ярко-зеленым (последовательно принимая все цвета спектра). Проплывая над городским театром,

светило на мгновение снова стало золотым, потом оранжевым, потом вишнево-красным и наконец померкло.

Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел мириады ослепительных звезд, мчащихся по черному небу. Они скапливались неправильными пятнами в разных частях небосвода, образуя пересекающие небо арки, которые периодически рассыпались и перестраивались. Я почувствовал прохладу.

— Папа, скажи, папа, это все люди делают? — спросил я отца, и когда отец ответил мне утвердительно, я изумился могуществу человеческого рода.

Четыре раза в небе появлялись маленькие, узкие, как черточки, солнца и, поиграв всеми цветами радуги, исчезали вдали. Потом наступила полная тьма. Звезды скрылись из виду. Лишь несколько неясных бледных пятен металось по невидимому небу. Так прошло около получаса. Затем одно из белесых пятен посветлело, расширилось и рассыпалось по небу мириадами звезд. Из-за горизонта выплыло пылающее фиолетовое солнце. Оно проплыло над площадью и повисло у декоративной колоннады, вспыхнув сначала синим пламенем, а затем превратилось в ослепительно белый диск, каким и положено быть солнцу.

— Это не наше старое солнце. Это другое солнце, — сказал мне отец. — Наше старое солнце взорвалось миллион лет тому назад.

Я встал на ноги и осмотрелся. Над площадью вился легкий туман. От земли, травы и кустов бузины подымались испарения. Собравшийся на площади народ стал понемногу растекаться.

Я оборотился лицом к памятнику, отлично мне известному. Это была бронзовая статуя бородатого мужчины, опирающегося рукой о спину бронзового спрута. На подножии памятника поблескивали металлические слова:

«Математик Василий Дмитриевич Матвеев».

— Открытие этого человека сделало возможным перелет Земли к другому солнцу, — сказал мне отец.

— Он жил в седой древности, — повторил я где-то слышанную фразу.

— Да, это было в седой древности, — сказал отец. — Седой древности теперь, но бывшей когда-то златокудрой молодостью.

ШАХИНЯ ИСКУССТВА

Солнце перевалило за полдень, когда в знойном мареве встали сияющие минареты и дворцы старинной столицы Хорезма. Они словно парили в воздухе — изумительно стройные, легкие, невесомые. То было волшебное видение, город из восточной сказки. Да, он был лучше, гораздо лучше, чем рисовался в моем ограниченном воображении. Ничего не скажешь: эти парни из Академии архитектуры Востока не зря едят свой хлеб. Как и мой друг Мухтар, один из инициаторов возрождения былой красоты Куня-Ургенча.

Поскольку в Куня-Ургенч я попал впервые, пришлось изрядно поработать языком, спрашивая людей о местонахождении института, где подвизался Мухтар. Центр оказался на окраине Куня-Ургенча, в густом парке, в котором тихо шелестели водометы и сонно дремали финиковые пальмы — северный вид, выведенный ботаниками к столетию Октября.

Я остановился, любуясь зданием, похожим на дворец какого-нибудь сельджуцкого султана. У входа на скамье сидела миловидная девушка в белом.

— Где тут Институт реанимации? — спросил я.

— Он перед вами, — удивленно сказала девушка, едва взглянув на приезжего чудака.

— Мне бы Мухтара.

Она широко раскрыла красивые карие глаза.

— Доктора Рахманова?

По интонации, с какой она произнесла это, я понял: Мухтар для нее не просто «доктор Рахманов».

Улыбнувшись мне, она встала:

— Идемте. Он на месте.

Миновав длинный коридор, мы свернули налево, в полукруглый зал. Девушка показала на тисненную золотом табличку «Главный врач» и, еще раз пристально взглянув на меня, ушла.

Я приблизился к двери с табличкой, постучал.

— Войдите, войдите! — отозвался знакомый голос.

Я бесшумно открыл дверь.

Сидя за столом в углу просторной комнаты, Мухтар, не поднимая головы, копался в грудe микролент.

— Разрешите?

Тут он вскинул глаза — и взвился над столом. Свалив по пути несколько книг, бросился ко мне.

— Так это ты?! Эх, заberi тебя шайтан!.. — Мухтар обнял меня, похлопал по спине.

Пока мы здоровались и расспрашивали друг друга, я незаметно разглядывал друга и был неприятно поражен: раньше его пышущее здоровьем лицо напоминало румяный гранат, а теперь казалось болезненным. Широкий лоб, преждевременные морщины под глазами делали Мухтара похожим на старого ученого. И я припомнил разговоры московских коллег о том, что «Рахманов ведет новую линию в реанимационной биологии и сколотил группу талантливых энтузиастов». Потом я подумал, что много сил отнимает у Мухтара и его вторая страсть — искусствование.

Имея в виду мои видеописьма, где я высказывал желание лично ознакомиться с красотами возрожденного Хорезма X—XI веков, Мухтар спросил:

— Прибыл перелистать странички истории, так, что ли?

— Ты угадал, яшули, — усмехнулся я.

— Надолго?

— Месяц-полтора, не больше.

— Жаль, что мало, — вздохнул он. — Будешь жить у меня, друг историк.

— Согласен и благодарю... А как у тебя дела?

— Все о'кэй, — невесело пошутил Мухтар. — Все по-старому.

— Неправда. Ты кое-что скрыл. Например, ты нашел невесту.

— Кто сказал? — Мухтар отвел взгляд.

— Она сама.

— Смотри-ка, да ты прямо сыщик. От тебя ничто не ускользнуло.

Он рассмеялся. На мгновение его выразительные глаза оживились.

Тут без стука вошла Айсенем с кипой микролент в руках.

— Это мой друг, — ласково сказал ей Мухтар. — Но я вижу, вы успели познакомиться. — Лукавый взгляд в мою сторону. — Оказывается, он все выпытал.

Айсенем чуть зарделась от смущения.

— Я ничего не говорила, — возразила она с милой улыбкой.

— Этот человек умеет понимать и несказанное. — Мухтар подмигнул мне.

Айсенем молча прошла к столу и, свалив на него ворох микролент, ушла.

Я горячо пожал Мухтару руку.

— Поздравляю! Очень хорошая девушка.

— Хорошая-то хорошая, да немного ревнивая.

— Как так?! — удивился я.

Мухтар молчал, о чем-то размышляя. Я истолковал это по-своему:

— Значит, ее подозрения обоснованны?

— Да не совсем... — промямлил он.

— Как же тогда понимать тебя?

Мухтар снова промолчал. И я понял: у него есть секрет, который он не хочет открыть.

Вскоре мы пришли к коттеджу Мухтара. Дом стоял на берегу широкой реки — ответвлении Казахской Оби, как называли географы новый водный поток, повернутый в Закаспий. Вокруг коттеджа был разбит сад. На газонах рдели экзотические цветы.

— А вот там, — и Мухтар показал на уютный домик, ослепительно белый на фоне леса, росшего в излучине реки, — живет Айсенем.

— Выходит, невеста по соседству? — пошутил я.

Мухтар улыбнулся и нажал кнопку на панели входа. Мягко раздвинулись створки, и мы вошли в холл, затем в большую комнату, из которой еще одна дверь вела, очевидно, в смежную. Я пытался открыть эту дверь, но она не поддавалась. Автоматика, что ли, заблокирована?

— А ну открывай, Сезам, — обратился я к Мухтару. Тот выжидательно наблюдал за моими действиями. — Или там у тебя ханская казна?

Мухтар принужденно усмехнулся:

— Пошли-ка лучше на кухню. Вместе плов сварим.

«Все ясно, друг Мухтар, — подумал я. — Ты что-то скрываешь».

Придя в кухню, мы принялись за дело. Я начал чистить овощи, а Мухтар — рубить баранину. Спустя несколько времени я с наигранной обидой сказал:

— Говорят, у настоящих друзей нет секретов друг от друга. А ты что-то скрываешь, верно?

Тоном, каким успокаивают малое дитя, Мухтар ответил:

— Никакой особенной тайны нет. Есть проблема, над которой потею не один год.

— Что за проблема?

— Характер проблемы определяют результаты, — уклончиво сказал Мухтар. — Они еще неясны... В общем, за дверью — моя личная лаборатория. Конечно, я оборудовал ее с разрешения ученого совета. Так надо было.

Я был крайне удивлен.

— Ну что ж... Если так, я рад. И все же, надеюсь, ты скажешь мне.

— В любознательности ты перещеголял даже Айсенем, — улыбнулся Мухтар.

— А что... она тоже?

— Надоедала похуже тебя. Я ведь говорил, что она ревни-

ва?.. В одну из ночей она пришла ко мне — как раз в момент «экспериментум круцис» *. Автомат двери, как всегда, был заблокирован мною. Когда я приоткрыл створку — Айсенем едва не прошмыгнула у меня под рукой. Пришлось остановить... Она возмущалась:

— Что там у тебя? Я хочу взглянуть!

— Да ничего интересного.

— Так ли, милый? Тогда открой.

— Нет, дорогая Айсенем.

— А?!

— Очень прошу, не сердись на меня. Там лишь приборы. И больше ничего.

— Которые нельзя показать любимой девушке? — насмешливо протянула Айсенем. — Ложь!.. — И ее карие глаза засверкали гневом. — Кого ты скрываешь здесь?

От ее кулачков, которыми она яростно колотила в дверь, котедж заходил ходуном.

— Ах, даже так? — сказал я. — Не пустил невесту?! Ну, знаешь...

— Да разве женщины способны хранить секреты? — Мухтар сделал вид, что страшно рассердился.

И я оставил его в покое.

Плов сварился, мы накрыли круглый столик в большой комнате и с аппетитом поели.

Когда я убирал посуду, мой взгляд упал на дутар, прислоненный к этажерке с книгами. Я взял инструмент и протянул его Мухтару:

— Ну-ка, друг, сыграй что-нибудь из того, что исполнял в студенческие годы.

Мухтар как-то по-особенному взглянул на меня:

— Лучше я сыграю мелодию, которую ты никогда не слышал.

Он настроил дутар и начал играть. Сперва мелодия звучала глуховато. Потом, набирая темп, стала разливаться полноводной рекой. Журчащие потоки звуков хватили меня за сердце, а порой ласково-печально омывали его. Минорный оттенок мелодии нарастал, ширился, зазвенели тоска и плач, безысходная грусть... Они рождали во мне волну новых, неизведанных ранее эмоций. Мухтар с закрытыми глазами раскачивался в такт мелодии, словно заклинатель духов. Его пальцы мелькали с неуловимой быстротой, свидетельствуя о незаурядном мастерстве исполнителя. Все мощнее, полновучнее лилась мелодия... Не помню, сколько она длилась, — я забыл все на свете. И даже не заметил, как умолкли струны.

— Замечательная музыка! — сказал я, с трудом вернувшись к реальности. — Кто ее написал? У кого ты научился?

* Решающий опыт (латин.).

Мухтар неопределенно усмехнулся:

— У одного здешнего аксакала. Это старинная мелодия Хорезма. Она звучала еще во времена сельджукских султанов и хорезмшахов. Говорят, она состоит из семидесяти двух мотивов. То, что играл я, — лишь кусочек, дошедший до нас.

Он немного помолчал и вдруг сказал:

— Приоткрою тебе кусочек и моей тайны... Если проблема получит разрешение — могут вновь родиться на свет потерянные мелодии Хорезма.

— Ты меня запутал, — признался я. — По какой же отрасли знания твоя работа? Медицина или музыка?

— Все вместе... — тонко улыбнулся Мухтар.

Он встал с диванчика, опять странно поглядел на меня и сказал:

— В общем, слушай... Как историк и знаток философии, ты, наверно, согласен с постулатом: «Вещи, вещество не исчезают, а переходят из одной формы в другую».

— Да, примерно так это звучит.

— Однако долой абстрактные дефиниции! Проще говоря, возьмем воду. Ее можно превратить в кислород и водород, то есть перевести в невидимую и неосязаемую руками человека форму. При желании воде можно придать первоначальный вид — жидкого, так сказать, полимера. Физика давно это умеет... А я надеюсь, что и биология станет вровень с физикой.

— Утопия! — Я сделал вид, что не поверил.

Мухтар хмыкнул и ушел в лабораторию. Спустя несколько минут он вернулся. В руках он держал полусферический сосуд.

— Эта голубая жидкость оживляет мертвые клетки организма.

— Эликсир жизни, так и не найденный алхимиками? — ввернул я, пытаюсь шуткой скрыть смущение.

— Нет, почему же? — холодно отпарировал задетый Мухтар. — Мы назвали ее сигма-полимером. Больше ничего не скажу. Пока достаточно! Иди спать. Я еще поработаю.

И он скрылся за дверью лаборатории. Тихо щелкнуло заблокированное реле автомата. Гм, прямо перед самым моим носом...

Следующий день был выходным.

Рано утром Мухтар пригласил в дом Айсенем. Когда я вышел ей навстречу, Мухтар сказал:

— Прошу тебя, Айсенем, сопроводи гостя. Он хочет полюбоваться возрожденным Куня-Ургенчем.

— А разве ты не идешь с нами?!

Он несколько смущенно пробормотал:

— Не могу, милая. Много работы. Пойми меня правильно.

Айсенем подозрительно смотрела на него, собираясь что-то сказать, но сдержалась.

— Что ж, я готова, — сухо произнесла девушка.

И мы отправились в путь.

...Наконец-то сбылась моя давняя мечта! Вот я стою здесь, и передо мной всемирно известный Куня-Ургенчский минарет. Или вот изумительный мавзолей Торебег Ханум. Старинные часовни, дворцы, здания, возвращенные из небытия руками зодчих начала XXI века, в торжественном спокойствии окружали просторную площадь. Великолепные орнаменты, украшавшие их, казались мне песней без слов — гимном тем мастерам из народа, которые в глухую пору средневековья сумели создать подобные шедевры... Не видно ни конца, ни края этому волшебному городу, где можно без конца любоваться куполами небесно-голубого цвета, переливами красок, впитывать каменную симфонию минаретов и дворцов. Как прекрасен купол Текеш-шаха! А величественный Караван-сарай? В моем сердце медленно поднялась волна чувства, восхищение силой человеческого гения.

Почти час простоял я перед минаретом — не мог отвести от него глаз.

— Наверно, самый высокий в Азии? — спросил я Айсенем.

— Во всем мире, — поправила она. — Особенно пришлось потрудиться строителям над его верхней частью. Ведь войска Чингисхана разрушили большую часть вершины.

Помолчав, Айсенем без всякого перехода сказала:

— Мухтар очень странный человек... Первые дни, когда он приехал сюда, вообще не выходил из этих мавзолеев и минарета. Можно было подумать, что он стал жертвой каких-то древних чар. Ночами он где-то пропадал... я ревновала, — смущенно сказала девушка. — Однажды его не было целые сутки. «Может, заболел?» — подумала я. И пошла к нему домой. Там его не оказалось. Я бросилась на поиски, дала знать сотрудникам института... Четыре мини-вертолета искали Мухтара и наконец обнаружили его на окраине зеленого городка Кырк Гыз. Мухтар был без сознания. Много дней пролежал он в больнице — не спадал жар. И что удивительно: к груди он прижимал какой-то прибор с полой трубкой. Никто не мог оторвать его, как ни старались. Очень крепко держал Мухтар... Не одну ночь просидела я у изголовья больного. Временами Мухтар бредил: «Найду! Где бы ты ни таилась — найду!..»

...Я с любопытством слушал Айсенем. И вдруг понял: Мухтар тогда отнюдь не бредил!

— На следующий день он пришел в себя, — продолжала Айсенем, — и я спросила: «Что было с тобой?» — «Заблудился в песках», — коротко сказал он. «А как очутился в Кырк Гызе?» Мухтар не ответил. Как бы то ни было, дней через пять он выздоровел и встал на ноги. Однако ночные вылазки

не оставил... Так прошло еще три года. Ой-ля-ля! — спохватилась Айсенем. — Этак мы не вернемся и к полуночи. Идемте дальше.

Мы направились к мавзолею Торебег Ханум. Там, как я знал, были изумительные орнаменты на потолке — один из редчайших образцов искусства средневековья. И я спешил лично убедиться в этом.

Когда мы вступили в мавзолей, послышались звуки дутара.

На мраморной плите, лежавшей в глубине полутемного помещения, сидел старик. Он будто возник передо мной из сказок Шехрезады: высокий, прямой, с лицом отшельника и совершенно белой бородой, закрывавшей грудь. Запрокинув голову к куполу мавзолея и раскачиваясь, он играл на дутаре. На сухом, тонком лице старика застыло блаженное выражение.

И тут меня словно током пронзило: да это же вчерашняя мелодия! Только старик исполнял ее много искуснее Мухтара. И я понял, у кого мой друг научился играть старинную мелодию Хорезма.

Потом я поднял глаза к куполу — и был сражен. Искусство, с которым неведомый гений орнаментировал свод, казалось немыслимым для простого смертного. Прошло столько веков, а узоры орнамента, похожие на цветущий сад, и поныне сверкали первозданной чистотой и свежестью красок. В них, чудилось мне, живет сокровенная красота женской души, витает сказочная птица безграничной мечты... А мелодия словно истекала из лабиринтов орнамента — в поисках нетленной красоты, что жила в ней самой.

Мелодия тихо угасла — старик открыл глаза.

Мы почтительно поздоровались с ним. Вежливо ответив на наше приветствие, он сказал с улыбкой:

— Наверно, подумали: вот сумасшедший старик. В полумраке наигрывает самому себе на дутаре.

— Нет, яшули, — с достоинством возразил я. — Гениальная мелодия — а это так! — свидетельствует против вас.

— Спасибо, сынок. Но если бы на моем месте сидел более искусный музыкант...

— О нет, яшули! — твердо сказал я. — Велико и ваше искусство.

— И небо Хорезма свидетель тому, — поддержала меня Айсенем.

Старик был доволен. И все же, погладив бороду, заметил:

— Разве это искусство, доченька? Вот в старину эту мелодию играла Рухсар-бану, и птицы слетали с неба, садились на колок ее дутара.

— Рухсар-бану? — заинтересовала я. — Кто такая?

— Вы ничего не слышали о ней?!

Я смущенно молчал.

Старик важно кивнул головой и пригласил нас сесть.

— В славном Хорезме некогда жил непревзойденный музыкант, — начал он, взяв в горсть конец своей великолепной бороды. — Не было у него соперника в музыке, как не было и соперницы в красоте.

Известно, что тогда в Хорезмском оазисе процветало сильное государство, а Ургенч превосходил многолюдием иные города и столицы Востока. Со всего света привозили в него товары для продажи. Купцы Ургенча были самыми горластыми: они кричали на базарах так громко, что приводили в неистовство даже верблюдов.

Хорезмшах, правивший во времена Рухсар-бану, безмерно кичился своим могуществом, важничал и пыжился, как жирный индюк в пору брачных церемоний. А в сердце его постоянно гнезвился страх: шах боялся потерять власть и престол. Однажды он пригласил в свои покои визиря Мехдуны и пожаловался:

— Что-то в последнее время меня не радуют пиршества. Мрачная туча повисла в моем сердце... Посему слушай: сегодняшнее празднество распусти пораньше. Сам останься, будет особый разговор.

— Повеление солнца Хорезма — закон для меня, — сказал визирь и, пятясь задом, вышел из покоев.

Вечером празднество началось, как всегда, весело. Позолоченные стены зала содрогались от гомона подвыпивших придворных и гостей. Самого шаха на пиру еще не было, и гуляки, пользуясь этим, цедили вино и веселились вовсю. Те, у кого на бороде густо пробивалась седина, укрываясь в халаты, жадно следили за танцовщицами, а при случае тайком гладили их по локонам и бедрам.

Вдруг звонкий, как бурная мелодия, голос возвестил:

— Властелин мира, его величество шах Хорезма идет!

Веселье мгновенно стихло. Придворные, словно стая жаворонков, слетевшаяся на гумно, с шумом покинули свои места и, склонив головы, замерли в поклоне.

Отворилась дверь с золотой цепью — вступил хорезмшах. Он величественно проследовал к трону. Лицо шаха было сумрачным, что говорило о каких-то заботах, угнетавших властелина мира.

Хорезмшах воссел на трон, и веселье возобновилось.

Крепко задумавшись, шах все больше мрачнел и даже не слушал сладостно-пьянящую музыку, не видел красоту танцев прелестных девушек.

Заметив плохое настроение правителя, придворные и гости потихоньку исчезали. Вскоре дворец окутала мертвая тишина. Хорезмшах и Мехдуны остались вдвоем. Тогда шах облегченно вздохнул и заговорщическим тоном произнес:

— В моей казне, Мехдуны, много золота, рубинов, серебра и кораллов, собранных на берегах полуденного моря. А мне

нужны сейчас лишь два комплекта одежды каландаров. Сумеешь достать?

Визирь молча наклонил голову и ушел. Вернулся он очень быстро, неся в руках одежду нищих.

— Да простит, великий шах, мое любопытство, если я спрошу: зачем властелину мира одежда каландаров?

Шах тонко усмехнулся и объяснил Мехдуны свои намерения:

— Видишь ли, визирь, я не особенно верю твоим сыщикам. Словно бродячие собаки, рыскают они среди моих подданных, а толку мало. Я сам хочу услышать, что говорит мой народ. Подобно Гарун аль Рашиду, я желаю лично видеть, как они живут и что делают. Поэтому сегодня ночью мы с тобой превратимся в нищих и совершим прогулку по Ургенчу. В этом городе, как тебе известно, жизнь кипит и ночью. Послушаем, о чем судачат на улицах и в пристанищах каландаров. И подобным образом выявим врагов нашего престола.

— Великий шах превзошел в мудрости самого Гарун аль Рашида! — подобострастно сказал Мехдуны и, склонившись в поклоне, спрятал от шаха кривую ухмылку сомнения.

Вскоре на освещенных фонарями улицах Ургенча появились двое пеших спутников. Один был высокого роста, широкоплечий здоровый мужчина, другой же — среднего роста, худой и тонкий, качающийся под ветром, словно ветка ивы. Он казался старше первого лет на десять, но даже слепой мог бы заметить: большую власть имеет здоровый мужчина.

Путники внимательно прислушивались к разговорам людей в караван-сараях, на улицах, а если кто-нибудь обращал на них внимание, делали вид, что они просто идут своей дорогой, ничего не видя и не слыша.

На одной из оживленных улиц худой «каландар», забыв о конспирации, прогнусил:

— О солнце Хорезма, нельзя ли идти потише? Я изнемогаю.

Слова расслышали гуляки, стоявшие под фонарем и праздно болтающие о том о сем.

— О аллах, правоверные! Вы посмотрите только, — сказал своим приятелям один из них. — На обоих рваные шапки и тряпье на теле, жалкая посуда из тыквы на боку, а худой величает приятеля-громилу солнцем Хорезма.

— Что тут особенного? — равнодушно заметил его сосед, позевывая. — Сказано ведь: «Нищие всегда хотят стать шахами».

Гуляки дружно расхохотались.

Так, прохаживаясь по улицам Ургенча, визирь и шах неожиданно встретили настоящих каландаров. По-видимому, один из них был слепой, ибо второй вел его как поводырь. Слепой каландар вполголоса напевал очень приятную мелодию.

— Эй, правоверные! — окликнул их хорезмшах. — Откуда и куда идете?

Слепой перестал петь и сделал вид, что слушает. Потом тихо спросил поводыря:

— Кто такие?

Поводырь был весьма красивым юнцом лет шестнадцати. Когда он ответил, что перед ними такие же нищие, слепой успокоился и спросил путников:

— А вы, влюбленные в бога рабы, не на веселье каландаров идете? Тогда шагайте с нами.

...Спустя полчаса вся компания достигла окраины столицы, где находилось каландар-ханэ. Едва путники во главе с поводырем вошли в ханэ, изрядно захмелевшие каландары подняли радостный шум:

— Сто лет жизни великому музыканту, славящему аллаха!

— Пусть искусные руки не знают усталости!

— Да подарит аллах прозрение глазам отца, имеющего такого сына!

«Ах вон оно что», — подумал хорезмшах, глядя на слепого и его поводыря.

Каландар-ханэ было достаточно просторным: в нем помещалось человек шестьдесят. Стены были основательно закопчены дымом табака и анаши. Хотя обстановка в ханэ была далеко не столь пышной, как во дворце хорезмшахов, настроение людей, сидящих тут, было намного веселее, чем у придворных на шахском пиршестве. Накурившись банга, табака и опиума, каландары могли запросто продать или купить за медяки весь подлунный мир. Они сами были шахами, султанами — короче говоря, хозяевами своего ханэ.

Слепого и его сына почтительно усадили на лучшем месте.

И только после этого шакаландар, смуглый мужчина с тронутой проседью бородой, обратился к двум «каландарам», стоявшим у входа:

— Откуда будете, слуги аллаха?

— Если говоришь о нас, о шакаландар, то мы из Хорасана, — смело ответил визирь Мехдуны. — А пришли, чтобы поклониться святой земле Хорезма.

— Мне нравится твой ответ, — удовлетворенно заметил шакаландар. — Проходите, пожалуйста.

И глава братства нищих указал им лучшее место.

Обитатели ханэ, видимо, ожидали прихода слепого. Один из каландаров снял со стены дутар и поставил его у ног поводыря. Тот степенно выпил пару пиал ароматного чая, засучил рукава халата и взял инструмент. Шум и гомон в ханэ сразу утихли.

Парень взялся за колок дутара, настроил струны и обвел взглядом толпу сидящих в живописных позах людей. Его иссиня-черные, похожие на драгоценные камни глаза почему-то

тревожно смотрели на слушателей, хотя белое, как молоко, лицо хранило выражение приветливого спокойствия.

...Дутар источал ни с чем не сравнимые звуки. Он словно печалился о вечных страданиях и горестях правоверных, о погибающих в юдоли рабства несчастных, о богатырях, павших в борьбе за свободу людей. Сладостно-грустная мелодия хватала за сердце даже самого черствого из присутствующих. Нужно было иметь каменное сердце, чтобы без трепета внимать чудесным переливам, словно птицы в садах Эдема, разлетавшимся из-под пальцев юноши.

Видавший виды хорезмшах тоже оказался в плену чарующей музыки. Однако он не сводил пристального, холодного взгляда с быстро мелькавших пальцев поводыря и время от времени значительно поглядывал на Мехдуны. Тот, опьяненный мелодией, совсем потерял голову и, слегка раскрыв рот, закатив зрачки под лоб, слушал.

Тогда хорезмшах сердито ткнул его в бок и процедил сквозь зубы:

— Взгляни на пальцы музыканта.

Истолковав слова шаха по-своему, визирь прошептал:

— Смотрю, смотрю, повелитель. Они так прекрасны, будто принадлежат нежной девушке.

— Да она и есть девушка, глупец!.. — рассердился шах на тупость и непонятливость Мехдуны.

Визирь изумленно уставился на хорезмшаха.

— Неужели так, ваше величество?

Шах только гневно двинул бровью.

Юноша кончил играть. Прислонив дутар к стене, он взял пиалу и стал не спеша пить обжигающий чай. Над красиво изогнутыми, черными, словно бархат, глазами юноши выступили капельки пота, белое лицо светилось радостью, глаза сверкали. В таком виде музыкант был просто неотразим.

— Уважаемый шакаландар, — обратился хорезмшах, — если б этот славный юноша, с вашего позволения, спел нам еще пару песен, мы забыли бы свои печали.

Вместо шакаландара ответил слепой:

— Почтенный гость! Исполнить ваше желание — наша обязанность. К сожалению, мой сын не поет, он только играет на дутаре.

И шах понял, что его подозрения подтвердились. «Ты хитер, старик, но и я не глуп, — подумал он. — Ты запретил петь сыну потому, что знаешь: стоит ему открыть рот — и обман раскроется. Что ж, опасения твои вполне уместны. Девушке жить среди мужчин-бродяг не совсем удобно. Вряд ли она смогла бы найти защиту от посягательств у беззащитного отца. Недаром говорят: «Красота — твой враг, это поймет и нищий и шах».

И, поблагодарив шакаландара, хорезмшах сказал:

— Мы тронуты твоим вниманием, милосердный человек! У нас есть место в караван-сараях, и если вы разрешите нам уйти, это будет самой большой милостью, о шакаландах.

Известно, что шах был непревзойденным дипломатом.

...Ночной ветерок хорезмской осени немного прояснил мозги «каландаров», одуревших от дыма табака и опиума. Визирь едва поспевал за весело шагавшим хорезмшахом: тот был под впечатлением волшебных мелодий дутара, а перед глазами мелькали бесподобные пальчики «юноши», игравшего на инструменте. Вскоре оба достигли переулочка, где их давно поджидала карета, запряженная белыми текинцами.

И «каландары» опять превратились в могущественных людей Хорезма.

Шах всю дорогу молчал, а когда подъехали ко дворцу, коротко сказал визирю:

— Завтра утром первым человеком, которого я увижу, окажется юноша музыкант, не так ли?

Мехдуны почтительно наклонил голову.

— Слушаюсь и повинуюсь.

Ловко прыгнув на землю, визирь поймал шахскую пятку и помог «солнцу Хорезма» выйти из кареты.

Не было еще случая, чтобы повеление шаха оставалось неисполненным. Утром, едва он вошел в зал, где обычно разбирались жалобы и заявления подданных, приоткрылась дверь напротив — показалась борода Мехдуны.

— Богатырь времени! Если позволите, один бедняга хочет лицезреть ваш солнечный лик.

Хорезмшах кивнул, и вместе с визирем в зал вошел испуганный поводырь. И тут хорезмшах сделал то, что никогда себе не позволял раньше: он пошел навстречу дервишу. Одетый в лохмотья, растерянно стоящий посреди пышного убранства комнаты, он казался рваной обувью на драгоценном ковре. И все же юноша в лохмотьях был подобен жемчужине, случайно оброненной в грязь.

Шах пристально вгляделся в его испуганные глаза:

— Ювелиры распознают золото, как бы его кто ни прятал. И берут... Вот и мы сочли вас достойными предстать перед солнцем Хорезма, невзирая на одежду каландаров.

Юноша музыкант молчал. А хорезмшах с улыбкой продолжал:

— Говорите же! Или боитесь, что узнают по голосу? Но мы, даже не слыша вашего голоса, знаем, кто вы.

— Чего от меня хотят? — с отчаянием спросил музыкант.

Серебристый голосок восемнадцатилетней девушки, вынужденной молчать столько времени, заставил трепетать сердца и шаха и визиря.

— Не бойтесь, — властно произнес хорезмшах. — Мы влюблись не в вас, а в вашу музыку. Почему и пригласили в наш

дворец. Надеемся, вы отвергнете общество нищих и в качестве свободной служанки будете жить здесь.

Конечно, девушка прекрасно понимала: вежливое обращение шаха равносильно приказу и послушание может означать только одно — смерть.

— Если ваше величество удостаивает меня такой великой милости, я согласна.

— Молодец музыкант! — Шах даже позволил себе шутку. — Теперь раскройтесь. Кто вы и как вас зовут?

— Рухсар, ваше величество.

— Слышишь, Мехдуны? — властно произнес шах. — Объяви всем во дворце мое повеление. Рухсар не потомок шахов, но она — шахиня искусства. Поэтому, когда будут называть ее имя, пусть прибавляют почетное слово «бану». Сейчас отведи Рухсар-бану к моим любимым служанкам, пусть о ней позаботятся. Отведут в баню, оденут в самые красивые одежды.

Вскоре Мехдуны, отведя девушку, возвратился. И хорезмшах высказал ему мысль, вот уже много дней занимавшую его воображение.

— Пока мы являемся шахом Хорезма, по воле аллаха все наши желания исполняются, не так ли, Мехдуны?

— Истинно так, меч ислама!

— Так вот... Мы хотим в центре Ургенча построить один высокий минарет — самый высокий в мире! И пусть он постоянно напоминает подлунным жителям о нашем могуществе.

— Если властелин мира желает этого, то оно, слава аллаху, будет, несомненно, исполнено.

— А как ты думаешь, кто справится с этим делом?

— В Хорезме много искусных зодчих, великий шах. Но вряд ли найдется человек, который превзошел бы мастера Семендера. Если ваше величество соизволит, его и можно назначить старшим зодчим.

— Ты назвал человека, о котором думал и я, Мехдуны. Мы его хорошо знаем, — удовлетворенно сказал хорезмшах.

...Вечернее пиршество началось веселей, чем обычно. Как только хорезмшах пришел и воссел на свое место, по его знаку дворецкий торжественно огласил:

— Благородные люди Хорезма! Наша могущественная страна является родиной науки и искусства. И вот в нашем цветнике талантов раскрылась еще одна роза. Великий шах разрешил сделать ее украшением своего дворца. Добро пожаловать, Рухсар-бану ханум!

Открылась одна из позолоченных дверей зала, вошла высокая красивая девушка, одетая подобно шахине, и, низко поклонившись присутствующим, села на указанное ей возвышение. Глаза придворных и гостей были теперь устремлены только на нее.

— Благородные люди! — вновь прозвучал звонкий голос

дворецкого. — Я счастлив огласить еще одно повеление. Его величество намерен возвести в прекрасном Ургенче минарет, по высоте не имеющий равных себе под луной. Соорудить его обязался перед лицом великого шаха знаменитый мастер Семендер — с тремя тысячами рабочих в течение трех лет. Добро пожаловать, мастер Семендер и его ученик Искендер.

Открылась вторая дверь — в зал вошли смуглый, с коротко стриженной бородой человек средних лет, а с ним богатырского сложения парень красивой наружности.

Однако на вновь прибывших никто не обратил внимания: люди не могли оторвать взгляда от прекрасной Рухсар-бану.

По знаку хорезмшаха один из слуг принес окаймленный золотом дутар и отдал его Рухсар-бану. Девушка легонечко взяла инструмент, поклонилась шаху, засучила обшитые золотом рукава длинного платья и, прикрыв глаза стреловидными ресницами, стала играть.

Дутар заговорил словно живой человек. Он снова пел о горестной и печальной доле детей аллаха, и люди, очарованные мелодией, сидели молча и слушали. Струны давно умолкли, а они все еще сидели не шевелясь, не в силах произнести слово или возглас. Спустя несколько времени тишину рассек голос хорезмшаха:

— Милосердная Рухсар-бану! Наш дворец — место веселого настроения, а не горести и печали.

— Простите, ваше величество, что я излила свою душу, — сказала Рухсар-бану, опустив голову. — Но теперь с вашего позволения сыграю более веселые мелодии.

Мастер Семендер что-то шепнул Искендеру.

— Вот как? — сказал тот с тревогой. — Значит, она дочь слепого каландара, о котором говорит весь народ?! И хорезмшах собирается сделать ее наложницей!..

— О нет, ты ошибаешься, — ответил Семендер. — К счастью, шах питает большое уважение к ее искусству.

Веселье продолжалось до полуночи. На этот раз все опьянели и разошлись не от вина и шерapa, а от сладостной мелодии Рухсар-бану.

А Искендер без памяти влюбился в ее красоту.

На следующий день Семендер с тремя тысячами работников начал возводить в центре Ургенча шахский минарет. Дело спорилось, стройка быстро продвигалась вперед, но Искендер почему-то стал невеселым. Немало повидавший в жизни мастер сразу понял, что тревожит сердце ученика. Однако решил: в молодости все случается и со временем пройдет.

Время шло, а Искендер все чах и худел. Тогда Семендер осознал, что свалившаяся на голову помощника беда — это настоящая любовь. Нужно было искать лекарство, хотя дело это, как все знают, очень нелегкое.

Однажды Семендер позвал своего помощника в гости и сказал обеспокоенно:

— Я хорошо понимаю твою боль, Искендер. Только ты не знаешь, что влюбиться в девушку из шахского дворца — все равно что быть влюбленным в луну на небе. Это-то тебе ясно?

— Да, учитель. Только не могу я перебороть сердца, — виновато сказал Искендер.

Мастер долго молчал размышляя. Потом нашел какое-то решение и поднял голову.

— Если не возражаешь, Искендер, я обдумую один выход.

...На следующий день, когда стемнело, во дворце шаха появилась закутанная в черный платок служанка довольно высокого роста. О том, как и зачем вошла она во дворец, не знали ни слуги, ни стража. Видимо, служанка была хорошо осведомлена о расположении комнат и местопребывании обитателей дворца — она уверенно вошла прямо в комнату Рухсар-бану. Девушка сидела перед зеркалом, расчесывая густые пряди волос. Обернувшись, она ласково спросила:

— Что, с поручением пришли?

Служанка, опираясь спиной о двери, сняла с головы платок и вежливо поздоровалась. Увидев мужчину, Рухсар-бану хотела закричать, но раздумала. Спокойно глядя на пришельца, она спросила:

— Что вам нужно? — И вдруг ее лицо засветилось радостью: — Или весточку от ата принесли?

— Отец ваш жив и здоров, но я принес весточку от своего сердца, — тихо сказал мужчина.

— Что за весть? — с оттенком разочарования спросила она.

— Кажется, вы не узнаете меня, бану?

Девушка взглянула на парня.

— Да, узнаю. Уж не тот ли вы Искендер-ученик, что приходил с Семендером на празднество во дворец?

— Именно он, — с достоинством ответил парень. — Я помощник зодчего и ваш пленник.

— О чем вы говорите? — удивленно сказала Рухсар-бану. — Здесь я сама пленница. Зачем вам быть пленником у пленницы? И вообще, как вы осмелились проникнуть сюда? Если вас узнают...

— Бану! Настоящая любовь не боится смерти.

Искендер опустился на колени, с немym обожанием глядя на девушку.

Рухсар-бану вдруг почувствовала, как у нее затрепетало сердце.

И влюбленные стали встречаться через день, а иногда и каждый день. Чем больше было таких встреч, тем сильнее становилась их взаимная любовь.

Прошли месяцы, протекли годы. Сооружение минарета также близилось к завершению. И чем выше поднимался минарет,

тем ближе становился день исполнения страшного умысла шаха.

Однажды хорезмшах позвал к себе Мехдуны и лениво сказал:

— Мне кажется, о визирь, минарет вышел таким, каким мы желали его видеть. Завтра или послезавтра Семендер положит последний кирпич. Не забудь, о Мехдуны: такой минарет должен быть только в Хорезме. Выше, чем у Хорезма, славы быть не может. Ты понял меня?

— Властелин мира... — с робостью глядя на шаха, произнес визирь, — я, по правде сказать, не совсем понимаю.

Хорезмшах сердито уставился на визиря.

— Плохо, Мехдуны! Твой разум начинает тупеть. А ведь ум та же сабля: если все время не точить, она затупится... Не каждый мастер способен выстроить такой минарет. Это может только Семендер. И если его голова останется целой и невредимой, кто поручится, что подобный минарет не появится завтра в Хорасане или Самарканде, Кандагаре либо Герате, а?

Словно холодная молния, пронеслась в мозгу визиря догадка. Его бросило в пот, ибо Мехдуны уважал мастера Семендера как искуснейшего зодчего.

— Вот теперь я понял, солнце Хорезма... — с усилием произнес визирь.

Как известно, даже стены имеют уши: в течение нескольких дней черная весть достигла комнаты Рухсар-бану. Сдерживая гнев, она сказала себе: «Нет, подлый хорезмшах! Твое намерение не осуществится».

Когда большой город погрузился в темноту, во дворец, как и раньше, незаметно пришла «служанка». Рухсар-бану бросилась на грудь Искендеру.

— О милый... — прошептала она в отчаянии. — Вместо того чтобы веселить тебя, я должна сообщить нечто страшное.

— Что за слова говоришь, бану?..

— Над твоим любимым учителем нависла тень смерти.

— Над Семендером?! — недоверчиво спросил Искендер. — Да нет, не может быть! Ему благоволит сам шах.

— Ой, Искендер, да пойми ты: сам хорезмшах и хочет умертвить мастера. Ибо считает: он сможет выстроить такой же минарет и в другой стране.

— Да, да, Рухсар-бану... Вот я понял тебя, — произнес сразу помрачневший Искендер. — Мой долг сделать что-то для Семендера, ибо я — ученик.

Он торопливо простился с Рухсар-бану и ушел.

...В последнее время, день и ночь работая на вершине минарета, Семендер там же обедал и ночевал. Стража, стоявшая у подножия минарета, никого не пускала, и попасть внутрь можно было только по внутренним же ступенькам. Поэтому Искендер не смог наутро передать мастеру черное известие.

Пришлось мучительно ждать нового рассвета. Едва взошло солнце, как Искендер был на месте. В его голове созрел один план.

Стоя вместе с рабочими-строителями на середине минарета, на внутренних ступеньках, Искендер передавал вверх отшлифованные и подогнанные кирпичи. Так по живой цепочке они и попадали в руки мастера Семендера. На первом же кирпиче Искендер написал о замысле хорезмшаха и отправил вверх.

Семендер в тот день встал в хорошем настроении, был весел и радовался, что великое дело завершено. Когда он получил кирпич-«письмо» и прочитал содержание, то побледнел, как белый мрамор. Однако растерянность недолго владела мастером. Он взял кирпич, написал на нем несколько знаков и передал нижестоящему, прибавив:

— Пусть Искендер как следует обтешет его.

Как только кирпич пришел сверху, Искендер понял, что весть дошла до Семендера. И с жадностью прочел написанное его рукой. Семендер просил своего ученика прислать наверх достаточное количество камыша, бумаги и клея. «Я кое-что придумал», — сообщал он.

Обрадованный Искендер понял, что мастер, хитроумный, как Одиссей, нашел выход из безвыходного, казалось бы, положения. В тот же день Искендер доставил наверх по той же цепочке требуемые материалы.

Три дня мучился Искендер, не находил себе места, гадая: удалось ли Семендеру осуществить свой замысел? А на четвертый день произошло неслыханное событие, изумившее не только ученика, но и весь Хорезм.

...Около десяти часов утра на вершине минарета поднялся во весь рост Семендер и обратился к правочерным, густой толпой стоявшим у подножия:

— Лю-юди-и! Слушайте!.. — что есть силы крикнул он. — Я только что положил на минарете последний кирпич! Я трудился три года, и хотя эта работа была начата по желанию шаха, я посвящаю ее нашим потомкам. Вот почему я трудился днем и ночью. Я не ждал от шаха подарка, но все же надеялся получить «спасибо»! Оказывается, он вместо «спасибо» приговорил мне смертный приговор... Помните, люди! Кто служит шахам, на того рано или поздно падет беда. Я, мастер Семендер, прощаюсь с вами. Не поминайте лихом!

И он с возгласом «о аллах!» прыгнул вниз. За плечами у него раскрылись привязанные крылья. Усилив рук взмахнув ими, Семендер, подобно птице, взмыл вверх и полетел в сторону.

Так спасся знаменитый зодчий Хорезма. Его дальнейшая судьба не известна никому.

Узнав о том, что Семендер избежал смерти, хорезмшах пришел в дикую ярость. Сыщики Мехдуны наводнили все покои дворца, минарет, днем и ночью допрашивали строителей и на-

конец дознались: один из работников, чье имя недостойно упоминания, принес кирпич, на котором Искендер писал письмо к мастеру. И разгневанный шах велел сбросить Искендера с вершины минарета.

Весть о гибели юноши, как молния, распространилась по Ургенчу и с той же быстротой достигла ушей Рухсар-бану. Сердце девушки не смогло перенести трагической смерти возлюбленного: Рухсар-бану повесилась на собственных косах. Смерть шахини искусства тронула каменное сердце хорезмшаха.

— Сделайте так, чтобы тело Рухсар-бану и после семи тысяч лет было сохранным, — повелел он.

Вытесали из мрамора саркофаг, наполнили его медом, и, опустив туда тело Рухсар-бану, замуровали.

Слепой отец, узнав о смерти любимой дочери, стал как помешанный. До конца своих дней он приходил на могилу Рухсар-бану и играл на дутаре печальные мелодии.

Я долго молчал, замороженный поэтической легендой о зодчем, Рухсар-бану и Искендере. «Жаль, что это лишь прекрасная сказка...» — подумал я. И вдруг одна мысль пронзила меня, будто током. Извинившись перед впавшим в задумчивость стариком, я подхватил Айсенем и выскочил из мавзолея.

— Что с вами? — еле поспевая за мной, спрашивала удивленная Айсенем.

— К Мухтару!.. Мне нужен Мухтар, — только и повторял я.

Погруженный в свои мысли, я не заметил, как недоумевающая девушка вырвалась от меня и ушла.

Когда я вбежал в коттедж, Мухтар вышел мне навстречу. Его глаза светились радостью, лицо пылало от волнения. Короче сказать, он был похож на птицу, вот-вот готовую взлететь.

— Я все знаю! — крикнул я.

Мухтар снисходительно сказал:

— Ты немного запоздал. Я сам давно жду тебя... Ну ладно, говори: что ты знаешь?

— Ты все-таки отыскал саркофаг Рухсар-бану и пытаешься оживить ее, верно?

Удивленный Мухтар схватил меня за плечо:

— Как ты это узнал?

— Легенда, дорогой! Я только что прослушал легенду о Рухсар-бану. И понял смысл сказанных тобою слов: «Если мой эксперимент увенчается успехом, вновь оживут потерянные мелодии».

Мухтар засмеялся.

— Догадлива твоя голова! Пока никому ничего не говори.

— Слово мужчины. Но при условии: ты покажешь мне ее.

— Ладно. Только сначала она попьет чаю. Как считаешь, после многовековой голодовки ей хочется пообедать или нет?

Я разинул рот:

— Действительно она сейчас пьет чай?

— Шучу, друг, шучу. Но верь: в ближайшие дни она будет сидеть рядом с тобой и пить тот же чай.

— Угу... — сказал я с глупым видом. — Выходит, твой эксперимент завершился блестящей удачей?

— Да, да, скептик-историк!

...Войдя в лабораторию, я чувствовал себя не очень важно: в глазах прыгали не то чертики, не то шайтанчики. Короче сказать, от волнения я ничего не видел и не слышал. «Где же Рухсар-бану? Где?...» И тут Мухтар рывком отдернул матовый экран в глубине помещения. Вот теперь у меня по-настоящему отнялся язык: в большой белой ванне под куполом, в голубоватой прозрачной жидкости лежала прекрасная девушка! Были видны мельчайшие черты ее лица. Она была именно такой, как описал ее старик дутарист.

У изголовья Рухсар-бану тихо шелестел улиткообразный аппарат. От него к диску на груди девушки шли трубочки — или провода? Не суть важно... А в уста Рухсар-бану был вложен гибкий ввод кислородного прибора.

— Ну как? — спросил Мухтар.

Звук его голоса вывел меня из транса.

— Неужели она жива? — прошептал я.

— Почти... Аппарат давно восстановил функции сердца. Кровь уже циркулирует. Ну а сигма-полимер возбудит нервные клетки. Нужно лишь некоторое время.

— Сколько?! — закричал я.

Мухтар усмехнулся, любуясь моим волнением.

— Думаю, реакция продлится не менее трехсот часов. Впрочем, как пойдут... — Он что-то прикинул в уме. — Возможно, пройдет и меньшее время. Главное — электронный контроль процесса! Если «прихватить» больше трехсот часов...

Мухтар вдруг умолк на полуслове и метнулся в лабораторию, вернее, в смежную с ней аппаратную. Спустя пять минут вернулся, облегченно переводя дыхание.

— У-уф!.. Твои сомнения и меня, было, опутали. Оказываюсь, ничего не забыл. Все о'кэй! Теперь я должен ввести в курс дела и Айсенем. Ее помощь вскоре нам очень понадобится.

Я с нескрываемой завистью смотрел на Мухтара. Его глаза светились огнем скрытой радости, он казался мне волшебником из «Тысячи и одной ночи», которому подвластны и жизнь и смерть. И я подумал: «Разве не стоит ради великого мгновения трудиться всю жизнь?»

Перевод с туркменского А. Колпакова

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Небо было пусто. Лега не проползла еще и четверти дневного маршрута, и ее законное место в зените занимала сейчас изогнутая полоска Бетона. Бледный серп естественного спутника Беты очень напоминал бы облачко, если бы не четкость очертаний. Настоящих облаков на небе, как всегда, не было, и ничто там не появлялось, хотя все сроки давно истекли. Подобным дурным приметам следует верить — даже древние узнавали расположение богов по расположению звезд и другим небесным явлениям.

Другое дело, что глазеть на небеса бессмысленно. Эволюция наделила человека прекрасным зрением, но и слухом она его не обделила. А когда придет «Лунь» — примем как аксиому, что это все-таки случится — грохот будет стоять такой, что даже камни на вершине Картинной Галереи услышат и, поколебавшись немного, не удержатся и покатаются сюда, вниз.

Павлов перевел взгляд на шершавую поверхность скалы, и вовремя, потому что рейсфедер, провисевший под карнизом почти сутки после вчерашнего ужина, начал изготовление новой ловушки.

Некоторое время Павлов следил, как рейсфедер, аккуратно переставляя волосатые лапы, совершает челночные рейды по выбранному участку скалы, кое-где оставляя после себя пятна черной смолы, запах которой должен завлекать местную живность на погибель. Конечно, невооруженным глазом Павлов не мог различить ни волосатых ног, ни черных блестящих капель — выручало воображение. Вот через час, когда точки сольются в линии, а линии — в силуэт, надо будет внимательно рассмотреть творение рейсфедера в бинокль и сделать снимки, если это действительно что-то оригинальное. Бесполезно угадывать смысл телеизображения по первым строкам развертки, если всего их несколько тысяч.

Ровная треугольная стена Картинной Галереи уходила в бескислородное небо Беты на добрую сотню метров, почти сплошь покрытая тщательно выполненными рисунками, которые составляли ее единственное отличие от других скал, в беспорядке торчавших из причудливого леса. Рейсфедеры не отлича-

ются общительностью, и ближе, чем на километр, они друг к другу обычно не приближаются. И как только самцы находят самок в брачный период? Но никто никогда не наблюдал, как рейсфедер покидает насиженную скалу и отправляется в опасное путешествие через мстительные заросли.

А сейчас из леса, напоминающего склад колючей проволоки, появился Сибирин. Он подошел молча и остановился рядом с Павловым, похожий из-за скафандра на робота.

— Ну как? — спросил Павлов. Он ничего не имел против своего напарника, но иногда его раздражала привычка того молчать, когда от него ждут информации.

— Ничего нового, — ответил Сибирин. — Связи опять не было.

Павлов ничего не сказал. Ракетобус «Лунь» снабжал планетные отряды экспедиции всем необходимым. Если бы он появился с опозданием на одной из центральных планет, где люди ходят в шортах и пьют воду из родников, ничего страшного не произошло бы. Но группа Бета находится, можно сказать, на привилегированном положении.

— Я разговаривал с Базой, — сказал Сибирин. И опять замолчал.

— И что?

— А ничего, — сказал Сибирин. — Вершинин стартовал с Альфы согласно графику. Полет проходил нормально. А потом он не вышел на связь.

— И все?

— Ракетобус исчез уже где-то в нашем районе, — сказал Сибирин. — Радары с Базы обшарили все прилегающее пространство, но безрезультатно. А что они могли увидеть на таком расстоянии?

— И там думают, что «Лунь»... — начал Павлов.

— Нет, — сказал Сибирин. — Возможно, у них авария двигателя.

— А почему тогда нет связи?

— «Лунь» — фотонный корабль, — объяснил Сибирин. — Отражатель и антенна у него совмещены.

— Ясно, — сказал Павлов. — Хотя постой. Если «Лунь» находится в нашем районе и если у них просто авария двигателя, они могли бы добраться до нас на боте.

— Безусловно, — сказал Сибирин. — Но Вершинин оставил бот на Альфе. Их орбител стоит на профилактике, и горит программа исследования экзосферы.

— Вершинин добр, — сказал Павлов. Он помолчал. — А что они еще сообщили?

— Они посоветовали нам переходить на режим экономии, — сказал Сибирин. — Они выслали беспилотный грузовик, самый быстрый. Он прибудет через две недели.

— А мы не можем выйти навстречу?

Каждая планетная группа имела в своем распоряжении небольшой четырехместный орбилет, предназначенный для исследования верхних слоев атмосферы. Иногда орбилет использовался для встречи с ракетобусом «Лунь» на низкой орбите. Это происходило обычно при смене состава группы или в случаях, когда посадочный бот «Луны» по каким-либо причинам не функционировал. Например, когда Вершинин оставлял его на Альфе.

— На нашем-то тихоходе? — спросил Сибирин. — А что мы можем? В крайнем случае добраться до Бетона.

— Плохо, — сказал Павлов. — Две недели мы не протянем.

— Что об этом говорить, — сказал Сибирин. — Чему быть, тому не миновать. Глядишь, так и войдем в историю. С самого черного хода.

Они замолчали. Странно, что так трудно поверить, что через неделю тебя не будет, подумал Павлов. Все слова произнесены, все ясно, но воспринимать это как неизбежную реальность невозможно. Человек — великий логик, но в подобных обстоятельствах логика отступает на второй план, уступая место надежде. Возможно, это и к лучшему. Сейчас мы пойдем подготавливать материалы для тех, кто придет после нас, оформлять отчеты, излагать на бумаге последние мысли, писать прощальные письма и вообще делать все, что положено. Но поверить в это мы не поверим, пока не кончится кислород.

— Кажется, один из нас в нее уже попал, — сказал Сибирин.

Павлов повернулся к нему. Сибирин стоял, запрокинув голову, и смотрел в бинокль на вершину Картинной Галереи. Рейсфедер под карнизом исполнил примерно треть своего очередного шедевра. Различить что-нибудь на таком расстоянии было, конечно, невозможно.

— Взгляни сам, — Сибирин протянул бинокль.

На скале, как на фотографии, была изображена груда камней, бесформенных, кроме одного. Этот камень имел правильные полукруглые очертания и представлял собой на самом деле верхнюю часть головы человека в скафандре. Из-под щитка шлема блестели чьи-то глаза. Очередь носа еще не наступила. Иногда в поле зрения попадали волосатые паучьи ноги рейсфедера или его наспинный глаз, похожий на объектив фотокамеры.

Рейсфедер входил в рабочий ритм.

— Тогда это я, — сказал Павлов. — Он начал рисунок, когда ты еще не появился.

— Разве это важно?

— Механизмы восприятия у всех разные, — объяснил Павлов. — Для человека действительность — это кинофильм, цвет-

ной, объемный и так далее. Для рейсфедера это скорее ряд медленно проявляющихся и медленно сменяющихся фотопластинок. Во время работы запись не может ни исказиться, ни стереться из его памяти.

Сибирин кивнул.

— Ясно.

— Меня удивляет другое, — сказал Павлов. — Раньше он никогда не изображал людей. Почему это вдруг взбрело ему в голову?

— Начинать никогда не поздно, — сказал Сибирин. — И не нужно приписывать животным человеческие мотивы поведения. «Что-то» может прийти в голову только человеку.

— Спасибо за объяснение, — улыбнулся Павлов. — Пошли лучше к себе. Надо все привести в порядок, а ждать бессмысленно. Я наведу сюда сделать снимки попозже.

Некоторое время они шли через лес молча, внимательно следя, чтобы ветви колючих растений не повредили защитную ткань скафандров. Потом Сибирин вдруг засмеялся.

— Что с тобой? — спросил Павлов.

— Я вспомнил теорию Пратта насчет рисунков рейсфедера.

По спине Павлова пробежал холодок.

— Тебе повезло, если она несостоятельна, — добавил Сибирин.

Когда люди Пратта, высадившиеся в системе Леги век назад, впервые увидели наскальные росписи Беты, они потратили немало времени и сил на розыски разумных обитателей планеты, прежде чем удалось выяснить, что автором рисунков является, по земным понятиям, обыкновенное насекомое, а сами рисунки представляют собой просто ловушки для других представителей фауны. На скалах изображалась обычно мелкая живность, преимущественно летающая, и это дало Пратту основание предположить, что рейсфедер рисует в каждом данном случае именно то животное, которое хочет заполучить к себе в сети. Что намеченная жертва, видя издали свое увеличенное изображение, принимает его за другое существо своего вида, хочет познакомиться с ним поближе и заканчивает жизненный путь в желудке хищника.

— Несостоятельна — не то слово, — сказал Павлов, хотя это было понятно. — Бесспорно, часто так и бывает. Но Пратт считал, что рисунки рейсфедера оказывают на обитателей Беты гипнотическое воздействие, что они обладают магической притягательной силой. А это уже весьма сомнительно.

— Насколько я понимаю, обратного тоже никто не доказал, — спокойно сказал Сибирин.

Мистика, подумал Павлов. Человек странно устроен. Даже стоя на пороге неизбежной смерти, он боится всякой иррациональности. Все суеверны. Глупо.

— Даже при всём желании я не смогу подняться на Картинную Галерею, — сказал он. — Так что все это вздор.

— Мир полон тайн, — заключил Сибирин. — Но мы не умеем их рационально использовать. Например, рейсфедер. Мы определили химическую формулу его смолы и приготовили лучший в мире клей. Не лучше ли было приспособить рейсфедера как своеобразный живой фотоаппарат. Ведь его рисунки необыкновенно точны.

— Верно, но ты не заставишь его рисовать то, что ты хочешь, — сказал Павлов. — А иногда он изображает вещи, которых вообще не существует. Оказывается, у него есть некоторая склонность к абстракции.

— Что-то я о таком не читал.

— Ты и не мог читать об этом, — сказал Павлов. — Сейчас я покажу тебе несколько фотографий.

— Значит, тебя можно поздравить? — сказал Сибирин. — Определенно метишь в историю.

Они приблизились уже к зданию станции, стоявшему на неширокой каменистой площадке среди леса. Станция была стандартная, двухместная, хотя при необходимости здесь могло разместиться и десятеро. Они подождали в тамбуре, пока давление выровняется.

Потом, когда дверь отворилась, они сняли скафандры и вошли внутрь, под купол.

— Показывай, что ты там такое открыл, — напомнил Сибирин.

— Сейчас.

Купол станции был абсолютно прозрачен, только его восточный край был наглухо закрыт фильтром, предохранявшим не защищенные скафандром глаза от яркого сияния Леги. Прямо над головой парил узкий серп далекого Бетона.

Павлов вытащил фотоальбом из ящика стола и открыл его на нужной странице.

— Полюбуйся.

С прекрасно выполненной черно-белой фотографии на них смотрело чудовище. Бесформенное, аморфное, бесхребетное, оно вытягивало неуклюжие щупальца, карабкаясь по странно гладким, лучистым, кристаллическим скалам, сверкающим зеркальными гранями.

— Ты встречал на Бете что-нибудь подобное?

— Нет. Хотя постой. Одна из предыдущих групп занималась здесь микробиологией. В их отчете есть очень похожие фотографии, — Сибирин засмеялся. — Но у рейсфедера нет микроскопа. Так что ты, видимо, действительно сделал открытие.

Павлов медленно закрыл альбом и положил его на место. Потом он поднялся.

— Эти рисунки я уже описал, — сказал он. — Делать мне

больше нечего. Пожалуй, пойду сделаю снимки. Их ведь тоже надо описать.

Сибирин внимательно на него посмотрел.

— Знаешь что, — сказал он. — Все мы прекрасно понимаем, что это вздор. Что ты не сможешь подняться на Картинную Галерею, что рисунки рейсфедера не оказывают гипнотического воздействия на человеческий организм и так далее. Но мне будет спокойнее, если ты посидишь здесь. Я сам сделаю снимки.

— Но мне здесь просто нечего делать.

— Займись чем-нибудь, — сказал Сибирин. — Поработай пока на рации.

Он пошел в тамбур. Павлов следил по контрольному пульту за его выходом. Потом повернулся к радиостанции и нажал клавишу с надписью «Местные линии».

— Здесь станция Бета, — сказал он. — Станция Бета называет ракетобус «Лунь»...

Он повторил эту фразу несколько раз, переставляя слова, потом выждал положенные пять минут, снова повторил серию вызовов, опять подождал пять минут и еще столько же — на всякий случай. Потом он нажал клавишу с надписью «Центр».

С Базой, которая находилась на расстоянии миллиарда километров от Беты, двусторонней связи в обычном понимании быть не могло, потому что запаздывание радиоволн составляло примерно час. Поэтому связь строилась на принципе «диалога глухих» — База постоянно передавала соединенные в одно целое сообщения для удаленных планетных групп, и это выглядело как обычная передача последних известий. Если радистам Базы требовалось ответить на чье-либо донесение, они включали ответ в очередную сводку. В других случаях содержание программы не изменялось.

Павлов, включив радиостанцию, очутился где-то в середине передачи, дослушал ее до конца, а потом с самого начала до того места, где он включился. Ничего нового по сравнению с тем, что передал ему Сибирин, Павлов не услышал. Тогда он выключил радиостанцию, потому что дверь тамбура отворилась.

— Можешь меня поздравить, — сказал Сибирин, освободившись от скафандра. — Меня он тоже изобразил. Смотри.

Павлов взял фотографию. Картина была написана тщательно, со всеми подробностями. На каменистой площадке среди валунов стоял человек в скафандре. Рядом сидел другой. Оба смотрели вверх, точно ждали, что из объектива невидимого для них фотоаппарата сейчас вылетит птичка.

— Странно, — сказал Павлов.

— Ты имеешь в виду ракурс? — спросил Сибирин. — Но он на нас так и смотрел — сверху вниз. Меня лично больше радует, что я теперь тоже вроде как попал в историю.

— Странно, — повторил Павлов, глядя на фотографию. — Я что-то не помню, чтобы ты сидел.

— Я действительно не садился, — сказал Сибирин. — У меня нет такой привычки. Это ты сидишь. Я — вот он, стою.

— Я? — сказал Павлов. — У меня тоже нет такой привычки. Кроме того, неужели ты не видишь, что это не мое лицо?

— За скафандрами плохо видно, — сказал Сибирин. — Но на мое оно еще меньше похоже.

Он смотрел на фотографию. Тот, кто стоял, был не он. А сидящий не был Сибириным. И у них обоих нет привычки сидеть на камнях под Картинной Галереей. Это были другие люди.

Рейсфедер изображает действительность — когда это действительность — абсолютно точно. Ошибок он никогда не делает.

Но другие люди не появлялись на планете уже четыре недели. Ни на самой Бете, ни даже в ее окрестностях.

— Послушай, — сказал Павлов. — У тебя есть портрет Вершинина?

— Где-то есть. Зачем он тебе понадобился?

— Тащи его сюда, — сказал Павлов.

Он смотрел на репродукцию наскального изображения. «Как мало мы знаем о животных! — думал он. — Даже о тех, с которыми сталкиваемся ежедневно. Что мы знаем об их органах чувств? Сибирин сказал, что у рейсфедера нет микроскопа. А вдруг ему и не нужен микроскоп? Вдруг он может видеть микроорганизмы так же отчетливо, как мы видим себе подобных?..»

— Вот тебе Вершинин, — сказал Сибирин. — А вот его штурман Серов. Я захватил его на всякий случай.

Павлов смотрел на фотографии. Он слышал дыхание Сибирина, который разглядывал их через его плечо. Ошибки быть не могло.

— Да, — сказал Сибирин после непродолжительного молчания. — Именно такое рациональное использование я и имел в виду. Но... Я понимаю, что сверху ему виднее. Что он мог увидеть их оттуда, незаметных для нас, если они приземлились за скалами. Но почему мы тогда не слышали, как они садились?..

Павлов ответил не сразу. Так уж мы устроены, думал он. Мы невольно приписываем животным человеческие мотивы поведения, наши мысли и наши чувства. И то, что некоторые змеи реагируют на тысячные доли градуса, а птицы ориентируются по магнитному полю, ничему не может нас научить. Мы судим о животных с позиций антропоцентризма. И слишком часто ошибаемся.

— Иди готовь орбилет, — сказал он. — А я pošлю радиogramму на Базу. Мы летим на Бетон.

Он посмотрел вверх. В синем прозрачном небе парил узкий серп спутника, огромная каменная пустыня, воспринимаемая человеческим глазом как маленькое бледное облачко с четкими очертаниями.

На блестящем свежей смолой рисунке, похожем на черно-белую фотографию, снятую в необычном — вид сверху — ракурсе, четверо стояли обнявшись на каменной осыпи рядом с искаленным космолетом и смотрели в зенит, задрав головы.

Рейсфедер, поставив последнюю клейкую точку, отполз под верхний карниз Картинной Галереи и стал ждать, когда летающие животные, которых он так хорошо изобразил, придут в гости к своим отражениям.

ПСОВАЯ ОХОТА

Именно из-за его мечтаний у меня теперь нет, не осталось ничего, ну если не фотографии, то хоть бы свидетельства — все-таки кто-нибудь заинтересовался бы, необязательно же подозревать фальсификацию, всегда во всем и всех считать фальсификаторами. Одно дело, если я буду говорить: видел, другое дело, если покажу снимок. Но нет у меня этой фотографии. Он потому мне ее и не дал, что считал — не доказывает и не подтверждает она его открытия. «Любой, — говорит, — скажет: перснято с журнала, а то — кадр из теле- или кинофильма».

Здесь один из краеугольных камней его мечтаний: никому нельзя доказать то, чего они не хотят знать, принимать, исповедовать. Особенно непривычное, из ряда вон выходящее. «Всегда, — говорил, — выведут к азбуке и нисколько не взволнуются, а ты будешь возмущаться и не спать по ночам». Он-то спал, здоровье было у него отменное. Только неизвестно, где он теперь. Исчез. И получается, что ради своих опытов.

Опыты, опыты. Это он говорил, что опыты, а по-моему, так самое обыкновенное копошение на участке в коллективном саду. «Видишь, — говорил, — даже тебе нельзя доказать, что опыты. Если б я выращивал редиску хвостиком вверх, ботвой вниз, ты бы поверил, потому что — азбука!» А сам только и делал, что колупнет почву, потрогает растение и приглядывается, без инструментов, без приборов: в природе все есть, она все создает без помощи какой бы то ни было техники. «Ну как же, — говорю, — чтобы самое, уж самое природное — колос хлебный вырастить, нужен плуг, трактор...» Но он не спорит, улыбается слегка, иногда покажет в книжке или в журнале упоминание, что там-то собрали огромный урожай, а не пахали, в другом месте — и не сеяли. «Это калеке такая грубость, как костыли, необходима, — говорил, — природа же ориентируется на норму».

И порой как оседлает своего конька, никак не открутишься: говори, чего в природе нет? В технике есть, а в природе отсутствует? Чего ни назовешь, сразу же срезает, находит в природе аналог. Выходило по нему, что современная техника сплошная грубость, хоть и сложная и тонкая, а по своему подходу примитивна. Совершенство и тонкость — это рычаг, блок. Естественные вещи — подвел под камень лом — и стронешь

с места, перекинул через балку веревку — и поднимай груз. Призывал искать другие пути и ставил в пример солнечные батареи, он прощал им даже сложность: делают свое без грубостей. Мы ведь как медведь, который дуги гнул, да грубо, ломал ведь дуги-то! Погибнем, если не научимся действовать без грубостей. Не может же быть, чтобы корова не могла давать молока без нажатия на соски. Следует попробовать дрессировать коров или другие найти к ним подходы, но не пристраивать к коровам машины! Там мы дойдем — и для себя начнем жевательные... да, тьфу, есть уже мясорубки! Ну, значит, глотательные будем изобретать машины, не глотаются же, например, в космосе. Вы еще не получили открытку на глотатель «Ряжка»? Записывайтесь на автоморгатели «Верлиока». Медведи!

Итак, другой подход. Отсюда и опыты, и мечтания. Мечтания эти он трактовал так. Рассказывал, как застал однажды в детстве своего деда в саду с саженцем и лопатой в руках. Долго стоял и не двигался дед. «Чего ты, дедушка, ждешь?» — «А я не жду, я мечтаю, где посадить яблоньку», — ответил дед. Посадил, до сих пор цела, не вымерзла, не засохла, и лучшие на ней яблоки в округе. Вот и запало такое значение мечтания. Созерцание, пока само собой не прозреется решение. По-моему же — чистая бездеятельность. «Правильно, — говорил, — ничего не делаю, потому не знаю как, не знаю, что по-другому, и в то же время получается уже потому, что ничего не делаю, ставлю все-таки опыты. В природе ничего — все. Взять хоть бы радио. Не было его вроде. Но вот изобрели, лучше сказать, набрали на него, и поехало, повело, начались грубости по линии усложнений да переусложнений. Погляди только на приемники, чего в них не напихано. Природа же всегда радиоволны колыхала, разгоняла их в хвост и в гриву и за тысячи, и за миллионы, не то что километров — парсеков! Межгалактические приемники-передатчики задаром и без грубостей — анодиков, катодиков. Эва! Думаешь, телевидения нет в природе? Есть и телевидение. Есть».

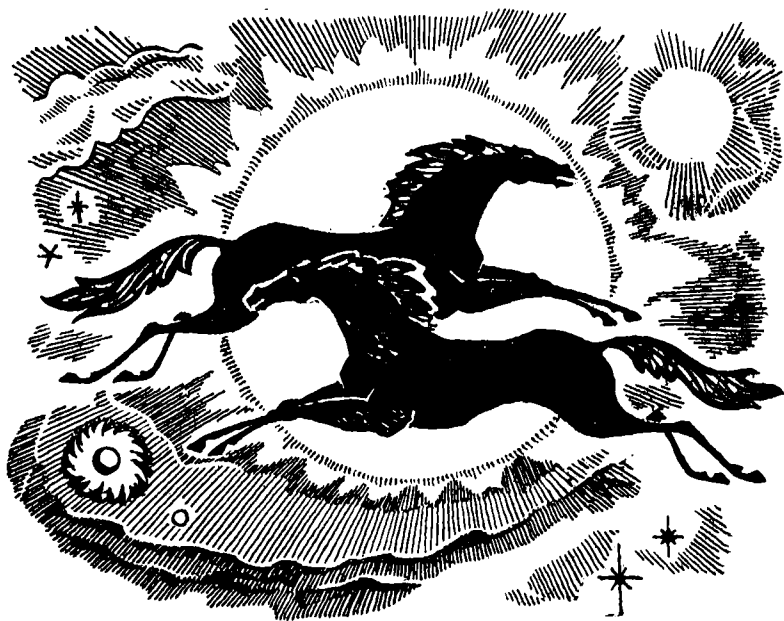
Тут он стал без конца повторять: есть и телевидение, есть и телевидение, а глаза почти закатил, краешек только остался радужной оболочки — одни белки. Потом он признался, что именно в тот момент его осенило, как поставить опыт второй категории. Те же опыты, которые для меня вовсе и не опыты, он относил к низшей, первой категории.

Я-то, конечно, не придал значения ни категориям, ни рассуждениям, только насторожило меня это неожиданное закатывание глаз. Хотя многие люди тоже, задумавшись, иногда закатывают глаза. Просто у него я этого не замечал раньше, или, возможно, он тогда закатил глаза как-то по-особенному. И сейчас, и вскоре после всего, что там накрутилось, мне мнится какая-то особенность в этом тогдашнем его закатывании глаз. А ну как оно соответствует постоянному талдычанию о поисках иных

подходов, дрессировке — перестройке организмов изнутри; вдруг, это и было по-другому, автодрессировка, самопереключение на новое действие, новые контакты, как он говаривал, без грубостей. Ведь чем-то поразило меня в конце концов ничего поразительного не представляющее легкое закатывание глаз? С другой стороны, не исключено, что я сам впадаю в мечтания и ничего не было и нет. Хотя...

Хотя... Похоже, что он поставил все-таки опыт второй категории или... или третьей, как мне сейчас пришло в голову. Пришло, когда я невольно сравнил свое отношение к его мечтаниям до и после увиденного. Мне уже хочется называть их одержимостью, увлеченностью или, еще хуже, прозрением. Хуже для меня. Хотя... Вот я и застрял на этих хотя... По порядку было так. Не помню точно, сколько прошло после знаменательного закатывания глаз, как он зазвал меня к себе на участок и показал фотографию.

Я сразу ему сказал, что переснято с журнала. Ну да; я первый и единственный, кто видел фотографию, сказал ему про журнал, свел, по его терминологии, к азбуке. Мало того, я еще... Нет, сначала, что было на снимке. На нем была псовая охота. Сдвинутые от быстрого движения и смазанные от большой экспозиции силуэты лошадей с всадниками, верхушки деревьев на заднем плане. Впереди всех фигур быстрые собаки — от одной, передней, только хвост попал в кадр, вторая, задняя, вся на бегу. Тоже смазанный силуэт, но глаз получился хорошо,



с бликом, четкий. Можно предположить, что собака в момент фотографирования дернула головой назад, и глаз таким образом не участвовал в поступательном движении. Настоящая барская псовая охота. У одного всадника через плечо надета блестящая труба, которой сзывают собак. На нескольких охотничьи камзолы и жокейские картузы. Картузы, вероятно, черные, камзолы, судя по светлону, почти белесому тону, — фотография была черно-белой, — красные. По английской моде. Между всадниками высовывалась высокая шляпа. Амазонка? Тут я и начал горячиться насчет журнала, кино- и телекадра. И сверх того я сказал, что, собственно, фотография не может включаться в методику его опытов, как произведенная с помощью линз, затворов, пленки — грубостей, одним словом. Зато потом он и не отдал мне эту фотографию, лишь повторял про журнал, кино и методику. Как я ни просил. И если про журнал и кино он повторял с иронией или с сарказмом, то про методику говорил вполне серьезно, даже с признательностью. Он искренне согласился со мной, а мне оставалось только ахать, глядя, как он рвет фотографию. Ночью прошел дождь, разразился ливень, перешедший в град, ветер ломал деревья.

Если бы я знал, что погубил все своей болтливостью! Мне кажется, и он, если бы знал про ветер и грозу, не порвал бы фотографию. Но самое главное, самое удивительное, что я посмотрел на ту охоту с фотографии в натуре — в движении и в цвете. Камзолы, более светлые на снимке, действительно оказались красными, цвета «кардинал», а картузы на охотниках из черного бархата. Смотреть надо было точно за полчасика перед закатом. Он вывел меня на участок и поставил к колышку, перевязанному лентой из бумаги, каждой ногой на дощечки, вкопанные между грядками, положил на колышек рейку и заставил меня наклониться так, чтобы брови оказались на уровне специальной зарубки на колышке, и тут же принял рейку. На меня неслась псовая охота. Беззвучно ударяли копыта в землю, из-под копыт летели и шлепались комья, но не слышалось шлепков, собаки без лая разевали пасти. Я приподнял голову — все исчезло, опустил — как раз тот самый кадр, — борзая на мгновение с неподвижным глазом, на заднем плане амазонка. Она быстро приближалась на гнедом коне, газовый шарф, повязанный на шляпе, раздувался за ней, как знамя. Промелькнула... Ослепительно рыжая, кареглазая, розово-белая кожа, мушка на щеке... И снова скакали на меня всадники в красных камзолах, за ними егеря в галунах и войлочных шапках, последний на низкорослом чалом коне. Чалый — эту масть я называю с гордостью, запомнил в детстве из-за необычного звучания и загадочности. Другие увидят и определяют: бежевая лошадь или конь цвета кофе с молоком. Чалая. Проскакали. Открылся луг, за лугом, как и сейчас, лес, только не осинник — дубрава, кое-где с высоченными елями. Из дубравы выбежал босой мальчиш-

ка, белоголовый и растрепанный, он оборачивался и призывно махал кому-то шапкой. И оборвалось видение. Как я ни приседал, ни жмурился — напрасно. Конец. Зашло солнце.

Зато начался триумф мечтаний. Мне нестерпимо хотелось немедленно знать: как, за счет чего, почему, где сохранились и как записаны эти события, прошлое или фантазия, способ воспроецирования и при чем здесь закат. Он лишь хмыкал и бурчал о костылях, машинах, палачах природы, о ее претензиях к нам, о нашей непреложной обязанности осознать себя частью природы не только теоретически, а практически спаяться с ней всеми клетками. Мы же вместо слияния изолируемся обычно и привычно. Он торжествовал, что бы там я ни говорил, он показал мне телевидение без приборов. Просто, как воздух, как ручей.

Как воздух, который безвозвратно сжигают грязные фыркали, как ручьи, которые загнаивают и ядовитят каракатицы самоубийственные протезы. Говорил он уже с таким накатом, будто это я всем машинам и хозяин, и слуга, и даже раб, а он — нет, он в стороне, не прикладывав своих белых рук к немыслимому безобразию.

Мы с ним и раньше-то всегда спорили с неизбежным переходом на личности, экстремистски, что ли, тут же я буквально запылился, да еще, иначе не скажешь, зафистулил. Да, да, необходимо хладнокровно оценивать свои действия, зафистулил, или взвизгнул, словно меня обожгло. Станешь восстанавливать по порядку прошедшее — сознаешь: стыдно так срывать, во время же спора не находишь другого способа.

«В наших с тобой спорах захлебывается истина», — придумал он и про любые споры утверждал, что если в них и рождается истина, то лишь мертвая, как железка на пластмассовой руке. А когда нафистулил я про фотографию, он взял и порвал ее. Клочки сжег и пепел сдунул на грядки.

Мы уснули почти в смертельной ссоре. Нас разбудила гроза. Мы снова говорили. Он еще не предполагал, что гроза безнадежно нарушит условия адаптации, так по его терминологии называлось то, что делало возможным телевизионные передачи с борзыми и рыжей красавицей непосредственно из природы. Объяснений, понятных для меня, я тогда не получил, но может статься, что в запальчивости я не хотел понимать, вслушиваться в его слова. Повторяю, ночью он не предполагал, что установившийся у него контакт с природой по прямому проводу...

Нет, лучше не иронизировать. Смысл его устремлений исключал любые технические средства — какие уж там провода. Контакт, включая обратную связь, был: природа — я, потому что я — природа. Внутри себя. В грозу говорилось, что такой контакт с природой, обратная связь, доступнее всего, когда данный мыслящий организм изолирован от других мыслящих организмов.

Один человек — одна природа. Друг против друга. Потом он

внезапно вскочил и сказал: такую изоляцию можно создать довольно просто. Повторил: довольно просто. И закатил глаза своим способом. Я же, словно подстегнуло меня что-то, придрался к слову, назвал его идеи экзистенциалистскими, дзен-буддизмом. Он отрицал, я продолжал умничать. Мне и в голову не приходило, что он так скоро начнет осуществление своих планов.

Я уверен — ночью, в грозу он и сам не собирался ничего предпринимать, но вот когда обнаружил, что природа выключила свой телевизор, мог пойти на все.

Исчез он. Нет его нигде, где он бы мог быть, бывать. Уж поверьте, раз он решил изолироваться от всех других мыслящих организмов да еще его осенило это довольно просто с закатыванием глаз, его не найдешь, не докопаешься, пока не объявится сам.

А если не объявится? Хоть бы нашелся негатив того снимка. И ведь валяется у кого-нибудь. Псовая охота с борзыми, всадники на лошадях и момент, когда собака как бы косится в объектив.

МАГНИТНЫЙ КОЛОДЕЦ

— Здесь ведь все свои, — сказал пилот корабля ПГД-Х(А), — значит, и сознаться можно, что нет ничего скучнее рейсов дальнего радиуса. Конечно, неправильно утверждать, что тоска сразу после вылета охватывает. Нет, первую пару сотен световых лет даже интересно. Смотришь в иллюминатор, созвездия мелькают — одно, другое, третье, а ты в центре, и будто все они вокруг тебя вертятся. Картина! А потом надоедает. И так-то мне однажды невольно стало! Решил я спуститься на первую попавшуюся планету.

Лететь мне было еще далеко — вез я груз замороженных свежих деревьев для посадки на планете у самого края обитаемой Вселенной. Там еще в то время только амебы в первичном теплом бульоне плескались, но уже готовились начать длинную цепочку превращений — до самого человека. Вот и надо было, чтобы он в холодные зимы без топлива не остался, а также кузнечное дело мог развивать. Ценные породы деревьев, которые я должен был высадить, со временем образуют густые леса. Потом леса свалятся в первобытные болота, спрессуются, и к тому времени, как человек встанет с четверенек, у него уже будут великолепные залежи антрацита под ногами. Но это к слову.

Ну вот, свернул я в сторону от основного маршрута, добрался до созвездия Водолея, выбрал звезду не очень сильной яркости — вроде нашего Солнца, нашел несколько планет, что вокруг нее крутятся, и гадаю: на какую же опуститься? И тут я до одной вещи додумался. Проверить все планеты на магнитное поле и на ту садиться, где оно есть. А ход мыслей у меня был такой: на Земле ведь тоже сперва ничего не имелось, кроме естественного магнетизма; однако какое-то время спустя все появилось. С тех именно пор, как компас изобрели. Есть магнетизм — есть техническая цивилизация, есть живые, культурные люди, с которыми и время провести приятно. Так я рассудил. И жизнь подтвердила: совершенно правильно.

Смотрю на приборы, смотрю, и — вот она! Сухая, твердая планета, а магнетизм в сто раз больше, чем земной. Человеку вроде бы не опасен: решил приземляться. Так и сделал. Оглядываюсь — планета прекрасная, зеленая, ручеек журчит, сне-

говые горы вдаль виднеются. Курорт! А рядом с полем, где звездолет мой встал, шоссе проходит.

Только я вылез, смотрю, сворачивает в мою сторону какой-то самоходный экипаж. Остановился — выпрыгивает оттуда вроде бы человек — только одна нога, а голова как абажур у настольной лампы. Подходит ко мне без всякого страха, представляется, объявляет другом. Узнал, кто я и откуда, пригласил к себе. Поехали. Смотрю, а сам удивляюсь — в машине его ни мотора, ни колес.

— Как же ты едешь? — спрашиваю.

— По магнитным силовым линиям, — говорит. — Используем в самых широких масштабах планетный магнетизм.

«Вот это да! — думаю. — А мы-то нефть для чего-то качали, рубали уголек».

Наконец приезжаем. Отличный дом из монокристаллического железа. Забора нет, вместо — силовое поле магнитное. Дальше — больше. В доме плита, но ни огня, ни спиралек не видать. Так же как и ни атомной горелки, ни нуклонно-водородного комбайна.

— Магнетизм? — спрашиваю.

— Он самый, — подтверждает мой новый друг. — Эта сила у нас на все идет. Экипажи двигать, металл добывать и обрабатывать, дома сооружать, отапливать и освещать. И все такое прочее. Ну, буквально, используем повсюду. Нет такого дела, где бы магнетизм не применялся. Высочайшей культуры на этом источнике энергии добились.

— Да, — вздыхаю, — а мы-то, выходит, дураки оканные. То же самое имеем, а совсем не туда повернули. Сколько сил лишних угробили! Но позволь, однако, что же, каждый у вас имеет право распоряжаться планетным магнетизмом? Так сказать, брать для собственных нужд?

— Нет, — поясняет терпеливо, — совсем наоборот, не каждый. Вообще-то магнетизм распределяться должен в централизованном порядке, но так как он есть везде и всюду, то проконтролировать, кто сколько берет, практически невозможно. Есть, разумеется, инспекции, штрафовать за незаконное использование магнетизма должны, но ведь и там живые люди работают. Да вот, хочешь покажу.

Вышли мы с ним во двор, приблизились к колодцу. Обычное, между прочим, сооружение с мощным воротом. И привод моторный. Нажал он на кнопку, ворот закрутился, цепь загремела, бадья вниз пошла. Глубоко, километра на полтора.

— Ближе, — поясняет, — уж не осталось, весь выбрали.

Потом бадья вверх поехала. Подхватил он ее.

— Что ж, — удивляюсь, — пустая была, и вернулась.

— Это тебе только кажется, — улыбнулся он снисходительно, — потому что нет органа, воспринимающего магнетизм. А у нас такой орган есть — ноготь большого пальца ноги.

И тут только понял я, почему он так странно одет: отличный костюм, галстучек, две пары очков, одни светлые, другие темные. У них ведь четыре глаза. А нога босая.

— Так вот, — продолжает, — заверяю, полна с краями. На неделю хватит.

И выплеснул бадью в бак магнитомотора.

Пожил я в их краях, со многими познакомился. Все без исключения очень приятные люди. Интеллигентные, культурные. Сколько я там об искусстве и литературе говорил! Музыку слушал. Технику изучил. Правильно, все у них построено на использовании естественного магнитного поля. Никаких усилий для добытия энергии прикладывать не надо.

Ну вот, чувствую я: отдохнул, сил набрался, пора и путь продолжать. Другу своему говорю на прощанье:

— Очень мне нравится, как ваша цивилизация развивалась. Хочу и на Земле предложить то же самое. На обратном пути к вам загляну. Вот тогда-то ты меня и проинструктируешь.

— Разумеется, — соглашается, — обязательно. Когда намереваешься быть?

— Лет через пятьсот, — говорю.

— Вот я и попрошу, — заявляет, — усыпить меня в магнитном поле, а за годик до твоего прибытия разбудить. Я тебе тогда все данные подготовлю. А пока прими от меня скромное подношение на дорогу. Вот тебе пять бочек магнитных силовых линий. Я как раз на днях к колодцу насос подключил.

— Помилуй, — говорю, — царский подарок.

— Ничего особенного, пустяки. На всех хватит.

Взял я эти пять бочек и улетел. И как они мнегодились! Сквозь метеоритный дождь с их помощью прорвался, от пылевидных чудовищ отбилсЯ, притяжение белого карлика преодолел. Выручил меня друг, прямо надо сказать, как мало кто. Ну доставил я свой груз, посадил деревья, дождался, пока в пустыне столетние дубы зашумели. Теперь и назад можно.

Конечно, не мог я вернуться, не навестив своего друга. В конце концов, у нас точно такое же богатство под ногами, а мы, можно сказать, всю землю перерыли, недра ее истощили. Да мне человечество памятник поставит!

Снова созвездие Водолея, начинаю ориентироваться. Ничего не выходит. Индикатор не светится. Нет магнитного поля ни у одной планеты. Что же делать-то, а? Напряг память, кое-что по отдельным приметам вспомнил, повторил маневр, снова опустился на ту же поляну. И вижу: что-то существенно изменилось. Дорога в тот раз вся была забита машинами, а теперь хоть бы одна показалась. Пустота, тишина, безлюдье. Вышел я на дорогу: смотрю, вся потрескалась, насыпи обвалились, кюветы мусором засыпало. И вдруг фигура какая-то показалась. Смотрю: да это ж друг мой ненаглядный на одной ноге ковыляет! Обнялись мы, расцеловались.

— В чем дело, — удивляюсь, — не узнаю. Куда былое великолепие подевалось?

Кинулся он мне на грудь и горько-горько зарыдал.

— Нет, — плачет, — ничего, все в прошлом, а нынешнее поколение и представить себе не может, как оно все было. Черпали мы наше величайшее природное богатство — магнетизм кто сколько хотел и все вычерпали, вылакали. Нет у нас сейчас ни техники, ни культуры. Дома дровами топим, кое-как учимся нефть добывать. Да что толку! Корабли не ходят, самолеты не летают: компас ведь бездействует. А другого навигационного средства мы пока не изобрели.

— Полное мое вам сочувствие, — вздыхаю, — а вот то, что ты мне обещал тогда — всю библиотеку на маленькую карточку переснять — это выполнено? Может быть, мы учтем ваш, так сказать, горький опыт?

— Нету никакой библиотеки, — говорит. — Я как восстал после пятисотлетнего сна, да как узнал, до чего родную планету довели, пошел и подорвал все сто восемьдесят семь библиотечных зданий. Полбочки аккумулярованного магнетизма оставалось у меня — закопал перед усыплением — вот я ее на это дело и пустил. Боялся, что библиотека к вам попадет, и вы тем же путем двинетесь. А мне ваша цивилизация дорога — верного друга ведь подарила!

И зарыдал еще громче. Слезы из всех четырех глаз ручьем хлещут. А слезы очень горячие — смесь серной и соляной кислот. Того и гляди костюм мой прожгут. Я его глажу, успокаиваю, а сам отстраняюсь потихоньку. Сказать-то, чтобы не ревел, нельзя: в лучших чувствах обидишь человека.

— Послушай, — спрашивает, — я ведь тебе в свое время пять бочек магнитных силовых линий подарил. Так вот, хоть одной не осталось ли? Меня за подрыв библиотек в тюрьму посадить должны, так я откупиться хочу.

— Нет, — переживаю, — друг мой сердечный, нет ни бочки, ни даже полбочки, ничего не оставил. Сам транжирил магнетизм направо и налево.

Ну что тут еще скажешь. Попрощались мы с грустью, и улетел я.

— ...Пилот корабля ПГД-Х(А), — раздался голос с потолка, — зайдите в диспетчерскую отметить путевой лист. Погрузка вашего корабля закончена.

Рассказчик вскочил с места и бросился к дверям. Кто-то заглянул через его плечо в путевые документы.

— Это-то зачем? — вскричал любопытный. — Пятьсот тысяч маленьких магнитиков!

— А вы думали как? — Пилот корабля ПГД(Х)-А на миг остановился в дверях. — Неужели я друга в беде брошу?

И с этими словами он исчез.

НА ГОРИЗОНТЕ — «ЭНИГМА»

Протис собрался было что-то сказать, но из динамиков раздался мертвый голос перцептрона:

— На горизонте — объект «Энигма». Включаю большой экран.

На экране загорелась звезда Эпсилон Возницы. Окружающие ее зримые объекты были окрашены в зеленый цвет, инфракрасные и ультрафиолетовые поля светились красным, какие-то объекты неизвестного происхождения — белым цветом. В центре экрана сверкала ослепительно белая точка, вокруг нее колыхались белые и красные кольца, кое-где испещренные зелеными точечками, а дальше все растворялось в густо-черном поле пространства. У края экрана голубоватой точкой был отмечен корабль. Он медленно приближался к первому кольцу.

Все космонавты собрались у экрана и, показывая на него, спорили, что же сулит им странное зрелище. Голубоватая точка вплотную приблизилась к белому кольцу. Тори ткнул в него пальцем и крикнул:

— Смотрите, вот и первый риф! Почувствуем ли мы что-нибудь?

Корабль нырнул в кольцо, но ничего не произошло: вещи спокойно висели на своих местах, а космонавты парили у экрана. Вдруг из белого центра «Энигмы» вырвалась новая — фиолетовая! — волна. Она мчалась почти в три раза быстрее голубоватой точки корабля, и космонавты в один голос вскрикнули:

— Она летит со скоростью света!

Минут через десять волна достигла корабля. Голубоватая точка стала фиолетовой. В зале раздался низкий гул. Он все усиливался, от него завибрировали вещи и тела космонавтов, зашумело в ушах, замигал свет. Изображение Эпсилона Возницы погасло. Несколько тяжелых вещей оторвалось от стен и поплыло по воздуху. За это время гул превратился в резкий свист и внезапно оборвался.

На мгновение все оцепенели. Странное происшествие ошеломило космонавтов. Первым пришел в себя командир корабля Протис.

— Мы попали в зону каких-то неисследованных явлений! — сказал он, стараясь выглядеть спокойным. — Кажется, из объ-

екта «Энигма» временами вырываются могучие волны энергии. Они могут повредить корабль. Всем приготовиться к любым неожиданностям. Проверьте, не испортилось ли что-нибудь на корабле!

Космонавты поспешно направились к своим местам. У экрана остались только Протис и два его помощника — Рени и Гиптэ.

— Локатор вышел из строя. — Рени кивнул на экран.

— Следующая волна обрушится на нас внезапно, — тревожно прошептала Гиптэ.

— Мы должны быть начеку. — Протис нахмурился. — Где-то здесь замолк корабль первой экспедиции. Он вернулся пустым. Никто не мог сказать, куда исчезла его команда...

Громкий голос Осми прервал его:

— Что-то случилось с магнитными и атомными записями! Программа не работает, нет связи с машинной камерой!

Вдруг оглушающий свист снова потряс зал и тут же умолк.

— Свинство! — крикнул Осми. — Нет, вы понимаете? Эта проклятая волна стерла программы и записала свое противное сопрано! Отказало автоматическое управление!

Протис подлетел к Осми и за несколько секунд сам удостоверился, что тот не ошибается.

— У нас есть программы на инджиевых дисках. Их не сотрешь, пока не расплавишь металл. Придется срочно заменить элементы памяти, — сказал Протис.

Один за другим возвращались космонавты. Нигде не работала связь, магнитные, электрические и атомные приборы. Корабль был практически неуправляем.

— Следующая волна может настичь нас в любую минуту, — глухо высказал общую мысль Рени. — Вставить инджиевые диски во все механизмы уже не успеем.

— И не стоит, — нервно откликнулась Гиптэ. — Не лучше ли вставить диски только в систему управления и повернуть подалеже от зоны действия этих волн.

— Повернуть тоже не успеем! — крикнул Гинтис. — Надо по инерции пролететь опасную зону. Нам хватит скорости, чтобы не попасть в сферу притяжения «Энигмы».

— Мы много болтаем, — зло вставил Осми. — Еще несколько секунд, и может быть поздно.

— Верно! — прервал всех Протис. Теперь он говорил быстро, но твердо: — Рени прав: за несколько минут все нам не исправить. Корабль может еще долго лететь по инерции, а механизмы внутреннего управления и контроля должны работать все время. Ответственные операторы обязаны тут же исправить их. Другие космонавты возвращаются на свои места, берут под контроль автоматы. Если что-либо произойдет, сразу же докладывайте. Остальные будут постепенно заменять элементы памяти.

Космонавты разошлись по местам. У экрана остались только

Протис, Проте и двое врачей. Протис со старшим врачом Мантасом подлетел к большому окну наблюдения и тихо сказал:

— Мантас, мне тревожно. Что-то будет. Почему корабль первой экспедиции вернулся без команды? Ведь механизмы не были повреждены. Неужели враждебная цивилизация?

— Или неизвестные космические явления, — так же тихо ответил Мантас. — Не превратились ли их тела в пыль? Кто знает... На всякий случай подготовлю медикаменты, операцию.

— Хуже всего то, что мне приказано любой ценой повторить маршрут первой экспедиции. Мы не имеем права повернуть назад...

Они полетели обратно к врачам и Проте. Но едва они достигли центра зала, воздух снова наполнился зловещим гулом. Теперь он очень быстро усилился и умолк. Но странный феномен на этом не кончился. Лампы в зале ярко вспыхнули, казалось, что глаза вот-вот не выдержат ослепляющего света. И тут свет погас. Космонавты почти в один голос закричали от удивления: в темноте их тела светились, как у привидений. Они казались прозрачными, а кости и вены просвечивались темными тенями.

— Не пугайтесь! — крикнул Мантас. — Ложитесь на спины и не смотрите друг на друга. Волна быстро пройдет, а тогда я дам вам препарат, нейтрализующий избыток энергии.

Первым послушался Протис. Он направил взгляд на темное окно наблюдения и, выбрав далекую, слабо мигающую звездочку, старался думать только о ней. Рядом с собой он чувствовал тело Проте, за ней дышал Мантас, еще дальше лежали другие космонавты.

Вдруг Проте завизжала. Протис не успел взглянуть в ее сторону — у него самого вырвался глухой стон: звезды, сверкающие на расстоянии десятков световых лет, вдруг на бешеной скорости начали мчаться к нему. Через несколько секунд все пространство заполнилось огромными ослепляющими шарами.

— Конец, — услышал Протис последнее слово Гели. Он поднял руку, словно пытаясь защититься от сошедших с ума космических тел, которые летели в него, и потерял сознание.

Проснувшись, Протис не мог понять, где он находится. Вокруг — как на Земле в ясную лунную ночь: давно невиданный светлый полумрак. Он оглянулся — нет, это был не его старый милый космический корабль. Кругом громоздились какие-то тела, то ли растения, то ли странные скульптуры, и они медленно колыхались, словно от ветра. Но ветра-то не было. Тело Протиса еще ощущало невесомость. Значит, они не свалились на какую-то планету. Чужой космический корабль? Неизвестное тело? База в пространстве? Желая разобраться, где же он находится, Протис полетел к странным телам.

И тут над собой он услышал легкий шелест. Глянул вверх. Медленно двигая крыльями, парила какая-то невиданная птица,

напоминающая стрекозу. Протис ясно видел металлические когти, острый клюв, горящие красным огнем глаза. Вместо крыльев у птицы была испещренная интегральными уравнениями металлическая сетка.

При виде такого пугала Протису сначала почему-то стало смешно. Он крикнул:

— Эй, кузнечик, не скажешь ли мне двадцать пятый закон жужжания? Сейчас я сделаю из тебя чучело и привезу его на Землю.

Он с трудом узнал свой голос — какой-то тоненький, пищущий. Но вдруг — как во сне! — птица заговорила. Протису показалось, что он уже много раз слышал ее голос.

— Сам ты чучело, вождь краснокожих! Пока ты меня поймашь, я разнесу твою глиняную голову! Мы с вами мигом разделимся.

И птица нырнула обратно в чашу качающихся металлических растений. Протис погнался было за ней, но внезапная мысль остановила его. Что означают слова птицы? Какая-то агрессивная цивилизация захватила корабль.

Протис не стал задумываться над этим, оглянулся и изо всех сил крикнул:

— Проте, где ты? Отзовись!

Прислушался. Минуту стояла тишина, а потом издалека прилетел слабый крик Проте:

— Спасайте! Они хотят меня убить! Быстрее-е-е!

«Она в опасности, но еще жива, — Протису стало жарко. — Так и есть. На нас напали. Волны энергии были их оружием».

Сзади раздался крик, но Протис уже не слушал. Он сломя голову кинулся по направлению к любимому голосу. Чудом миновав острые стальные шипы, торчащие из стеклянных листьев, он пробежал среди растений. Чуть дальше чернела дыра пещеры.

«Там, — понял Протис. — Там эти гады заперли Проте».

— Гей! — раздался вроде бы голос Гинтиса. — Дай-ка мне штук двадцать магнитных дисков! Я страдаю от информационного голода!

Взглянув вниз, Протис увидел новое существо, медленно выползающее из-под кустов. Оно напоминало барсука, только шкура была покрыта чешуей из голубого металла, при движении поскрипывала; в глазницах сверкали линзы, а из спины торчали белые кости.

«Они пытаются обмануть меня, отвлечь мое внимание, — понял Протис. — Имитируют голоса наших и подсылают этих страшных роботов. По-видимому, за нами уже давно наблюдали, записывали наши беседы. Но они сильно ошибаются — этой чертовщиной меня не испугаешь».

Еще несколько химер бросилось к нему с разных сторон, они наперебой разговаривали и махали фантастическими конечностями.

Осмотрительно избежав контакта с ними, Протис кинулся в пещеру. Там было темнее. Он ударился обо что-то острое, крикнул:

— Проте, где ж ты? Что они с тобой сделали?

Но тут рядом с ним раздался голос Мантаса:

— Протис, как хорошо, что ты здесь! Я уже собрался было искать тебя!

Протис быстро оглянулся. Вокруг было пусто.

— Мантас, где ты?

Тишина. Протис начал ощупью искать Мантаса среди ветвей, каких-то обломков, торчащих из грунта корней. «Чего доброго, они заставили его замолчать, — подумал. — Возможно, даже убили». Он еще энергичнее пробирался сквозь густую чащу. И тут чьи-то щупальца схватили его и медленно потащили вглубь.

Протис скрипнул зубами, отряхнулся и ударил по щупальцам. Они отскочили, и невидимое животное с шумом убежало. «Там похитители закрыли наших, — подумал Протис. — Проте и Мантас, наверно, тоже там. Я должен освободить их». Он смело пробирался сквозь колючки, очутился в другой пещере, от которой ответвлялось несколько узких ходов, и медленно полетел вперед, зорко поглядывая по сторонам.

Он уже миновал одну боковую пещеру, когда оттуда послышался шепот Мантаса:

— Протис, остановись. Слушай меня, только не оборачивайся.

Услышав голос Мантаса, Протис сразу остановился, но после второй фразы молниеносно обернулся. Сзади никого не было. Из боковой пещеры раздался злой голос Мантаса:

— Я ж просил не оборачиваться! Почему не слушаешься?!

— Мантас, ты как-то странно говоришь. Что с тобой? Я должен знать. Ведь я командир корабля! — крикнул Протис.

— Не кричи так! Мы попали в странную ситуацию. Я тебе кое-что объясню, но ты должен поступать так, как я тебе прикажу, — совсем тихо проговорил Мантас.

Протис слушал его, повиснув над входом в боковую пещеру. «Почему он прячется от меня и так странно говорит?» — не давала покоя назойливая мысль. Но Протис миролюбиво сказал:

— Ладно. Что я должен делать?

— Прежде всего на некоторое время передай мне полномочия командира корабля. И сам выполняй мои приказы. Ты должен ловить эти странные разговаривающие существа и носить их сюда...

— Послушай, Мантас, почему ты не хочешь вылезти и доказать, что ты есть ты?

— Протис, ты болтаешь ерунду. Сейчас я не могу показаться тебе...

— Лжешь... и что-то скрываешь от меня! — крикнул Протис. — А может...

Он умолк, потому что в голову пришла другая мысль. Он тихо сказал:

— Если ты на самом деле ты, тогда скажи, кто для меня Проте?

— Проте? — раздался приглушенный смех. — Не бойся, Проте здесь.

— Что она там делает? — тревожно спросил Протис. — Я должен увидеть ее.

— Пока что это невозможно, — спокойно отрезал Мантас. — Позже... Я лечу ее...

— Ты лечишь... — прошептал Протис. — А может, ты пытаешься ее?!

Словно ответ, из пещеры раздался приглушенный стон. Протис не понял, был ли это голос жены, но, охваченный внезапной злобой и подозрением, уже не слушал просьб мнимого Мантаса и с криком бросился в пещеру.

— Ты не Мантас! Иди-ка сюда, если смеешь! Я разнесу эту противную лавочку!

Кто-то попытался преградить ему дорогу, но от сильных пинков Протиса отлетел в сторону. Спереди послышался голос Мантаса:

— Дурак! Что ты делаешь? Погубишь их всех. Вернись!

Протис ничего не ответил. Готовый к схватке, он вылетел в большое помещение, где было почти совсем темно. Перед ним протелькнули две тени.

— Командир, где же твой трезвый рассудок? — теперь один силуэт говорил голосом Мантаса.

Второй силуэт исчез в конце пещеры. Раздался странный шум, как будто там дрались.

Протис повис в центре пещеры и думал, на который силуэт ему нападать. «Расправлюсь с роботами, а потом отыщу их хозяев», — решил он.

Продолжительный стон из угла, где скрылся второй робот, предрешил выбор: Протис полетел туда. Звякнул металл. Первый робот летел сзади Протиса.

Протис чуть не стукнулся со вторым роботом, но тот резво избежал его и полез дальше, в место потемнее. Протис ощупью искал своих друзей. Он притронулся к какому-то странному предмету. Ящик? Протис вздрогнул от внезапно возникшей мысли: членов команды запирают в ящики, а на их место выпускают роботов! Протис опустил ухо к ящику. Внутри дышало живое существо. Насколько коварен враг! Он поднял голову и увидел два расплывчатых силуэта, словно коршуны парили над ним.

— Не знаю, кто вы такие и кто вами командует, — серьезно произнес Протис. — Но предупреждаю — мы не сдадимся.

Этикет космических путешествий запрещает нападать на чужие экспедиции. Странно, что вы этого не знаете.

Пока он говорил, одна тень удалилась и появилась снова, уже неся что-то. Тогда вторая голосом Мантаса сказала:

— Да, ты прав. Мы захватили корабль, а вас заперли тут, на маленьком спутнике большой планеты. На свободе остался только ты один, но скоро и тебя схватим. Ха, ха! И второй корабль вернется на родную планету без экипажа!

«Ага! — подумал Протис. — Наконец-то враги выболтали свои замыслы. Они врут, что их только двое. Наверно, эти два робота — старшие. Главное — разделаться с ними. Погодите, голубчики, вряд ли вам известны все человеческие хитрости. А вдруг мне удастся справиться с вами».

Он отлетел в сторону и громко сказал:

— Значит, собираетесь и меня — последнего из команды — затолкать в ящик? Ладно, я не стану сопротивляться, только позвольте проверить, живы ли люди в ящиках. Я был командиром и останусь им до последнего мгновения... Тогда дадите мне пустой контейнер, и я сам лягу туда. Если нет, будем драться!

Его враги стали перешептываться. Тот, который говорил голосом Мантаса, подтолкнул к Протису ящик и сказал:

— Что ж, попробуем! Нам неохота долго возиться с тобой. Все равно вы проиграли. Контейнеры с членами экипажа под тобой. Проверь, а потом поудобнее устраивайся в этом ящике. Твои друзья уже спят. Ничего страшного, скоро мы вас разбудим.

Протис схватил ящик. Он был криво и грубо сколочен. Оставив ящик на полу в самом темном месте, Протис стал летать над другими контейнерами, поочередно наклоняясь к ним и вслушиваясь в дыхание заключенных товарищей. Теперь не имело смысла проверять, живы ли они. Но Протису надо было выиграть время. Возвращаясь назад, он расстегнул свой комбинезон, не останавливаясь, снял его и крикнул:

— Эй, вы! Я ложусь! — и, бросив в пустой ящик комбинезон, громко захлопнул крышку.

Сам Протис тихо притаился за другими ящиками. Наверно, враги внимательно слушали, чем он занимается, потому что один сразу же подлетел к ящику. Протис выглянул через край контейнера. К темноте привыкшие глаза различили противный силуэт робота. Он заговорил голосом Эрби:

— Кажется, он на самом деле тут. Я открою и посмотрю. А ты приготовь шприц.

Звякнул металл. Протис приготовился прыгнуть на робота, который стоял по ту сторону откинутой крышки ящика. Он сильно оттолкнулся ногами и очутился у ящика, готовый схватить робота и бросить в ящик, пока тот еще не понял обмана. Но у ящика никого не было! Протис не успел оглянуться, а второй контейнер уже накрыл его. Оба врага были тут же. Теперь

вырваться не удалось: сначала Протиса прижали к полу, потом грубо затолкали в контейнер. Щелкнули замки. Через какую-то дыру просунулся шприц. Протис почувствовал укол. Сначала он еще метался, боролся со стенками ящика. Но темнота анабиоза постепенно успокоила его...

Открыв глаза, перед лицом Протис увидел блестящую поверхность металла. Вспомнились последние события, схватка с роботами. Протису показалось, что его заживо похоронили. От отчаяния бросило в дрожь. Он кулаками застучал по крышке и с удивлением почувствовал, что руки легко проходят сквозь металл. Крышка была сделана из тоненькой жести. Протис несколькими движениями сорвал ее и сел. Его окружали родные квадраты стенных плит, в воздухе висели контейнеры, и Мантас шел к нему.

— Еще один цыпленок вылупился! Ну, командир, как самочувствие?

— Не вижу ничего смешного, — отрезал Протис. — Скажи, Мантас, я сплю или сошел с ума? Ничего не понимаю!

— Наверно, спишь, — приснул Мантас. — А я — твое сновидение.

Он подлетел, щелкнул Протиса в лоб и сказал:

— Хватит дрыхнуть. Вставай. Наделал ты мне хлопот...

— Мантас! Где ж похитители, роботы и пещеры? Я помню, что наш корабль захватили какие-то чудовища. Я даже дрался с ними.

— Браток, — опять засмеялся Мантас, — чудовища, пещеры и похитители находятся здесь. — Он постучал в висок Протиса.

— Ты хочешь сказать, что мои мозги размягчились?

— Нет. Не только твои. Что-то произошло со всеми. Когда нахлынула новая волна энергии, помнишь, нам показалось, что небо рушится на нас. А потом уже появились и пещеры, и чудовища, и другие странные вещи. Ну, подумал я, влипли... Появилось желание бороться, спастись. Наверно, такое состояние было у всех. К счастью, я частично сохранил трезвый рассудок — или остался скептиком. Вот и решил привести в порядок нервы — выпил хорошую порцию успокаивающих. Сразу все стало ясно: наши ощущения, нервы, память были страшно возбуждены наплывом энергии. Мы были на корабле, но сознание соединило видения, ощущения, звуки и обрывки воспоминаний в фантастические химеры. Друг другу мы казались страшными, невиданными чудовищами. Только голоса почти не изменились... Залы и коридоры корабля стали пещерами... А лекарство восстановило мое больное воображение. Я подумал, что скоро вы начнете бушевать, откроете люки и выпрыгнете в космос. Нашел Эрби — он уже дрался с двумя — и дал ему лекарство. Оба мы начали укладывать вас в контейнеры и усыплять, чтобы вы

могли там пролежать критические часы. Но через некоторое время поток энергии настолько усилился, что даже лекарства перестали действовать. Мы тоже решили заснуть. А жаль — ведь когда корабль летел мимо «Энигмы», все спали. Звезда умеет хранить свою тайну...

— Вот где отгадка тайны первой экспедиции? — полуутвердительно спросил Протис.

— Наверно, — кивнул Мантас.

— Как ты думаешь, перцептроны записали какие-нибудь данные про «Энигму»?

— Я уже проверил. Ничего нет. Еще хуже — энергия стерла и все другие записи. Уцелели только программы на инджиевых дисках. Темная звезда очень предупредительна.

Протис помолчал.

— И все-таки мы перехитрим ее, — наконец сказал он. — Надо поворачивать обратно. Еще раз пролетим мимо «Энигмы». Сделаем как старый хитрый Одиссей. Экипаж снова будет спать, а меня и Проте вы закроете и свяжете, чтобы мы не вырвались. Мы не будем спать и разведем все тайны этой звезды.

Перевел с литовского Б. Балашивичюс

ДОБРОЕ УТРО, ХИМЕРЫ!

Пролетев над гнездом кратеров, Виола сразу заметила среди ржавой изрытой пустыни предгорий, на старом лавовом языке блестящую бусинку. Пока опускалась, возле капсулы прыгал мужчина, махал руками, как в старинной книжке махали с необитаемого острова приближающемуся парусу.

Если верить приборам, атмосфера здесь состояла чуть ли не из одного сернистого газа. Приземлившись, Виола спрыгнула из люка и пошла, твердо хрустя шлаком, готовая к жестокостям нового мира; скафандр высшей защиты был массивен и бел, словно кокон. Потерпевший, в красном десантном костюме, медведем вперевалку бежал навстречу, растопылив для объятия баллоны-рукава.

Он слегка оторопел, увидев сквозь радужный пузырь шлема массу вьющихся черных волос и строгие карие глаза, широко расставленные на тонком смуглом лице. Виола сама обняла его за плечи:

— Что тут у вас случилось, Кэйн?

Его голова качнулась в толстой баранке ворота. Мужчина казался щупловатым для громоздкого костюма, носил рыжие усики и подслеповато щурил блеклые глаза в кольцах морщин. Кэйн был старый удачливый пилот-разведчик, Виола знала о нем с детства.

— Плохи наши дела, девочка. — Жмуря глаза, помотал головой. — Корин умер, и к «Матадору», считайте, нет доступа.

— Где тело?

— Здесь, в капсуле... Эта мразь его облучила.

— Какая еще мразь? — подняла яркие брови спасательница.

— Идемте к нему.

Внутри яйцевидной капсулы сняли шлемы. Желтая стеганая обивка была измазана ржавой пылью, крышка санитарного отсека сорвана. Лицом кверху на полностью откиннутом кресле лежал рослый молодой атлет в майке-сетке и шерстяных рейтузах. Виола с непривычки покосилась на огромные голые ступни со скрюченными пальцами. Тугие нежные щеки, обиженно открытый детский рот, — при жизни Александр Корин, вероятно, отвечал определению «кровь с молоком».

Она постояла несколько секунд и присела на край второго

кресла. Ступни были почему-то страшнее всего, они внятно говорили о смерти, и Виола против желания все время на них смотрела.

Грустный Кэйн рассказывал, устроившись на обивке:

— Вас учили, девочка, что где-то раз в сто лет в планетарном реакторе начинается неуправляемый распад. Ну так теперь флот может быть сто лет спокоен... Мы первым делом выбросили контейнер с главным топливом, а потом уже капсулу. Из атмосферы видели, как у «Матадора» полыхнула корма, после чего он свалился. И вместе с ним, между прочим, научные материалы с погибшей базы в системе Хаггарда за двадцать лет работы... Не говоря уже о том, какой ценой мы их взяли — там осталось пять человек — матерьяльчики перевернули бы всю нашу космогонию. С Кориным была просто истерика, жутко смотреть. — Кэйн перевел дыхание, отхлебнул из фляги. Виола молча отказалась, ждала продолжения. — Хотели сесть поближе к «Матадору» — не вышло. Он воткнулся в старый боковой кратер с отвесными стенами. Хорошо, хоть взрываться было уже нечему. Кратер с одной стороны расколот, другого прохода нет. Километров двадцать отсюда дорога — для горных козлов. Не успели сесть, Корин потащил меня туда. Я отбивался, советовал подождать вас... то есть спасательное судно. Ни в какую! Плачет, грозитя пойти в одиночку. Пробовал удержать силой — так разве ж такого мамонта удержишь? Пошли, конечно. Сутки тут короткие, а в темноте по здешним скалам не полaziшь. То есть, Корин полез бы, но я после заката лег пластом и поклялся не вставать до утра. Он обругал меня последними словами, и мы залезли в пещерку. Я дал ему таблетку снотворного, а сам, наоборот, принял стимулин. Вот перед самым рассветом явилась мразь... — Усы Кэйна передернулись отвращением. — То есть захлопала, подняла ветер у входа и налетела прямо на меня. Такая...

Кэйн оглянулся по сторонам, ища, с чем бы сравнить.

— Такая здоровенная гадина, круглая, толстая и плоская вроде морского ската, только мягкая и горячая, вся в густой шерсти. Крылья растут из боков, как, знаете... будто у нее края тонко-тонко раскатаны, как тесто. Налетела и ложится сверху, какими-то крючьями шарит по груди.

Можете себе представить, как я заорал! У Корины реакция была сумасшедшая. Он только чуть поднялся на локте, зажег фонарь и саданул в упор из пистолета. Мразь побилась по пещерке, подергалась и сдохла.

А тут и утро, быстрое, как будто свет включили. Мы часа через два поднялись на перевал. Внизу лавовые поля, а за ними то самое ущелье, что ведет в кратер. С перевала спуск почти отвесный. Он полез первым. Меня судьба хранила, хотя я тогда подумал обратное. Упал и коленом стукнулся так неудачно, что на ногу не мог ступить. Думали, треснула кость. Алик,

бедняга, выволок меня обратно, посадил в укромное место и велел ждать. Я не видел, как он спускался — потом только заметил красную фигурку на лавовом поле. Он добрался почти до самого кратера...

Рассказчик склонил голову и помолчал, скручивая ус в тонкую веревочку.

— Ну, короче, вылетела стая из ущелья, закружилась... Он стрелял, потом побежал обратно. Они долго преследовали. Кажется, две или три твари он сбил. Пришел, уже шатаясь. Индикатор на рукаве пылает — доза страшная, трудно представить, как он вообще мог идти, да еще лезть по откосу. Ох, сильный был человек! Сказал только: «Не подходи», лег на живот и умер. — Кэйн резко, со злобой дернул ус, поморщился от боли. — Легко умер, как мы, разведчики, друг другу желаем: «Большой удачи, легкой смерти». Что ж, я... Ладно. Не буду вам надоедать. С моей ногой притащился сюда, подлечил ногу... как сумел. Потом — взяв дезактиватор, обратно. И опять сюда... с ним на спине... Извините, не хотел оставлять... этим... Хорошо. Главное, вы здесь, и можно что-то решать.

— Что уж теперь решать? — сказала Виола, глядя на труп. — Давайте перенесем его ко мне, в морозильник.

...Когда мощный корабль Виолы, ярко-белый, с эмблемами Спасательной Службы Флота, подцепил гравитационными присосами и поволок вверх из кратера сплюснутый корпус «Матадора», внизу поднялся целый шабаш. Словно бурные листья вихрем кружились вокруг обгорелой громады.

— Вот она, нечисть, чертово семя! — завопил Кэйн, грохнув кулаком по спинке пилотского кресла. — А ну-ка, девочка, поджарьте их как следует, иначе «Матадор» будет нашпигован рентгенами!

Вместо ответа Виола включила дистанционный Р-уловитель. Белая точка резво побежала по разграфленному экрану, остановилась, покраснела и разбухла до размеров яблока. Кэйн даже рот раскрыл:

— Что за притча! Десять тысяч рентген — но, кажется, не в кратере?

— Нет, источник на лавовом поле, возле входа в ущелье. Потом займемся.

Он заглянул сбоку в холодное лицо Виолы, с жестким прищуром и сжатыми губами.

Двадцать четыре года, не больше — и шевроны пилота-спасателя первого класса. Поглядывает косо, будто знает что-то порочащее Кэйна. Ах, молодость! Он усмехнулся представив ее ослабевшей в мужских объятиях, целующей, отдающей...

Они вывели корпус «Матадора» на околопланетную орбиту, аккуратно сняли катушки корабельной памяти — командный пункт остался неповрежденным, поскольку был собран в плава-

ющем сверхпрочном шаре. Когда вернулись к кратеру, пятичасовой местный день уже окончился, и в глухой темноте мерцал на равнине островок мирного сияния.

— Десять тысяч рентген... — шептал, растерявшись, Кэйн.

Под рукой Виолы выросло увеличение на экране телелокатора. Неглубоко в лавовой трещине засел массивный четырехгранный брус — мягко светящийся, серебристо-синий. Разведчик только захрипел, яростно кусая свой кулак.

— Да, ваш контейнер с главным топливом. Очень удачно выбросили, — бесстрастно-звонко сказала Виола.

Словно продолжая начатое молчаливое следствие, она пожелала увидеть тварь, убитую Кориным. Подавленный, сразу постаревший Кэйн нашел инфраискателем пещерку перед подъемом на перевал, под козырьком гигантской глыбы. Присосы бережно подняли скалу и далеко отшвырнули ее. Гул прокатился по предгорьям. Невидимая рука корабля нащупала и втянула в трюм маленькое круглое тело с повисшими перепонками-крыльями...

Виола работала до утра в лабораторной каюте. Вернее, трудился универсальный корабельный мозг, получая все новые и новые задания от хозяйки. Когда включился молниеносный рассвет — она дала последнюю команду: положить расчлененное, обработанное всевозможными энергиями и химикатами тело в морозильник.

Вошла в жилую каюту и осторожно, как рядом с тяжелобольным, присела на край койки, где всю ночь лежал Кэйн, красными глазами глядя в потолок. Тот почувствовал, что девушка молчит как-то особенно, и обернулся. Она смотрела не мигая в переносицу разведчика, бессильно уронив руки на колени.

— С вами-то еще что случилось, девочка?

— И со мной, Кэйн, и с вами, и со всей Землей... Понимаете, я сразу заинтересовалась — почему он шарил вам по груди... А у него на брюхе, оказывается, такой орган, вроде шприца. Шприца...

— Ну, ну?

Виола спросила неожиданно жалобно:

— Вы представляете себе... почему человеку вредна реакция?

— Увы, очень смутно. А какое отношение...

— Самое прямое. Грубо говоря, так: под действием излучения в клетках организма атомы превращаются в заряженные ионы. Начинаются химические реакции, опасные для здоровья. А вот у... — Она вдруг остановилась, наконец-то прицелившись оцепенелым взглядом в глаза Кэйна. — У вашей мрази в этом... шприце приготовлен заряд такого вещества... я это проверила... такого, чтобы не могла происходить ионизация в организме.

Виола зажмурилась и вдруг уткнулась лицом в плечо разведчика.

— Так, — вяло заговорил Кэйн, поглаживая пышные кольца Виолиных волос. — Очень мило. Значит, они хотели сделать нам с Аликом инъекцию, чтобы мы не погибли, проходя мимо контейнера. А мы, стало быть... Да-а! Прямо как в сказке — добрые звери.

— Извините меня, — сказала она, поднимая лицо с красным следом на щеке от шерстяной фуфайки Кэйна. — Извините, но это было убийство. И может быть, возле ущелья... вы говорили... еще двоих-троих...

Из рапорта Виолы Мгеладзе, пилота-спасателя первого класса, Координационному Совету Земли:

*Сектор «Дельта», куб 6347,
звезда Кристофовича — Корняну,
спасательный катер Центр-699,
экстренный канал связи.*

...Выводы пилота Кэйна о виновности аборигенов в смерти Корина показались мне не совсем убедительными. Более того, острый интерес жителей планеты к нам самим и нашей технике противоречил его мнению об их низкой организации. На моих глазах огромная стая собралась в кратере вокруг разбитого «Матадора» в то время, как на обозримом пространстве не было ничего живого. После находки излучающего контейнера сам Кэйн полностью изменил свое мнение. Обследование убитого аборигена, произведенное мной с помощью корабельного мозга согласно инструкциям ордена, привело меня к настоящему выводу. Я утверждаю, что в системе Кристофовича — Корняну обитает раса разумных существ, совершенно непохожих на человека, но обладающих вполне гуманной этикой. Трагический ночной визит аборигена в укрытие людей, на мой взгляд, свидетельствует о том, что данной расе незнакомо понятие агрессии. Впрочем, не исключено также, что они опознали в людях разумных существ и ожидали того же по отношению к себе...

Ни мои знания, ни средства исследования, которыми я располагаю, не позволяют мне полностью описать физиологию препарированного мною аборигена: однако я, безусловно, установила наличие мощных электробатарей, которые не были использованы в ответ на стрельбу Корина и Кэйна...

Предлагаю Совету организовать комплексную базу в системе Кристофовича — Корняну. При этом необходимо скрупулезно разработать план Контакта с учетом возможных последствий двойной трагедии, разыгравшейся при первой встрече.

Смею надеяться, что меня сочтут достойной посвятить свою жизнь развитию этого Контакта.

Относительно пилота Освальда Кэйна. Выброс контейнера с аннигилятом на поверхность планеты — крайне серьезное нарушение устава. Кроме того, лишь мое прибытие помешало ему продолжить истребление аборигенов. Считаю целесообразным предать Кэйна Суду Корпорации с формулировкой «преступная халатность»...

Из доклада старшин Корпорации ксенобиологов Координационному Совету Земли.

*Земля — Главная,
Ла-Валетта,
Центр ксенобиологии.*

...что подтверждает вывод пилота-спасателя Мгеладзе о разумности данного биовида. Более того, есть основания считать, что Мгеладзе открыла цивилизацию, в принципе отличную от земной, техногенной. В то время как человек, оставаясь физиологически неизменным на протяжении десятков тысяч лет, совершенствует свои орудия труда, эти существа, напротив, идут путем активной перестройки собственного организма. Ничем иным нельзя объяснить приспособительной универсальности исследуемого экземпляра. Помимо атмосферных легких, у него наличествуют жабры для водного дыхания. Помимо зрения с очень широким цветовым спектром, экземпляр обладает органами, создающими и воспринимающими радиоволны и рентгеновское излучение. Он может генерировать инфра- и ультразвук, а также электрические разряды и видимый свет значительной яркости. Его обоняние в тысячи раз тоньше человеческого. Назначение многих органов пока необъяснимо... Трудно также представить, как практически выглядела эволюция этого вида, изобретавшего и строившего собственные органы...

Пользуясь короткими часами высокого солнца, Куницын под прозрачным куполом базы вдохновенно лепил реконструкцию. Впрочем, о вдохновении Алексея Сидоровича знал только он сам. Гладкое, как у манекена, желтовато-серое безгубое лицо казалось совершенно неподвижным: темные контактные линзы в глазницах делали его слепым. Узкую спину Куницын безбоянно скрючил над столом, застыл в неудобнейшей позе, и только пальцы на несуразно длинных руках ловко щипали пластилин. Уж на что хороша была Виола, внезапно с грохотом сбросившая скафандр в гермотамбуре, — оливковые щеки разгорелись от бега, глаза сияют, высокая грудь ходуном под фуфайкой, — но Алексей Сидорович даже головы не повернул.

— Вы знаете, только что одна химера кружилась вокруг моего шлема. — неужели хотела сближения?

— Самоуверенность красивой женщины, — с каким-то механическим скрежетом сказал Куницын, изящно отгибая концы лепестков. — Даже универсальные химеры и те хотят сближения с вами...

Виола гневно мотнула разлетевшимися волосами.

— Кажется, Рагнар говорит правду...

— Да, это с ним изредка бывает.

— Он говорит, что все его культуры в чашках Петри скисают, когда вы входите в лабораторию.

Ксенопалеонтолог только ручищей махнул и встал, по обыкновению зацепившись ногой за приваренную винтовую ножку кресла. Реконструкция была готова: не то цветок, покрытый чешуей, не то морская звезда лежала, обтекая красными лепестками куполок-подставку. Виола удивилась, поглядывая то на скульптурку, то на ее автора, сумрачно мывшего руки под краном.

— Неужели он так выглядел, наш бедный зверь?

— Через миллион лет вы, вероятно, тоже будете выглядеть хуже, чем сейчас.

— Нет, право, шеф, вы удивительно галантны, — расхохоталась девушка, тонким пальцем обводя веретенообразные лепестки. И вдруг сняла реконструкцию с подставки. — Вы позволите?

Услышав утвердительное хрюканье, она бережно сблизила края лепестков и согнула их концы внутрь. Лепестки соединились идеально, и «цветок» превратился в шарообразный плод.

— Ну, — тускло улыбнулся Куницын, привалясь спиной к вогнутой стене и засунув руки в карманы. — Не так уж вы бездарны, как мне казалось поначалу. Я грешным делом подумал, еще когда чертил схему, что это форменная развертка поверхности шара.

Он оттолкнулся от стены и, конечно же, налетел на стол.

— Вот эти бронеовые чешуи покрывают лепесток только с верхней стороны. Снизу, очевидно, были органы питания, передвижения... Ползал себе спокойно, пока не приходила опасность. А чуть что — свернулся, и поди его укуси. — Куницын забрал реконструкцию, развернул и посадил на куполок. — Интересно бы найти того, кто мог его испугать.

— Мне почему-то кажется, что живых врагов у него не было, — вдруг твердо и серьезно сказала Виола. — Вся Химера продырявлена кратерами, как сыр. Когда все вулканы работали, шарикам только и оставалось, что кататься.

Безбровая, безгубая маска медленно сморщила нос, подняла углы рта: Алексей Сидорович радовался.

— Нет, положительно общение со мной идет вам на пользу, Виола Вахтанговна! Пожалуй, все так и было. Ведь и нашего зверя когда-то залило лавой... — Углы ротовой щели сразу обвисли, словно Куницуна стоило больших трудов шевелить ма-

ской. — Идите к вашей Наиле, а я пока в честь наших открытий приготовлю лукуллов обед.

Постеснявшись спросить, что такое «лукуллов», Виола закрылась в гермотамбуре и стала надевать скафандр. Диковинное поведение Куницына, прозванного на базе человеком-невидимкой, очень раздражало ее в первые дни. Тогда и без того ныла душа от распоряжения Координатора Экспедиций, воткнувшего ее, первооткрывательницу, в отряд «кратов» — палеонтологов. Увы, Виола не обучалась ксенопсихологии и потому была бы бесполезной в группе Прямого Контакта. Пришлось заняться изучением эволюции универсальных химер — темы важной, но не отвечавшей главному желанию Виолы.

Между тем Прямой Контакт с каждым месяцем казался все менее осуществимым. Виоле казалось, что именно она могла бы сдвинуть дело с мертвой точки, она донимала Куницына своими проектами. А шеф группы только подтрунивал да пошучивал — весь разболтанный, стертым лицом и шарнирными движениями похожий на робота из старинных фантастических фильмов. Она смягчилась к шефу, только когда услышала от всезнающей Наили Шекировой, что Куницын побывал чуть ли не в двадцати звездных системах и несколько раз ему пересаживали искусственную кожу на лицо и тело...

Двояковыпуклым блестящим диском лежала основная база, разделенная на секторы лабораторий, в огромной тени крейсера «Перун». Базальтовое плато нагрелось, как подошва утюга, но уже вскипали тучи по ту сторону кольца окаймляющих безлесных гор, сизой пеной зехлестывали перевалы, обещая вскоре затопить раскаленное небо. Высоко, чуть ли не до зенита, взгромодились тучи за спиной ближнего вулкана, кражистого, как старый пенёк с узловатыми корнями. Свинцовый клубящийся фон придавал дикую яркость красно-коричневой шкуре горы. В развилке «корней» — древних лавовых русел — дерзким белым грибом сидела отрядная база копателей. Туда и лежал путь Виолы, сначала вприпрыжку по прихотливым ступеням, прорезанным дождями в обрыве, а затем — осторожно вверх по неустойчивым глыбам осыпи.

На гребне выпрыгнула и замахала рукой фигурка в скафандре защитного цвета — так окрашивались все «краты», в том числе и Виола. Шлемофон зазвенел пронзительным голосом Наили:

— Это ты, сестричка? (Всех, кроме Алексея Сидоровича, Наиля называла «братиками» и «сестричками».) Мы тут чего нашли!

В бугристом лавовом панцире плазменная машина прогрызла множество глубоких рвов и стояла теперь над свежевырытым тупиком, растопырясь наподобие краба. Теперь копошились во рву серо-зеленые «краты», аккуратно счищали вибраторами породу со дна, похожего на вздыбленную темно-багровую мо-

стовую. Так выглядели броневые чешуи — все, что осталось от чудовищного «цветка», миллион лет назад не успевшего свернуть лепестки и укатиться от вязкого огня.

Виоле помогли слезть в ров. Наиля, ухитрявшаяся даже в скафандре быть маленькой и вертлявой, рывком вывернула чешуйку, отмеченную мелом, большую и тяжелую, как надгробная плита.

Вплотную под чешуей открылся глубокий рельефный отпечаток в породе, — вероятно, лава сожгла это небольшое существо, но отвердела, не заполнив пустоты. Формой и размером — сушая буханка хлеба, однако с трехгранным хвостом, продолжающимся в виде валика по всему брюху, и чем-то вроде боковых плавников с когтями. Под головной частью порода словно просверлена веночком круглых отверстий...

— Универсальная химера, — страшно прошептала Наиля.

Ее поправил один из копателей:

— Еще не универсальная — видишь, ни крыльев, ни жабр...

Упали первые капли дождя, и «кроты» поспешили опустить плиту на место...

...На очередном собрании в салоне «Перуна» Куницын вертел перед зрителями отливку «протохимеры» из пластика, похожего на стеарин. С брюха ниспадал пучок извилистых сосулек, вросших снизу в бок обрубка бревна.

— К нашему счастью, — с натугой шевелил губами шеф отряда, — лава сохранила все внутреннее строение бронешара и несколько таких вот отпечатков. По-видимому, предки универсальных химер паразитировали под чешуей бронешаров, питаясь через проводящие пути «хозяина». Не очень лестное прошлое для разумной расы — Впрочем, природа сраму не имеет. Тем более что такой симбиоз позволил химерам не только выжить среди массы действующих вулканов, но даже, по-моему, заложить основы своей диковинной цивилизации...

Заерзали в креслах, зашептались, капитан «Перуна» Ле Зуонг увесисто хлопнул по столу, восстанавливая тишину.

— Нет, все это пока мои предположения, просто не с кем делиться ими, кроме вас... («В своем репертуаре», — шепнула Наиля в ухо натянутой как струна, самозабвенно слушающей Виолы.) Шеф ксенозоологов Хассель утверждает, что в настоящее время на планете бронешаров нет вовсе...

— Да, это так, — важно пробасил рыхлый, с багровыми щеками мопса Хассель, вопреки комплекции совершенно неутомимый человек, облазивший, кажется, все закоулки на трех материках Химеры. — Всякой твари много, но такую мелочь, как двадцатиметровый бронешар, мы не прозевали бы.

Деревяннo кивнув и положив отливку на стол, снова держал монотонную речь Куницын:

— Вот это работает на мою идею. Видимо, бронешары вымерли полностью, и химерам пришлось приспособливаться...

Каким же образом? Срастание химеры с шаром было столь же тесным, как у плода с плацентой. Вернее, химера выступала в роли трансплантата, который идеально приживался. Идеальная совместимость, — вот с чего началось торжество химер. В процессе вымирания бронешаров они, вероятно, стали искать новых «хозяев». Кого подводила совместимость — погибал, другим удавалось с кем-нибудь срастись. Надо полагать, «хозяева» были самые разные. Некоторые из них попадали в полную зависимость от своих «наездников», становились послушными придатками... — Куницын хрипло перевел дыхание, налил себе сока. — Улавливаете мысль? На Земле разум зародился в тот момент, когда антропоид, не дотянувшись до плода, впервые удлинил свою руку с помощью палки, то есть прибавил к наследственной программе крупницу творчества. На Химере началась разумная жизнь, когда вот эта хвостатая буханка впервые осуществила целенаправленный, произвольный выбор «хозяина» с определенными, нужными на сегодняшний день свойствами. Конечно, это произошло в борьбе за какие-то блага или с каким-то врагом. Не знаю. Вообще, я ничего не утверждаю, я только решаю логическую задачу...

Устав стоять, он плюхнулся в кресло, вялой рукой провел по безукоризненно расчесанным на пробор, неестественно черным волосам. Налил и выпил стакан сока, сильно дергая кадыком. За корягой, оплетенной лакированным плющом, два ксенобиолога уже спорили, чертя на планшетах.

— У вас все? — осведомился невозмутимый капитан.

Куницын ответил не сразу — очевидно, доклад в самом деле стоил ему больших усилий. Посидел, глухо блестя линзами, ни вспотеть, ни побледнеть его кожа не была способна. Виола подивилась в который раз, какая сила загнала настолько искалеченного человека за тысячи световых лет от шезлонга на дачной веранде.

— Пожалуй, теперь закончить может каждый... (Наиля снова фыркнула в ладонь.) Сознательный поиск наилучшего «хозяина», возможно, сращивание нескольких «хозяев», затем выборочная пересадка в собственное тело отдельных чужих органов, — совместимость давно гарантирована, — и, наконец, умение передавать приобретенные органы по наследству, — наверное, так выглядел научно-технический прогресс у химер. Так сказать, большое ограбление животного мира планеты. Зоологическая цивилизация...

Алексей Сидорович обернулся к Ле Зуонгу и махнул рукой в знак окончания, свалив пустой стакан на пол.

— А что? Убедительно, — не то отметил, не то спросил капитан, поскребывая седой ежик. — Ну, господа ксенобиологи, бить будем?

— По-моему, вполне корректная гипотеза, — быстро шептавшись с коллегами, отозвалась «шефиня» группы, том-

ная, изысканно-красивая Тосико Йоцуя. — Хорошо бы найти для подтверждения промежуточные формы химер.

— Хорошо бы, — громко вздохнула Наиля, и стало совсем тихо: все поняли, что вздохнула девушка совсем не из-за отсутствия промежуточных форм. Гоняясь друг за другом, из коридора с резким писком влетели волнистые попугайчики — голубой и желтый. Покружившись, сели на висячую лампу и прижались щеками.

— Доклад группы Прямого Контакта, — объявил капитан Ле Зуонг.

Прошло несколько дней, и шеф «прямых» Костанди пригласил Виолу посмотреть что-то необыкновенное на Теплых Озерах. Выпросив у Куницына отпуск, Виола с Наилей полетели туда, где шестьдесят второй день бесплодно трудилась группа Прямого Контакта. Третьим в гравиходе был Рагнар Даниельсен, сердечный друг Наили, счастливец, имевший право переключать цвет скафандра с лилового на оранжевый: будучи ксеномикробиологом, он работал также у «прямых», поскольку имел труды и в области семантики.

С высокого края, куда выполз гравиход, сказочной страной выглядели эти широкие старые кратеры, чистые озера ультрамариновой воды, отороченные оранжевым пухом. Чуткие апельсиновые «зонтики» прядали в стороны от машины, скатывались в тугие, сразу темневшие кулачки. Через полосу сгнивших растений, покрытых бурой пеной, нечувствительно скользили на синее зеркало и полетели, оставляя хвост легкой ряби.

Справа по борту закипела вода, стали выскакивать и звонко лопаться большущие пузыри, поддерживая столб горячего пара. Приближался остров, пышный, как шапка из розовых и оранжевых перьев, ветер качал над песчаным берегом бороды воздушных корней. Там ждали, хорошо вписываясь в общую гамму цветом скафандров, двое «прямых».

Гравиход сытой черепахой лег на пляже — летать над лесом не велел Костанди. Встречавшие ксенопсихологи повели тропинкой, свойски похлопывая Рагнара по плечам и подмигивая девушкам.

Деревья, со стволами хрупкими и сочными, как у герани, пугливо отдергивали края толстых пушистых листьев. Впрочем, ксенозоологи давно уже установили, что и не деревья это вовсе, а животные вроде земных полипов. Все известные колонии химер существовали только в окружении такого живого «леса»; каждая из химер проводила несколько минут в день, присосавшись к стволу или листу «полипа». (После доклада Куницына «полип» был официально назван «унифицированным хозяином», поставщиком питательных веществ для всей расы химер.) Свети-

ла близкая опушка, в той стороне все громче шипело и булькало, словно гигантский котел с густыми щами. Стали видны тени, мечущиеся в белом тумане, — и, наконец, открылся плоский холм с султаном пара на вершине, носивший название Детский Сад.

Девушки схватились за руки и замерли, открыв маленькие рты, хотя были здесь уже третий раз.

Холм, по кристаллику выстроенный булькающим гейзером, далеко растекался грязно-белыми фестонами, похожими на ноздреватый весенний снег. Сквозь большие и малые поры, зачастую окруженные собственными микрохолмиками, упруго выхлестывали или воздушно курились струи пара. Главный гейзер, тяжелый, ленивый, то прятался, то нехотя поднимал кудрявую голову. И повсюду на холме и в окрестностях, согреваясь подземной благодатью, бурыми лоснящимися одеялами лежали и ползали универсальные химеры. Были они размером не меньше, чем земная океанская манта — наверное, росли до конца жизни, как сомы. На широких темных спинах великанов десятками лежали, прильнув и трепеща краями перепонок, мелкие сороди-чи размером с морского кота, с камбалу, с ладонь — чем мельче, тем светлее. А вокруг, во всю площадь поля гейзерных отложений, замкнутая стеной леса, кружилась бесчисленная стая, как чайники на дне стакана. Мелочь слетала наискось и занимала места на гигантских спинах; другие, насидевшись, лихо хлопали перепонками и уносились...

В горячем тумане, в вихре обезумевших одеял двигались оранжевые скафандры. Очередная бессмысленная вахта «прямых».

Самое ужасное было то, что группу попросту игнорировали.

Химеры не боялись людей и не мешали им. К себе подпускали вплотную, затем неторопливо отползали или отлетали. Им подкладывали ярко раскрашенные иллюстрации к известным теоремам, схемы и тесты — плоды работы нескольких поколений в лабораториях ксенопсихологов. Через громкоговорители обрабатывали химер гудками и писком специального «инфорлинга», а также серьезной музыкой. Ночью не давали покоя осмысленными сериями вспышек. Пробовали радиоволны, гамма-излучение, инфра- и ультразвук. Шеф группы Спиридон Костанди с отчаяния велел проецировать объемные фильмы о Земле.

Но на подложенные предметы химеры не реагировали вовсе, никакими видами волн и энергий не тревожились, а нематериальность видеокуба обнаружили сразу и теперь летали как ни в чем не бывало, прямо сквозь изображение.

Вообще, ксенопсихологи строили три основные модели Контакта: при взаимном сходстве и коммуникабельности, при разных степенях несходства, вплоть до полного непонимания действий партнера (с условием, что он все-таки определен как разумное существо), при явной враждебности партнера. Здесь же, на Хи-

мере, пахло чем-то совсем неожиданным — нежеланием общаться, стойким пассивным заговором.

Сонно бормотал теплый гейзер, и люди третий месяц бродили по Детскому Саду, вплотную натыкаясь на обросших мокрой шерстью, невозмутимо ползающих братьев по разуму.

Воспользовавшись столбняком Наили, Рагнар подкрался сзади и пальцами сильно ткнул ее под мышки, чтобы почувствовала через скафандр. Девушка взвизгнула, искренне испугавшись, и наотмашь ударила кулачком по широкой груди друга. В шлемофоне Виолы довольный смех Рагнара был перекрыт голосом Костанди:

— О, эта ледяная кровь викингов! Он веселится даже перед лицом наших мук...

Спиридон подошел, церемонно согнувшись в поясе и приложив правую руку к сердцу:

— Рад приветствовать юность и красоту... Осмелюсь ли предложить чашечку кофе, сваренного неумело, но от чистого сердца?

Виоле никогда не нравились такие мужчины — горячие, полнокровные, постоянно кокетничающие своим обаянием. Она почему-то не могла представить Спиридона иначе как небритым и потным — хотя ни то, ни другое не соответствовало истине. И зачем напрашиваться на комплимент, когда все прекрасно знают, что Костанди варит кофе тридцатью двумя способами и на борту «Перуна» у него в этом искусстве соперников нет?

— В крайнем случае предложим ваш кофе химерам. Вы еще не пробовали?

Он разом опустил голову и молча свернул в лес, ведя от опушки к базе. Виола, устыдившись, что необдуманно задела большое место шефа группы, нарочито весело спросила:

— Спиро, а Спиро, я умру от любопытства: зачем вы нас пригласили?

И взяла его под руку. Костанди сразу оттаял:

— А-а, тут намечается некий спектакль с неизвестной развязкой. По расчетам планетологов, утром должен ударить в полную силу гейзер. Он, видите ли, периодически оживляется на короткое время: когда мы впервые облетали Химеру, стоял столбом в четверть километра, а через десять минут увял. Посмотрим, как будет завтра вести себя почтеннейшая публика...

Под куполом базы — уменьшенной копии центральной — с наслаждением сбросили доспехи. Сидели тесно и уютно в интимном свете плафона. Худенькая некрасивая Наиля, с широким лицом и прилизанными короткими волосами, мечтательно оперлась щекой на ладонь, приспособив для опоры локтя высокое мощное колено Рагнара. В присутствии друга Наиля всегда опасливо косилась на красавицу Виолу и старалась быть поласковей с обоими. Массивный, с кожей молочного поросенка на щеках, Даниельсен сказал, далеко расставив рубчатые подошвы

и смачно прихлебывая геджахский кофе из антикварной чашечки:

— В старину венгры говорили: хороший кофе должен быть черен, как дьявол, горяч, как адское пламя, и сладок, как поцелуй...

После чего поцеловал Наилю. Молодые ксенопсихологи засмеялись.

— Вот не уснешь сегодня после такой порции, и будет тебе дьявол, — проворчала Наиля.

Рагнар, будучи сторонником движения «естественников», никогда не спал электросном, а потому призадумался. Однако природная беспечность взяла верх, и он попросил вторую чашку. Спиридон, возбуждаясь и сверкая масляными глазами, достал бутылку старого коньяка.

— Вот бесценный дар солнца, — начал он, приложившись губами к ветхой этикетке, — вряд ли известный нашим друзьям-химерам... Вообще, боюсь, что все они — жалкие прагматики, начисто лишённые всякого артистизма. Скучная цивилизация, погрязшая в своих железах внутренней секреции. Что им Гекуба?

— У них есть своя этика, — возразила Виола, — а значит, и нравственный мир, и какая-то духовная культура, несомненно включающая эстетическое чувство...

— Возможно, — торжественным голосом ответил Спиридон и протянул руку ладонью вверх, — возможно, но насколько эта культура чужда нам! Пускай даже мы когда-нибудь научимся говорить с ними на языке «пифагоровых штанов» и таблицы Менделеева, но и через тысячу лет не понадобятся им ни Шекспир, ни Фидий. — Ладонь Костанди повернулась вниз. — Нет! Ничто не роднит нас, ничто не станет общим, кроме холодной математики...

— Странно, что вы с такими мыслями стали заниматься Контакт, — отозвалась Виола, подобравшись для возможного боя. (Сюда бы язвительного Куницына!)

Но Спиридон, благодушно улыбаясь, разливал «бесценный дар солнца» в маленькие хрустальные рюмки-колокольчики и журчал при этом:

— Вот-вот. мне и самому странно, уважаемая Виола Вахтанговна... Наверное, просто люблю вращаться среди оптимистов. Как-то молодеешь в столь пылком обществе... Кстати, вы обратили внимание, что это ваш соотечественник — «Варцихи»?

Наиля неожиданно встала и ушла в гермотамбур, где и заволилась одеваясь. Потом резко хлопнул наружный люк.

— Это с ней бывает, — сообщил Рагнар, благоговейно, двумя пальцами поднося рюмку ко рту, причем локоть его поднялся вровень с плечом.

Виола гневно покосилась на него и тоже вышла, причем

Костанди сообщил ей в спину, что долгое отсутствие девушек будет для него трагедией.

Огненным дождем пролился и погас молниеносный закат. В сиреновой полутьме за опушкой сидела на корточках фигура с блестящим пузырем на голове, а перед ней — как будто темный гребень волны накатывался на берег, вздуваясь и пробегая... У Виолы морозец тронул между лопатками, когда через наружный микрофон услышала голос Наили:

— Ну чего же ты молчишь? Я ведь знаю, какая ты умненькая, ты ведь все понимаешь и, конечно, сейчас меня слышишь Правда? Так зачем ты всех нас мучаешь? За то, что Кори! убил твоих братиков или сестричек? Но ведь это было случайно, он подумал, что вы напали, — может быть, вы умеете сразу отличать разумное существо, а мы вот не умеем... Ну хочешь, мы все попросим прощения? Кто у вас главный?

У химеры мерцал фасеточный глаз. Две волны ритмично пробегали по перепонкам от головы к хвосту, сообщая огромному телу выражение готовности взлететь. Услышав приближение Виолы, Наила всхлипнула, медленно встала.

— Как они могут заниматься всякой чепухой, когда... когда...

— Если тяжело на душе, стараешься отвлечься, — это же так просто! А Спиридон, в конце концов, отличный парень и первоклассный ученый, — просто любит эффектные фразы. Пойдем, пойдем...

— Слушай, сестричка, а она так внимательно смотрела на меня и слушала — наверное, передаст теперь своим?

Обняв подругу за плечи, Виола повела ее к базе, но у опушки обе оглянулись.

Большой химеры, «собеседницы» Наили, не было на месте — она бесшумно сорвалась в черную метель.

Путру Виола вскочила с постели, закричав от ужаса — с таким оглушительным воем и надрывным свистом взорвался гейзер.

Расчеты не подвели: бросив на полнеба радугу, осыпая прозрачный купол водяной пылью, стоял над лесом чудовищный белый столб, и ветер косо относил от него полотнища пара, словно знамя от флагштока. Стая химер кружилась бешеной воронкой. Из кают, расположенных по кольцу, вылетали в салон заspanные «прямые» в майках и плавках. Только Спиридон явился, сияя белой рубашкой, синевой бритых щек и пробором, словно давно уже встал и готовился к торжеству. Вошел, изящным жестом поднес к глазам бинокль — и громко воскликнул что-то по-гречески.

Леса больше не было. «Полипы» увяли, мгновенно съежились под ливнем кипятка, свернули розовые слоновьи уши листьев, скатали, как шланги, стволы и лежали теперь массой дрожащих

клубков по всему острову, внезапно открывшемуся от края до края. А потом, захрипев и захлебнувшись, осел кипящий столб, пропала радуга, и снова кудрявый кочан булькал, ворочался на вершине мокро блестящего холма.

Тогда с голубой омытой высоты, задрав перепонки-крылья, упала маленькая химера и взмыла, держа щупальцами под брюхом багровый клубок.

Посыпались. Стая «детей» собирала споры, в которые свернулись деревья, и с ними, красными и оранжевыми, как яблоки и апельсины, носилась по спирали.

Затем, словно получив недоступный людям сигнал, вся масса химер повалила к озеру, покидая остров.

Первой сориентировалась Виола. Схватила Наилю за руку и поволокла в гермотамбур. Помогая друг другу, лихорадочно сращивали швы, застегивали пряжки. В салоне одурело завопил Костанди:

— По машинам!

Справедливо опасаясь давки, девушки выскочили из тамбура. Стоял плотный низовой туман по грудь. Из него проклевывались по одному, разворачивали хоботы заметно поредевшие «полипы». Химеры не летали. Только от ног несколько раз шархнулись невидимые великаны, зыбью волнуя туман. На полпути к гравиходу девушек догнал Рагнар.

Виола с места дала машине форсированный режим. Она знала, что люди Спиридоны так не смогут, и потому чувствовала азартную радость. Уходил, проваливался остров — клякса растекающейся мыльной пены на синем зеркале. Дикие, брошенные в каменный хаос, выскакивали навстречу озера, по ним бежало пауком солнце. Вот изогнулся впереди черный шлейф стаи, Виола резко сменила курс. Дугой, уловимой уголкем глаза, солнце метнулось за спину. Слева пустила в глаза вспышку отраженного света главная база, на пустом плоскогорье умчался за горизонт красно-белый шахматный купол «Перуна».

Путая мысли, рокотала под шлемом уставная скороговорка Костанди:

— ...Внезапную массовую миграцию, захватив споры «полипов». На месте остались только химеры, достигшие значительных возрастных величин, и нелетающие детеныши. Направление юго-восток, скорость около тысячи километров в час. Наблюдение ведет пилот Мгеладзе, экипаж гравихода — Шекирова и Даниельсен. Высылаю два гравихода, пилоты...

И в ответ — деловитым воробыным голосом капитан Ле Зуонг:

— Да, да, мы следили телелокатором до предела видимости. Будьте осторожны, не натворите там дел, не лезьте ни в какую кашу.

«Не лезьте в кашу» — как бы не так», — посмеялась Виола. Жизнь безудержно разбухает на дрожжах разума, крошит

вдребезги самые чудовишные преграды; затопив планеты, стекает с них, и вот — в непомерную, равную смерти даль мчатся хрупкие капли жизни, предвестники вала, в котором рано или поздно утонут галактики... Сила жизни заставляет химер нести в урочный день через полматерика споры родного «леса». И она же, она, единая для всей вселенной, швырнула через тысячи световых лет осторожного старика Ле Зуонга, и наверняка не лежать старику рядом с дедами-прадедами на буддийском кладбище. Она, эта ослепительная и непобедимая сила, сделала отличным работником легкомысленную Наилю и посадила в корабль трижды заживо сгоравшего Куницына. Не лезьте в кашу! Виола вспомнила об Алексее Сидоровиче, и в каком-то уголке ее летящей души шевельнулась нежность.

Вокруг старых, разрушенных хребтов охрой пылали равнины зонтиков. Будто пропитывая их чернилами, сиреновой стеной наползала линия терминатора. Наиля, устав от напряжения, закрыла глаза и ворчала, что нельзя снять шлем и устроиться так, как она любила — по-кошачьи свернувшись около Рагнара. А ксеномикробиологу все было трын-трава, даже розовые щеки не побледнели, и восхищался он, причмокивая губами:

— Ай да лепешечки, такую скорость выдать! Нет, брат, на ихних перепонках так не полетаешь — здесь что-то другое, может быть, и антигравитация...

И декламировал по-русски Пушкина:

Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне.

Впрочем, какие бы там хитрые механизмы ни держали в воздухе химер, в зоне сумерек эти механизмы выключились, и темные листья густо опали на широкую реку. За горячими болотами дымились неизменные кратеры. Вероятно, переселенцам нужен был именно такой район, похожий на родные места: может быть, деятельность вулканов или гейзеров была обязательным условием превращения «полипов» в споры...

Сказывалась усталость — Виоле не удалось чисто приземлится гравиход. Сели боком на отмель, глубоко распахав наклонным бортом воду.

Распластанные химеры во множестве тихо ползали по каменистому пологому скату, их перепонки, волочась, повторяли форму камней. Над гребнем берега, растекаясь и клубясь лениво, как молоко в сиреновой воде, колыхался пар.

Рагнар откинул колпак машины, вылез, начал делать приседания.

Совсем близко уже проклюнулась издалека принесенная спора: лопнувшая морщинистая кожа, словно рот до ушей, подразнила извилистым языком. С быстротой ртуты в термометре,

взятом горячей рукой, с нарастающим треском и шелестом вырос «лес». Наилу взбесило, что Рагнар спокойнехонько приседает, как поутру у себя на вилле под Тронхеймом, и она закричала, обводя рукой берег:

— Смотри! Да посмотри же ты, какие умницы! Ты понимаешь, это же дети, молодежь, они осваивают новую страну!

— Я смотрю, — ответил пристыженный Рагнар и разминать ся перестал.

...Подрастут белесые, мягкие детеныши на острове среди Теплых Озер, и старики расскажут им, что обязанность нового поколения — освоить пустынную страну. И снова ударит великий гейзер, и вымуштрованная извержениями «флора» Химеры свернется в тугие клубки. Тогда молодые подхватят споры и будут сеять... Разве мы не заняты тем же самым? Может быть, пройдут столетия, и возникнет новое, невообразимое пока единство первопроходцев — людей и химер...

Виола шла по берегу, осторожно обходя ползающих детенышей. «Лес» уже достиг полного роста, в нем было совсем темно, и только маленькие химеры зажигали свои нежно-голубые «габаритные огни», которые у взрослых гигантов достигали прожекторной яркости. Так, при собственном свете, осваивались переселенцы. Виола видела, как из-под кольчатых жирных «корней» с тихим плеском бросались в черную воду реки и мерцали, пролетая над близким каменным дном, быстрые, как ласточки, тени...

Сзади переговаривались Рагнар с Наилей. Торжественность обстановки действовала даже на толстокожего варяга, и он высказывался театральным шепотом.

— Ой, братики, — восхитилась Наиля, — неужели с ними большой летел? Это как учитель, да? А почему мы его не заметили?

Сияние широким нимбом вставало из-за стволов, двойное радужное сияние на боках колоссальной химеры. Лежала она, с целую поляну шириной, толстая и лоснящаяся, как некий невообразимо громадный живой язык, и на ее спине приютилось уже не меньше десяти детенышей...

Виола знала совершенно точно: взрослой химеры в стае не было.

И вообще не было на Теплых Озерах химеры такого размера и вида, круглой, как блин, с толстыми, непригодными для полета краями, с белесыми мраморными пятнами на коже...

— Вот вам ваша промежуточная форма, причем живехонькая, — мрачно заскрипел голос Куницына, и певуче согласилась Тосико Йоцуя:

— Да, скорее всего родственная тупиковая ветвь, аналогичная нашим гориллам... А может быть, иная раса?

Значит, над «лесом» уже кружили гравиходы с телелокаторами. Но те, кто сидел там у экранов, явно не понимали того, что

вдруг с потрясающей ясностью сообразила Виола. И Рагнар с обвинившейся вокруг него Наилей тоже ничего не поняли даже тогда, когда рванулся со спины великана детеныш, но не взлетел — что-то держало его намертво, он весь переливался огнями и бился, как бабочка в руке... И другие забились, пытаясь оторваться, но не смогли, и все вдруг обмякли, стали плоскими и на глазах побелели. И тогда, глядя на вялые, растекающиеся, как медузы на воздухе, тела детенышей, Виола вдруг ощутила, что они погибли.

Несколько новых маленьких летунов опустились на гостеприимную спину.

Виола без колебаний вырвала из кобуры парализатор, предписанный к ношению на планетах, где предполагается разумная, но незнакомая жизнь.

Огромная волна прошла по телу химеры, испуганно взлетели малыши, отрываясь от сразу ослабевших спинных присосков. Перед Виолой плясал маслянистый гриб — гигантская медуза, то обнажавшая, то прятая клубок щупалец под животом.

Опять коснулось что-то воротника... Она резко обернулась.

Кругом, словно в изумлении, причудливо изогнулись «полипы». С неба празднично сияли лучи прожекторов, держа в перекрестии поляну с людьми и неподвижным хищником, на плече Виолы лежала, волнуясь перепонками и часто дыша, маленькая универсальная химера.

КОМАНДИР

Острые самописца вывели на ленте пик — и голова Андрея откинулась вправо. Пик — спад — пик — спад: голова металась вправо-влево. Мутные капли пота дрожали на его лбу, глаза были закрыты сине-желтыми веками. Все мне казалось сейчас нереальным: и эта голова, и светящиеся индикаторы модулятора, и змеи магнитных лент, и сам я у постели умирающего Андрея.

— Шестая программа, — я отдал команду компьютеру, управляющему модулятором. Послышался щелчок, шевельнулся наборный диск...

— Мать, а мать, — внятно позвал Андрей, — спой мне песню. Ты знаешь какую!

Манипулируя кольцом, я пытался нащупать поправку в модуляции. А он продолжал:

— Спой, мать...

Я снова потянул к себе микрофон:

— Тринадцатая!

Щелчок — и гудение модулятора изменилось, в нем появились высокие тона. Глаза Андрея открылись. Сначала они были тусклыми, потом в них появился блеск, и они остановились на мне.

— Устал? — спросил он.

Если б на его месте был кто-нибудь другой, я бы удивился.

— А результаты близки к нулевым?

Пожалуй, надо что-то сказать. Но где найти нужные слова...

— Введи в медицине обозначение — бесперспективный больной. На карточке гриф — ББ. Чтобы врачи знали, кого бояться...

Сейчас он начнет доказывать эту мысль. Четырнадцать лет он был моим командиром. Однажды мы три часа провели в ледяной воде, и все это время он развивал гипотезу, что именно здесь начинается теплое течение, пока нас не обнаружили с вертолета.

— Не болтай, вредно, — сказал я как можно тверже.

— Не злись. Сколько программ ты перепробовал?

— Семнадцать.

Семнадцать характеристик электромагнитного поля, в котором, будто в ловушке, я пытался удержать его угасающую жизнь. Это было последнее, что я мог применить: химия и механика оказались бессильными.

— А не хватит ли? Может, перестанешь меня мучить и переведешь в отделение Астахова?

Его глаза с любопытством смотрят на меня, изучают... Неужели он разуверился во мне и в моем модуляторе? Конечно, модулятор не всемогущ... Но ведь отделение Астахова — это спокойная, тихая смерть, и он это знает...

Мы всегда называли его командиром. Как только кто-то произносил это слово, все знали: речь идет не о командующем базой, не о командире вездехода, а именно об Андрее.

— Так не хочешь? — поинтересовался он.

— Ты же знаешь, что модулятор может излечить любого, — проговорил я. — Нужно только найти характеристику модуляции организма.

— Одну-единственную? — заговорщицки подмигнул он. — А среди скольких?

Я понял, что попал в ловушку. В медкарте Андрея была его электрограмма. Я мог вычислить по ней серию и тип модуляции: мощность поля и примерную частоту импульсов. Но я не знал главного — номер модуляции, а он определял, как расположить импульсы во времени. То есть я не знал ритма. И компьютер, мозг модулятора, пока не сумел определить искомой комбинации...

— Раньше или позже мы ее найдем, — пробормотал я.

— А сколько у нас времени?

Я взглянул на часы: Андрей отдыхал десять минут, можно сменить программу.

Он заметил, как дрогнула чашечка микрофона, и спросил:

— А что я болтаю в бреду?

Я взглянул в его глаза. Нет, в них не было страха. В них не было ничего, кроме любопытства.

— Ты звал мать. Просил, чтобы она спела песню.

— Вот как... Песню... А знаешь, какую?

Он пробовал запеть, но в горле заклокотало, и мелодии не получилось.

— Не напрягайся, — попросил я, положив ему руки на плечи.

Его мышцы послушно расслабились. Да, пожалуй, ему не протянуть и суток. Неожиданно в его взгляде сочувствие сменилось жалостью. Несомненно, он видел мою растерянность и бессилие.

— погоди, дай сообразить, вспомнить... Значит, тебе нужен номер модуляции и характеристика ритма...

Беспомощный человек стал вдруг опять похож на командира, вдовившего нас на штурм бездны Аль-Тобо.

— Ты когда передал сообщение моей матери?

— Позавчера.

— Выходит, она будет с минуты на минуту. Ну так ты впустишь ее сюда. И она сплет мне.

Я не находил слов. Что можно было ответить на его безумную просьбу?

— И вот еще что. Пусть модулятор себе работает на здоровье. Она не помешает ни ему, ни тебе.

Он говорил тем же тоном, каким отдавал нам когда-то команды. Он никогда не повышал голоса и не жаловал повелительное наклонение. Конечно, он на многое имел право, потому что рисковал чаще других, оставляя для себя самое трудное. Пусть Павел был смелее его, Илья — остроумней, Саша — эрудированней. Но все беспрекословно слушались только его. Если б нам пришлось хоть тысячу раз выбирать командира, мы б остановились только на нем.

Я включил четвертую программу — подготовительную. Вышел в коридор. Остановил медсестру и, проклиная себя за слабость, сказал:

— Разыщите в приемной Веру Степановну Городецкую и приведите ко мне.

Продолжая чистить себя, я вернулся в палату. Почему я выполнил более чем странную просьбу Андрея? Жалость?

Нет, сработала привычка выполнять все распоряжения командира.

Дверь приоткрылась, заглянула сестра:

— Городецкая здесь.

— Пусть войдет, — сказал я.

Обычная пожилая женщина. Круглые, испуганные глаза. Даже не верилось, что она мать нашего командира.

— С ним очень плохо?

Голос ее дрожит.

— Вы не ответили мне, доктор.

Я выразительно посмотрел на нее и заметил, как в отчаянии изогнулись ее губы.

— Что можно сделать, доктор?

Да, это ее слова: в комнате, кроме нас и Андрея, никого. Ее лоб прорезали знакомые мне морщины, глаза блестели остро и сухо. Выходит, первое впечатление обмануло меня. Не случайно он был ее сыном.

— Андрей просил... — я запнулся, — чтобы вы спели песню. Вы знаете какую...

— Ладно, спою, — она даже не удивилась. — Сейчас?

— Сейчас, — выдавил я, протягивая ей стакан с тоником.

Она отрицательно покачала головой и тихо, будто колыбельную, запела:

Наверх вы, товарищи, все по местам —
Последний парад наступает...

У нее был приятный голос. Наверное, действовала необычность обстановки, и песня воспринималась острее, особенно слова «пощады никто не желает».

Я искося взглянул на Андрея. Его лицо оставалось таким же бледным, как и прежде, с невидящими, полураскрытыми глазами. Ну а чего же я ожидал? Чуда?

Я рывком придвинул микрофон и скомандовал:

— Меняю программу...

Я уже хотел было добавить «на седьмую», но подумал: а что, если сразу перескочить на одиннадцатую? Но не слишком ли резкий переход? Зато потом можно перейти на двенадцатую, и это пройдет для него безболезненно...

— Еще петь?

Совсем забыл и о ней, и о песне.

Я хотел извиниться перед женщиной, но не успел этого сделать, потому что посмотрел на Андрея. Его губы слегка порозовели. А может быть, мне это почудилось?

— Ему немного лучше, — сказала женщина.

И она заметила? Случайное улучшение? На несколько минут? Совпадение по времени с песней?

Я снова посмотрел на Андрея. Пальцы уже не были такими белыми, ногти будто оттаивали от синевы. Опять совпадение? А не слишком ли их много?

Но в таком случае... В таком случае выходит, что... Но ведь каждый здравомыслящий человек знает, что этого не может быть.

— Чепуха! — говорю я себе. Так и в самом деле недолго свихнуться. Главное — факты.

Но или факты тоже безумны, или у меня что-то неладно с глазами. Андрею явно становится лучше, и дышит он все ровнее.

Пусть врут глаза. А приборы?

Я прилип взглядом к контрольной доске. Показатели пульса, наполнения, насыщения кислородом, азотом, иннервации отдельных участков менялись. Менялись — и все тут.

Песня? Древняя героическая народная песня?

Я вспомнил еще об одном, безмолвном участнике происходящего. На объективность его можно полностью положиться. Компьютер — мозг модулятора. И сказал в микрофон:

— Нуждаюсь в совете. Оцени состояние больного и действенность программы. Какая из них сейчас предпочтительнее?

Засветился экран, на нем появились слова и цифры: «Состояние больного по шкале Войтовского — $11 \times 9 \times 4$. Искомая модуляция найдена».

Меня била нервная лихорадка. Что же это такое? Что его спасло? Песня? Голос матери? Ее присутствие? Конечно, каждому приятно верить, что его могут спасти ласка матери, песня детства, руки любимой, бинтующие рану. Вера иногда помогает исцелению. Но не в такой же мере.

И я не сказочник, а ученый. Я не имею права верить. Чем приятнее сказка, тем больше должен я ее опасаться.

Только что произошли весьма определенные явления. Они кажутся мне сверхъестественными, загадочными. Кажутся. Мне. Однако они подтверждаются показаниями датчиков и компьютера, режимом работы модулятора. Значит, происходят на самом деле. Просто их надо объяснить. Найти их причину.

Итак, была просьба. Была песня. Песня: музыка и слова. Звуковые волны. В определенном ритме. В определенном ритме...

А что ты искал? Чего не хватало для определения модуляции? Данных мощности поля? Частоты импульсов? Да нет же! Расположения их между паузами! Тебе не хватало ритма — и ты его получил. Может быть, ты забыл истину? Ритм — основа всех процессов организованной системы. Любая болезнь — нарушение ритма. Восстановление его — выздоровление.

В этом мире наивысшее средоточие ритмов, их отчеканенная устойчивость, их плавные переходы — музыка. А человека музыка сопровождает с детства. Есть любимая музыка. Что это такое? В определенном смысле — ритмы, наиболее соотносящиеся с ритмами организма.

Стоп! Я делаю непростительную ошибку. Музыка сама по себе не оказала бы такого влияния на больного. Я искал ритмы для задания модулятору. Они могли так воздействовать на больного только через команду компьютеру, управляющему модулятором... Но команды исходили от меня...

Стараюсь с мельчайшими подробностями вспомнить все, что происходило в течение последнего часа. Песня... Я сказал: «Меняю программу», а затем... Затем стал размышлять, вычислять. А песня звучала. Ищущий модуляции компьютер подчинился моим словам о смене программы. Возможно, он начал анализировать ритм песни, восприняв ее как программу. И если он ввел его в модулятор... Нетрудно проверить это предположение!

Я спросил в микрофон:

— Недостающий компонент искомой модуляции был в песне?

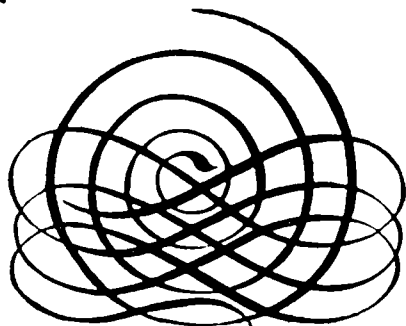
«Да, — загорелось на экране. — Вот его формула».

Я тяжело встал со стула, пошатнулся...

— Эх, командир, спросить бы тебя сейчас же, немедленно!

Конечно, ты необычный человек. Твои знания огромны, а искусство находить необычные выводы поразительно. Я ничего не выпытывал у тебя на планете Сигон, когда ты вывел нас из пекла. Я помню, как ты шутил после того, как мы выбрались живыми из Глотающего моря на Венере. Но сейчас, больной, умирающий, неужели ты мог предвидеть все это? Искать вместе со мной выход, когда я мучился в поисках решения? И ты вспомнил о любимой песне? Подумал, почему она была такой любимой? Выдвинул гипотезу и с моей помощью проверил ее? И это ты сумел? Ты не просил пощады даже у смерти, и поэтому ты победил ее, командир.

**ДАВКА
ДРЕВНОСТЕЙ**



ВОЛШЕБНЫЙ КОВЕР

Александр Иванович Куприн, известный русский писатель, родился в 1870 году в небогатой чиновничьей семье в городе Наровчатке Пензенской губернии. Детство и юность писателя прошли в Москве, куда его мать приехала после смерти мужа. Затем он поступил на военную службу, где впервые и начал писать стихи и рассказы. Уже в рассказах из военного быта, например «Дознание», проявились некоторые черты, характерные для последующего творчества Куприна: психологизм, реалистическое изображение быта; намечился образ любимого героя — русского интеллигента, выходца из демократической среды, человека гуманного, совестливого, но нередко ранимого жизненными противоречиями.

В 1894 году Куприн оставил военную службу, переехал в Киев и стал профессиональным литератором. В газетах «Жизнь и искусство», «Киевское слово», «Киевлянин» публикуются его рассказы, очерки, стихи, репортажные заметки, фельетоны, судебные отчеты, литературные и театральные рецензии. Ранние рассказы писателя, частично вошедшие в первый сборник «Миниатюры», представляли собой психологические этюды, посвященные темам любви, смерти, дружбы.

Большое влияние на творчество Куприна оказала его поездка в Полесье, под впечатлением которой Куприн написал такие рассказы, как «Лесная глушь», «Оборотень», известную повесть «Олеся», в которой впервые сильно зазвучала тема большой любви, столь характерная для последующего творчества писателя. Куприн был знаком с Чеховым, Горьким, Толстым, оказавшими влияние на его творчество. Именно в это время он написал наиболее значительное свое произведение — роман «Поединок», созданный на биографической основе и содержащий суровую критику русского военного сословия, изолированности русского офицерства от жизни и общественной борьбы.

Александр Иванович Куприн — один из последних представителей критического реализма в русской литературе, сильного главным образом беспощадным разоблачением буржуазного общества.

Для Куприна-психолога характерен интерес к «рядовой», «интимной», «бытовой», часто встречающейся групповой, свойственной многим психологии (например, в рассказе «Как все молодые люди определенного возраста»)...

Умер писатель в 1938 году в Ленинграде.

Жизнелюбие Куприна, его гуманизм, богатство языка, пластичность, сила описаний, широта и разнообразие тематики, приверженность к теме чистой, торжествующей любви — все это привлекает к нему сердца многих читателей, делает его одним из самых популярных русских писателей. Публикуемый ниже рассказ — одно из лучших произведений Куприна в жанре фантастики.

Когда в доме накопится много старого, ненужного мусора, то хозяева хорошо поступают, выбрасывая его вон: от него в комнатах тесно, грязно и некрасиво. Но есть люди невежественные или невнимательные, которые вместе с отслужившим ветхим хламом не щадят и милых старинных вещей, обращаются

с ними грубо и небрежно, бессмысленно портят, и ломают их, а искалечив, расстаются с ними равнодушно, без малейшего сожаления.

Им и в голову не придет, что когда-то, лет сто или двести тому назад, над этими почтенными древностями трудились целыми годами, с любовью и терпением, прилежные мастера, вложившие в них очень много вкуса, знания и красоты, что из поколения в поколение сотни глаз смотрели на них с удовольствием и сотни рук прикасались к ним бережно и ласково, что в их причудливых старомодных оболочках точно еще сохранились незримо тончайшие частицы давно ушедших душ.

Попробуйте только, взгляните внимательно в эти наивные памятники старины: в резные растопыренные бабушкины кресла, дедовские бисерные чубуки с аметистовыми или янтарными мундштуками, створчатые часы луковицей, нежно отзванивающие четверти и часы, если нажать пуговку; крошечные портреты, тонко нарисованные на слоновой кости; пuzатенькие шкафчики, разделанные черепахой и перламутром, с выдвигной подставкой для писания и со множеством ящичков, простых и секретных; прозрачные чайные чашки, на которых густая красная позолота и наивная ручная живопись до сих пор блещут свежо и ярко; резные и чеканные табакерки, еще не утратившие внутри слабого аромата табака и фиалки; первобытные, красного дерева, клавикорды, перламутровые клавиши которых жалобно дребезжат под пальцем; книги прошлых веков в толстых тисненых золотом переплетах из сафьяна, из телячьей или свиной кожи. Приглядитесь к ним долго и почитательно, и они расскажут вам такие чудесные, затейливые, веселые и страшные истории прежних лет, каких не придумают теперешние сочинители. Для этого надо только научиться понимать и ценить их.

Да, кроме того, разве все мы не знаем еще со времен раннего нашего детства, что в давнишние годы встречались иногда, переходя из рук в руки, особенные, замечательные предметы, обладавшие самыми удивительными чудесными свойствами. Кто поручится за то, что все они так-таки совсем, навсегда ушли, исчезли из человеческой жизни? Разве мы слышали о том, какая дальнейшая и окончательная судьба постигла все эти сундуки-самолеты, семимильные сапоги, шапки-невидимки, волшебные палочки, магические кольца? Почему знать, может быть, у вас в темном и пыльном чулане никому неведомо валяется сплюснутая и позеленевшая лампа Аладдина? Может быть, та тонкая монета из вашей коллекции, на которой чеканка с обеих сторон стерлась гладко на нет, — это и есть знаменитый неразменный фармазонский рубль? Три года тому назад вы потеряли старенький, истертый губами и зубами свисток. Теперь вы совсем забыли о нем, но тогда — чего греха таить — ревели часа два подряд. Почему знать — сумей вы в то время, хотя бы нечаянно, свистнуть надлежащим способом, и перед вами, как из-под

земли, появился бы целый взвод солдат со знаменами и пушкой.

Не подумайте, однако, что я хочу угощать вас сказками; вы, я знаю, вышли давно из того возраста, когда верят несбыточному. История, которая сейчас будет рассказана, хотя и не обходится без волшебства, но тем не менее она настоящая, правдивая история, что мог бы вам подтвердить и ее главный герой, если бы вы с ним познакомились. Я думаю, что и до сей поры он жив и здоров.

Родился он в Южной Америке, в Бразилии, в городе Сантос. Родители его, французские переселенцы, владевшие кофейной плантацией, были людьми состоятельными и ничего не жалели, чтобы дать своему сыну хорошее образование, что, впрочем, и не было трудно, так как мальчик отличался блестящими способностями. Правда, чрезмерная живость характера и пылкое воображение несколько мешали ему в делах холодной и точной науки. Что же до воспитания, то маленький Дюмон занимался им сам по себе, по своему вкусу и усмотрению. К двенадцати годам он плавал с неутомимостью индейца, ловко управлял парусом, ездил верхом, как гаучос, бестрепетно карабкался верхом и пешком по горным тропинкам, над пропастями, в туманной глубине которых шумели невидимые водопады. Был он также величайшим мастером в постройке и запуске самых разнообразных воздушных змеев; в этом благородном искусстве не было ему равного между сверстниками не только в Бразилии, но, пожалуй, и во всей Америке, если не во всем свете. Он умел придавать своим поднебесным игрушкам форму парящих острокрылых птиц и легких стрекоз, и когда они, полупрозрачные, блестящие, едва видимые на солнце, тянули мощными порывами из рук мальчика шнурок, его черные глаза, устремленные вверх, сверкали буйной радостью.

Так он и рос, привольно и беспечно, закаляя ежедневно свое гибкое тело всевозможными упражнениями, обогащая ум и взгляд наблюдениями над роскошной тропической природой, не испытывая пока особенного влечения ни к какому искусству или ремеслу, кроме пуска змеев. Но на двенадцатом году его ожидала встреча с не совсем обыкновенным человеком, которая нечаянно толкнула его на совсем необыкновенный путь.

Однажды вечером, когда он вернулся домой с рыбной ловли, таща на веревке связку только что пойманной рыбы, ему сказали, что в патио (внутренний тенистый двор, заменяющий в испанско-бразильских постройках гостиную) находится гость, известный ученый, профессор какого-то немецкого университета. Отдав свою рыбу на кухню, мальчик вошел в патио и учтиво поклонился незнакомцу. Это был огромный, толстый человек с тоненьким женским голосом, в золотых очках, краснолицый,

с мокрой блестящей лысиной, которую он поминутно вытирал пунцовым шелковым платком. Быстро блеснув стеклами очков на поклон мальчика, он продолжал, не остановившись даже на запятой, начатый рассказ и с этой секунды бесспорно пленил впечатлительную душу юного бразильянца.

Профессор извездил весь земной шар и, кажется, знал все земные языки, живые и мертвые, культурные и дикие. Он только что приехал на пароходе из Мексики, где долгое время изучал жизнь, нравы, обычаи и язык вымирающего племени ацтеков, а теперь направлялся внутрь страны для такого же ознакомления с полудикими ботокудами и совершенно дикими буграми, чтобы впоследствии завершить свою ученую поездку на крайнем юге Америки наблюдениями над обитателями Огненной Земли.

Ученые специалисты обыкновенно бывают самыми скучными, сухими, замкнутыми и надменными людьми на свете. Этот учнейший профессор оказался прекрасным и неожиданным исключением в их среде. Он говорил охотно, живо, хотя, может быть, и чересчур громко и — главное — в высшей степени увлекательно. Он обладал удивительной способностью заставить слушателя видеть, слышать, чуть-чуть не осязать тот предмет или лицо, о котором идет речь. Это искусство не стоило ему никаких усилий: он не искал ни метких слов, ни удачных сравнений, они сами приходили к нему в голову и бежали с языка. Любую вещь, любое явление, о котором он говорил, он умел повернуть новой, неожиданной и яркой стороной, иногда забавной, иногда трогательной, иногда ужасающей, но всегда глубокой и верной.

Через много лет молодой Дюмон пробовал читать его замечательные книги: они оказались тяжелыми и скучными даже для специалистов.

Профессор привез с собой из Европы веские рекомендательные письма, и Дюмон-старший охотно предложил ему в своем доме самое широкое гостеприимство на все те десять или двенадцать дней, которые тот рассчитывал пробыть в г. Сантосе. За это время знаменитый ученый и юный пускатель змеев, к удивлению всех окружающих, сошлись в самой тесной и крепкой дружбе. С утра до вечера они были неразлучны, бродили вместе по городу и его окрестностям, купались, ловили рыбу, мастерили новый, чудовищной величины змей, катались на парусной лодке. В характере профессора сохранилось странным образом много детской живости, а Дюмон-младший являлся для него самым внимательным в мире слушателем. Беседы их нередко бывали очень серьезны, хотя и облекались в остроумные формы. Большей частью они начинались с какого-нибудь необыкновенного предмета, из тех, которыми всегда были полны карманы профессора. Так, например, однажды он извлек из своего бумажника какой-то плоский, неправильной формы

кусочек не то камня, не то изделия из папье-маше вершка в три длиною, с одной стороны серо-желтый, а с другой — разрисованный в виде ровных полос и ромбов яркими и густыми красками — зеленой и красной. Протягивая эту вещьцу мальчику, он спросил:

— Определите, мой молодой друг, что это такое?

— Это? — спросил Дюмон, вертя в руках странный предмет. — Я думаю... Камень? Штукатурка? Раскрашенная известка?

— А происхождение?

— Н-не знаю... Это что-то, мне кажется, не южноамериканское и даже, пожалуй, не европейское. Как чудесно раскрашено! Что же это?

— Это, мой молодой друг, не что иное, как пропитанный цементом толстый слой полотна. А раскрашен он был три с половиной тысячи лет тому назад, чтобы служить облицовкой стен для гробницы одного из египетских фараонов... Имя его...

За именем фараона последовало описание его личности, его двора и царствования, а затем в волшебном рассказе развернулась, как достоверная история вчерашнего дня, величественная и мудрая жизнь Древнего Египта, с его войнами, религией, домашним бытом, наукою и искусствами. Точно так же профессор доставал из своих бездонных карманов какую-нибудь глиняную древнюю буро-зеленую безделушку — ручку от вазы, обломок серьги, кусочек браслета, и всегда он заставлял ее быть живой и красноречивой рассказчицей о старых-престарых временах, лицах и событиях. Для мальчика эти незабвенные часы и эти вдохновенные беседы остались навсегда самым серьезным и самым пышным воспоминанием детства.

Но дни бежали страшно быстро. Наступил последний вечер; завтра ранним утром профессору надлежало ехать на пароходе в Монтевидео. Друзья — старый и юный — сидели в чисто выбеленной комнатке младшего Дюмона; одна ее стена была красна от света плававшей зари, другая — голубела в тени; из открытого окна лился сладкий аромат апельсиновых деревьев, которые заполняли весь сад бронзовым золотом своих плодов и нежною белизною цветов, так как эти деревья цветут и плодоносят одновременно. Оба друга были молчаливы и немного грустны, немного разочарованы. Им не удался сегодня один весьма интересный для обоих план. Профессор обещал упротить родителей мальчика, чтобы они отпустили его в путешествие на Паранагву и Корепшбу, но мадам Дюмон и слышать об этом не захотела. Она в испуге замахала руками: желтая лихорадка, дикие быки и ягуары в пампасах, ночлеги на голой земле, бродячие разбойничьи племена... нет, нет, господин профессор, это вы затеяли не подумавши...

Глаза профессора, никогда не оставлявшие наблюдения, медленно блуждали по темному потолку, по голубым и розовым

ред,
стенам, потом опустились к полу. Вдруг он воскликнул с утис-
лением:

— Какой странный у вас ковер. Давно ли он у вас и от-
куда?

— Право, я не знаю, — ответил равнодушно мальчик. — Ка-
жется, он еще от дедушки моего папы. Его давно хотели выбро-
сить, но он мне почему-то нравится, и я попросил оставить его
у меня. Он ужасно старый. Посмотрите, в некоторых местах
протерся насквозь.

— Но обратите внимание, — возразил восторженно профес-
сор, — он, правда, износился до дыр, однако совсем не утратил
первоначальной прелести красок. Они только смягчились от вре-
мени и стали оттого еще благороднее. Позвольте-ка поглядеть
мне его поближе к свету.

Ковер был небольшой, аршина в два с половиной в длину
и два в ширину. Мальчик легко поднял его с полу и, перевесив
один конец на подоконник, спустил другой через спинку бамбу-
кового стула. Профессор сверх очков водрузил на нос золотое
пенсне.

— Расположение цветов, окраска и орнамент, несомненно,
индийского стиля, — говорил он, низко склоняясь над ковром. —
Это замечательно старый и, несомненно, редчайший по красоте
экземпляр. Я бы сказал, что он кашемирского происхождения.
Персидский узор мельче, однообразнее и не так смел. Ага! Здесь
еще имеется что-то вроде марки или нет... Это скорее именной
знак... а может быть... Подождите-ка... Какая-то парящая птица,
не то орел, не то коршун. Под ним черта с завитушкой... По-
сох? Жезл? Скипетр?.. Еще ниже буквы... Представьте себе,
арабские буквы!

— Неужели арабские? — спросил, оживляясь, мальчик.

— Несомненно, арабские... Странно... На кашемирском ков-
ре не может быть этой арабской вязи. На персидском — да. Не-
ужели я ошибся? Очень жаль, что здесь, на самом интересном
месте, дыра. Я могу прочитать ясно только одно слово. Оно про-
износится по-арабски — «тар» или «тара», что в переводе зна-
чит — лечу, лететь... Изумительный ковер... поразительный!..
Я совсем не удивился бы, если бы мне сказали, что ему лет
триста... Нет, даже четыреста, даже пятьсот... Восхитительная
вещь!

На это мальчик сказал с легким поклоном:

— Если он вам действительно нравится, то позвольте его
считать вашим. Вы мне этим сделаете большое удовольствие.
Я сейчас прикажу завернуть его, и затем как вам угодно? Возьмете ли вы его с собой, или я пошлю его вам домой в
Европу.

— Нет, нет, этого совсем не нужно, — вскричал профессор.
И затем, выпрямившись и сняв пенсне, он залился громким визг-
ливым смехом. — Очень, очень благодарен, но вы с этой ред-

кусоч

длинью никогда не расставайтесь. Черт возьми! А что, если это вапт самый волшебный, летающий ковер из «Тысячи и одной ночи», на котором когда-то прогуливался принц Гуссейн, а рядом с ним сидели принц Али со своей чудесной подзорной трубкой и принц Ахмед с целебным яблоком? Берегите это сокровище! Подумайте — ковер-самолет! Тара! Лечу!

— Ну вот... сказки... вы шутите, — протянул мальчик, немного задетый тем, что ему напомнили о его детском возрасте.

Профессор сразу сделался серьезным.

— Не пренебрегайте сказкой, мой молодой друг, не отворачивайтесь от нее, — сказал он торжественно. — Ведь вы и сами переживаете теперь упоительнейшую из сказок. Даже не сказку, а, пожалуй, только конец ее. А настоящая сказка была лет пять тому назад, в вашем золотом детстве, где все вокруг вас было сияющим чудом, игрой драгоценных камней на солнце, пением небесных птиц и райским благоуханием. Тогда с вами говорили звери и ангелы и вашего голоса слушались горы, воды и небо... — Он шумно вздохнул. — А все-таки мне непонятно, как это попали арабские буквы на индийский ковер? Или арабский джинн, заказывая его кашемирскому художнику, сам нарисовал пальцем на песке магические знаки: птицу, жезл и волшебное слово?..

Профессор уехал к диким южным племенам, и мальчик точно осиротел. Но, к счастью, в этом возрасте огорчения если и не менее остры, чем у взрослых, зато они гораздо короче: иначе бы ни у одного человека не было самого дорогого в жизни — детства. Прошло время, уменьшилась горечь разлуки, а там и самый образ толстого, тонкогоголосого ученого стал бледнеть и уходить вдаль, и с каждым днем угасал блеск его сияющей лысины, пока не померк окончательно.

Зато старый ковер сделался любимой вещью мальчика. Он как будто бы приобрел в его глазах новую, глубокую, таинственную красоту с тех пор, как ученый коснулся его своими всезнающими пальцами. И часто по вечерам сидел на нем маленький Дюмон с поджатыми под себя по-турецки ногами и глядел на закатное небо, на голубизне которого раскачивались апельсиновые деревья с их жесткими, темными, блестящими листьями, пронизанными оранжевыми шарами плодов и осыпанными белым кружевом цветов.

Незаметно для себя он впадал постепенно в ту тихую полосу рассеянности и мечтательности, которую неизбежно переживают в его возрасте самые жизнерадостные и буйные мальчуганы.

Но вот что однажды случилось.

Мальчик по своему обыкновению сидел на ковре, поджав ноги. Указательным пальцем он машинально обводил прихотли-

вый узор арабских букв и, слегка покачиваясь взад и вперед, напевал слабым печальным голоском на свой собственный мотив всякие слова, какие только приходили ему в голову:

Маленький мой коврик,
Волшебный старый ковер,
Таинственный, могучий ковер,
Создание страшного джинна,
Тара-тара-тар.
Ах, лети, лети, мой ковер,
Тара-тара-тар.
Высоко к небу, над облаками,
Высоко над землей.
Тара-тара-тар.
Пусть орел машет крыльями,
Пусть расстелется ковер по воздуху
Рукоятку мне будет жезл;
Подниму ее — полечу кверху,
Опущу — полечу книзу,
Наклонюсь направо — полечу вправо,
Наклонюсь налево — полечу влево,
Тара-тара-тар.
Люди внизу маленькие,
Как муравьи,
Дома внизу маленькие,
Как игрушки,
А я один в воздухе,
Тара-тар.
Лечу на волшебном ковре,
Тара-тара-тар.

И он не очень удивился, когда черное изображение парящей птицы вдруг пошевелилось. Правое крыло, дрогнув, стало опускаться вниз, между тем как левое подымалось вверх, и птица сделала полный оборот вокруг своей продольной оси, сначала медленно, затем другой оборот несколько быстрее, потом еще, и еще, и еще, и завертелась бесцветным, жужжащим, дрожащим кругом. Между тем оба конца ковра плавно сжались и расправились в виде двух твердых перепончатых крыльев, а в руке у мальчика очутилась гладкая рукоятка рычага. Он слегка потянул ее к себе, и мгновенно расступились, растаяли стены комнаты, веселый ветер бурно пахнул в лицо, и полетел волшебный ковер в опьяняющем блаженном стремительном скольжении вперед и вверх к голубому, пламенеющему небу.

Мгновение, другое — и весь город оказался глубоко внизу, под ногами, очень странный с высоты, плоский и маленький. И теперь было удивительно то, что ковер уже не летел, а стоял неподвижно в воздухе, а внизу навстречу ему бежали улицы, площади, сады и окрестности; они проскальзывали далеко внизу, под ковром, и торопливо убегали назад, назад. Ветер бил прямо в глаза. Монотонно жужжала вертящаяся птица. Легок и послушен был руль в гордой руке. Чуть заметное движение рукоятки вперед — и ковер, вздрагивая, устремлялся вниз, а дальняя окрестность горой начинала расти вверх из-под него; движение

назад — и все впереди застылось поднимавшимся вверх обрезом ковра. Стоило едва-едва перегнуть туловище налево, как волшебный ковер, грациозно склоняясь в ту же сторону, описывал плавную кривую налево; направо — направо. И все это несложное управление покорной птицей было так просто, так ловко и точно, что его можно было сравнить только с удовольствием плавать в спокойной и слегка прохладной воде.

Но вот уже город давно остался позади. Быстро мелькнули под ковром пестрые, полосатые заплаты огородов, темные курчавые четырехугольники кофейных плантаций, белые ниточки извилистых дорог, синие ленточки рек. Теперь направо возвышались величественные гряды мохнатых сизых гор, поросших густым лесом, а налево лежала, в извилистых очертаниях берегов, плоская желтая, голубая бухта, а в ней крошечные белые и темные мошки — парусные суда и пароходы, а еще дальше густо синело и спокойной стеной подымалось кверху море, упираясь в легкое, ясное розово-синее небо.

«Туда! К горам!» — сказал про себя Дюмон.

Ковер так резко накренился правым боком, делая крутой поворот, что у мальчика сердце точно погрузилось на мгновение в ледяную воду, когда он случайно заглянул вниз, в открывшуюся внезапно сбоку страшную глубину. Но это чувство тотчас же



прошло у него, как только ковер выправился. Теперь горы шли навстречу Дюмону, вырастая вверх и раздвигаясь вширь с каждой секундой, и странно было видеть, как они на глазах подвижно меняли свои очертания. Среди их темных густых масс стали видны отдельные скалы, обрывы, расщелины, холмы, круглые зеленые полянки, тонкие серебряные нити водопадов. Возможно было наконец различить верхушки деревьев.

«Выше! Еще выше!» — говорил мальчик, отдаваяся упоению быстрого лета. На один миг его обдало холодным и сырым туманом, когда ковер пронизал насквозь малое облако, зацепившееся за гребень горы, и быстрым победным летом взмыло выше всей горной цепи над пустынным безграничным плоскогорьем, которое зеленой покатою равниной простиралось к западу. Солнце, скрытое раньше громадами гор, радостно бросило в лицо Дюмону свои золотые, смеющиеся, ласковые стрелы.

Он до тех пор подымался над горной цепью, пока она не осела глубоко вниз, не расплющилась и не обратилась в плоскость, как и весь круг горизонта, похожий теперь на ровную географическую карту. Тогда Дюмон повернул к югу, к океану, который в своей неопикуемой величавой красоте уходил в беспредельную, необъятную даль.

И скоро никого и ничего не стало, — не стало на всем свете; было только: вверху светло-голубое небо, внизу — черно-синий океан, а посредине — между ними — очарованный, опьяненный буйным веселым ветром мальчик. Даже и его не было, то есть не было его тела, а была только душа, охваченная молчаливым и блаженным восторгом, воистину неземным восторгом, потому что ни на одном языке никогда не найдется слов для того, чтобы его передать.

Но... где-то близко залаяла собака... раздалось шелканье бича... загремели отворяемые ворота... лошадь застучала копытами. Мальчик глубоко вздохнул. Он по-прежнему сидел в своей белой комнате на ковре, и, как раньше, трепетали за окном ровным, глянцевым блеском плотные листья апельсиновых деревьев.

Что с ним было? Спал он или так всецело ушел в свои мечты, что позабыл на минуту о действительности? На это я не могу ответить. Это — сказка.

— Сказка? — спросят меня. — А где же приключения? Встреча с великаном? Царевна в башне? Добрая фея? Самоцветные камни? Счастливая свадьба?

На это я скромно возражу:

— Попросите когда-нибудь знакомого авиатора взять вас с собою на полет (только раньше спросите разрешение у родителей и дайте доктору прослушать ваше сердце и легкие). И вы убедитесь, что все чудеса самой чудесной из сказок — пресная и ленивая проза в сравнении с тем, что вы испытываете, свободнo летя над землей.

Теперь последнее слово о Дюмоне. В конце девяностых годов девятнадцатого столетия братья Райт, американцы, заявили о своем первенстве в свободном полете на аппарате тяжелее воздуха, продержавшись над землей в течение пятидесяти девяти секунд. Но право их на первенство сомнительно, так как они, в сущности, не летали, а скользили, планировали, подобно брошенному из окна третьего этажа картонному листу. Первый настоящий полет, мы думаем, совершил все-таки несколько месяцев спустя Сантос Дюмон, очертивший на своем аэроплане «Demoiselle» изящную восьмерку между двумя парижскими вершинами — башней Эйфеля и собором Парижской богородицы.

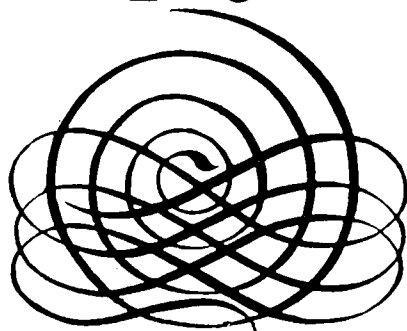
Надо сказать, что к этому времени он окончательно забыл о волшебном ковре с арабской надписью и о своем сказочном полете. Но есть, однако, в этом удивительном аппарате, в человеческом мозгу, какие-то таинственные кладовые, в которых, независимо от нашей воли и желания, хранится бережно все, что мы когда-либо видели, слышали, читали, думали или чувствовали — все равно, было ли это во сне, в грезах или наяву.

И вот, когда Сантос Дюмон, закончив свою блестящую воздушную задачу, повернул аппарат и стал возвращаться обратно, к ангарам, то его осенила странная, тревожная впрочем, очень многим знакомая мысль:

«Но ведь все это было со мною когда-то!.. Давным, давным-давно. Но когда?»

1919 г.

WAVE FRACTALITY



МИРОЗДАНИЕ ПО ДЫМКОВУ*

От автора. Командировочный, не церковного профиля, ангел Дымков по ряду причин заставляет усомниться в его супернатуральной принадлежности. При okazji он делится с друзьями кое-какими сведениями о Вселенной, приобретенными по роду прежней деятельности. Со времен Козьмы Индикоплова скопилось немало таких игрушек ума, из них дымковская самая непонятная, пожалуй. Предлагаемая публикация продиктована намерением привлечь внимание сведущих лиц, чья просвещенная экспертиза с указанием, как оно там устроено на деле, помогла бы задним числом разоблачить в духе нашей передовой современности предполагаемого самозванца.

...По отсутствию классических примет ангельства вроде летательных конечностей на спине, выяснению его личности может помочь лишь анализ его сущности изнутри. Существом супернатуральному полагается особо проникновенное знание вещей, ускользающих от нашего смертного понимания, равно как умственный ранг мыслящей особи лучше всего распознается по ее суждениям о наиболее темных, при кажущейся общедоступности, тайнах неба и бытия.

Таким оселком представляется инженерная схема мироздания, слышанная студентом второго курса Никанором Втюриным, непосредственная местами, что распубликование ее в полном виде могло бы бросить тень на книгопечатание. Но как мыслителя средней руки меня подкупила завлекательная с виду простота излагаемой теории — без головоломной цифири и лексических барьеров, охраняющих алтари наук от посягательства черни. Когда-то, платя дань исканиям юношеского возраста, я шибко интересовался как раз всякими неприступными тайнами, в частности вместе со сверстниками вопрошал небеса насчет святой универсальной правды, пока не выяснился шанс получить ответ на интеллектуальном уровне поставленного вопроса. И если в школьные годы составлял родословную античных бо-

* Комментарий к «Мирозданию по Дымкову» см. в «Послесловии составителя».

гов и их земного потомства для уяснения логики древних, то позже, на пороге громадной жгучей новизны, в пору крушения империй, аксиом, нравственных заповедей, вероучений, старинной космогонии в том числе, я средствами домашней самодеятельности стремился постичь вселенскую архитектуру с целью уточнить свой адрес во времени и пространстве. В земных печалах та лишь и предоставлена нам крохотная утеха, чтобы, на необъятной карте сущего найдя исчезающе малую точку, шепнуть себе: «Здесь со своей болью обитаю я».

Для начала Никанор решительно осудил надменную спесь некоторых наук, чья ограниченность, по его словам, проступает в упорном самообольщении, будто оперируют с абсолютной истиной. Меж тем последняя, в силу содержащегося в ней понятия окончательности рассчитанная на весь наш маршрут от колыбели до могилы, не может раскрываться ранее прибытия к месту назначения, откуда мир и просматривается взад и вперед, без границ и горизонтов. Даже сделал предположение, что ничтожная в общем-то дистанция от разума муравейного до нашего вообще несоизмерима с расстоянием до истины... Однако при очевидных банальностях Никанорова предисловия некоторые сообщения о характере научного процесса показались мне достойными внимания. Нельзя было не согласиться, например, что сознание наше — мощностью в обрез на обеспечение насущных нужд по продлению вида и не рассчитано на полное познание мироздания за явной ненадобностью. Во все века людям хватало наличных сведений для объяснения всего на свете. Всплески же большой обзорной мысли легко уподобляются пробуждению среди ночи — во исполнение детской потребности окинуть глазом свое местопребыванье и, удостоверясь в чем-то, снова нырнуть в блаженное небытие. И никогда не успеваем мы разглядеть толком ни самих себя, ни очертаний колыбели, где спим. Таким образом, разновременные домыслы о ней суть лишь собственные, возрастные наши отраженья в бездонном зеркале вечности.

Неудивительно поэтому, что мирная вчерашняя Вселенная, где благовоспитанные фламарионовы шарики арифметично курсировали по школьным орбитам, в начале нашего века вдруг сорвалась и бешено понеслась куда-то. И кто знает, сколько еще раз предстанет она перед потомками в совсем немыслимой перспективе. Здесь Никанор оговорился, что изложенные им сведения нельзя считать исчерпывающими, ибо кому дано ухватить сущее в его окончательном облике? Если Эвклиду нынешнее знание показалось бы бормотаньем пифии на треножнике, то какой критерий, кроме пророческого прозрения, позволит нам заглянуть на такие же двадцать пять веков вперед, когда все разгаданное позади окажется лишь частностью в потоке иных реальностей, качественно непохожих на прежние, но тоже транзитных в направлении к сущностям высшей емкости, пока и те,

одновременно уплотняясь и упрощаясь по логике диэлектрических превращений, не станут погружаться в дымку уже недоступного нам порядка. Человеческое любопытство с его отстающей аппаратурой узнавания и в прошлом нередко вступало на рубежи, где исследование сменялось умозрением с последующим переходом в благоговейное созерцание.

По такому вступлению с заявкой на право беспардонного вольнодумства во имя еще непознанного следовало предположить на очереди еще одно студентово изобретение тоже нулевой научной значимости из-за полной неосуществимости поверочного эксперимента, а пресловутой бездумности, как обязательного с недавних пор признака великих открытий, было тут явно недостаточно... Ожидания мои сбылись, мне предстояло ознакомиться с дымковской версией мироустройства. И если дотоле создание принципиального образа Большой вселенной затруднялось недосягаемостью ее для целостного охвата, то здесь она была усмотрена вся, извне сущего, с некой сверхкрылатой высоты. По Никанору, для постижения инженерной конструкции предмета в масштабе Метагалактики надо положить его на ладонь и подетски, без догматических предубеждений вникнуть в первичное начертание замысла. Любое же, в обратном направлении производимое исследование потому и обречено на бесконечную длительность, пограничную с непознаваемостью, что до своей обзорной вышки разум добирается по шатким, друг на дружку составленным лестницам уравнений и гипотез с единственным шупом в виде звездного луча, а много ли океана угладишь через прокол диаметром в геометрическую точку?.. Для примера студент Никанор привел обыкновенное яблоко на ветке, с первого взгляда узнаваемое ребенком, тогда как всех книгохранилищ в мире не хватило бы для опознания того же фрукта из его седелки.

С саркастическим прискорбием он пошутил затем, что по оптимальным расчетам и при всем нежелании огорчать трудящихся, вряд ли в ближайшие пятилетки удастся снарядить авторитетную госкомиссию для проверки предлагаемого открытия. И значит, человечеству пофартило, что судьба света моего Никанора с небесным удальцом, по роду прежней деятельности излетавшим вдоль и поперек некоторые районы Вселенной, даже побывавшего со спецзаданием за ее рубежом, откуда она просматривается насквозь, подобно горному озеру с птичьего полета. Большой науке вряд ли следует из ложной щепетильности отказываться от сотрудничества с бывалым лицом даже сомнительного происхождения, чтобы и впредь по-прежнему таскаться на улитках по беспредельностям космоса.

— Иногда крупница истины служит катализатором системности в запутанном хаосе незнания! — наставительно сказал студент и намекнул, что дымковским ключом вся тайна распускается в логическую нитку, как бабушкин клубок.

Вяснилось понемножку, что свое сообщение друзьям пресловутый Дымков сделал вскоре после прибытия на Землю, то есть по свежей памяти, когда те знакомили его со столицей. К вечеру всей компанией, сразу после зоопарка, забрели они в планетарий по соседству, где на лекции по мироустройству Дымков неуместными замечаниями не раз вызывал шиканье публики. В оправдание себе он по выходе из здания, еще во дворе, прямо пальцем по свежавыпавшему снежку накидал спутникам истинные схемы космической топографии. Снаружи, сквозь пламенеющую оболочку Вселенной, будто бы сказал ангел, смутно просматривается каркас из множества силовых линий, в коих он лично, Никанор Втюрин, склонен признать орбиты челночно, друг дружке наперерез снующих галактик. По легкомыслию студент не догадался тотчас закрепить услышанное на бумажке, так что по дороге домой половина улетучилась из памяти, а сохранившаяся успела подернуться налетом досадной отсебятины. Да и то, по образному признанию рассказчика, мозговые извилины его до такой степени перегревались от умственного напряжения, что морозный воздух, несмотря на бензиновый чад в часы «пик», стал слегка припахивать как бы подгорелым столярным клеем. Чуть позже, ощутив у себя в темени подобный же перегрев, убедился я в правдивости употребленной метафоры.

Приподнятие завесы сопровождалось научным замечанием, что в основе сущего лежит циклическое творческое усилие, множественностью коего и образуется тело вещи. В отрывном календаре среди прочей познавательной галантереи мне уже попало схожее указанье, что все вокруг нас обязательно своим бытием мелкосоставляющим электрическим кубарикам, которые непрестанно крутятся вокруг себя, — то же самое и внутри нас самих, только мы привыкли и не замечаем. Оказалось, что и галактики, невзирая на свои размеры, тоже пребывают в непрестанном, слегка эллиптическом коловращенье, однако по прибытии в противоположный пункт полуорбиты неузнаваемо разнятся от себя в начале пути, чтобы после обратного пробега качественно прежними воротиться в исходное состояние. По недоступности замера в надлежащем объеме приходилось обойтись соображениями чисто житейской практики: если нечто слева поднимается, то по закону коромысла оно настолько же опускается справа. Иными словами, происходящее на одном плече равновесного полуцикла непременно проявится на другом как раз в противоположной характеристике. К слову, и принятым в науке правилом, что с приближеньем к предельной скорости масса движущегося объекта безгранично возрастает, признается принципиальное отличие его от самого себя на старте. Если же, по другим хитроумным расчетам, время на финише как бы приостанавливается в полном соответствии со свидетельством ангела из Апокалипсиса о времени, переставшем быть на окраине бы-

тия, то не значит ли, что в прологе оно-то и явилось первородной стихией, откуда излилось все?

На ощупь и спотыкаясь, словно в дремучем дантовом лесу, покорно тащился я за своим поводырем. Манящие огоньки, то и дело мелькавшие за стволами сказочного обхвата, воочию убеждали в близости клада, который без умелого подхода не дается никому. Однако почтительная одурь околдованного уже уступала место робкому покамест сомнению, почему сам благодатель мой, овладевший таким сокровищем, не торопится застолбить за собой драгоценный клочок неизвестности... И даже — прямому подозрению, не дурачит ли меня глыбистый сей, такой рассудительный с виду парень, но с дьявольской сноровкой изнутри, как-никак питомец пресловутого университетского корифея всех наук, особенно по части эпохального носовождения. Не без икоты вспомнилось, как в красном уголке философского факультета в ознаменовании нашего знакомства всучивал он мне презанятный способишко мир взорвать единственно мановеньем воли. Вдруг, разуверясь в настоящем источнике слишком уж искусительных знаний о неведомом, тоном наивной фамильярности справился я в упор у мучителя, носил ли он дымковскую версию мироздания на сверку своему декану, присяжному знатоку и ниспровергателю всяческой космистики. В памяти последнего среди прочих путевых впечатлений наверняка должны были сохраниться ценнейшие топографические сведения по маршруту в преисподнюю с его огнепылающей братвой сквозь анфилады убывающих вселенных...

Кстати, хранителей умственного благочиния не должно смущать криминальное для современного студента, госстипендиата к тому же, пользование устаревшей у нас образной системой с привлечением мнимых владык неба и ада, коих в данном случае надо воспринимать лишь как общепринятые в мировой поэтике обозначения враждующих между собой добра и зла. Всякому ясно, что отдел кадров даже периферийного вуза ни в коем случае не допустил бы представителя нечистой силы в качестве наставника нашей чуткой молодежи!.. А посему Никанор отвечал мне со встречною усмешкой, что действительно собирался обратиться за экспертизой к тому вынужденному космопроходцу, но постеснялся старую рану профессору растравлять. И снова тянул меня за рукав в сгущавшийся сумрак непроглядной чащи лесной...

Пользуясь прискорбным обстоятельством, что собеседник его немножко путает позитрон с фазотроном, а последний — с тем фригейским Филемоном, который муж Бавкиды, сей второго курса студент, предерзко замахивался на заповедные законы школьного естествознания, в частности — утверждением своим, будто любые из них выражают лишь частные случаи взаимодействия структур, констант и еще чего-то, недослышанного мною, в зависимости от пофазного прохождения диаметрального

расстояния от А до М. По неумению хотя бы приблизительно воспроизвести обрушившуюся на меня затем чертовщину могу лишь высказать сложившуюся в итоге собственную догадку, что наблюдаемая вокруг нас материя, по крайней мере в радиусе ближайшего миллиарда лет, в макрокосмосе существенно разнится от прежних своих физических параметров — с ничуть не меньшим отклонением от привычного нам состояния, чем в обратном микронаправлении. Другими словами, некое дозвездное, иррационально самоуплотняющееся вещество по ходу пробегаемой полувечности претерпевает ряд стадийных преобразований с параллельной эволюцией своих опознавательных характеристик, то есть накапливая новые, прямо полярные качества взамен утрачиваемых. Таким образом, с чем в особенности трудно согласиться здравомыслящему современнику, принципиальная механика Вселенной сводится, так сказать, к мелкостной вибрации, в основу которой положено качанье маятника: местоположеньем его в амплитуде определяются ее фазовые изменения, махом мерится ритм биенья, а частотой махов обеспечивается ее упругое постоянство. Без пересчета же всех элементов мышления о Вселенной по указанной шкале, настрого предупредил потомков Никанор, невозможно дальнейшее раскрытие сущего, и без того запоздавшее из-за приизбытка ортодоксального самодовольства,



с каким иные педанты, по отзыву Аристотеля, выводят закономерности космоса из поведения вещества в лабораторной колбе. Ибо в отличие от всеу и ложно понимаемой нами истины никакого знание не является окончательным, являясь преддверием чего-то за ним сокрытого.

Итак, мы находились на пороге генерального незнания нашего, что именно постигает почтенную мать-материю по приходе на запретный скоростной рубеж, куда ей вроде бы и доступа нет по знаменитому уравнию, начертанному в качестве табу на воротах в завтрашний день астрофизики. Здесь и дальше я отказываюсь нести малейшую ответственность за ядовитые замечания недоучившегося студента, ибо в намерения мои входит лишь представить на суд передовых столпов, по возможности ближе к оригиналу, порочную дымковскую теорию, чтобы те могли совершить над нею скорую и суровую справедливость. «Ежели же, по общепринятому ныне догмату, — буквально обучил мне разбушевавшийся Никанор, — всякий до предела разогнанный объект непостижимо вопреки сокрушительной инерции тормозится на бесчисленной веренице девяток после запятой, то пора дать бедняге зеленую улицу из создавшегося безвыходного тупика на простор дальнейшего, лишь наполовину усвоенного нами полета. «В самом деле, — размышлял я, — еще куда ни шло, кабы речь шла об единственном таком акциденте, то и бог с ним, но ведь тут решается общая участь светил небесных! Поздно будет сожалеть, когда все они поштучно застрянут в своих черных дырах-ловушках, и столь бесполезной, впрок и намертво упакованной недвижимости...» Словом, как и раньше, поневоле приходилось мириться с размахайскими загибами моего Никанора, чтобы не лишиться еще более щекотных и лакомых откровений впереди.

Постепенно прояснилось, что время у Никанора подразумевается отнюдь не циферблатное, применяемое для отсчета пульса либо при варке яиц, а в каком-то неслыханном, потому что натурально-вещественном качестве, чего по здравому смыслу просто не может быть. Признаться, и раньше не раз задумывался я, что эта за вещь непонятная такая: если медовый месяц у влюбленных пролетает — глазом не мигнуть, тогда как приговоренному минутка промедления столетием покажется, если не слишком расторопен обслуживающий персонал. Очень бы хотелось, кроме того, расшифровать с помощью сведущего эрудита загадочное, сорвавшееся в тот раз у Никанора восклицанье: «Парменид-то прав, оказывается, да и по фарсизму то же самое получается!» Но всего труднее будет постичь пресловутое время даже не в исходной точке исчезновения, а в состоянии, предшествующем бытию, чтобы уместиться в нулевом состоянии абсолютного начального покоя. Всему непременно предшествует нечто, и для понимания последнего следует допустить вначале вовсе не помышляемую единость, которой в порядке развития

надлежало сперва безнадежно остыть до плазменной степени, чтобы впоследствии выродиться в раскаленное звездное вещество для веяния прочего во Вселенной инвентаря. В поиске наиболее компактной упаковки воображение невольно изобретает шар без диаметра со втиснутой внутрь вселенской начинкой, что в обывательском представлении приобретает видимость, страшно сказать, надмирной персональной воли...

И, не дожидаясь положенных возражений, рассказчик сам же сразу объявил, что не признает библейского миротворенья, но в поиске более диалектически совершенной формы отвергает и провозглашенный ныне взамен его некий праматерианский взрыв, виновник коего опять же красноречиво умалчивается, хотя для ускоряющегося разбегания осколков потребовался бы добавочный силовой импульс, которому взяться уже неоткуда. «Да если даже на худой конец и объявилось бы нечто в недостижимой дальности, — вдруг вставил он как бы на пробу и озачинченно в переносе мне посмолтрел, — так мы с ним, верно, и не провели бы друг о дружке по причине нашей несоизмеримости...» Затем студент Втюрин словом и жестом обрисовал мне, как давешние эллиптические пульсации с уплотнением периодов и сроков сливаются в трепетное мерцанье неузнаваемой среды высшего порядка, чтобы в последующей перспективе образовать холодное, немеркнувшее, уже не просто фотонное сиянье, а тот самый свет предвечный народных сказаний, в пучинах коего рассеяны миры, погребены давно прошедшие, вызревают еще не родившиеся и где-то в неосязаемом его кванте — мы. Однако человечеству и в создавшейся обстановке теряться не приходится, однажды кем-то и в том мнимоабсолютном покое непременно обнаружена будет медлительная, но обязательная для всякого бытия подвижность пусть непонятной среды, а уж там плевое дело определить и самое направление на ее источник. Если и прежде, раз вступивши в поток, разум никогда не сбивался с курса, он и тут, умело пробиваясь против течения, выйдет однажды напрямиком к подножию световой горы древних вероучений с неприступной твердыней на вершине.

Когда я вернулся из плена своих навязчивых догадок, рассказчик мой как ни в чем не бывало доламывал общеизвестный тезис якобы иллюзорного спектрального смещения, обусловленный будто бы не какой-то возрастающей скоростью, а лишь меняющимся соотношением массы и убывающего времени — в пределах постоянного объема и с обеспеченным равновесием в каждой фазе пробега. Предлагаемый же в объяснение красного сдвига эффект ускоренно разлетающихся брызг и осколков, по Дымкову, зависит как раз от совершающихся в пути метаморфоз со временем, ибо диктуется не пробегом удвоенной, учетверенной дистанции за раз навсегда эталонированный срок, а,

напротив, — один и тот же неизменный отрезок преодолевается за изменившуюся измерительную единицу длительности. Другими словами, самое движение до конца остается равномерным, только пройденное расстояние исчисляется за меньший промежуток, стремительно сокращающийся по мере приближения к оборотному пункту. Помнится, Никанор уподобил наблюдаемый парадокс нередкому в рыночном обиходе усыханию гирек, когда ради маскировки растущей дороговизны снижается вес или объем товара с прежней ценой на ярлыке. Совершающееся, таким образом, в циклическом процессе выжигание времени, усмехнулся лектор кому-то по соседству, не надо смешивать с бытующим в богатых сословиях прожиганием его, ибо, сгорающее дотла в тигле всемирной эволюции, оно потенциально сохраняется в иной ипостаси, чтобы через доступный вычислению интервал возродиться таким же манером из исчезающей массы. Получилось, что через выяснение процентности того и другого в нынешнем веществе можно с известным приближением определить как пройденный нами отрезок пути, так и много ли осталось до всеобщего переплава.

— Хотелось бы попутно указать, — росчерком стал закругляться лектор мой, — на крайнюю аморальность пресловутого изобретения под названием «разбегание галактик». Последние годы прогрессивная атеистическая современность, главным образом в опровержение божественной исключительности нашей во Вселенной, все чаще нащупывает в мировой бездне обитаемые планеты с достаточным детским населением, надо полагать. Правда, поиск ведется вилами по воде, сплошь по статистической догадке, но все равно, все равно... сердце кровью обливается при мысли о масштабах возможной аварии для набитого детворой космического автобуса, что сломя голову несется по необорудованной трассе и даже без объявленного пункта назначения!

Без передышки и с поминутной ухмылкой в тоне эстрадного манипулятора — «видите, как все просто получается», — он преподал мне затем предварительные, вовсе сумасбродные сведения о совершающемся якобы продольном укорочении летящего предмета вплоть до утраты одного измерения с приближением к световой скорости. Образно говоря, магические шарики так ловко мелькали в его руке, что и в сотню глаз не углядишь обмана! Пальцем в воздухе передо мною были нарисованы последовательные фазы условного равнобедренного треугольника, как он, все стремительней сокращаясь по оси движения и до нуля же сплюснутый конец, с разгону проваливается, вернее, продавливается вершиной в дыру самого себя для незамедлительной отправки в обратную дорогу. Лишь с повторного захода посчастливилось мне кое-как ухватить, что критического рубежа достигшая громада на чудовищной вспышке переваливает барьер скоростной константы, чтобы, вывернувшись наизнанку с обратным знаком и, следовательно, таинственными задворками, продол-

жить свою гонку вспять за новым импульсом. По толкованию Никанора, она как бы размазывается по поверхности некой, совместно с прочими образуемой ослепительной сферы, отчего не переливчато и дробно, каждой звездой в отдельности, а вся сразу, в сто миллионов солнц, сверкает нам тогда издали. «Не мудрено, что в подобный перемол попавшая галактика ревом раздираемого самсонова льва оглашает безмолвие космоса!» И так как по чисто мускульной логике подобный переворот должен происходить без задержки, при почти нулевой длительности, то весь занимаемый описанной процедурой период и есть космическое мгновение, в мельчайшие доли которого вписываются, может быть, сотни поколений людских, если не целые геологические эпохи. И не то удивительно, что незримые нами антимир сразу после описанной турбулентии по естественной логике физической обратности своей и должны исчезать из поля зрения нашего, а в том, наверно, что в силу единой системы неминучемо размещаются они не где-то в смежном районе по соседству, а в бок с нами, в том же жилом объеме, что и мы... И так как понять сказанное было мне все равно нельзя, то чуть не до слез расстроило меня незавидное положение тамошних граждан, в настоящую минуту подобно нам мчащихся куда-то в обратную сторону и тоже неведь зачем, но в придачу ко всему со всеми грустными последствиями зеркальности своей, где все наоборот, вплоть до физиологии, а добро и зло поменялись местами.

Отбиваясь от еретического миража, ссылаясь и я тоже на вопиющие противоречия услышанного с некоторыми понаслышке известными мне уравнениями величайших умов науки. И Никанор охотно согласился, что и в самом деле сравнительно с дымковской моделью чудовищная концепция Козьмы Индикополова о Вселенной на трех китах выглядит верхом математической гармонии.

— Но вы снова забываете, что видите сейчас мироздание снаружи... неужели вам кажется, что из кармана или рукава можно точнее усмотреть истинный покрой пальто или пиджака? — тихо посмеялся Никанор Втюрин, причем создавалось впечатление, что какие-то утаенные от меня подтверждающие факты внушали ему подобную уверенность. — Ничего, послезавтрашние подмастерья звездных наук благоговейно утрясут наши черновые недоделки на своих более совершенных арифмометрах. Здесь зерно всех будущих открытий о Вселенной... теперь держите его крепче, чтоб не склюнул сквозь пальцы какой-нибудь проворный петушок!

Наконец-то вся доступная для обзора Вселенная умещалась в моей ладони. Свет отдаленной правды лежал на ее дразняще-расплывающемся чертеже. Больше всего она походила на беглый набросок, с натуры нарисованный ребенком. Трудно было глаза от него отвести, словно от кона с видом на вечность, к сожалению, нарисованную всего лишь на фанере, как оказалось

чуть позже, при свете наступавшего дня. Попутно в воображении моем уже возникало ожидавшее меня небольшое, районного значения, аутодафе с участием в главной роли оскользнувшегося автора, пылающего на вязанках ереси под унывное пение ритуальных уравнилий.

На прощанье по установившейся привычке мы с Никанором вышли посидеть под сиренью возле домика со ставнями. Скамейка была холодна и мокра от ночной сырости, лучи пробивались сквозь рассветный падымок, радужно искрилась сизая в росе трава. Без единой соринки тишина окраины располагала к молчанью о предмете состоявшегося ночного бдения. Машинально поднял я голову сравнить портрет с оригиналом. Покамест ни промышленный дым из окрестных труб, ни тучка, ни птица на пролете — ничто не омрачало пророзовевшую синь. Любое мечтанье идеально вписывалось в тот девственно чистый над головой лист, будто ничего не бывало там прежде. Издревле населяемая виденьями пророков и поэтов, небесная пустыня была готова принять новые караваны призраков, что пройдут по ней транзитом после нас. И тогда по сравнению с нею модель мироздания по Дымкову, ныне предаваемая огласке в качестве следственного материала к распознаванию последнего, показалась мне лишь учебным пособием по анатомии верхоглядства.

Впрочем, что касается меня лично, то я никогда не сомневался в дымковском ангельстве.

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ СТОЛЕТЬЯ

«Характеристическая черта новых поколений — заниматься настоящим и забывать прошедшее, человечество, как сказал некто, как брошенный сверху камень, который беспрестанно ускоряет свое движение; будущим поколениям столько будет дела в настоящем, что они гораздо более нас раззнакомятся с прошедшим...»

Эти замечательные своей печальной искренностью слова принадлежат В. Ф. Одоевскому — одному из самых крупных русских литераторов первой трети XIX века. Отнесены они к «будущим поколениям» 44 века (героям утопии Одоевского «4338 год»), но уже сейчас поневоле приходят на ум, когда обращаешься к той области прошедшего, где их автор оставил столь заметный след — русской фантастике.

Эта литература мало исследовалась специалистами, а широкому читателю она и вовсе неизвестна. Произведения фантастического жанра разбросаны в труднодоступных старых изданиях и далеко не полностью учтены даже новейшей библиографией*. Если они и переиздаются — что случается крайне редко, — то только в составе авторских сборников. Но русская литература, как известно, не знала устойчивой специализации, присущей литературной современности. У нас не было как таковых и писателей-фантастов — литераторы выступали в этом жанре весьма нерегулярно. Поэтому в авторских сборниках произвольно выделяются нефантастические произведения — их, как правило, больше в наследии писателя — фантастика же остается в тени. И конечно же, эти сборники не могут (да они и не ставят подобной цели) дать представления о своеобразной линии историко-литературного развития, объединяющей в едином целом русской фантастики творчество разных писателей.

А ведь именно ее продолжает столь популярная в наши дни

* Например, в указателе Б. Ляпунова, приложенном к книге А. Ф. Бриктова «Русский советский научно-фантастический роман». Л., 1970, полностью отсутствует фантастика XVIII века, XIX век представлен выборочно, причем в этот малый ряд попали сочинения, не имеющие никакого отношения к фантастике или связанные с нею только своими «фантастическими» названиями (отрывок из «астрономического» романа И. Гурьянова «Комета 1832 года» и некоторые др.).

научная фантастика. Именно здесь аналогия с «брошенным камнем», сделанная Одоевским, особенно уместна: ведь малозаметное на фоне других литературных явлений начало русской фантастики (преимущественно в слегка беллетризированной форме философских трактатов о будущем), казалось, никак не предвещало этого бурного расцвета, захватившего и область чисто развлекательной литературы.

Современная фантастика явно прибавила в «литературности» сравнительно с прежней утопией — разновидностью философского творчества. Но и в новой системе литературных ценностей XX века, где ей отведено заметное и вполне автономное место, фантастика сохраняет как генетическую, так и функциональную связь с утопией, объединяя тем самым ранее далеко отстоявшие друг от друга понятия: самого серьезного — философского и легкого — популярного чтения.

Но не нужно думать, что этот процесс начался только в XX веке. Русскую фантастику можно назвать прообразом современной и по части разнообразия литературных форм: во всяком случае, уже в XIX веке мы встречаем наряду с традиционной утопией и научно-популяризаторские произведения, и образцы космической фантастики. От журнального фельетона до философской аллегории — таков был ее жанровый диапазон. И если сейчас мы объясняем «феномен фантастики XX века» в основном внелитературными причинами (научно-технической революцией и т. п.), то это никак не отменяет его «подготовки» в недрах собственно литературы: так явление советской фантастики было подготовлено всем предшествующим развитием фантастики русской.

Но значение русской фантастической литературы, разумеется, не исчерпывается подобным ретроспективным подходом. Хотя с его помощью и проясняются тенденции, наметившиеся в прошлом, становится виднее соотношение между тем, что литературоведы называют магистралью литературного процесса (ее у нас определял реалистический роман) и линиями периферийными, пограничными с другими областями словесного творчества.

Русская фантастика обладает собственной и вполне определенной художественной ценностью, имеет свою, почти неизученную историю, тесно связанную с развитием реализма в русской литературе, и, быть может, в гораздо большей степени, чем мы это сейчас представляем.

Называл же крупнейший реалист XIX века Достоевский свой творческий метод фантастическим реализмом. Исследования последних лет позволяют конкретно связать его творчество с историей русской социальной фантастики. Так, Р. Г. Назиров убедительнейшим образом доказал, что эпилог «Преступления и наказания» (1866) несет в себе следы влияния утопии Одоевского «Город без имени» (1839). Заимствуя некоторые об-

разы, темы Одоевского, Достоевский сохраняет и антибуржуазный пафос этого фантастического произведения, пророчествующего о крушении цивилизации, построенной на бесчеловечных принципах.

Приведем еще один пример. Знаменитая «фантастическая триада» из «Дневника писателя» Достоевского («Бобок» — 1876, «Кроткая» — 1876, «Сон смешного человека» — 1877) — это своего рода продольный разрез мировой жизни, напоминающий образ вселенной в древнерусской литературе (ад — земная жизнь — рай). А в литературной системе XIX века эта «триада» являлась своеобразной пространственной антитезой («Бобок» — мир подземный, «Кроткая» — мир земной, «Сон...» — космический) недописанной Одоевским трилогии. Ее первая часть «из эпохи Петра Великого», вторая «с сюжетом из нашего времени» (то есть 30-х годов XIX века), третья — утопия «4338 год» решали проблему общественного идеала в плане временном, в соответствии с исторической концепцией Шлегеля, Шеллинга и др. немецких философов-систематиков, согласно которой человечество проходит три этапа (тезис — антитезис — синтез) в своем развитии*.

М. М. Бахтин установил, что Достоевский в «Бобке» разрабатывает древнейшую традицию мировой фантастики, восходящую к «Мениппу, или Путешествию в царство мертвых» и «Разговорам в царстве мертвых» Лукиана (II век). Исследователь указал и на то, что «в XVIII веке «Разговоры в царстве мертвых» писал Сумароков и даже А. В. Суворов, будущий полководец». К этому можно добавить, что Достоевский вполне мог быть знаком с древнерусскими произведениями на эту тему («Хожdenie богородицы по мукам», «Легенда о временном посещении ада» и др. апокрифы). И почти наверняка он знал «Правдоподобные небылицы, или Путешествие к центру Земли» Ф. В. Булгарина (1825) и одно из «фантастических путешествий Барона Брамбеуса» О. И. Сенковского (1833), герой которого также побывал под землей, — популярнейшие в первой половине XIX века произведения фантастической литературы.

«Сон смешного человека» примыкает, в свою очередь, к апокрифическим видениям «земного рая» и к той жанровой разновидности «фантастических путешествий», которая в XIX веке была представлена утопическим «Сном» декабриста А. Д. Улыбышева (1819), тем же «4338 годом» Одоевского (где путешествие в будущее совершает сновидец-сомнамбул), сном об идеальной России Ивана Васильевича из «Тарантаса» В. А. Солло-

* Поэтому грубейшую ошибку делает В. С. Виргинский в своей недавней вышедшей книге об естественнонаучных взглядах Одоевского (М., «Наука», 1975), когда заявляет о неспособности Одоевского «показать, как совершится переход от современной ему действительности к совершенному строю, описанному в утопии» (с. 53). Именно показать историческое развитие совершенного строя и было главной целью трилогии Одоевского.

губа (1845) и, наконец, знаменитым сном Веры Павловны из «Что делать?» Чернышевского (1863).

Улыбышев предварил своему описанию утопической России следующую характеристику подобных произведений: «Патриот, друг разума, а особенно друг человечества... находят во сне свои химеры, которые доставляют им минуты воображаемого счастья, какое в тысячу раз предпочтительнее всему, что дает им грустная действительность».

Пример с Достоевским, как нам кажется, убедительно показал, что изучение русской фантастики — это не только «прикладной» вопрос предыстории нынешней научной фантастики, но и актуальная историко-литературная проблема большого масштаба, важная для более глубокого понимания многих лучших образцов русской реалистической литературы.

Отсюда можно сделать частный вывод относительно уровня работ по истории фантастики. Он, без сомнения, должен соответствовать значительности самого материала, отвечать требованиям научности, предъявляемым к любому исследованию по истории русской литературы. Между тем критики, занимающиеся сейчас прошлым русской фантастики, «порою имеют об этом прошлом весьма относительно представление» *.

Разберем две работы в тех их частях, которые касаются нашей темы. Статью Р. Нудельмана «Фантастика, рожденная революцией» ** и брошюру Е. И. Парнова «Современная научная фантастика», выпущенную издательством «Знание» в 1968 году.

Исторические экскурсы этих сочинений поразительно напоминают один другой. Похвалив в самом начале своего исследования статью Нудельмана, Парнов начинает ее пересказывать. В результате в книгу Парнова переходят и искаженные Нудельманом названия русских утопий, переименованные имена их авторов: «4348 год» (?) В. Л. (?) Одоевского вместо «4338 год» Одоевского В. Ф., то есть Владимира Федоровича; «Путешествие в царство (?) Офирское» М. М. Щербатова вместо «Путешествия в землю Офирскую г-на С... шведского дворянина».

Переходят и неверные с историко-литературной точки зрения формулировки. Анализируя утопию Щербатова, Парнов, например, использует положение Нудельмана о том, что в русских утопиях «удивительно уживаются монархический деспотизм (хотя Щербатов проповедует идеал просвещенной, а не абсолютной

* Слова Ю. И. Кагарлицкого об американском историке фантастики Сэме Московиче, не знавшем правильной датировки эпохи Просвещения. См.: Ю. И. Кагарлицкий. Что такое фантастика? М., «Художественная литература», 1974, с. 8—9.

** Сб. «Фантастика-66», вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1967. Эта статья включена в библиографический список к заметке о научной фантастике в Краткой литературной энциклопедии, т. 5. М., 1968, с. 143.

монархии, что далеко не одно и то же. — В. Г.) и прогрессивный экономический базис (основанный у Щербатова на чем-то весьма напоминающем крепостное право. — В. Г.).»

Из этой посылки Парнов делает следующий и вполне самостоятельный вывод: «Будь иначе, это сочинение вряд ли смогло увидеть свет в крепостнической России». Но утопия Щербатова, как известно, так и не смогла «увидеть свет в крепостнической России». Она была впервые опубликована только в 1896 году, то есть через 112 лет после своего написания и через 35 лет после отмены крепостного права в России.

Если рассматривать русскую фантастику в полном историческом объеме, то рассказ о ней следует начинать с явлений, которые сформировались в далеком культурном прошлом: в устном народном творчестве с одной стороны, в средневековой литературе — с другой.

В фольклоре имеется обилие жанровых разновидностей, явно близких фантастической литературе: сказочная (поиски «иног царства» в русской сказке), форма исторического предания о «золотом веке», легендарная (разнообразные социально-утопические легенды типа сказания о «Городе Игната» казаков-некрасовцев или знаменитой китежской легенды). Современная фантастика располагает даже терминологией, подчеркивающей это сходство*. Но связь между фантастической литературой и фольклором далеко не такая прямая, какой кажется на первый взгляд. Фольклорная фантастика имеет свою специфику, связанную с своеобразием историзма в устном народном творчестве, с соотношением понятий правды и вымысла в нем. Так как здесь имеется много общего с древнерусской литературой, то мы и рассмотрим этот вопрос на примере последней.

Древнерусская литература в принципе не знала категории фантастического в современном значении этого слова, антонимичном действительному, реальному. «Литературное повествование в Древней Руси... претендовало быть документом, притязало на строгую фактичность, ... вымысел же, открытый вымысел во всяком случае, в литературе не допускался» (Д. С. Лихачев). Иначе говоря, те события, явления, которые современный человек оценит как нереальные, фантастические, представлялись древнему читателю вполне достоверными. «Читая о чуде в Невской битве, когда ангелы, летая над полем битвы, с высоты избивали вторгшихся на Русь шведов, читатели верили... в полную правдивость этого рассказа», — как писал тот же Д. С. Лихачев. Поэтому, говоря о древнерусской фантастике, мы, в сущности,

* См., например, сборник с характерным названием «Антология сказочной фантастики». М., «Молодая гвардия», 1971.

делаем методологическую ошибку — судим о явлении с чуждой самому ему точки зрения.

Но эта ошибка исторически оправдана. Древнерусская литература никогда не была замкнутым в себе, непроницаемым миром для литературы нового времени. Средневековые щедро отдавало свои образы и идеи последующим эпохам, а те переосмыслили их в собственном духе. Связь времен не прерывалась, хотя и могла быть едва ощутимой. Так и корни фантастической литературы уходят за историческую черту средних веков — в литературный мир Древней Руси, построенный по своим особым законам, отличным от тех, по которым живет фантастика в литературе нового времени.

Почти то же, с известными оговорками (относительно сказочной фантастики, например), можно повторить и по поводу фольклора.

Термины «фантастика», «социальная фантастика», «социальная утопия» и т. п. употребляются современной медиевистикой в основном по отношению к той группе легендарно-апокрифических сочинений Древней Руси, которые повествуют о «земном рае». Мысль о существовании такого места была весьма распространена в средние века как на Востоке, так и на Западе. Это нашло отражение в многочисленных сочинениях, а также на географических картах. Так, в сочинении Гонория Отенского «Изображение мира» «рай» помещен в самой восточной оконечности Земли.

Другой средневековый путешественник относил его местоположение к индийским островам. На карте 1346 года остров Тенериф назван адом, а на географической карте Андрея Бианко (1436) рай со своими четырьмя реками (медвяная называется Фисом; река, текущая вином и елеем, — Тигр; елеем — Гион; млечная — Евфрат) располагается на юге Азии.

По словам В. Сахарова (из исследования которого мы занимались приведенные факты), «...в средневековых сказаниях ад согласно с древними мифическими верованиями помещали на Западе, а рай под влиянием библейского рассказа о рае, насажденном богом для наших прародителей на Востоке, всегда помещался на далеком Востоке» *.

«Житие Макария Римского», название которого в русских рукописях читается как «Слово о трех мнисех, како находили святого Макария» (греческий текст — V — VI вв., русские начиная, вероятно, с XIV в.), рассказывает о трех иноках-братьях: Феофиле, Сергии и Игиине. Старший, «смиранный Феофил», предложил однажды двум другим отправиться в путешествие, дабы увидеть место, «где небо прилежит земле». Те согласились, и все вместе они покинули монастырь. Во время путешествия братья

* В. Сахаров. Эсхатологические сказания и сочинения в древнерусской письменности и влияние их на духовные стихи. Тула, 1839, с. 37.

побывали в Иерусалиме (до которого дошли пешком за 10 108 дней), Вифлееме, на горе Елеонской. Прошли Индию и Персию. Пили из «источника бессмертия, ожидающего праведных насладиться». Уста путников «от сладости и благоухания того мирра и воды на три дня слепились, как от аттического меда». Видели множество чудесных стран: землю трепясток (пигмеев), страну песиголовцев.

«И в шестой час пополуденного зноя мы стояли возле устья... реки, обдумывая, что нам делать. И от реки этой исходил свет вдвое сильнее земного, и мы взглянули на четыре страны земли и неба. И там дули ветры не такие, как дуют здесь. Ибо ветры имели иное дуновение; западный был зелен, восточный подобен цвету желудя, ветер от полуночи золот, как чистая кровь, а полуденный снежно-бел».

От отшельника Макария, «поселившегося у крайних пределов земли, никем не обитаемых», братья слышали рассказ о «земном рае»: «Стоят две стены, железная и медная, а внутри рай, где когда-то пребывали Адам и Ева, а выше рая на востоке кончается небо. Подле рая господь нарядил херувимов и пламенный меч, обращающийся охранять дорогу к древу жизни. Херувимы видом таковы: с ног до пупка люди, грудь у них львиная, а голова не львиная, руки из кристалла держат пламенные мечи, и херувимы охраняют путь туда, чтобы никто не смел далее взглянуть из-за сил, пребывающих там. Ибо все страшные силы и могучие ангелы, которые за пределами неба, обитают там, и небесные пояса стоят там, где небо кончается» *.

К XIV веку относится послание архиепископа новгородского Василия к епископу тверскому Феодору «о рае, уцелевшем на земле». Написано оно по поводу споров о месте рая, происходивших в средневековой Твери не только между духовными лицами, но и среди простого люда. Столкнулись две точки зрения: согласно первой (ее представлял епископ Феодор), земной рай, в котором был Адам, уже не существует, а есть только рай «мысленный». Другие, и архиепископ Василий в том числе, утверждали, что «земной рай» сохранился до сих пор. При этом архиепископ ссылаясь на церковные песнопения, сказания (типа уже известного нам «Жития Макария»), на путешествие новгородцев Моислава и сына его Якова, видевших «рай и муки».

Таким образом, древнерусская литература уже знала формы, которые интенсивно стала использовать фантастика нового времени: «фантастическое путешествие» выступало в средневековье как одна из разновидностей жанра «хождений», «фантастический сон» соответствовал древнерусским «видениям». Образ гармоничного мира, идеального общежития, сформировавшийся

* Все цитаты из «Жития» давались по изданию «Византийские легенды». Л., «Наука», 1972.

в литературе нового времени, наследовал средневековой мысли о существовании за пределами «обитаемого мира» (ойкумены) вольной, праведной, богатой земли — «земного рая».

Г. Честертону принадлежит остроумное замечание о том, что, размышляя о прошлом, мы постоянно рискуем столкнуться с нашими ожившими предками, поэтому нам гораздо приятнее и безопаснее мечтать о неизвестном будущем. В этом высказывании очень точно схвачена существеннейшая черта исторического мышления Нового времени, нашедшая свое отражение и в современном определении литературной утопии как «художественного произведения, содержащего воображаемую картину будущего общества».

Эта черта состоит в понимании истории как необратимого закономерно-поступательного процесса. Истоки этой идеи лежат в возрожденческой культуре, в наиболее позднем и законченном виде она выразилась в эволюционной теории XIX века. Эволюционизм (понимаемый нами в таком широком смысле) диктует свои условия и будущему, ограничивая сферу неизвестного в нем тем или другим пониманием настоящего, к которому, в свою очередь, относятся как к исторически неизбежно сложившейся действительности. Такое отношение к историческому процессу лежит в основе и современной фантастики, тех методов, которыми она пользуется, наряду с прогностикой, футурологией и другими науками о будущем. Например, метода экстраполяции, то есть мысленного продолжения какой-либо тенденции в будущее в соответствии с ее внутренней закономерностью.

«Семена желанного будущего заключены в действительности настоящего» — так выразил эту мысль в 1830 году критик и философ И. В. Киреевский.

Свой вариант предложил Одоевский: «История Природы есть каталог предметов, которые были и будут. История человечества есть каталог предметов, которые только были и никогда не возвратятся. Первую надобно знать, чтобы составить общую науку предвидения, — вторую для того, чтобы не принять умершее за живое».

И даже Ф. В. Булгарин — писатель, далекий от сколь-нибудь серьезной философии, — писал в предисловии к своей утопии «Правдоподобные небылицы, или Странствования по свету в двадцать девятом веке» (1824): «...Я основываюсь на начальных открытиях в науках, предполагаю в будущем одно правдоподобное, хотя в наше время несбыточное».

Но это было уже в XIX веке. Отношение к прогрессу в XVIII веке было несколько иным. Большинство демократов этого времени (Руссо, Радищев и др.) видели идеал человеческого общества не в будущем, на конечном этапе развития цивилизации, а в прошлом, патриархальном «золотом веке», когда человечество жило по нормам «естественных» отношений. Цивилизация же, исторический прогресс разрушили эту гармонию, иска-

зили образ от природы доброго, идеального «естественного» человека. (Этот патриархальный идеал в XIX веке отстаивал, например, Толстой.)

Просветители XVIII века верили, что человечество само сможет отказаться от заблуждений цивилизации, от «тягости порождения», стоит ему только открыть эту разумную истину. Поэтому-то слову, «вещанию истины» и придавалось такое большое значение. Именно оно должно было разрушить несправедливый мир и вернуть людей в царство социальной гармонии, свободы и братства.

По существу, все русские романы-утопии XVIII века — это своеобразные «уроки царям», как нужно править, чтобы общество жило истинной жизнью. «Истина» могла выступать и в прямой программной форме книжечки «уставов законных и гражданских», как в псевдогреческих романах Ф. Эмина, и символически, как в масонских утопиях М. М. Хераскова. С точки зрения этого идеала и предлагалась сатирическая картина «повреждения нравов» в современном обществе, зрелище поучительное и поучающее. Наиболее известным примером подобного рода может служить фантастический сон с явлением Истины из радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» (глава «Спасская полесь»).

Но, пожалуй, самую развернутую картину идеального общества дал в своем «Путешествии в землю Офирскую г-на С... шведского дворянина» М. М. Щербатов — «едва ли не самый замечательный идеолог русского дворянства XVIII века», по определению Г. В. Плеханова.

Своему поколению он стал прежде всего известен как историк. Пятнадцать книг щербатовской «Истории России» — крупнейший памятник русской исторической мысли XVIII века, во многом сохранивший свое значение по сию пору.

Всесторонне образованный человек (в его библиотеке было более 15 тысяч книг), крупный общественный деятель, блестящий оратор, Щербатов был одной из самых заметных фигур в Комиссии Нового Уложения; острый публицист — его знаменитый памфлет «О повреждении нравов в России» был впервые напечатан Герценом в Лондоне в 1856 году — Щербатов во главу всей своей разнообразной деятельности ставил Россию, судьба которой интересовала его как в прошлом и настоящем, так и в будущем. Много выше иметь в своих речах «некоторое нетерпение и чувствительность», «нежели забыть отечество, не быть чувствительному к тягостям ближнего, лгать из лести и подло раболепствовать», — писал он.

«Путешествие в землю Офирскую...» — основное утопическое сочинение Щербатова *. Это произведение содержит рассказ об

* По свидетельству исследователя творчества Щербатова И. А. Федосова в архиве писателя сохранился набросок еще одной утопии: «Путешествия в страны истинных наук и тщетного знания».

идеальном Офирском государстве, или, говоря точнее, о будущей России, и о том благоденствии, которое ее ожидает, если она примет к сведению утопические рекомендации Щербатова.

Топография «земли Офирской» совершенно прозрачна — она составлена из небольших переделок русских названий: Квамo — Москва, Перегаб — Петербург, Невия — Нева, Голва — Волга и т. д. *. Точно соответствует русской и офирская история. Во всяком случае, на том ее этапе, когда, по словам офирского жителя, «было и у нас повреждение нравов...». Рассказ о нем заключает собственные мысли и оценки Щербатова политики русских монархов и в первую очередь деятельности Петра Великого.

Щербатов признает большие исторические заслуги Петра (в утопии — Перегоя), его роль в просвещении России. Перегой «первый учредил познания наук и военного искусства», рассказывает офирец. Но «после победоносной войны с Дысвами (шведами)» офирский император принял за реформы «противу чаяния и противу естества вещей», которые нанесли государству огромный вред.

Так, он перенес офирскую столицу из древнего города Квамo в Перегаб. Мудрыми офирцами (читай: самим Щербатовым) сразу же «примечены были следующие злы», проистекшие от этого. «Злы» рациональные критики свели в систему и тщательно пронумеровали. Здесь перечисляются и «отдаление государей от средоточного положения своей империи», и «близость к вражеским столицам»; следствием «отдаленности вельмож от своих деревень» стало забвение, «что может тягостно быть народу» — «воплъ народный не доходил до сей столицы»; сами дворяне «единый двор отечеством своим стали почитать, истребя из сердца своего все чувства об общем благе». Те обвинения, которые офирцы предъявляли своему императору, Щербатов прямо от своего имени высказывал в многочисленных статьях о Петре («Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого» и др.), в известном «Прошении Москвы о забвении ее», написанном в форме письма к Екатерине II. Многие щербатовские положения были развиты впоследствии славянофилами, также полагавшими корень зла российской государственности в развитии идей, заложенных Петром Великим.

Но в утопической Офирии в отличие от реальной России политический перелом не заставил себя ждать: страна вернулась к самобытным началам, столица переехала назад в Квамo, общество стало жить по новым идеальным законам. Реформы, если они и проводились, строго соответствовали народным нуждам, были постепенны и разумны. Одна из главных забот офирцев —

* Подробный список расшифрованных офирских названий см. в кн.: Н. Д. Чечулин. Русский социальный роман XVIII века. Спб., 1900, с. 7.

планомерное созидание собственного благоденствия: в стране развиваются ремесла, торговля, строятся новые города.

Судя по всему, проблема рационального градостроительства вообще сильно занимала Щербатова. В ней, так же, впрочем, как и во всем остальном, он выступил против «скоропелости» правительственных мероприятий, вытекающих из ложного понятия о силе единоличных распоряжений: «Не от воли государя или правительства, — говорил Щербатов, — зависит соделать город, но надлежит для сего удобность места, стечение народа и самый достаток жителей». Он даже предлагает сеть городского расположения с расчетом доехать до каждого города за два-три дня из любой точки страны. Этому разумному подходу, учитывающему разнообразные экономические факторы, прямо противоречила «градостроительная горячка, охватившая правительство Екатерины и внушенная планом императрицы создать из русского мещанства «третье сословие» на западноевропейский манер (А. А. Кизеветтер).

«Здравый утопизм» Щербатова по этому вопросу историки уже давно сопоставляют с воистину фантастическими городскими проектами Потемкина. Вот, например, отрывок из «плана» Екатеринослава, представленного Потемкиным. В городе должны быть построены: «...храм великолепный, судилище, наподобие древних базилик, лавки полукружием... пропилей с биржею и театром посередине, фабрика суконная и шелковая, губернаторский дом во вкусе греческих прелестных зданий, университет купно с академией музыкальной...»

По мнению автора проекта, «жители потекут сюда во множестве с избытками своими... и многие, увидев знаменитость нового города, возжелают учиниться жителями его». Но на деле происходило иное: города, построенные по потемкинским проектам, должны были заселяться «огородниками», перевезенными административным порядком из других мест обширной России.

Утопия Щербатова в своей «идеальной» части содержит немало других язвительных намеков на «государственный утопизм» времен екатерининского правления. Сцена несложных приготовлений офицеров к встрече своего императора — явная параллель к знаменитому крымскому путешествию Екатерины («потемкинские деревни» и т. п.); мирная внешняя политика офицеров правителей контрастна воинственным замыслам «славолюбивой» государыни.

Суть политических советов Щербатова может быть сведена к афоризму в духе просветительской философии, замеченному путешественником С... на стене дворца офицеров императоров: «Не народ для царя, но цари для народа, ибо прежде, нежели были цари, был народ».

...«Куда нам, писателям технически отсталого народа, сочинять романы о машинах и полетах на другие планеты!» — иронизировал К. Чуковский над «Аэлитой» А. Толстого, очевидно,

не предполагая, что уже в 1784 году в русской литературе было произведение, герой которого с помощью хитроумного аппарата совершил путешествие на Луну, беседовал там с ее жителями и встречал, в свою очередь, лунатистов, летавших на Землю за пополнением сатирического материала о ее жизни. Эта цель вполне отвечала духу «философского столетия» и разительно отличала лунных «пришельцев» XVIII века от их многочисленных литературных потомков.

Обо всем этом рассказывало «Новейшее путешествие, сочиненное в городе Белеве» членом и неперменным секретарем Петербургского Вольного экономического общества, членом Саксонского экономического общества, Итальянской академии наук и т. д. и т. п. В. А. Левшиным — пожалуй, первый образчик отечественной космической фантастики.

Если в XVIII веке основное философское содержание эпохи определяли идеи Ж.-Ж. Руссо и других просветителей, отрицавших науку как одно из зол цивилизации (их влияние сказалось и на некоторых русских утопиях), то в первой половине XIX века популярны теории прямо противоположного рода: развитие науки стало рассматриваться как один из главных факторов исторического прогресса, движения человечества к лучшему будущему.

Пафос положительного знания пронизывает и русскую фантастику этого времени.

Но это знание (в виде фактов, концепций и т. д.), будучи перенесенным в «будущее», никоим образом не становится отвлеченно-пассивным, условной частью общей статической системы фантастического общества. Напротив, связи с породившим его временем в этом «будущем» не только сохраняются, но и укрепляются, а само «будущее» оказывается своеобразным и очень точным комментарием к настоящему.

В качестве примера возьмем факт, лежащий в основе «4338 года» и являющийся своего рода «жизненной» завязкой утопии Одоевского. Герой этого произведения — «сомнамбул» поражен «вычислениями астрономов, доказывающих, что в 4339 году комета Вьелы должна непременно встретиться с Землею», и решает провести, «в каком положении будет находиться род человеческий за год до этой страшной минуты».

По возвращении из своего путешествия он узнал, что, оказывается, был в Петербурге 44 века в образе китайского студента Ипполита Цунгиева и «очень усердно переписывался со своим другом, оставшимся в Пекине». Эти письма «сомнамбул» и предложил издателю (т. е. Одоевскому); они, собственно, и составляют «4338 год».

Но что это за комета и что за катастрофа ожидает будущее человечество? Мы сталкиваемся здесь с любопытной реалией русской научно-литературной жизни 30-х годов XIX века.

В это время сначала из науки в журналистику (где издавна подготавливалась почва к принятию подобных «астрономических» тем — ср. название знаменитого надеждинского журнала «Телескоп»), а затем и в беллетристику проникают так называемые «толки о комете 1832 года».

Известно, что в некоторых научных немецких журналах в конце 20-х — начале 30-х годов появились заметки об этой комете и о возможности ее столкновения с Землей. Уже в «Московском телеграфе» за 1828 год (ч. X, № 13) печатается статья, цель которой — опровержение «ложной астрологии немцев».

Но остановить «движение» кометы было уже невозможно. Вот основные его этапы*:

1831 год. Журнал «Телескоп» и газета «Молва» публикуют отрывки из водевиля Н. Ф. Павлова «На другой день после Представления света, или Комета в 1832 году».

1832 год. Появляется «Отрывок из неизданного романа, основанного на астрономических наблюдениях» И. Гурьянова, называемый «Комета 1832 года». Здесь космическая катастрофа служит поводом для сатирической зарисовки провинциальных нравов, со всем их невежеством и бестолковостью.

1833 год. Выходит альманах «Комета Белы», где в числе прочих «астрономических» произведений опубликована «фантазия» М. П. Погодина «Галлева комета» — романтическая история открытия этой кометы английским ученым Галлеем. Одним из читателей повести был Гоголь, который нашел в ней «...что-то чертовски утешительное в минуты некоторых мыслей».

В том же году в «Фантастических путешествиях Барона Брамбеуса» комета объявляется Сенковским причиной исчезновения с лица Земли «прекрасной страны Барабии», комического аналога легендарным странам прошлого «золотого века».

Наконец, в 1839 году в «Литературных прибавлениях к русскому инвалиду» помещается заметка под заглавием: «Комета Вьелы в 1839 году». В ней, между прочим, читаем: «Эта невидимая комета — пигмей между всеми своими собратьями — уже не раз пугала человечество; не раз опасались, что она столкнется с Землей. Так было в 1826 году, в 1832, в 1839. По новейшим, самым строгим исчислениям она непременно должна натолкнуться на нашу Землю в ...4339, то есть 2500 после нас. Мы не преминем сообщить читателям все подробности о сем замечательном происшествии».

Той же целью («сообщить подробности о сем происшествии»), как мы знаем, руководствовался и сомнамбул Одоевского. Не лишне, может быть, отметить, что та же комета и то же «происшествие» (только здесь оно приходится на 1932 год) служат сюжетной мотивировкой в утопии Ал. Толстого «Союз пяти».

* См. подробнее мою заметку «Литературная комета» — «В мире книг» 1974, № 11.

Наука активно трансформируется и во многие другие фантастические произведения русских авторов. Нередко эти произведения выступали и как своеобразное орудие литературной полемики с той или другой современной научной гипотезой. Мастером подобной полемики был О. И. Сенковский. Его «фантастические путешествия» — острые сатирические гротески, направленные против теорий, исказивших, по мнению автора, научную картину мира.

Так, в «Ученом путешествии на Медвежий остров» он пародирует систему расшифровки древних текстов, предложенную знаменитым французским египтологом Шамполионом, доводит до комического абсурда эволюционную теорию Кювье. В основе «Сентиментального путешествия на гору Этну», уже разобранного нами с точки зрения литературной традиции, лежит популярная в XIX веке научная версия Лесли о полом центре Земли и о существовании там целой «внутренней планеты» со своей растительностью и животным миром. Герой «фантастических путешествий» — Барон Брамбеус проваливается в вулкан Этну и таким образом попадает в мир, построенный буквально «вверх ногами» по отношению к земному. Люди ходят тут по потолку; то, что на Земле считается ругательством, — тут приветствие и т. д. После того как путешественник «избрал себе жену навыворот, устроил хозяйство вверх дном и прижил детей опрокидью», после длительного знакомства с «тем светом» он фантастическим образом выбрасывается на поверхность земли через Везувий.

Ту же научную гипотезу, что и Сенковский, разрабатывает в своих «Правдоподобных небылицах, или Путешествии к центру Земли» Ф. В. Булгарин; побывал в мире «наизнанку» и герой «Земли Безглавцев» Кюхельбекера.

И только спустя четыре десятилетия она начинает использоваться в западной фантастике («Путешествие к центру Земли» Ж. Верна, 1864 год). Не была забыта гипотеза Лесли и научной фантастикой XX века. На ней основывает в 1924 году свою известную «Плутонию» академик В. А. Обручев. Характерно, что из числа своих литературных предшественников он может называть только Ж. Верна и К. Дойля (роман которого на ту же тему — «Затерянный мир» — вышел в 1912 году).

Но все-таки наиболее полно связь русской фантастики с наукой отразил в своих произведениях Одоевский. Может быть, поэтому его «4338 году» и больше повезло по сравнению с другими русскими фантастическими произведениями. Эта утопия несколько раз переиздавалась после революции, разбор ее (правда, очень поверхностный) помещен в известной книге А. Ф. Бритикова по истории русского советского научно-фантастического романа.

Здесь Одоевский не очень решительно, но все-таки назван «пионером научной фантастики не только в России».

В самом деле, в 1840 году, то есть за 20 лет до появления первых романов Ж. Верна, Одоевский пишет произведение о будущем, главное внимание в котором уделяется научно-техническому развитию человечества. Конечно, и у него были свои предшественники. Ф. В. Булгарин, например, в «Правдоподобных небылицах, или Странствования по свету в двадцать девятом веке» предугадывает множество технических новинок и даже поразительно точно описывает... военно-воздушные маневры с парашютным десантом.

Но Одоевский был, пожалуй, первым в мировой литературе писателем, давшим научно обоснованную картину технического расцвета будущего общества, поставившим этот вопрос на историческую основу. «Люди всегда останутся людьми, как это было с начала мира... — утверждал он, — с другой стороны, формы их мыслей и чувств, а в особенности их физический быт должен значительно измениться».

В 44 веке, как явствует из утопии Одоевского, метаморфоза произойдет и с животным миром Земли. Путешественник будущего, сменив «электроход», на котором он «с быстротой молнии пролетел сквозь Гималайский и Каспийский туннели», на «воздушный корабль-гильваностат», попадает в Петербург. Здесь в кабинете редкостей он видит столь знакомое путешественникам XIX века животное. Редкий экземпляр его, на котором «сохранилась даже шерсть», вызывает у Ипполита Цунгиева изумление: «...Можно ли верить тому, что люди некогда садились на этих чудовищ? Ведь они совершенно не походят на тех лошадок, которые дамы держат нынче вместе с постельными собачками?»

В предисловии к утопии «измельчание пород лошадей» объясняется как «дело очевидное, которому есть множество примеров в наше время. Не говоря уже о допотопных животных, об огромных ящерицах, которые, как доказал Кювье, некогда населяли нашу Землю, вспомним, что, по свидетельству Геродота, львы водились в Македонии, в Малой Азии и в Сирии, а теперь редки даже за пределами Персии и Индии, в степях Аравийских и в Африке. Измельчание породы собак совершилось почти на наших глазах и может быть производимо искусством, точно так же, как садовники обращают большие лиственные и хвойные деревья в небольшие горшечные растения».

Люди 44 века научились управлять земным климатом, изобрели «книги, в которых посредством машины изменяются буквы в несколько книг», «машины для романов и отечественной драмы», получают письма с Луны. «Увеличившееся чувство любви к человечеству достигает до того, что они не могут видеть трагедий и удивляются, как мы могли любоваться видом нравственных несчастий точно так же, как мы не можем постигнуть удовольствия древних смотреть на гладиаторов»,

Если «4338 год» предшествует нынешним научно-фантастическим романам, то два других фантастических произведения Одовского близки той разновидности современной фантастики, которую называют «романом-предупреждением». «Город без имени» и «Последнее самоубийство» рассказывают о катастрофах, которые могут случиться с человечеством, «вследствие принятия ложного направления» (В. Г. Белинский).

В первом погибает колония последователей английского политэконома, автора теории утилитаризма И. Бентама. Эта колония положила в основу своей жизни тезис о пользе как главном двигателе прогресса. «Последнее самоубийство» — рассказ о том, что стало бы с человечеством, если бы учение Мальтуса о перенаселении Земли оказалось истинным и «потерялась соразмерность между произведениями природы и потребностями людей». «В обоих случаях перед нами фантастическое предположение — своего рода огромный эксперимент, развернутый от противного или — точнее — от нежелаемого» (Ю. Манн).

Но, пожалуй, наибольшей актуальностью, публицистичностью насыщены страницы русской фантастики, рассказывающие о литературе будущего. Это и неудивительно. Все русские фантасты — крупные литераторы, журналисты, активные участники историко-литературного процесса первой трети XIX века. Уже Улыбышев связывал идеальное будущее России с расцветом литературы, даже определенных литературных жанров. В своей утопии он предрекал «обращение к разработкам обильной и нетронутой руды наших древностей и народных преданий», в результате которого «возгорелся поэтический огонь, который светит ныне в наших эпопеях и наших трагедиях». «Нравы, принимая все более и более черты, всегда отличающие свободные народы, породили хорошую комедию, комедию самобытную».

Но литература будущего не всегда так совершенна для других русских фантастов. Не отличает ее и идеальное спокойствие. И странное дело, во многих ее представителях современники без особого труда узнавали черты русских писателей и восстанавливали те отношения, которые существовали между ними в ходе литературной борьбы: например, борьбы «литературных аристократов» с «торговым направлением», «Арзамаса» с «Беседой», между любомудрами и сторонниками «умеренной философии», «Мнемозиною» Одовского — Кюхельбекера и печатными органами Ф. В. Булгарина.

Рассказчик «Путешествия к центру Земли» Булгарина попадает в мир, состоящий из трех царств: Игноранция (с латинского — «земля незнаек, невежд»), Скотинии и Светонии (со столицей Утопией). Во втором из них — стране «полуобразованности, полуучености, что гораздо хуже невежества», — он видит некоего «гуслита-философа», «малого человека, вроде Албиноса, с мусийским орудием за плечами», который отрекомендовался

ему первым философом и первым мыслителем Скотинии: «Я первый возжег светильник философии и около двух лет тружусь, хотя и не постоянно, над сооружением памятника моему величию, т. е. сочиняю книгу, которая будет заключать в себе всю премудрость веков прошедших, настоящего и будущего времени. Правда, что надо мною смеются и называют меня шутом, но за то я сержусь больно, бранюсь и сочиняю музыку для романсов и песен, которые превозносятся в кругу моих родных столько же, как и моя философия!»

Булгаринская утопия появилась вскоре после того, как в IV части «Мнемозины» была напечатана статья Одоевского «Секта идеалистико-элеатическая», из предисловия к которой следовало, что это глава задуманного обширнейшего «Словаря истории философии» должного вобрать в себя всю мудрость предшествующих веков, «привести ее к общему знаменателю». Здесь же говорилось, что автор трудится над этим словарем «уже около двух лет, хотя и не постоянно» и приглашает всех желающих принять в нем участие. Музыкальная же деятельность Одоевского была общеизвестна. Так что не оставалось никаких сомнений в том, кого изобразил Булгарин в своем «Путешествии».

Одоевский решил не остаться в долгу и в «4338 годе» вывел толпу «литературных промышленников», которые собираются в передней «настоящей науки и литературы» и, «едва годные быть простыми ремесленниками, объявляют притязания на ученость и литераторство», стараясь своим «криком обратить внимание проходящих». «Они большей частью пришельцы из разных стран света; незнакомые с русским духом (нарек на нерусское происхождение Булгарина и Сенковского. — В. Г.), они чужды и любви к русскому просвещению: им бы только нажиться, а Россия богата».

Точно такое же разделение есть и в «Тарантасе» Соллогуба. Во время путешествия его героев из Москвы в Мордасы, один из них, Иван Васильевич, начал развивать перед другим — Василием Ивановичем мысль о существовании в России «двух литератур»: «одна даровитая, но усталая, которая показывается в люди редко, иногда с улыбкой на лице, а чаще всего с тяжелой грустью на сердце. Другая наша литература, напротив, кричит на всех перекрестках, чтоб только ее приняли за настоящую русскую литературу, и не узнали про настоящую. Эта литература приводит мне всегда на память сидельцев Апраксина двора, которые чуть не хватают прохожих за горло, чтоб сбыть им свой гнилой товар».

Но литературная борьба свойственна, по Соллогубу, только действительной России. Иван Васильевич, попав во сне в идеальное будущее, узнал, что литература теперь одна и что вся она «честь и слава родины». Враждебные литературные группировки примирились: в России фантастической «нет избы, где

вы бы не нашли листка «Северной пчелы» (печатного органа Булгарина. — *В. Г.*) или книги «Отечественных записок» (орган антибулгаринского направления. — *В. Г.*)».

Мы рассмотрели только малую часть «прошедшего» русской фантастической литературы, стараясь останавливаться на наименее изученных его страницах. Но сказанного, как нам кажется, вполне достаточно, чтобы заключить: русская фантастика — литературный мир редкой многогранности и яркости, достойный того, чтобы современный читатель узнал его и любил.

ЗВЕНЬЯ КОСМИЧЕСКОГО КОНТАКТА

ИСТОКИ ИДЕИ

Среди проблем, подлинная глубина которых начала вырисовываться лишь в последние годы, важное место занимает проблема существования внеземных цивилизаций. Гипотеза о множественности обитаемых миров, не противореча в своей основе ни одному из твердо установленных современной наукой фактов, тем не менее все еще остается гипотезой чисто умозрительной, не подтвержденной экспериментально. Когда мы говорим о возможности ее опытной проверки, то подразумеваем при этом установление контакта с иным разумом — то ли с помощью космической радиосвязи, то ли путем обнаружения гипотетического межзвездного зонда, то ли, наконец, рассчитывая найти в истории нашей планеты свидетельства прилета инопланетных космонавтов. Методы эти относительно независимы, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и заранее указать, каким именно образом будет впервые доказано существование внеземной разумной жизни, по-видимому, невозможно. Любопытно, что и предложены они были примерно одновременно: в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. Впрочем, правильнее было бы сказать — вновь предложены, ибо К. Э. Циолковский рассматривал эти методы уже 50 лет тому назад. В частности, это касается и вызывающего столько споров предположения о непосредственном контакте между земной цивилизацией и инопланетными разумными существами. Последовательно развивая свои идеи о значительности роли разума во вселенной, великий основоположник космонавтики писал:

«Мы уверены, что зрелые существа вселенной имеют средства переноситься с планеты на планету, вмешиваться в жизнь оставших планет... Объединяются... все... планеты и солнечные системы... Объединяются... группы солнц и весь Млечный Путь...

Можно считать, что эта могущественная организация может проникнуть на любую планету, например на Землю. Отчего же мы не замечаем до сих пор следов ее деятельности?..

...Отмечено в истории и литературе множество необъяснимых явлений. Большинство их, без сомнения, можно отнести к галлюцинациям и другого рода заблуждениям. Но все ли? Те-

перь, ввиду доказанной возможности межпланетных сообщений, следует относиться к таким «непонятым» явлениям внимательнее...

Может быть, вмешательство иных существ в жизнь Земли еще не подготовлено развитием большинства людей. А может быть, оно бы повредило человечеству в настоящее время...

Есть и еще ряд явлений, правда в большинстве случаев столь же сомнительных, как и предыдущие. Они говорят нам о проникновении каких-то разумных сил в наш мозг и вмешательстве их в человеческие дела. Я сам два раза в жизни был свидетелем таких явлений и потому не могу их отрицать.

...Я допускаю, что некоторая часть такого рода явлений не иллюзия, а действительное доказательство пребывания в космосе неизвестных разумных сил» *.

Подход Константина Эдуардовича Циолковского к проблеме Контакта лишь в настоящее время оценен по достоинству. Циолковский рассматривал Контакт, не ограничиваясь посещением Земли некими «межзвездными странниками», но имея в виду влияние космического Разума на земную цивилизацию. Формы этого влияния могут быть различны, и только конкретное исследование позволит что-либо о них сказать. Такое конкретное исследование в задачу К. Э. Циолковского не входило, но он считал своим долгом указать на явления, которые «хоть и естественны, но не могут быть объяснены без вмешательства неизвестных нам существ».

Примечательно, что Циолковский в своих взглядах на «проблему вмешательства» всегда исходил из представлений о «скрытом», «теновом» контакте, позволяющем, с одной стороны, осуществлять определенный контроль за развитием земной цивилизации, а с другой — дать ей возможность развиваться достаточно независимо. В отношении же открытого контакта, «торжественного прилета инопланетных гостей», ученый был настроен довольно скептически. Характерными в этом смысле являются его высказывания на страницах журнала «Вестник знания» (1930, № 4, с. 152—153).

Редакция журнала обратилась к трем ученым — К. Э. Циолковскому, Н. А. Рынину и Я. И. Перельману — с просьбой ответить на письмо одного из читателей. Содержание письма было следующим: «Если межпланетные путешествия вообще возможны и если Земля не является культурным центром всей Вселенной, если существуют на других планетах более высокие культуры, то почему Землю до сих пор не посетили жители других миров?»

И автор письма заключал:

* К. Э. Циолковский. Воля Вселенной. Неизвестные разумные силы. Калуга, 1928, с. 7—9.

«1) Земля не является самым культурным центром Вселенной;

2) жители других миров не посещали Землю;

3) поэтому межпланетные сообщения — невозможны».

Редакцию «Вестника знания» интересовало: разделяют ли ученые эту позицию? Ответ К. Э. Циолковского был несколько уклончивым: поскольку в одной только нашей Галактике число достойных исследования планет, видимо, измеряется миллионами, а возможности даже высокоразвитых цивилизаций не безграничны, то не исключено, что до нас просто еще не дошла очередь. «Это — одно. Другое в том, что в нашем распоряжении только факт непосещения Земли в течение нескольких тысяч лет сознательной жизни человечества. А прошедшие и будущие времена!..»

Более конкретно основоположник космонавтики высказался в своей книге «Причина космоса» (Калуга, 1925), отвечая на вопросы одного из своих корреспондентов:

«Н. П.: Почему же обитатели иных миров не дадут нам о себе знать?

Ответ: Потому, что человечество к этому еще не подготовлено. (...) Заявление иных миров произведет невообразимый переполох на Земле. Явление не будет понято, и фанатизм поднимет голову. (...) Когда же распространится просвещение, повысится культурный уровень, тогда мы многое узнаем о жителях иных планет. Пока довольно и того, что я вам сообщаю. Это необходимая предохранительная прививка».

Наряду с «осторожным» высказыванием К. Э. Циолковского в «Вестнике знания» прозвучало и более «решительное» мнение видного ученого в области авиации и космонавтики, профессора Н. А. Рынина «Утверждение, что жители других миров не посещали нашей планеты, — писал Рынин, — действительно подтверждается официальной историей всех стран. Однако если мы обратимся к сказаниям и легендам седой старины, то заметим странное совпадение в легендах стран, разделенных между собой океанами и пустынями. Это совпадение заключается в том, что во многих легендах говорится о посещении Земли в незапамятные времена жителями иных миров. Почему не допустить, что в основе этих легенд все же лежит какое-либо зерно истины?»

За подробностями читатель отсылался к книге Н. А. Рынина «Межпланетные сообщения», девять выпусков которой выходили с 1928 по 1932 год. В выпуске первом, озаглавленном «Мечты, легенды и первые фантазии», автор собрал фольклорный материал, имевший отношение к идее космических полетов — начиная с легенды об Илье-Пророке и кончая эзотерическим преданием о реактивных летательных аппаратах в Атлантиде. Видимо, в процессе сбора такого материала у Н. А. Рынина и возникла мысль о возможности рациональной

«космической» интерпретации некоторых легенд. Правда, свое конкретное развитие эта идея нашла много позднее, в работах уже современных исследователей, но в их основе лежало предположение, высказанное Н. А. Рыниным.

ЛЕГЕНДЫ В РУКАХ ИСТОРИКА

Исследователи разных стран накопили к настоящему времени немало сведений, содержащихся в фольклоре и древних письменных источниках и трудно объяснимых с традиционных позиций. Не повторяя широко известных публикаций, мы хотели бы обратить внимание на два новых факта, которые также могут быть прочитаны под «палеокосмическим» углом, — на австралийскую легенду о «летающем эвкалипте» и средневековое сообщение о «воздушных кораблях».

...Некогда двое мужчин и женщина бродили по пустыне в поисках пищи. Поссорившись с товарищами, один из них ушел вперед, «в сторону заката». Остальные двое следовали за ним в некотором отдалении. «Подойдя к краю долины, они увидели своего товарища на ее другой стороне, у реки. Они крикнули, чтобы он остановился, но он не обратил на них внимания и продолжал идти, пока не подошел к большому белому эвкалипту. Здесь он замертво упал на землю, а рядом с ним люди увидели черное существо с двумя огромными огненными глазами. Оно подняло мертвеца на дерево и бросило в дупло.

Спеша через долину, люди услышали такой оглушительный удар грома, что, пораженные, упали на землю. Поднявшись, они с удивлением увидели, что гигантский эвкалипт вырван из земли и несется по воздуху в южную сторону неба. Они заметили огненные глаза, сверкавшие с дерева. (...)

Наконец дерево остановилось около Варрамбука, или Млечного Пути, который ведет туда, где живут небесные боги. Постепенно дерево скрылось из виду, и только четыре сверкающих огненных глаза видели люди»*.

Другой вариант возможного свидетельства о палеоконтакте мы находим в работе лионского архиепископа Агобарда (779—840 гг.) «*Liber de Grandine et Tonitrius*», глава II.

«Мы, однако, видели людей, погруженных в такие глубины безумия, что они верили в существование некоторой страны, именуемой Магонией, чьи корабли плавают в облаках, чтобы унести в эту страну земные плоды, уничтоженные градом и бурей; команды их платят вознаграждение колдунам, вызывающим бури, а сами получают зерно и другие продукты. Я видел людей, чья глупость была достаточно велика, чтобы поверить в возможность таких вещей и держать в оковах четырех человек — трех мужчин и одну женщину, которые якобы упали с

* «Мифы и сказки Австралии». М., 1965, с. 33—34.

этих кораблей; продержав их в плену несколько дней, они вывели этих людей к собравшейся толпе, чтобы в нашем присутствии побить их камнями. Но истина восторжествовала», — заключает Агобард. Несчастные были оправданы.

Вышедшая в Париже в 1670 году книга Николя де Монфона «Граф де Габалис» существенно дополняет сообщение архиепископа:

В годы правления французских королей Пепина, Шарлеманя, Людовика Доброго (то есть с 751 по 840 год) в небе неоднократно бывали видны летающие корабли «воздушного народа». «Что же произошло? Как объяснил невежественный век природу этих чудесных явлений? Люди... решили, что в воздух поднялись колдуны, чтобы вызывать бури и уничтожать градом их посевы. Ученые теологи и юристы вскоре были того же мнения, что и массы. Император также поверил в это, и сия дикая фантазия зашла так далеко, что мудрый Шарлемань, а после него — Людовик Добрый наложили тяжелые наказания на всех этих предполагаемых Тиранов Воздуха. Вы можете увидеть сообщение об этом в первой главе Указов этих двух императоров.

Сильфы, видя, что народ, законники и даже коронованные особы боятся их, пытались рассеять плохое мнение об их... полетах, унося людей, показывая им своих прекрасных женщин, свою Республику и свой образ правления, а затем снова высаживая их на землю в различных частях мира. (...)

Однажды... случилось так, что в Лионе увидели трех мужчин и женщину, которые спускались с этих воздушных кораблей. Весь город собрался вокруг них, крича, что они колдуны и посланы Гримоальдом, герцогом Беневентским, врагом Шарлеманя, чтобы уничтожить французский урожай. Напрасно четверо невиновных пытались оправдываться, говоря, что они местные и что их незадолго до этого унесли странные люди, которые показали им неслыханные чудеса и попросили рассказать о том, что они видели. Взбешенная толпа оставила их слова без внимания и уже готова была бросить несчастных в огонь, когда на шум вышел достопочтенный Агобард, епископ Лиона... Услышав обвинения толпы, он авторитетно заявил, что все это ложь. Неправда, что эти люди упали с неба и что они видели там что-то.

Для собравшихся слова архиепископа имели больше веса, чем явление, которое они видели собственными глазами. «Колдуны» были освобождены, но, конечно, уже никогда в своей жизни они не осмеливались вспоминать о своем чудесном полете...

«Лионский случай» был впервые рассмотрен с позиций палеоконтакта в книге Десмонда Лесли «Приземление космических кораблей», вышедшей в США в 1953 году. Эта работа занимает почетное место в истории интересующего нас вопроса.

До сих пор мы пытались отыскать упоминания о палеоконтакте в фольклорных и древних письменных текстах. Можно спорить о том, насколько правомерны те или иные космические аналогии, но просто отмахиваться от них неразумно. И все же фольклорно-интерпретационный метод страдает односторонностью.

Дело в том, что поиск в легендах «рационального зерна» практически сводится к поиску уже знакомого, известного: на гипотетических палеокосмонавтов переносится наш уровень развития, наши представления о мире, инопланетном разуме, его технологии, морали...

Пожалуй, наиболее «крайним» и «законченным» выразителем такого подхода к проблеме космических пришельцев является современный английский исследователь У. Р. Дрейк. Его книги «Боги или Пришельцы?» и «Пришельцы на Древнем Востоке» * целиком посвящены поискам следов палеокосмонавтов в мифах и легендах народов мира. Дрейк рассмотрел фольклор Индии, Тибета, Китая, Японии, Египта, Вавилона и многих других стран с позиции гипотезы контактов, нашел ряд исключительно интересных в этом отношении текстов... но в основном его подвела упрощенность самой методики исследования, покоящейся на убеждении, что фольклорные сюжеты и образы — это исторические события и лица, только названные по-другому. Дрейк просто отождествил «богов» с космическими пришельцами и соответствующим образом прочитал «фольклорную историю». Опираясь на присущие многим народам легенды о борьбе богов с титанами, о «войне на небесах и на Земле», которая велась с применением «сверхъестественного» оружия, английский исследователь предположил, что некогда Земля была колонией космических существ, потом земляне восстали и в результате долгой борьбы изгнали пришельцев... однако высокая цивилизация на нашей планете оказалась практически полностью уничтоженной. Читатель согласится, что столь «радикальное» изменение взгляда на прошлое требует значительно более весомых доказательств. Конечно, можно ожидать, что какие-то новые находки (в первую очередь археологические) вынесут окончательный приговор этой гипотезе — что, кстати, неоднократно подчеркивал и сам Дрейк, — но нелепо надеяться только на это. Необходимы новые пути, которые позволили бы в рамках уже известного материала более глубоко и верно понять историческую действительность, и прежде всего хотя бы в малой степени освободиться от сковывающего влияния ограниченности наших представлений. Подменяя реальное

* Drake W. R. Gods or Spacemen? Amherst, 1964; его же «Spacemen in the Ancient East», London, 1967.

привычным, мы порой оставляем в стороне многие моменты, не укладывающиеся в эту узкую концепцию.

В настоящее время исследователи все чаще пытаются найти какие-то новые подходы при анализе «палеокосмических» свидетельств. Любопытный вариант такой «неклассической» методики предложили В. Андриенко, С. Койфман и др. в статье «Заметки неспециалистов о специальном предмете». Анализируя известные тассилийские фрески, они выделили три группы изображений:

1. Полностью соответствующие нашим представлениям об эпохе их создания и ее возможностях.

2. Требующие для своего объяснения некоторых допущений.

3. Не имеющие полной аналогии с чем-либо, известным нам.

По этой классификации изображения «круглоголовых», часто трактуемые как фигуры космонавтов в скафандрах со шлемами, относятся ко второй группе. Они, без сомнения, интересны, но немного «слишком» соответствуют нашему уровню развития космонавтики.

Наиболее интересна третья группа. К ней исследователи отнесли те изображения, которые не поддаются точной интерпретации ни с позиций той эпохи (как мы ее себе представляем), ни с современной точки зрения. Это касается, в частности, группы фресок, условно названной участниками тассилийской экспедиции «хижинами» (см. там же, 4-я стр. обложки). «Так в наше время нарисовали бы антенны радаров. Но, строго говоря, никакой аналогии они не имеют. Даже понятие «антенн радаров» — это не более чем перенесение самого близкого нам представления, ассоциирующегося с рисунком. (...) Сходство же с «хижинами», которое, судя по названию, подметили французские исследователи, свидетельствует о такой же буйной фантазии последних, как и в случае пояснения с точки зрения пришельцев».

Другой рисунок (там же, 4-я стр. обложки) как будто изображает посадку человека в некий летательный аппарат. Причем любопытно: «технических» деталей нет, впечатление является следствием динамики рисунка — «нечто» летит, и человек устремлен к этому «нечто»... В данном случае, очевидно, мы должны анализировать именно функциональную сторону рисунка, на время оставив в стороне вопросы технической реализуемости изображенной конструкции.

Такой метод рассмотрения предполагаемых «палеокосмических следов» привлекает своей гибкостью и нестандартностью. Конечно, «Заметки неспециалистов...» — это только намек на «неклассический» подход; тем не менее здесь открывается путь к построению методов анализа, более строгих и плодотворных, чем «похоже-непохоже».

Прибегать к такому анализу — назовем его «функциональным» — нужно в случае, когда обычная, традиционная интер-

претация затруднена (просто нет земных аналогий, либо в самом источнике не хватает сведений для отождествления с чем-нибудь известным).

«БЕСКОНЕЧНО ЭТО ПРОСТРАНСТВО...»

Из других фактов, которые требуют более внимательного, «функционального», а не поверхностного подхода, назовем древнеиндийские описания летательных аппаратов, а также отдельные необъяснимые «вспышки знаний», явно не соответствующие общему уровню развития науки прошлых эпох.

В одной из книг «Махабхараты» содержится рассказ о весьма примечательном событии; и хотя это «всего лишь» полет брамина Галавы на гигантской птице — «царе пернатых» — Гаруде, но при этом настолько мастерски изображены ощущения человека в полете, что это не может не остановить внимания:

Галава сказал:

Твое тело, пожиратель ходящих на чреве, в движении

Кажется облаченным в сиянье, как тысячулучистый

Вивасван при восходе.

О, летучий, я вижу, что на пути как бы стремятся

навстречу

Стоящие впереди деревья; они ломаются от (взмаха)

крыльев...

Мой слух оглушен ревом великого вихря, ...

Не чувствуя своего тела, не вижу, не слышу!

Двигайся тише, владыка, вспомни (как страшно)

убить брамина!

Не видно ни солнца, отец, ни сторон, ни пространства!

Я вижу лишь тьму, твоего тела не различаю,

(Лишь), как две благородные жемчужины, твои глаза

я вижу, яйцерожденный!

Даже тела ни твоего, ни своего я не вижу,

(Но) с каждым взмахом я вижу исходящее

из тела пламя! *

Обратим внимание на последнюю фразу. В описании птицы, хотя бы и «царя пернатых», такая деталь, как «исходящее из тела пламя», — «лишняя»; она скорее была бы на своем месте, если бы речь шла о реактивном летательном аппарате.

Древнеиндийские боги странствуют по воздуху либо на ви-манах, либо на ваханах (буквально — «носителях» или «повозках»). У каждого бога своя особая «вахана». У Индры — слон Айравата, у Ганеши — мышь, у Вишну — Гаруда.

Если сходство виман с летательными аппаратами не однозначно, то с ваханами дело обстоит еще сложнее. Внешнего сходства как будто нет, но есть сходство «внутреннее». Пред-

* «Махабхарата», пер. Б. Л. Смирнова.

ставить себе, например, Ганешу (имеющего, кстати, облик слона) летающим на мыши — достаточно нелепо. Тогда, может быть, символика? Ведь, помимо столь реалистического описания полета на Гаруде — *птице*, как приведенное выше, мы можем найти в древнеиндийских текстах упоминания о летающих *машинах*, сделанных в виде Гаруды. Эти упоминания содержатся в «Панчатантре», в «Двадцати пяти рассказах веталя» и в «Брихаткатхашлокасамграха»* Будхосвамины (XI век н. э.).

Один из героев последнего произведения — царь Васавадатта — пожелал облететь Землю на воздушной колеснице. Ремесленники, не справившиеся с заказом на постройку такой колесницы, были высечены, но делу это не помогло. К счастью, появился некий странник и построил для царя «летающую колесницу в виде Гаруды», в которой поместился почти весь царский двор. Васавадатта поднялся к «дороге ветров» и облетел «окруженную океаном Землю», после чего направил свою машину к городу Аванти, где как раз проходил праздник. Остановив колесницу в воздухе, царь смог насладиться прекрасным зрелищем.

В отношении неожиданных и как бы «появившихся ниоткуда» знаний древних о Земле и вселенной обычно ограничиваются простейшим объяснением: «гениальная догадка древнего мыслителя». Как правило, подобные «вспышки знаний» непосредственно с информацией о космическом контакте не связаны, и в силу этого их также приходится анализировать функционально. Такой анализ позволяет отбросить «простейшее» предположение о «гениальной догадке» и перейти к гипотезам хотя и более «рискованным», но вместе с тем более рациональным. Что мог, например, знать «древний мыслитель» о полярных районах нашей планеты? Между тем в «Махабхарате» эти районы описываются следующим образом:

Здесь по полугодьям встает златокудрое солнце...
Здесь ниспадающие воды красивые образы принимают...

Это — вознесённого Золотого Ковша дорога;
Считается, что она посредине между востоком
 и западом...
Здесь находится созвездие Свати, здесь помнят
 о его величье;
Здесь, нисходя к жертве, Полярную звезду укрепил
 Предок;
Здесь созвездия, луна и солнце постоянно обходят круги...
(Туда) маят тысячи вожделенных наслаждений...
Но как только человек проникает подальше,
Всякий раз... он погибает...
Здесь зенит — Вишнупада, след, оставленный
 шагавшим Вишну.

* «Избранные шлоки Великого Сказа» — переработка не дошедшего до нас (или еще не найденного) «Великого Сказа» поэта Гунадхьи.

Академик Б. Л. Смирнов, комментируя это место, замечает: «Такие точнейшие указания «Махабхараты» нельзя не учитывать историкам древнеарийской культуры... (...) Шлока 110, 21 очень точно указывает: «здесь (на Севере) зенит». Полярная звезда находится в зените только на Северном полюсе. Откуда могли древние арийцы получить такие точные астрономические сведения, как могли они получить такой точный опыт, остается вопросом, но пренебрегать многочисленными и точными указаниями текста нельзя. (...) Текст говорит об опасностях арктических путешествий и прямо указывает: «как только человек проникает дальше на Север, он погибает».

От себя добавим: точно полугодовой день на нашей планете бывает лишь в непосредственной близости от полюса. Уже на широте 80° в северном полушарии солнце не заходит всего 133 суток.

А что мог знать все тот же «древний мыслитель» о бесконечности и населенности космоса? О межзвездной экспансии существ иных миров?

Бесконечно это пространство, населенное совершенными
и богами,

Полно разными отрадными обитателями, их конца
не достигнуть.

Выше и ниже (их) пути не видно ни луны, ни солнца:
Там светозарные боги, огнецветные, солнцами блистают.
Но и те рубежи неба, распростертого мощно,
не видят;

Трудно его достичь, оно бесконечно, безгранно...
Светозарными, блистающими все дальше и дальше
Преодолевается это пространство, неизмеримое
даже для суров.

Можно сослаться на некоторую «абстрактность» подобной информации, на возможность понимать ее по-разному. Но вот информация конкретная — на сей раз не в Индии, а в Африке. Французский ученый, профессор этнологии Марсель Гриоль, обратил внимание на легенду малийского племени догонов о... спутнике Сириуса, состоящем из сверхтяжелого вещества — одна его крупинка «весит столько же, сколько весят 480 ослиных нош». Более того — указывается, что он обращается вокруг Сириуса дважды за 100 лет. Мы сейчас знаем, что такой спутник — белый карлик — у Сириуса действительно есть, но открыт он был с помощью достаточно сложных оптических приборов. Что же касается определения его удельного веса и периода обращения (значение последнего по современным астрономическим данным — 49,9 года!)... не приходится говорить, что оно возможно лишь при «весьма» высоком уровне развития науки. Если эта легенда в самом деле имеет древнее происхождение (а не является «отзвуком» современных знаний), то мы сомневаемся, что ее можно объяснить без привлечения идеи палеоконтакта.

Проследить «путь», по которому шла информация о Сириусе-В к догонам, выявить ее первоисточник — задача будущих исследований. Английский астроном У. Х. Мак-Кри полагает, к примеру, что сведения эти были получены предками догонов от древних египтян. В этой связи невольно вспоминается древнеегипетская легенда о таинственной книге, оставленной некогда богом мудрости Тотом на Земле и скрытой «от глаз и пользования смертных» среди волн Нила, близ города Коптоса. Прочитав эту книгу, можно было увидеть, «как солнце совершает на небе свой путь... как луна зарождается в высоте, и увидеть звезды в их истинном образе».

Хранилища «запретных знаний» могли существовать и в Древней Индии. Известный советский индолог, лауреат премии имени Дж. Неру Л. В. Шапошникова, путешествуя недавно по Южной Индии, посетила храм Шивы-Натараджи в Чидамбараме и беседовала с одним из его жрецов, представителем дикшитаров — странной общины, хранящей легенды о том, что их предки якобы сошли на Землю «с неба». Жрец рассказывал, что Чидамбарамский храм «посвящен космосу, и Натараджа своим танцем символизирует его единство». В ответ на понятное удивление собеседницы он добавил:

«В мире очень много странного. (...) Люди быстро забывают свое прошлое, и потому так много странностей. Бог в образе человека — это просто символ. Мы ... поклоняемся высшей космической энергии, а идолы — это для тех, кто не может постичь наших знаний».

Дикшитары живут исключительно замкнутой жизнью, все свое внимание уделяя храму. «Древние знания передаются из поколения в поколение, и другим о них мало что известно. Никто еще по-настоящему не исследовал общину дикшитаров, хотя, по-видимому, исследователя ожидает немало поразительных открытий» *.

НА ПОРОГЕ НОВОГО

К настоящему времени проблема космических пришельцев прошла путь от пионерских работ К. Э. Циолковского и Н. А. Рынина, от книги Д. Лесли — к исследованиям ученых и писателей-фантастов, впервые попытавшихся наметить конкретные «схемы» палеоконтакта, к широко известным статьям и книгам А. П. Казанцева, к работам У. Р. Дрейка, В. И. Авинского, Э. Томаса, Ю. В. Росциуса и многих других. Путь этот не был гладким; серьезный подход к проблеме порой подменялся ненужной сенсационностью, а объективная критика — огульным отрицанием... Сейчас уже уровень понимания проблемы таков, что мы можем ожидать в ближайшем будущем правильной и кор-

* Л. В. Шапошникова. Годы и дни Мадраса. М., 1971, с. 358—360.

ректной ее постановки. От изолированного визита (или визитов) «космических странников» исследователи переходят к оценке влияния внеземного разума (понимаемого как совокупность инопланетных цивилизаций) на цивилизацию земную. В собственно же методике палеокосмонавтики намечается переход от простого указания на «подозрительные» факты к их анализу. Если на первом этапе исследований можно было (и то до известной степени) удовлетворяться гаданием «похоже — непохоже», ибо речь тогда шла не столько о поисках объяснений ряду загадочных фактов земной истории, сколько о сознательных попытках обнаружить в этой истории следы пришельцев... то на втором этапе — этапе изучения конкретного текста, рисунка или находки — вступает в действие принцип «презумпции известного». Именно: прежде чем сказать — «да, это свидетельство контакта», необходимо рассмотреть и обоснованно отбросить по возможности все другие, «земные» объяснения. В данной статье мы, разумеется, не ставили перед собой эту задачу — мы лишь попытались коротко охарактеризовать существующее в палеокосмонавтике положение. Анализ же должен явиться предметом отдельного большого исследования, причем не исключено, что результаты его будут достаточно неожиданны как для «сторонников» палеоконтакта, так и для его «противников».

Успешное решение проблемы Контакта даст науке возможность лучше представить роль разума в космической эволюции, прояснит очертания космического гуманизма, позволит понять принципы и цели, которыми должно руководствоваться при проникновении в жизнь иной планеты. Пока же результаты исследований не столь значительны, как этого хотелось бы. Мы, правда, можем на основе косвенных данных говорить о возможности открытых контактов в древности и — если есть зерно истины в идее К. Э. Циолковского о современном «космическом общении материи и существ» — о «теновом» контакте в наши дни... Но конкретных сведений явно недостаточно.

ВСЕ НАПИСАННОЕ ИЛЬЕЙ ВАРШАВСКИМ

Согласитесь, что это не совсем обычный случай: кадровый инженер-механик, которому перевалило за пятьдесят, обращается к литературному труду и буквально с первых же шагов завоевывает широкую популярность. «В моей биографии нет ничего такого, что может объяснить, почему на пятьдесят втором году жизни я начал писать научно-фантастические рассказы», — утверждал сам И. Варшавский.

Отнесемся к этим словам с известным недоверием; Илья Иосифович Варшавский прожил большую насыщенную жизнь, в которой было много и значительного, и забавного, и трагического. Богатый опыт, ясное дело, сказался в его произведениях, если не прямо в темах и сюжетах, то уж, во всяком случае, в оригинальности мышления, самостоятельности мироощущения. Говорят, что первый фантастический рассказ И. Варшавский написал на пари с сыном. Такое пари, кажется, вправду «имело место», но, конечно, оно могло послужить лишь толчком, поводом, которым нельзя объяснить столь бурного приобщения «физика» к клану «лириков»; несомненно, что идеи и образы накапливались исподволь, и стоит пожалеть, что собственно литературному творчеству И. Варшавского судьба отвела недолгий срок — чуть более десяти лет, из которых к тому же большая часть была омрачена тяжелой болезнью, и все написанное И. Варшавским уложилось в пять нетолстых книжек маленького формата. Их уверенный профессионализм свидетельствует о всесторонней и незаурядной одаренности этого человека.

К литературной деятельности И. Варшавский себя никогда не готовил. В молодости он сделал попытку стать актером и поступал в знаменитую студию ФЭКС («Фабрика эксцентрического актера»). Однако будущий фантаст провалился на экзамене и, разочаровавшись в своих актерских способностях, выбрал для себя совсем иной путь. В 1925 году, шестнадцати лет, он поступил в мореходное училище, мореходку, как его называли ленинградцы, которую он и окончил со званием «механик торгового флота». Практикуясь в своей специальности, И. Варшавский много плавал по белому свету, и, может быть, не все нынешние поклонники знают, что тогда-то и появилась

на свет его первая книга. Правда, она была написана в соавторстве со старшим братом Дмитрием и редактором молодежной ленинградской газеты «Смена» Н. Слепневым. Их путевые очерки под названием «Вокруг света без билета» вышли в издательстве «Прибой» двумя изданиями. Во время учебы в мореходке И. Варшавский немного сотрудничал в научно-популярной рубрике «Смены», однако тогда же оборвал свою журналистскую деятельность, и вплоть до 1962 года, когда в «Науке и жизни» был напечатан рассказ «Роби», никаких промежуточных литэтапов в его жизни не было.

Возможно, И. Варшавского отвлекло от журналистики крупное изобретение в области электрохимии, которое он сделал по окончании училища. Он нашел способ оцинковывать (или хромировать) готовые изделия, не погружая их в гальваническую ванну, а с помощью особого пистолета, вроде современного краскораспылителя, как бы вынося процесс наружу. Испробовав эту технологию на железнодорожных вагонах, он перешел к подводным лодкам, одновременно добавляя в покрытие противообрастающий состав.

К началу Великой Отечественной войны И. Варшавский — сотрудник одного из отделов завода «Русский дизель». Будущий фантаст не был призван в действующую армию: из-за травмы черепа в детстве у него была удалена височная кость. Он работал для победы в тылу.

Много и все же недостаточно сказано о трудовом подвиге советских рабочих и инженеров, которые в тяжелых условиях военного времени за кратчайшие сроки развернули на Востоке в недостроенных цехах, а то и под открытым небом мощную промышленность, обеспечившую нашу армию всей необходимой техникой. Среди них был и инженер Варшавский.

Он трудился в Барнауле, но путь туда из Ленинграда был не гладок. Баржа, на которой он оказался, затонула в Ладожском озере, и ее пассажиры — поздней осенью 1941 года — оказались в ледяной воде. Из полутора тысяч человек до берега добралось лишь около трехсот. И. Варшавскому удалось продержаться до прихода спасательного катера. Однако его здоровье уже тогда было подорвано.

На Алтае И. Варшавский оставался до 1949 года, а потом вернулся в Ленинград, снова на «Русский дизель», на котором и проработал еще почти двадцать лет. Он гордился своим трудовым стажем и, когда пришла пора выйти на пенсию по инвалидности, настоял на том, чтобы ему оформили пенсию как производственнику, хотя уже и стал в то время членом Союза писателей СССР. Последние годы на заводе он был одним из руководителей молодежного конструкторского бюро; именно ребята-конструкторы из этого бюро и стали первыми «широкими» слушателями его первых рассказов.

Литературное дарование И. Варшавского оказалось разно-

сторонним, он писал стихи, хотя никогда не публиковал их, он был занимательным рассказчиком, в течение ряда лет он вел телевизионную передачу «Молекулярное кафе», где собирались ученые, писатели, журналисты для обсуждения животрепещущих проблем современной науки.

Один из первых рассказов И. Варшавского «Индекс Е-81» был отмечен премией на международном конкурсе, проведенном журналом «Техника — молодежи». Первая книга И. Варшавского «Молекулярное кафе» вышла в 1964 году в Лениздате и тут же была переиздана. Затем последовали «Человек, который видел антимир» (М., «Знание», 1965), «Солнце заходит в Даномаре» (М., «Молодая гвардия», 1966). После долгого перерыва по болезни — «Лавка сновидений» (Л., «Советский писатель», 1970). И наконец, томик избранных рассказов (в который было включено и кое-что новое) в молодогвардейской «Библиотеке современной фантастики» (1972).

Почему же с первой публикации И. Варшавский занял прочное и необходимое место в советской фантастике? С одной стороны, это, разумеется, объясняется тем, что он писал хорошие рассказы, и читатели (а до них и редакторы) сумели оценить их по достоинству. Если бы это было не так, то обо всем остальном продолжать разговор не имело бы смысла. Но были и причины другого порядка, которые обусловили расцвет научной фантастики в первой половине 60-х годов.

Это было время, когда научно-техническая революция, выйдя из младенческих пеленок, стала показывать, на что она способна. Результаты оказались ошеломляющими: атомные электростанции, быстросействующие ЭВМ, раскрытие структуры ДНК, запуск первого советского спутника, затем бессмертный полет Юрия Гагарина, затем первые образцы лунного грунта, доставленные на Землю и многое-многое другое.

Успехи науки с новой остротой заставили размышлять о путях развития человечества, о предназначении человека, о возможностях и пределах познания...

Особенно жаркие споры вспыхивали тогда вокруг проблемы искусственного интеллекта. На страницах научно-популярных, а часто и вполне научных изданий были не в редкость статьи, авторам которых казалось: еще немного — и будет создан искусственный мозг, превосходящий по всем показателям человеческий. Что же тогда останется на долю человека, да и нужен ли он будет вообще, это уязвимое дитя природы? И действительно, если цель — голое познание, то вполне уместно заменить человека более совершенными созданиями, лишенными человеческих недостатков и слабостей.

Хотя прошло не так уж и много времени и хотя мы и сами были свидетелями и участниками этих споров, их горячность сейчас может породить улыбку. Но тогда защита человеческого первородства была естественной и необходимой. А вспомним,

например, сражения за «ветку сирени в космосе» или ту страсть, с какой опровергали видные деятели культуры заявление инженера Полетаева о том, что ему-де не нужен «Блок и Бах»...

И если бы дело касалось только философских материй... Но достижения научно-технического прогресса не только радовали и восхищали, но и смущали, но и тревожили, но и пугали. Приходилось (и сейчас, конечно, приходится) думать не только о том, как развивать, но и как обуздать науку, чтобы она ненароком не превратила бы нашу голубую и зеленую планету в пояс астероидов. А это был уже спор, далеко выходящий за рамки чисто литературных и чисто научных интересов.

И вот в этот-то кипящий котел с головой окунулась научная фантастика, которая давно уже подготавливала людей к подобного рода обсуждениям, а теперь просто-таки оказалась незаменимой. Освобожденная от научной строгости, она смогла более свободно, более многосторонне и более доступно, чем трактат и монография, «проиграть» сотни и тысячи всевозможных злободневных вариантов, даром что действие большинства из них происходит через сотни лет и за сотни парсеков. И самое главное — фантастика (я имею в виду ее лучшие образцы) занималась вовсе не утилитарными приложениями науки: она изучала человека, его поведение в изменяющихся условиях, возможность приспособиться к ним и не только приспособиться, но и стать хозяином преобразованного мира.

Не вспомнив всего этого, мы не сможем оценить своеобразие того места, которое заняли в нашей фантастике «несерьезные» на первый взгляд рассказы И. Варшавского.

Произведения «серьезных» фантастов, как говорится, взяли быка за рога, заговорив о самых насущных, самых глобальных заботах века НТР, которых «обычная» литература тогда вовсе не замечала, а сейчас если и начинает замечать, то самым робким образом. Наша фантастика была захвачена необозримыми перспективами, открывающимися перед человеческим разумом. Что же касается западных фантастов, то они были всеерьез озабочены намечающейся всеобщей автоматизацией, могущей, по их мнению, нанести основательный ущерб духовному развитию человечества, а то и покончить с этим самым духовным развитием вовсе.

И тут И. Варшавский засмеялся, откровенно засмеялся над тем, что у иных фантастов вызывало лишь священный трепет. Иногда он смеялся весело, как в рассказе «Роби», иногда грустно, как в «Молекулярном кафе», но всегда остроумно и беспощадно, если только этот эпитет приложим к такому тонкому понятию, как юмор.

Но не получается ли здесь противоречия? Не мы ли сами восторгаемся победами человеческого разума и тут же хвалим автора, который позволяет себе непочтительно отзываться хотя

бы о той же кибернетике. Ни малейшего! Не над кибернетикой смеется И. Варшавский, а над ее неразумными апологетами, над «неумеренным стремлением все кибернетизировать». «Я не верю, — писал он в маленьком предисловии к «Молекулярному кафе», — что перед человечеством когда-нибудь встанут проблемы, с которыми он не сможет справиться... К счастью, здесь полемике приходится вести не столько с учеными, сколько с собратями-фантастами... Думаю, что в таких случаях гротеск вполне уместен, хотя всегда находятся люди, считающие этот метод спора недостаточно корректным».

Автор скромничает, спор шел и с учеными. Прошло с тех пор лет десять, и все встало на свои места, «а сами кибернетики заняты более насущными делами», как писал И. Варшавский уже в 1972 году. Но его рассказы остались не только памятником задорных споров тех лет, хотя и это само по себе немаловажно. Утерев несколько в сиюминутной направленности, они приобрели более обобщенный, более глубокий смысл. Точнее, не «приобрели», конечно, он был и раньше — этот второй слой, просто со временем он стал проступать более явственно.

В то время такие рассказы, как «Роби», «Вечные проблемы», «Конфликт», «Перпетуум мобиле», «Гомункулюс» и т. п., воспринимались и вправду прежде всего как живое слово в полемике. Позволю себе процитировать собственную рецензию на сборник «Молекулярное кафе»: «Разве не угадываются тезисы иных участников споров о возможностях кибернетики в весьма убедительных и потому особенно смешных доказательствах невозможности существования органической жизни, которые производят почтенные автоматы класса «А» с трибуны местной научной конференции («Вечные проблемы»)? За два миллиона лет работы успели позабыть, что сами они всего лишь потомки автоматов «самого высокого класса», когда-то оставленных людьми с целью сохранить следы человечества на покинутой планете». Так было написано в 1965 году; я перечитал «Вечные проблемы» сегодня и увидел в них еще и блестящую пародию на «научное» пустословие, издевательство над нетерпимостью, высокомерием, зазнайством, и не только в ученой среде.

Должно быть, нынешние читатели и вправду не ощутят в полной мере памфлетной направленности рассказа «Роби», хотя проблема кибернетических «слуг» вовсе не снята с повестки дня. Самоуверенный и даже наглый Роби, доставляющий столько лишь на первый взгляд забавных неприятностей своему хозяину, может быть, принесет нам ныне утешение, заставив рассмеяться в сходных житейских ситуациях, не имеющих ни малейшего отношения к роботехнике. И прежде всего потому, что в Роби воплотились многие человеческие черты, отрицательные, понятно, но, честно сказать, не лишённые известного обаяния.

Впрочем, к одинаковой цели можно идти разными путями: и я не вижу принципиальной разницы между веселой «антироботностью» «Вечных проблем» и рассказом «Тревожных симптомов нет», над которым, пожалуй, не засмеешься. Рассказ этот носит программный характер, недаром им названа последняя книга писателя.

А речь, как и в большинстве рассказов И. Варшавского, идет все о том же — человеческом первородстве, о том, что такое человек, об истинной ценности и красоте человека. Духовная кастрация престарелого ученого Кларенса выглядит еще более страшной, потому что делается по доброй воле. Операция призвана очистить выдающийся мозг для дальнейшей продуктивной научной деятельности, освободить его от сентиментального «балласта», накопленного за долгую жизнь, — детские воспоминания, эмоции при встречах с невестой, переживания по поводу гибели сына-космонавта, — убрать, убрать, убрать, щелк, щелк, щелк, щелк! Что же осталось от человека после такой «инверсии»? От человека ничего. Перед нами очутился все тот же робот, над претензиями которого И. Варшавский издевается в других своих рассказах. Но если кандидатуры алюминиево-синтетических верзил на человеческий трон и вправду могут вызывать смех, то процесс снижения людей до уровня роботов может внушать страх и ужас.

Что может выйти, если научно-технический прогресс не будет сопровождаться или даже опережаться социальным, — вот о чем еще одна невеселая сатира И. Варшавского — «Солнце заходит в Даномаге», так же давшая название книге. «Солнце заходит в Даномаге», пожалуй самое краткое и самое сильное произведение из цикла, посвященного вымышленной и все же не нереальной стране «Даномаге», в которую входят и «Тревожные симптомы».

В каком-то глухом подземелье заперт несчастный узник — Рожденный в Колбе. Его недремлющим тюремщиком служит Машина, которая давно бы перестала функционировать, если бы не заставляла пленника целыми днями крутить ручку зарядного генератора. Наглядная модель эксплуататорского строя — угнетенные выбиваются из сил, чтобы дать своим угнетателям возможность продолжать это угнетение. В общеисторическом, в общечеловеческом плане это замкнутое кольцо давно уже потеряло всякий смысл, оно сковывает, оно пускает на ветер творческие силы человека, но оно вовсе не представляется таким тем, кто вложил в машину ее жестокую программу. То общество, в котором проклятое кольцо не удастся своевременного разорвать, обречено. В Даномаге заходит солнце.

И. Варшавский написал еще немало «серьезных» рассказов, в которых вновь и вновь утверждает, что никакая, самая совершенная техника не сможет помочь человеку, человеку могут помочь, а в случае чего и спасти, только люди же, люди с за-

ботливой и нежной душой, которых прекрасно умел изображать сатирик Варшавский. С каждым годом доля «серьезных» рассказов, таких, как «В атолле», «Решайся, пилот!», «Сюжет для романа», увеличивалась, но все же, мне думается, талант И. Варшавского лучше всего чувствовал себя в юмористической стихии. Едва ли можно считать случайностью то, что каждый его сборник открывается смешным произведением. Даже самая «мрачная» книга И. Варшавского «Солнце заходит в Даномаге» начинается с веселой шутки «Курсант Плошкин».

Любимый прием писателя, которым он пользовался мастерски,— это умение соединять несоединимое. Что, например, получится, если усатого морского волка времен, пожалуй, парусного флота посадить капитаном космического корабля? Не будем преувеличивать, конечно, не капитаном звездолета-первопроходца, открывателя новых галактик, а рейсового «грузовика», на котором, пока он еще дышит на ладан, обкатывают, «окоsmичивают» курсантов соответствующих школ. Под стать этой допотопной (если такое словоупотребление допустимо в случае с космическим кораблем) колымаге и ее капитан. Экипаж втихомолку посмеивается над Чагиным, который читает древние лоции и варит на спиртовке (в космосе-то!) чай, отвратительный на вкус его посетителей и единственно достойный внимания сего точки зрения. Однако все знают, что под напускной суровостью кэпа таится доброе сердце. Разбитной курсант Плошкин сыграл с ним шутку, выдав себя за девицу, чем нанес смертельную обиду доверчивому старику. Но в описании И. Варшавского этот сорванец получился таким живым и непосредственным, что мы, читатели, простим ему шалости, простят ему их, конечно, и члены экипажа, когда до них дойдет юмористическая сторона дела.

«Курсант Плошкин» похож по своему изяществу, по неожиданности сюжетных ходов на старинный водевиль (мюзикл по-современному), жанр, в котором не гнушались участвовать самые большие мастера русской сцены.

Конечно же, И. Варшавский писал свой рассказ не о будущих покорителях межзвездных просторов, но будем надеяться, что они окажутся такими же веселыми, и застенчивыми, и озорными, и обидчивыми людьми, как герои И. Варшавского. И как наши современники.

Вершиной юмористики И. Варшавского мне представляется маленькая повесть «Петля гистерезиса». Молодой кандидат исторических наук Курочкин отправляется с научной командировкой в I век н. э., вознамерившись наконец-то доказать, что Иисус Христос — это миф. Историк смог убедиться в этом лично, но обстоятельства сложились так, что ему самому пришлось временно исполнять обязанности мессии. Писатель назвал свою шутку пародией на некоторые научно-фантастические вещи, в которых Христос выдается за космического пришельца.

Но сказать о том, что это просто пародия — значит сказать так же мало, как если бы мы «просто» включили «Петлю гистерезиса» в обиход произведений о парадоксах путешествий по времени. Это произведение о научной одержимости, о находчивости, которую внезапно обнаруживает в критических обстоятельствах человек, на первых порах представляющийся далеким от земных забот чудаком, о многом другом, что можно высечь из того же совмещения несовместимого. Кроме всего прочего, «Евангелие от Ильи» не навязчиво, но активно антирелигиозно...

Можно привести еще не один десяток новелл, памфлетов, юморесок, пародий, написанных И. Варшавским, чтобы найти в них те два слоя, которые я пытался обнаружить в нескольких перечисленных примерах и которые сохранят интерес к его творчеству и тогда, когда непосредственные мишени станут вдвойне смешными за устарелостью...

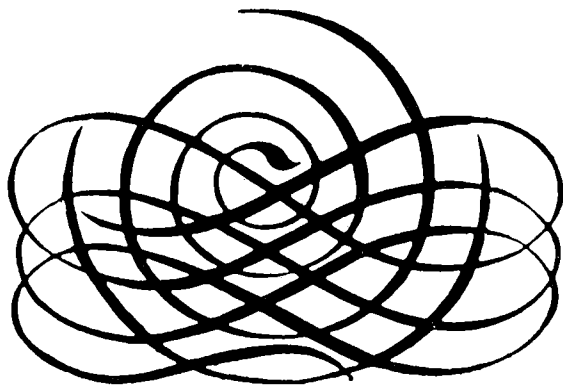
Летом 1974 года Ильи Варшавского не стало.

При его жизни увидело свет свыше восьмидесяти рассказов, многие из которых переведены на польский, немецкий, словацкий, венгерский, японский и другие иностранные языки.

Сам И. Варшавский больше всего любил «Путешествие в ничто», «Любовь и время» и «Петлю гистерезиса».

Он был добрым, веселым, остроумным, жизнелюбивым человеком. Таким И. Варшавский и сохранится в памяти тех, кому выпало счастье знать его лично. И таким же он сохранится в памяти многочисленных читателей, потому что все эти черты проявились в его рассказах, чего нельзя не почувствовать, нельзя не понять.

ВУГВАИОГРАФИИ



СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА*

(Опыт библиографии 1965—1967 гг.)

- Абрамов А., Абрамов С. Всадники ниоткуда. Фантаст. роман. — Глаза века. Фантаст. повесть. — В кн.: «Мир приключений, № 13. М., «Детская лит-ра», 1967, с. 115—155.
- Тень императора. Рассказы и повести. М., «Детская лит-ра», 1967, 296 с. (Б-ка приключений и научной фантастики).
- Содерж.*: Хождение за три мира. — Новый Аладдин. — Тень императора. — Комната для гостей. — Спокойной ночи! — Принц из седьмой формации. — Гамма времени.
- Нарру and. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 7. М., «Знание», 1967, с. 96—101.
- Четыре цвета памяти. Рассказ. — В журн. «Юный техник», 1967, № 7—8.
- Акимов И. Надо идти. Рассказ. — В кн.: «Мир приключений, № 12. М., «Детская лит-ра», 1966, с. 160—169.
- Алексеев В. Седьмое желание. Рассказ. — В журн.: «Смена», 1967, № 19.
- Алимбаев Ш. Альфа гениальности. Повесть и рассказы. Алма-Ата, «Жазушы», 1967, 72 с.
- Содерж.*: Альфа гениальности. — Бебе в пробирке. — Субстанция гениальности.
- Альтов Г. Девять минут. Рассказ. — В журн.: «Уральский следопыт», 1967, № 7.
- Клиника Сапсан. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 6. М., «Знание», 1967, с. 78—99.
- Опаляющий разум. Рассказ. — В кн.: «Эллинский секрет». Сб. Л., Лениздат, 1966, с. 463—485.
- Ослик и «акснома». Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1966, № 5, с. 66—90.
- Порт Каменных Бурь. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 2. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 235—257.
- Шальная компания. Рассказ. — В кн.: «Мир приключений, № 11. М., «Детская лит-ра», 1965, с. 70—96.
- Аматуни П. Парадокс Глебова. Фантаст. роман. Ростов-на-Дону, Кн. изд-во, 1966, 198 с.
- Амнуэль П., Леонидов Р. Несколько поправок к Платону. — Престиж Небесной империи. Рассказы. — В кн.: «Эти удивительные звезды». Баку, «Азернешр», 1966, с. 125—144.
- Амосов Н. Записки из будущего. Роман. Кн. 1. — В журн.: «Наука и жизнь», 1965, № 9—12.
- Андреева Н., Баринов М. Ищу Атлантиду. Повесть. — В журн.: «Смена», 1965, № 11—12.
- Аниканов В. Миниатюра Е. П. Повесть. — В журн.: «Наш современник», 1967, № 7, с. 51—79.

* Продолжение библиографии, публикуемой в ежегодниках «Фантастика».

Анчаров М. Голубая жилка Афродиты. Повесть. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 177—239.

— Сода — солнце. Повесть. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 91—146.

Багряк П. Кто? Повесть. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 126—176.

Белов Л. Ыых покидает пещеру. Повесть. — Ташкент, «Ёш гвардия», 1965, 192 с.

Бердник О. Подвиг Вайвасваты. Роман. Пер. с укр. — В журн.: «Радуга», 1965, № 8—10.

— Сыны Световида. Повесть. — В кн.: Бердник О. Призрак идет по земле. М., «Детская лит-ра», 1966, с. 5—92.

Берестов В. Алло, Парнас! Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65», Вып. 2. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 183—186.

Биленкин Д. Десант на Меркурий. Повесть. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 9—57.

— Зачем? — На пыльной тропинке. Рассказы. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 16—22.

— Марсианский прибор. Рассказы и повесть. М., «Молодая гвардия», 1967, 287 с. (Б-ка советской фантастики.)

Содерж.: Марсианский прибор. — Появление жирафы. — Ошибка невозможна... — Прилежный мальчик и невидимка. — Странная. — Над Солнцем. — Опасность спокойствия. — Урок относительности. — Сброска времени. — Преимущество широты. — Обыкновенная минеральная вода. — Художник. — На пыльной тропинке. — Космический бог.

— Незапертая дверь. Рассказ. — В журн.: «Техника — молодежи», 1965, № 7, с. 22—23.

— Цветы лунной ночи. — Рассказ. — В кн.: «Мир приключений», № 13. М., «Детская лит-ра», 1967, с. 397—401.



- Борин Б. Земное притяжение. Рассказ. — В кн.: «На суше и на море». М., «Мысль», 1965, с. 483—495.
- Бугров В. Затылок в зеркале. Рассказ. — В журн.: «Уральский следопыт», 1966, № 10.
- Булгаков М. Блаженство. Рассказ. — В журн.: «Звезда Востока», Ташкент., 1966, № 7.
- Мастер и Маргарита. Роман. — В журн.: «Москва», 1966, № 11, с. 6—127, 1967, № 1, с. 56—144.
- Булычев К. Когда вымерли динозавры. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1967, № 2, с. 138—147.
- Мир странный, но добрый. Рассказ. — В журн.: «Знание — сила», 1967, № 9, с. 58—59.
- Сказки. — В кн.: «Мир приключений». № 13. М., «Детская лит-ра», 1967, с. 600—625.
- Вавилов В. Космическая пастораль. Рассказ. — В газете «Молодой ленинец», 1966, 20 октября.
- Валентинов А. Нарушитель. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1967, № 1, с. 107—113.
- Проверка возможностей. Рассказ. — В журн.: «Уральский следопыт», 1967, № 4, с. 74—75.
- Варшавский И. В атолле. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 40—44.
- Гомункулус. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 2. М., «Знание», 1965, с. 201—206.
- Контакт не будет. Рассказ. — В журн.: «Смена», 1967, № 5, с. 8—10.
- Курсант Плошкин. Рассказ. — В журн.: «Знание — сила», 1966, с. № 1, с. 52—56.
- Лавка сновидений. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 6. М., «Знание», 1967, с. 154—161.
- Лентяй. Рассказ. — В журн.: «Звезда», 1965, № 12, с. 120—128.
- Ограбление произойдет в полночь. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 6. М., «Знание», 1967.
- Предварительные изыскания. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 3. М., «Знание», 1965, с. 181—196.
- Решайся, пилот! Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 45—57.
- Сашка. Рассказ. — В журн.: «Смена», 1966, № 5, с. 9—11.
- Солнце заходит в Даномаре. Рассказы. М., «Молодая гвардия», 1966, 240 с.
- Тараканы. Рассказ. — В кн.: «Вахта «Арамиса». Сб. Л., Лениздат, 1967, с. 98—119.
- Человек, который видел антимир. Рассказы. Предисл. Е. Брандиса и В. Дмитриевского М., «Знание», 1965, 133 с.
- Велтистов Е. Глоток солнца. Повесть. — В кн.: «Мир приключений», № 12. М., «Детская лит-ра», 1966, с. 554—603.
- Винник А. Сумерки Бизнесонии. Повести. Донецк. «Донбасс», 1965, 304 с.
- Владимиров М. Остров Нуа-Ту-Тахи. Рассказ. — В журн.: «Химия и жизнь», 1966, № 3—4.
- То же (под назв.: «Остров зеркального отражения» (в кн.: «Вахта «Арамиса». Л., Лениздат, 1967.
- Войскунский Е., Лукодянов И. Аландские каникулы. Повесть. — В журн.: «Уральский следопыт», 1967, № 7, с. 17—36.
- И увидел остальное... Рассказ. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 82—122.
- Субстанция Нигра. Повесть. — В журн.: «Литературный Азербайджан», 1967, № 4, с. 56—90.
- Сумерки на планете Бюр. Повесть. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 2. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 93—129.

— Трое в горах. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 2. М., «Знание», 1965, с. 150—200.

Гансовский С. Дом с золотыми окошками. Рассказ. — В журн.: «Уральский следопыт», 1966, № 6.

— Доступное искусство. Рассказ. — В журн.: — «Искатель», 1965, № 3, с. 94—105.

— Операция. Рассказ. — В журн.: «Наука и религия», 1966, № 8, с. 78—83.

— Полигон. Рассказ. — В журн.: «Вокруг света», 1966, № 9, с. 8—15.

— Спаси декабра! Рассказ. — В журн.: «Пионер», 1967, № 9.

— Таньти. Рассказ. — В журн.: «Техника — молодежи», 1965, № 1, с. 24—25.

— Чужая планета. Повесть. — В кн.: «Мир приключений», № 11. М., «Детская лит-ра», 1965, с. 97—177.

— Шесть гениев. Повесть и рассказы. М., «Знание», 1965, 240 с.

Голант В. Наводнение без затопления. Очерк. — В журн.: «Нева», 1966, № 8.

Голубев Г. Гость из моря. Повесть. — В журн.: «Искатель», 1967, № 1—3.

— Огненный пояс. Повесть. — В журн.: «Искатель», 1965, № 1—3.

Голявкин В. Ну-ка встань, мальчик! Рассказ. — В журн.: «Нева», 1966, № 4, с. 210—212.

Гор Г. Великий актер Джонс. Рассказ. — В кн.: «Эллинский секрет». Сб., Л., Лениздат, 1966, с. 328—350.

— Глиняный папуас. Повести и рассказы. М., «Знание», 1966, 344 с.

— Мальчик. Повесть — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 2. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 7—52.

— Минотавр. Повесть. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 6. М., «Знание», 1967, с. 3—77.

— Ольга Нсу. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 162—180.

— Скиталец Ларвеф. Повести. Л., «Советский писатель», 1966, 264 с.

— Художник Байс. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1966, № 4, с. 43—59.

Гранин Д. Место для памятника. Рассказ. — В кн.: «Вахта «Арами-ка». Сб. Л., Лениздат, 1967, с. 402—439.

Грачев В. Усилитель чувств. Рассказ. — В журн.: «Звезда Востока», 1965, № 1, с. 138—140.

Грешнов М., Обратная связь. Рассказы. Новосибирск., Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967, 100 с.

Григорьев В. Аксиомы волшебной палочки. Рассказы. М., «Молодая гвардия», 1967, 160 с. (Б-ка советской фантастики.).

— Над Бристанью, над Бристанью горят метеориты. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 29—47.

— Транзистор Архимеда. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 7. М., «Знание», 1967, с. 116—124.

Громова А. В круге света. Повесть. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 2. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 53—182.

— Мы одной крови — ты и я! Повесть. М., «Детская лит-ра», 1967, 237 с.

Губарев В. Часы веков. Повесть. М., «Малыш», 1965, 72 с.

Губерман И. Вечер в гостинице. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 5. М., «Знание», 1966, с. 170—184.

Гуревич Г. Восьминулевые. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1967, № 4, с. 118—141.

— Крылья гарпии. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 6. М., «Знание», 1967, с. 116—143.

— Мы — из Солнечной системы. Повесть. М., «Мысль», 1965, 415 с. (Путешествия. Приключения. Фантастика.)

- Гурфинкель Б. Черный гребень Чолпонбая. Рассказ. — В кн.: «Мир приключений», № 12. М., «Детская лит-ра», 1966, с. 289—305.
- Эмоция жалости. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 236—255.
- Давыдов И. Девушка из Пантикапея. Повесть. — В журн.: «Уральский следопыт», 1965, № 1—2.
- Он любил вас. Повесть. — В кн.: Давыдов И. Девушка из Пантикапея. Саратов., Приволжское кн. изд-во, 1966, с. 70—159.
- Дмитрук А. Ошибка. Рассказ. — В журн.: «Радуга», 1966, № 10, с. 114—117.
- Днепров А. Вдоль оси «эф». Рассказ. — В журн.: «Знание — сила», 1965, № 9, с. 52—54.
- Голова напрокат. Рассказ. — В журн.: «Знание — сила». М., 1965, № 5, с. 40—42.
- Голубое зарево. Повесть. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 2. М., «Знание», 1965, с. 3—149.
- Интервью с регулировщиком уличного движения. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 36—39.
- Последний рассказ о роботах. Рассказ. — В журн.: «Наш современник», 1966, № 1, с. 57—62.
- Пурпурная мумия. Рассказы. М., «Детская лит-ра», 1965, 285 с.
- Там, где кончается река. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1966, № 4, с. 61—75.
- Человек для архива. Повесть. — В журн.: «Наш современник», 1967, № 8—10.
- Домбровский К. Остров неопытных физиков. Повесть. М., «Детская лит-ра», 1966, 192 с.
- Другаль С. Право выбора. Рассказ. — В кн.: «Мир приключений», № 12. М., «Детская лит-ра», 1966, с. 374—382.
- Емцев М., Парнов Е. Возвратите любовь. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 2. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 43—92.
- Зеленая креветка. Повести и рассказы. М., «Детская лит-ра», 1966, 303 с.
- Оружие твоих глаз. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 7. М., «Знание», 1967, с. 34—65.
- Последнее путешествие полковника Фосетта. Повести и рассказы. М., «Молодая гвардия», 1965, 223 с.
- Сфера Шварцшильда. Рассказ. — В кн.: «Мир приключений», № 13. М., «Детская лит-ра», 1967, с. 525—549.
- Только четыре дня. Повесть. — В кн.: «Мир приключений», № 11. М., «Детская лит-ра», 1965, с. 307—376.
- Три кварка. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1967, № 4, с. 71—79.
- Черный ящик Цереры. Роман. (В сокращ. варианте.) — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 5. М., «Знание», 1966, с. 3—169.
- То же (Полн. вариант под назв.: «Море дирака»). М., «Молодая гвардия», 1967, 460 с.
- Ефремов И. Эллинский секрет. Рассказ. — В кн.: «Эллинский секрет». Сб. Л., Лениздат, 1966, с. 305—327.
- Жемайтис С. Дети океана. Повесть. — В кн.: «Мир приключений», № 13. М., «Детская лит-ра», 1967, с. 402—497.
- Журавлева В. Нахалка. — Эти удивительные звезды. — Рассказы. — В кн.: «Эти удивительные звезды». Сб. Баку, «Азернешр», 1966, с. 105—124.
- Забелин И. Загадки Хайрхана. Изд. перераб. и доп. Повести. М., «Советская Россия», 1965, 304 с.
- Закгейм А. Соперник времени. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 228—235.
- Залуцкий А. Трое в одном. Повесть. Фрунзе, «Мектеп», 1965, 151 с.
- Зорин Э. Следы ведут в Караташ (Пришельцы с Аристила). Повесть. Ташкент, «Еш гвардия», 1965, 192 с.

Ибрагимбеков М. Гюр. Рассказ — в газете «Молодежь Азербайджана», 1965, 2 октября.

— Санто ди Чавес (Крысы). Рассказ. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 2. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 214—230.

Иванов В. Опаловая лента. Рассказ. — В кн.: «Волга». Альманах, Куйбышев, 1966, № 1.

Иорданишвили Е. Объект Мейолла. Рассказ. — В кн.: «На суше и на море». М., «Мысль», 1965, с. 435—457.

Казакова Р. Эксперимент. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 147—155.

Калиновский И. Когда усмехнулся Плутарх. Рассказы. Красноярск, Кн. изд-во, 1967, 207 с.

Караханов В. Мое человечество. Повесть. — В кн.: «Эти удивительные звезды». Сб. Баку., «Азернешр», 1966, с. 189—236.

Колпаков А. Континуум 2z. Рассказ. — В кн.: «На суше и на море». М., «Мысль», 1966, с. 471—500.

— Самуры (Отступившие в океан). Повесть. — В журн.: «В мире книг», 1967, № 1—8, 10, 12.

Колупаев В. Кто видел этот магазин? Рассказ. — В газете «Молодой ленинец», 1966, 19 июня.

— Неудачная экспедиция. Рассказ. — В газете: «Молодой ленинец», 1966, 7—9 января.

Коряков О. Формула счастья. Повесть. М., «Детская лит-ра», 1965, 166 с.

Котляр Ю. Звездные тени. Повесть. — В кн.: «На суше и на море». М., «Мысль», 1966, с. 572—617.

— Расплата. Рассказ. — В кн.: «Вас зовут «Четверть третьего»?». Сб. Свердловск., Средне-Уральское кн. изд-во, 1965, с. 230—257.

Куликов Н. Люди с Южного Креста. Рассказ. — В журн.: «Знание — сила», 1965, № 3, с. 33.

Куценко В. Океан. Рассказ. — В журн.: «Техника — молодежи», 1967, № 7, с. 14—15.

Лавренко Б. Загадки пучины. Рассказ. — В кн.: «На суше и на море». М., «Мысль», 1965, с. 458—482.

Лагин Л. Голубой человек. Роман. М., «Советская Россия», 1967, 319 с.

Лапин Б. Кратер Ольга. Повесть — В журн.: «Ангара», 1966, № 4.

Ларионова О. Вахта «Арамиса». Повесть. — В журн.: «Искатель», 1966, № 2, с. 49—102.

Ларионова О. Леопард с вершины Килиманджаро. Роман. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 3. М., «Знание», 1965.

— На этом самом месте. Рассказ. — В кн.: «Планета туманов». Сб. Л., «Детская лит-ра», 1967, с. 223—244.

— Перебежчик. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1967, № 1, с. 48—64.

— Планета, которая ничего не может дать. Повесть. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 7. М., «Знание», 1967.

— Пока ты работала. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 2. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 318—325.

— Развод по-марсиански. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 6. М., «Знание», 1967, с. 144—153.

Леонидов Р. Танец века. Рассказ. — В журн.: «Уральский следопыт», 1966, № 11.

Лепешкин А. Как я изобретал велосипед. Рассказ. — В журн.: «Уральский следопыт», 1966, № 1.

Ломаный В. В поисках разума. Рассказ. — В журн.: «Уральский следопыт», 1967, № 4.

Лоцманенко Ю. Белый, белый каштановый цвет. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 6. М., «Знание», 1967.

Лукин Б. Загадка острова Мельпомены. Кинорассказ. — В журн.: «Техника — молодежи», 1966, № 1, с. 24—26.

Львов А. Бульвар Целакантус. Повести и рассказы. М., «Молодая гвардия», 1967, 176 с. (Б-ка советской фантастики.)

— Мой старший брат, которого не было. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 87—118.

— Седьмой этаж. Повесть. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 48—81.

— Человек с чужими руками. Повесть. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 2. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 187—234.

Максимов Г. Вероятность равна нулю. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1965, № 2, с. 85—90.

— Последний порог. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 156—167.

Малахов А. L₅ — симметрия жизни. Повесть. Свердловск. Средне-Уральское кн. изд-во, 1965, 60 с.

Малов В. Дима. Рассказ. — В газете «Московский комсомолец», 1967, 30 ноября.

— На Пандейре их ждал сюрприз. Рассказ. — В журн.: «Знание — сила», 1965, № 3, с. 34—35.

Мартынов Г. Гианэя. Роман. Л., «Детская лит-ра», 1965, 278 с.

— Спираль времени. Роман. Л., Лениздат, 1966, 472 с.

Махмудов Э. Беспощадный судья. — Симфония жизни. Рассказы. — В кн.: «Эти удивительные звезды». Сб. Баку, «Азернешр», 1966, с. 145—164.

Мееров А. Поиск надо продолжать. Рассказ. — В кн.: «На суше и на море». М., «Мысль», 1966, с. 541—571.

— Сиреневый кристалл. Роман. М., «Мысль», 1965, 389 с.

Мелентьев В. Голубые люди Розовой земли. Повесть. М., «Детская лит-ра», 1966, 256 с.

— Шумит тишина. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1966, № 5, с. 32—49.

Милькин И. Сумасшедший электромеханик. Рассказ. — В кн.: «Эти удивительные звезды». Сб. Баку, «Азернешр», 1966, с. 179—188.

Мирер А. Будет хороший день. Повесть. — В кн.: «Мир приключений», № 10. М., «Детская лит-ра», 1965, с. 438—472.

— Знак равенства. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 7. М., «Знание», 1967, с. 78—95.

— Обсидиановый нож. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 367—391.

Михайлов В. Глубокий минус. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 2. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 158—213.

— Люди и корабли. Рассказы. Рига, «Звайгзне», 1967, 176 с.

— Одиссея Валгуса. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1965, № 6, с. 45—76.

— Черные журавли. Рассказы. Рига, «Лиесма», 1967, 215 с.

Михановский В. Когда параллели встречаются. Повесть. — В журн.: «Радуга», 1967, № 1, с. 8—99.

— Мастерская Чарли Макгроуна. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1965, № 4, с. 100—107.

— Одна буква. Рассказ. — В журн.: «Радуга», 1965, № 2.

— Случай с кибом. Рассказ. — В журн.: «Моделист-конструктор», 1967, № 2.

Михеев М. Которая ждет. Рассказы. Новосибирск, Западно-Сибирское кн. изд-во, 1966, 96 с.

— Станция у Моря Дождей. Рассказ. — В кн.: Михеев М., Вирус В-13. Новосибирск, Западно-Сибирское кн. изд-во, 1967, с. 64—81.

Немченко Л., Немченко М. Бог и беспокойная планета. Рассказ. — В журн.: «Урал», 1965, № 7, с. 116—120.

— Контрабанда. Рассказ. — В журн.: «Урал», 1965, № 1, с. 104—114.

— Только человек. Рассказ. — В кн.: «Вас зовут «Четверть третьего»?». Сб. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1965.

Нефедьев К. Могила Таме-Тунга. Роман. Челябинск., Южно-Уральское кн. изд-во, 1967, 368 с.

Никитин Ю. Где же справедливость, коллеги? Рассказ. — В журн.: «Урал», 1967, № 7.

— Страшный мир. Рассказ. — В журн.: «Урал», 1967, № 12.

Никонова Н. Адам и Ева. Рассказ. — В журн.: «Техника — молодежи», 1967, № 4, 33, 37.

Обухова Л. Лилит. Повесть. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 4. М., «Знание», 1966, с. 211—306.

— Птенцы археоптерикса. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 6. М., «Знание», 1967, с. 171—182.

Островский Б. Принять решение. Рассказ. — В кн.: «Эти удивительные звезды». Сб. Баку, «Азернешр», 1966, с. 165—178.

— Яйцо или курица? Рассказ. — В газете: «За медицинские кадры», 1966, 1 декабря.

Офин Э. В том-то и дело. Рассказ. — В журн.: «Костер». Л., 1965, № 9.

Павлов С. Ангелы моря. Повесть. — В журн.: «Енисей», 1967, № 1, с. 67—101.

— Корона Солнца. Повесть. — В кн.: Шагури Н., Павлов С. Аргус против Марса. Красноярск. Кн. изд-во, 1967, с. 81—182.

Павловский О. Второе рождение Петьки Озорникова. Повесть. Кемерово, Кн. изд-во, 1966, 124 с.

Пальман В. Два шага маятника. Роман. Краснодар, Кн. изд-во, 1966, 323 с.

Паншин А. Тайна черного грота. Рассказ. — В газете «Красное знамя», 1967, 17 июня.

Перцев В. Спонтанная телепатия. Рассказ. — В журн.: «Звезда Востока», 1965, № 10, с. 214—224.

Петров Е. Путешествие в страну коммунизма (Фрагменты неоконч. романа). В кн.: «Литературное наследство», т. 74. М., «Наука», 1965, с. 577—628.

Подольный Р. Необходимая случайность. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 5. М., «Знание», 1966, с. 192—196.

Ревич В. Сенсация. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 2. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 306—317.

— Штурмовая неделя. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65», Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 199—298.

Реймерс Г. Загадка впадины Лао. Повести. Тула Приокское кн. изд-во, 1965, 152 с.

Розанова Л. Весна — лето 2975-го. Рассказ. — В журн.: «Семья и школа», 1967, № 8, с. 52—56.

Росоховатский И. Виток истории. Повести и рассказы. М., «Детская лит-ра», 1966, 223 с.

— Дело командора. Повесть. — В журн.: «Смена», 1966, № 14, 15.

— Каким ты вернешься? Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 6. М., «Знание», 1967, с. 100—115.

— Одним меньше. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 123—126.

— Разрушенные ступени. Рассказ. — В кн.: «Вас зовут Четверть третьего?». Сб. Свердловск, 1965, с. 18—23.

— Сигом и создатель. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1967, № 6, с. 79—95.

Савченко Вит. Вигвам Солнца. Рассказ. — В журн.: «Уральский следопыт», 1966, № 12.

Савченко Вл. Новое оружие. Пьеса. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 134—212.

— Открытие себя. Роман. М., «Молодая гвардия», 1967, 352 с.

Самсонов Ю. Плутни робота Егора. Рассказы и повесть. Иркутск, Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1967, 207 с.

- Сапарин В. «Дракон» идет на выручку. Повесть. — В журн.: «Уральский следопыт», 1965, № 8—9.
- На восьмом километре. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1966, № 1, с. 27—47.
- Пари. Рассказ. — В журн.: «Вокруг света», 1967, № 5, с. 7—12.
- Чудовище подводного каньона. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 5—35.
- Сейтаков Б. Паутина. Повесть. Ашхабад, «Туркменистан», 1966, 223 с.
- Сергеев Д. Заповедник чувств. Рассказ. — В журн.: «Ангара», 1967, № 4.
- Доломитовое ущелье. Рассказы. Иркутск, Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1965, 192 с.
- Сидельников О. Открытие мистера Спарроу. Роман. Ташкент, «Ташкент», 1965, 285 с.
- Силецкий А. Nichil (Ничто). Рассказ. — В журн.: «Знание — сила», 1965, № 3, с. 34.
- Слепынин С. Фарсаны. Повесть — В журн.: «Уральский следопыт», 1966, № 1—3.
- Слукин В., Карташев Е. «Вас зовут «Четверть третьего»?». Повесть. — В одном. колл. сб. Свердловск, 1965, с. 100—143.
- Последний командир «Дискавери». Рассказ. — В журн.: «Пионер», 1967, № 10.
- Привет древности. Рассказ. — В газете «Вечерний Свердловск», 1966, 31 декабря.
- Пропорционально квадрату глупости. Рассказ. — В газете «Вечерний Свердловск», 1965, 6 февраля.
- Смех по дороге в Атлантис. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1967, № 3, с. 34—47.
- Смирнов Ю. Осенний дождь. Рассказ. — В газете «Молодой ленинец», 1966, 3 июня.
- Снегов С. Люди как боги. Роман. Кн. 1. — В кн.: «Эллинский секрет». Сб. Л., Лениздат, 1966, с. 23—304.
- Соколова Н. Захвати с собой улыбку на дорогу. Повесть. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 7—90.
- Плазма взбунтовалась. Пародия. — «Литературная газета», 1965, 11 декабря, с. 3.
- Пришедший оттуда. Повесть. — В кн.: Соколова Н. Тысяча счастливых шагов. М., «Советский писатель», 1965, с. 3—73.
- Сошинская К. Космотехника. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1966, № 6, с. 142—150.
- Станюкович К. Тайну охраняет пламя. Повести и рассказы. Душанбе, «Ирфон», 1965, 231 с.
- Стекольников Л. Нашествие феррофагов. — Предупреждает «Меркурий-1». Повести. — В кн.: «Планета Туманов». Сб. Л., «Детская лит-ра», 1967, с. 319—381.
- Стругацкий А., Стругацкий Б. Второе нашествие марсиан. Повесть. — В журн.: «Байкал», 1967, № 1, с. 54—109.
- Понедельник начинается в субботу. Повесть. М., «Детская лит-ра», 1965, 223 с.
- Хищные вещи века. Повесть. — В кн.: одноим. авт. сб. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 129—318.
- Суханова Н. Ошибка размером в столетие. Повесть. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 240—272.
- Сушков Ю. Катастрофа. Рассказ. — В газете «Труд», 1966, 10 августа.
- Томан Н. Клиническая смерть профессора Холмского. Повесть. — В журн.: «Наш современник», 1965, № 7, с. 79—99.

— Неизвестная земля. Повесть — В кн.: одноим. авт. сб. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 5—168.

Томилин А. Гаррис, который вернулся... Рассказ. — Кто раз тонул. Рассказ. — В кн.: «Планета Туманов». Сб. Л., «Детская лит-ра», 1967, с. 245.

— На крыльях света. Очерк. — В кн.: «Хочу все знать». Л., «Детская лит-ра», 1967, с. 28—39.

Третьяков В. В гостях у курдю. Рассказ. — В журн.: «Знание — сила», 1965, № 2, с. 42—43.

Фадин В. Изопертиловая лихорадка. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1966, № 6, с. 151—155.

Филановский Г. Говорящая душа. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 7. М., «Знание», 1967, с. 74—77.

— Заходите завтра. Рассказ. — В журн.: «Знание — сила», 1967, № 3, с. 42—45.

— Часы жизни. Рассказ. — В журн.: «Знание — сила», 1965, № 1, с. 23.

— Чистильщик. Рассказ. — В журн.: «Знание — сила», 1965, № 8, с. 33—35.

Фирсов В. Бунт. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 2. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 7—35.

— Исполнение желаний. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 7. М., «Знание», 1967, с. 102—115.

— Камень — Телефон. Рассказы. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 5. М., «Знание», 1966, с. 266—273.

— Лицом к лицу. Рассказ. — В журн.: «Пионер», 1967, № 1.

— Уже тридцать минут на Луне. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1966, № 1, с. 120—126.

Фрадкин Б. Настояйка из тундровой серебрянки. Рассказы. Пермь, Кн. изд-во, 1967, 100 с.

Харьковский А. Подводные лодки — в небо. Рассказ. — В журн.: «Знание — сила», 1965, № 10, с. 26—27.

Хлебников А. Бесценный дар. — Грозный феномен. — Человеческая неполноценность. Рассказы. — В кн.: «Планета Туманов». Сб. Л., «Детская лит-ра», 1967, с. 263—286.

Цурков Ю. Лабиринт. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1965, № 5, с. 138—145.

Чемерис В. Классик из туманности Андромеды. Рассказ. — В журн.: «Звезда Востока». Ташкент, 1965, № 9, с. 148.

Чижевский Г. За завесой ливня. Рассказ. — В кн.: «На суше и на море». М., «Мысль», 1965, с. 410—434.

— Зыбкое марево атолла. Рассказ. — В кн.: «На суше и на море», М., «Мысль», 1966, с. 501—540.

Шагурин Н. Возвращение «Звездного охотника». — Межпланетный патруль». Рассказы. — В кн.: Шагурин Н. Тайна декабриста. Красноярск, Кн. изд-во, 1965, с. 120—136.

— Операция «Синий гном». Повесть. — В журн. «Енисей». Красноярск, 1964, № 3.

Шагурин Н., Павлов С. Аргус против Марса. Повести. Красноярск, Кн. изд-во, 1967, 226 с.

Шалимов А. Когда молчат экраны. Повести и рассказы. Л., «Детская лит-ра», 1965, 208 с.

— Концентратор гравитации. Рассказ. — В кн.: — «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 3. М., «Знание», 1965, с. 197—214.

— Ксанта, Бука и я (Встреча на старой энергоцентрали). Рассказ. — В кн.: «Вахта «Арамиса». Л., Лениздат, 1967, с. 120—134.

— Наследники. Рассказ. — В журн.: «Нева», 1966, № 12.

— Планета Туманов. Повесть. — В кн.: одноим. коллект. сб. Л., «Детская лит-ра», 1967, с. 71—118.

— Тайна Тускароры. Повести. Л., Гидрометеиздат, 1967, 266 с.

- Шаров А. Остров Пирроу. Повесть. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 2. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 258—299.
- После перезаписи. Повесть. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 4. М., «Знание», 1966, с. 307—365.
- Редкие рукописи. Повесть. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 5. М., «Знание», 1966, с. 214—265.
- Шейкин А. Ангевоз. Рассказ. — В кн.: «Вас зовут «Четверть третьего»?». Сб. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1965, с. 77—87.
- Солдатская дорога домой. Повесть. — В кн.: «Планета Туманов». Сб. Л., «Детская лит-ра», 1967, с. 119—222.
- Шефнер В. Девушка у обрыва, или Записки Ковригина. Повесть. — в кн.: Шефнер В. Счастливый неудачник. Л., «Сов. писатель», 1965, с. 245—462.
- Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала. Повесть. — В журн.: «Звезда», 1966, № 12, с. 3—29.
- Шпаков Ю. Один процент риска. Рассказы и повесть. Кемерово, Кн. изд-во, 1965, 148 с.
- Шуганов Ю. Секрет мистера Хука. Рассказ. — В газете «Ленинец». Уфа, 1967, 30 декабря.
- Шулика Ю. Три капли джапса. Рассказ. — В газете «Иртыш». Семипалатинск, 1967, 26—30 ноября.
- Шульц Н. Тайна древнего манускрипта. Повесть. — В кн.: «На суше и на море». М., «Мысль», 1965, с. 496—535.
- Щербаков В. Мы играли под твоим окном... Рассказ. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 273—283.
- Плата за возвращение. Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 7. М., «Знание», 1967, с. 66—73.
- Помните меня? Рассказ. — В кн.: «НФ — альманах научной фантастики». Вып. 5. М., «Знание», 1966, с. 185—191.
- Эджубов Л. Во имя разума. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1966, № 4, с. 92—100.
- Эйдельман Н. Петя Кантроп. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1966, № 5, с. 132—142.
- Пра-пра... Киноповесть. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 168—198.
- Юрьев З. Альфа и омега. Повесть. — В кн.: «Мир приключений». № 13. М., «Детская лит-ра», 1967, с. 235—311.
- Башня мозга. Повесть. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 58—125.
- Яновский Ю. Аристотель двадцатого века. Повести. Ростов-на-Дону, Кн. изд-во, 1965, 192 с.
- Яров Р. Вторая стадия. Рассказ. — В журн.: «Химия и жизнь». М., 1967, № 9.
- Неизвестная планета. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 284—285.
- Одно мгновение. Рассказ. — В журн.: «Искатель», 1967, № 2, с. 10—19.
- Основание цивилизации. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-65». Вып. 2. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 300—305.
- 7-й круг ада. Рассказ. — В журн.: «Уральский следопыт», 1967, № 1, с. 66—71.
- Спор. Рассказ. — В журн.: «Моделист-конструктор», 1967, № 1.
- Экспериментальный квартал. Рассказ. — В кн.: «Фантастика-66». Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 285—287.

— На карту Земли, на которой не обозначена Утопия, не стоит глядеть, так как карта эта игнорирует страну, к которой неустанно стремится человечество. — Так энергично и емко выразился однажды английский классик Оскар Уайльд, добавив при этом: — Прогресс — это реализация Утопий.

Во времена Уайльда столь категоричное отношение к творческой фантазии и самому жанру фантастики могли разделить далеко не все, в круг просвещенных были посвящены, перефразируя максиму Дени Дидро, достойные, но немногие.

Ну а теперь разнообразные издания НФ расходятся по миллионам читательских адресов. Неизмеримо расширилась и география «горячих точек» генерации фантастических идей, интенсивных разработок глубинных пластов человеческого воображения. Об этом свидетельствует, в частности, издание настоящего ежегодника «Фантастика 75-76».

Повесть А. Якубовского «Космический блюститель» была задумана и написана неподалеку от геометрического центра нашей страны, в Новосибирске; еще одна повесть сборника, «Первый шаг», пришла в редакцию от другого сибиряка, иркутского писателя Б. Лапина. Как видим, наиболее основательные тексты «Фантастики 75-76» сложились в таких местах планеты Земля, которые скорее всего вообще не значились на картах, имевшихся в распоряжении знаменитого английского остроумца и мечтателя.

Румбы розы ветров на карте авторского актива этой книги нацелены на разные республики нашей Родины, широты сюжетных отправок раскинулись по всем ее часовым рубежам. Московский меридиан представлен, например, такими широкоизвестными прозаиками, как Леонид Леонов и Петр Проскурин. Комментируя первую публикацию «Мироздания по Дымкову» на страницах журнала «Наука и жизнь», главный редактор журнала В. Болховитинов так определил смысловые истоки этого отрывка из нового романа писателя:

«Мнение о жестком делении современных людей на так называемых «физиков» и «лириков» представляется мне преувеличением.

Несмотря на барьеры профессий, обе категории выявляют постоянное родство духовных интересов, пробуя свои силы в сфере деятельности другой стороны. Одни из них играют на скрипке, пишут оперы или пейзажи, вторые в свободное время высказывают любопытные подчас суждения в области естествознания и техники. Идея радара, например, была высказана мельком Л. М. Леоновым еще в 1935 году («Дорога на Океан»).

Известно, что Леонид Максимович давно интересуется концепцией Вселенной. Впервые своими соображениями о ней он поделился со мной лет двадцать назад, в те же годы он познакомил со своей концепцией писателя В. И. Орлова, а позапрошлым летом читал уже в готовом виде соответ-

ствующую главу академику В. С. Владимирову, инженеру М. П. Дрягзову и другим.

Фантастическая гипотеза эта вплетена в сюжет находящегося пока в работе романа, тем не менее редакция уговорила писателя, члена нашей редколлегии, согласиться на досрочное и частичное опубликование упомянутой главы, эпиграфом для которой может служить вихровский афоризм — «все правдоподобно о неизвестном».

Обращение этих мастеров художественного слова к методам научной фантастики не должно удивлять: удивительнее было бы, если однажды этого обращения не состоялось. Неотвратимое тяготение к фантастическим сюжетам рано или поздно сказывается в творчестве большинства крупных художников, что давно дает пищу для размышлений критикам и литературоведам.

Не обошлось в нынешнем ежегоднике и без интересных, на наш взгляд, литературных дебютов. Математик по профессии Д. Де-Спиллер вынес на суд читателей рассказ «Открытие математика Матвеева». Сюжет рассказа основан на острой научной идее, которая вполне заслуживает развития и выражения языком дифференциального и интегрального исчисления. Однако автор предпочел (пока что?..) форму научно-фантастического рассказа и, думается, нашел эту форму в точном соответствии с сутью самой идеи...

Человек, Земля, Вселенная, Будущее — под этими символами собрались начинающие и маститые писатели на страницах альманаха. Работа воображения наших авторов выразилась в предложенных здесь сюжетах. А ведь только воображение, по словам Френсиса Бэкона, растягиваясь по всем направлениям, способно составить представление о вселенной столь отчетливое, как если бы последняя вся умещалась на ладони.

Владимир Григорьев

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

<i>Борис Лапин. Первый шаг</i>	6
<i>Аскольд Якубовский. Космический блюститель</i>	47
<i>Владимир Щербаков. Зеленый поезд</i>	104
<i>Север Гансовский. Человек, который сделал Балтийское море</i>	119
<i>Юрий Тупицын. Эти тонкие грани риска</i>	134
<i>Виталий Бабенко. Бег</i>	147
<i>Юрий Куранов. Звучность леса</i>	153
<i>Алла Севастьянова. Эпизоды из жизни Рэтикуса</i>	176
<i>Татьяна Олейникова. Лунатики</i>	183
<i>Вадим Панков. Игры</i>	185
<i>Петр Проскурин. Улыбка ребенка</i>	208
<i>Дмитрий Де-Спиллер. Открытие математика Матвеева</i>	225
<i>Реимбай Сабиров. Шахия искусства</i>	237
<i>Михаил Пухов. Картинная Галерея</i>	256
<i>Дмитрий Шашурин. Псовая охота</i>	264
<i>Ромэн Яров. Магнитный колодец</i>	270
<i>Ромас Калонайтис. На горизонте — «Энигма»</i>	274
<i>Андрей Дмитрук. Доброе утро, химеры!</i>	283
<i>Игорь Росохватский. Командир</i>	302

ЛАВКА ДРЕВНОСТЕЙ

<i>Александр Куприн. Волшебный ковер</i>	308

КЛУБ ФАНТАСТОВ

<i>Леонид Леонов. Мироздание по Дымкову</i>	320
<i>Виктор Гуминский. Взгляд сквозь столетия</i>	331
<i>Владимир Рубцов, Юрий Морозов. Звенья космического Контакта</i>	349
<i>Всеволод Ревич. Все написанное Ильей Варшавским</i>	361

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>Александр Осипов. Советская фантастика (опыт библиографии 1965—1967 гг.)</i>	370
Послесловие составителя	381

Ф22 384 с. с ил.

В сборник вошли новые произведения как известных, так и молодых авторов. Герои повестей и рассказов путешествуют во времени по сверхмагистралям будущего, совершают необыкновенные открытия, стремятся к переустройству мира на основе справедливости и равенства для всех трудящихся людей на Земле. В сборнике помещена статья о русской фантастике, представлен критико-библиографический раздел.

Ф $\frac{70302-261}{078(02)-76}$ 252-76

Р2

ФАНТАСТИКА 75-76.

Редакторы: **Ю. Медведев, Д. Зиберов**

Художник **И. Лососинов**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **И. Соленов**

Корректоры: **А. Долидзе, Г. Василёва, Т. Пескова, Л. Четыркина**

Сдано в набор 3/XII 1975 г. Подписано к печати 20/IX 1976 г. А05157. Формат 60×90^{1/16}. Бумага № 2. Печ. л. 24 (усл. 24). Уч.-изд. л. 25,5. Тираж 100 000 экз. Цена 90 коп. Т. П. 1976 г., № 252. Заказ 2033.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сушевская, 21.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

90 коп.